ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

4(36)'2020

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

E-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2020

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Александр Щедринский. **Мысль, как сквозное дуновенье.** *Стихотворения* 4
Одесса: Константин А. Ильницкий. **С открытым окном.** *Стихотворения* 9
Одесса: Татьяна Орбатова. **Пражская импрессия.** *Цикл стихотворений* 13
Одесса: Владислава Ильинская. **Только неба мне и не хватало.** *Стихотворения* 20

ПРОЗА

Одесса – Иерусалим: Евгений Кузьмин. **Между.** *Повесть* 24

ПОЭЗИЯ

Измаил – Дюссельдорф: Наталья Хмелёва. **Имена, которых не называл.** *Стихотворения* 48
Душанбе – Дюссельдорф: Бахтияр Амини. **С открытыми глазами.** *Хайку* 53
Феодосия – Москва: Ника Батхен. **Не погаснет сердце твоё, шаман.** *Стихотворения* 58
Ростов-на-Дону – Краков: Владимир Штокман. **Между явью и сном.** *Стихотворения* 63

ПРОЗА

Одесса: Анна Михалевская. **Хлеб Соломии.** *Рассказ* 65
Пекин: Ирина Чуднова. **Камень.** *Рассказы* 73
Москва: Светлана Замлелова. **Рыбы.** *Рассказ* 80
Красноярск: Эльдар Ахадов. **Путешествие в облаках воспоминаний.** *Рассказы* 84
Сухуми – Москва: Владимир Делба. **Страсти по Карену.** *Рассказ* 91

ПОЭЗИЯ

Москва: Никита Брагин. **Сонеты** 94
Оренбург: Виталий Молчанов. **Звёзд морские орхидеи.** *Стихотворения* 99
Минск: Юлия Митько. **Сон об Одессе, или Раковина колокольчика.** *Стихотворения* 104
Брест: Маргарита Назарук. **Слушаем дыханье августа.** *Стихотворения* 107

ПРОЗА

Одесса: Юлия Мельник. **Самый тихий звук.** *Рассказы* 110
Москва: Елена Вадюхина. **Сашка, Муся и звёзды.** *Сказка* 118

ПЕРЕВОДЫ

Токио: Хоси Синъити. **Стул.** *Рассказ. В переводе с японского Игоря Сиренко* 131

‹ОКОЕМ›

Витебск: Олег Сешко. **Октябрь. Витебский листопад.**
О XXXIV Открытом фестивале авторской песни, поэзии и визуальных искусств 133
Санкт-Петербург: Кира Скиба. **Стихотворения** 134
Кудрово: Виктория Север. **Стихотворения** 136
Гродно: Павел Соловьёв. **Стихотворения** 138
Сельцо: Кира Марченкова. **Стихотворения** 139
Москва: Софья Швец. **Стихотворения** 140

ПРОЗА

Одесса: Галина Соколова, Элла Мазько. **У попа была собака.** *Повесть. Часть 2* 143

‹ГОРИЗОНТ›

Петах-Тиква: Юлия Драбкина. **Стихотворения** 159
Иваново: Ян Бруштейн. **Стихотворения** 161
Томск: Виктория Смагина. **Стихотворения** 162
Москва: Анна Романовская. **Стихотворения** 164
Саратовская область: Ирина Соловьёва. **Пашкино счастье.** *Рассказ* 166
Барнаул: Юрий Макашёв. **Счастливый рейс.** *Рассказ* 169

ПРОЗА

Одесса – Нью-Йорк: Галина Ицкович. **Безопасная зона С.** *Из записок волонтёра психологической службы* 171

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Уфа: Янина Свище. **«…Я живу в Аксёнове, пью кумыс».** *Чехов в Уфимской губернии* 183
Галле: Сергей Бирюков. **О Велимире Хлебникове.** *К 135-летию со дня рождения* 191
Москва: Ольга Медведко. **Павел Лукницкий – первый биограф Николая Гумилёва.**
К 120-летию Павла Николаевича Лукницкого 193
Санкт-Петербург: Арсен Мирзаев. **Геннадий Айги, Андрей Волковский и поэзия Дагестана.** *Статья* . 200

‹СЕТЧАТКА›

Кан, Нормандия: Валерий Байдин. **Главы из книги «Древнерусское предхристианство»** 205
Курск – Москва: Александр В. Бубнов. **Интеграция свободы и игры** 211

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Из глубин прапамяти. *О книге Рады Полищук «Конец прошедшего времени»* 215
Созвездие людей. *О книге Левона Осепяна «Вспоминая страны и друзей»* 217
Палиндромное время Людмилы Осокиной. *О книге «Моя далёкая деревня»* 218
Лирический постмодернизм Андрея Грицмана. *О книге «Личный выбор»* 220
Собиратель серебряного века. *О книге Станислава Айдиняна «Разноимённое»* 222
«Я буду, но ни слова не скажу». *О книге Любови Колесник «Музыка и мазут»* 223
Отражение высокой вины. *О книге Бориса Фабриканта «Крылья напрокат»* 226
Рыцарь «некрасовской» музы. *О книге Вадима Ковды «Валун»* 228

‹ШКАФ›

Москва: Андрей Краевский. **Отзыв на книгу Натальи Стеркиной «Посланцы будущей зимы»** 232

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

МЫСЛЬ, КАК СКВОЗНОЕ ДУНОВЕНЬЕ

***

напялив столько лиц, сыграв ролей,
пожалуй, больше, чем сто раз родиться
(от хиленьких пажей до королей,
ловя то камни в лоб, то в гриль жар-птицу) –
я больше не хочу. нет, не могу.
хочу о правде. да, хочу о правде.
и если словом где-нибудь солгу,
пускай меня удавят, бога ради.
тебя люблю. тебя я ждал всю жизнь.
и кончен мой спектакль, наконец-то.
поскольку – верю – ты не убежишь –
как поезд, как спасение, как детство.
ах, знала б ты, как мне играть пришлось
с одним собою, в зеркало лишь глядя.
а все они – статисты, грязь и млось,
которой я омачивал лишь пряди.
ведь без тебя здесь не было меня,
а были: роли, роли, роли. где же
я сам тогда слонялся, всё кляня?
а я бродил медведем на манеже –
чье мясо, верно, пустят на мангал –
с пустыми и пропитыми глазами.
в меня не плюнул тот лишь, кто не знал,
что нет расплаты нам пред образами.
не покидай, молю, не покидай.
где нет тебя – ни жизни нет, ни света.
и если ты, уйдя, – мгновенно в рай,
то я – туда, куда и карты нету.

***

порой так сильно не хватает праздника.
палящего светила в час полуденный.
бегущего испанца ли, болгарина
по шлейфу моря, что наполнен грудями.
так не хватает галстука пижонского
на шее и беретика французского.
мы будто – фотография балконского
с наташею, где только – бал и музыка.

пить из колодца и навьючить ослика
в портовый город, узкий, как извилина.
поцеловаться у часовни после, как
присесть у сей часовни обессиленно.
откушать фрукты у абрека смуглого,
поторговаться на чем только мир стоит.
и взять арбуза, как планета, круглого,
и повернуть домой тропами мглистыми.
вернуться к вечеру, налить шампанского,
расставить вкусности, на оттоманке сесть.
есть в этом, видимо, тоска шаманская!
жизнь удалась, друзья! спускайте занавес!

***

опять посещаю пляж, будто парк больничный, –
теперь я свободен, а раньше был пациентом.
и он мне казался замкнутым. электрички
ходили как будто вовне, за стеной цементной.
как будто бы подрывался к окну увидеть,
когда приходили цвестастые девки-хиппи,
несли передачи наркоше: мясцо в карбиде –
он, впрочем, умер – от осложнений в гриппе.
вот так этот пляж я и видел тогда, три года
назад: тут едят кукурузу и пьют хмельное.
а я словно выведен погулять, как морда
с надзором, чтобы не выкинуть очередное.
теперь я другой. прихожу, словно тот убийца
на место, где вместе с кровью сошли улики.
смотрю, как лежат на песочке все эти лица.
и чувствую: я не хуже. хватаю блики
и понимаю: могу быть теперь таким же.
я вырвал первичное право быть человеком.
а значит, ложусь на песок, глаз сквозит меж хижин.
вот кончится август, черту подведя под веком,
и я скажу, что, наверное, что-то значу.
девчонку свою обниму и пойду работать.
куплю себе «теслу» старенькую на сдачу,
закрою гештальт, назовя его «горький опыт».
и заживу, как все. отличить не сможет
ни мент, ни врачиха – типичный работник класса
чуть ниже среднего. тот, что рождён вельможей,
но выучен выговаривать: «вильна касса».

***

когда так жарко, только вспоминать,
как в феврале гребёт лопатой дворник,
и пар во рту – как потная спина –
напоминанье о животной форме.
зимой хрустят снега, а не песок,
стекло – нет – не бутылок, а игрушек
нога находит, шаг наискосок
соделав в мир, где завтра будет лучше.
а после – март, и талость впереди.
вот-вот, ещё три месяца – и снова
сойдутся в точку зимнее «гряди!»
и летнее «пришёл!» с тарелкой плова.

и не поймёшь, что за вода течёт,
и батареи греют или стынут.
одно лишь ясно: этот гнусный счет
часовщиком незрячим опрокинут.

***

знаешь, любовь стала всё чаще мне жечь грудину,
будто зелёнка, что вылита на открытую рану.
от неё, как от солнца, зонтом прикрываешь спину,
чтоб не мучиться ночью, не переводить сметану.
словно аллергик, её ощущаешь сразу,
хотя она ещё где-то на высоте полёта.
и готов расчесать себе кожу, разодрать оба глаза,
пока она приближается, минуя лестничные пролёты.
хочется выставить предупреждение: «не подходи! опасно!».
сердце привыкло в тени и во льдах полярных.
слишком открыто, слишком светло, чересчур прекрасно –
о чём не в стихах, а лишь в жанрах эпистолярных.
прости, но никто уже не затронет душу,
которой больно от прикосновений нежных.
я гляжу из окна. и мне этот сюжет не нужен.
слишком снежно внутри. слишком снежно снаружи. снежно.

***

ничего нового, если ты вправду желаешь знать.
вода по водостоку спускается, каплет на подоконник,
словно по темени, и с разумом совладать
невозможно, если не опереться на подлокотник.
вроде ещё не стар, но воспоминаний мешок
рвётся и вынужденно выталкивает былое,
на место нового ставя какой-то больничный шок,
где меня, обмотав простынями, лечат от паранойи.
я никого не люблю, если правда моя в цене.
мне милы одни холода посреди забайкальской рани.
сам себя обхватив запястьями, прислонюсь к ледяной стене
и мечтаю, что это та – идеальная, что не ранит.
да, приятней себе внушать, чей-то образ хранить в ночи,
чем в реальности слушать ложь, а к тому ж её гадкий голос,
дожидаясь момента, пока утром тихо скользнут ключи
в старой скважине, разделив её сад и мой южный полюс.

***

как думаешь, мне есть ли что сказать?
пожалуй, есть. но время половину
истратило само, сожрав свой зад,
как змей свой хвост; младенец пуповину.
и я молчу. чтоб не сказать грубей,
чем надлежит расставшимся знакомым.
знакомая, ты слышишь? не робей –
флиртуй, жужжи с упрямством насекомых.

хотелось раньше выдавить «прости»,
ещё какой-то чуши благородной.
но продолжает осень нас нести
вперед, как экипаж междугородний.
и так слова теряются под шум
его колес, и календарь развинчен.
и в тридцать лет cogito ergo sum
куда родней, чем veni, vidi, vici.

***

мир какой тебя примет и пустит в обитель свою?
говорили одни: пей, мол, жаркую чашу сию.
говорили, мол, пей, но не думай – ведь думать во вред.
я не мог. как и верить не мог во всё то, чего нет.
говорили вторые: «казак! потерпи, мол, казак!
в атаманы пойдёшь!», – я глядел в голубые глаза,
говоря: вы терпели всю жизнь, а я так не хочу –
я хочу быть вверху, а не голову чтоб – палачу.
и приехали третьи, сокрытые, тайну храня.
говорят, мол, хотят на вершину синая меня.
а я думаю: вы же распяли христа моего,
а они, угадав, не стесняясь совсем ничего:
«а он был ли, христос?», – и смеются от знаний своих.
а я думаю: «вправду? а был ли? что знаю я? – стих.
в чём уверен я? – в рифме. люблю что? – анапест, хорей.
так и вправду стоял и стучал ли он подле дверей?
стоит верить ли времени, что убежало во тьму?
ведь живу я сейчас и сейчас, верно, я подниму
эту землю на плечи, сейчас своё слово скажу.
был христос или нет – что от этого? что нахожу
я в истории этой, что, впрочем, противна стихам.
пусть хотел быть колена я сифа, но, видно, я – хам.
даже так. бог бы с ним. но я рифме единой молюсь,
не «апостола» знаю, а лермонтова наизусть.
это значит, что нужен кумир нам по росту – и лишь.
значит, город, дружок, выбирай: копенгаген, париж?
выбирай себе жонку, язык по нутру выбирай.
наконец, выбирай: ад (он есть?) или всё-таки рай.
выбирай – чтобы, словно рубаха, на тело легло.
выбирай по себе – чтобы было тепло и светло.
а что выберу я? – что угодно, где текст и строка.
и везут меня, значит, в обитель жидов, дурака.
и везут – решено – да и я не противлюсь совсем.
продан гению, дару, таланту и фабулам всем.
что ж – коль так, значит, так! я поэт, а не кто-то ещё.
и надеюсь – что хоть и жиды – не представят мне счёт.
хоть страшнее не то – а страшней, если вправду он был,
если вправду висел, если кровь за планету пролил.
а я, мразь, жру портвейн и креветками, сволочь, давлюсь.
нет, не мести боюсь я, а слёз его горьких боюсь.

***

чтоб тишина, стихи, квартирка пять на пять,
какое-то окно, какая-то кровать,
а за окном – волна, а больше – ни хрена.
и я один сижу полночи у окна,

читаю что-нибудь – набоков на столе,
подпёрт «улиссом» стол, на осипе – филе.
и больше – ничего. товарищи мои –
лишь те, что были здесь и больше не смогли.
и сам я не могу, и сам когда-нибудь
я стану прижимать девическую грудь
в книжонке два на три с портретом молодым,
с какого хоть сейчас сойти б, и сразу – в дым.

***

а эта женщина могла бы быть моей –
мысль, как сквозное дуновенье ветра.
нет, это говорит не боль по ней –
скорее песня, что была не спета.
мы даже с ней гуляли, было, да,
какую-то неделю – осень, листья.
я бредил чепухой, как и всегда,
но ей она казалась чем-то лисьим –
что я хитрю с ней, словно я сложней,
чем глупый смех мой, глупая улыбка.
а я был прост, поди, как три копей-
ки – в том и состояла вся ошибка.
я *за* руку её – нет-нет – не брал,
дыхания хватало для единства.
я, может, лишь однажды ей соврал,
когда сказал: «предпочитаю винстон».
но кончилось все, как у большинства, –
у пар, что не случились, больше опыт,
чем это всё – квартирка два на два,
поездка раз в два года по европам.
нет, лучше одному – решил я сам.
и тут же непонятную свободу
обрёл, как будто поднял к небесам
какой-то покровитель из народа.
я думаю ль о ней? – нисколько, нет.
а что сейчас припомнил? – просто осень.
и снова листья, вновь несу я бред,
который повторить никто не просит.
ценить всегда положено всё то,
что отдохнуть давало нам от боли.
и я ценю, благодарю росток
любви, что сбылся. только я доволен.
доволен, что вокруг, и кем я стал,
из коих составляющих я собран.
но только запах мёда на устах
немного отдаёт печалью доброй.
а впрочем, жизнь как жизнь. на ранах соль.
и хоть о лишнем думать я не смею,
но мысль, как ветер, лезет исподволь –
что эта женщина могла бы быть моею.

КОНСТАНТИН А. ИЛЬНИЦКИЙ

С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ

НЕНАЗВАННЫЕ ОСТРОВА

Человек – мыслящий тростник
Блез Паскаль

Меня волнуют, как слова,
неназванные острова,
где безымянная трава
растёт по плечи.
И если очень захотеть,
её способность шелестеть
могла бы оказаться впредь
предтечей речи.

Конечно, я из мира слов,
и, тем не менее, готов
смять их скорлупчатый покров,
тотчас немея.
И ощутить в себе тростник,
который думать не привык,
и потому его язык
стократ темнее.

Но в первобытной темноте
есть место и любой мечте,
как в загрунтованном холсте –
за гранью зренья.
И, может, стоило б начать
и жизнь свою переписать,
и всё вокруг переназвать,
как в день творенья.

СОБОР

Я в сумрак вхожу, он – в меня. Витражами изрыта
соборная тьма, поклонись и молитвы верши.
Проёмами арок крестовых насквозь перевиты
цветные потёмки какой-то великой души.

Не веровал зодчий и знал он, конечно, что грешник.
Сомненья пытался свои искупить и не мог.
Так дети торопятся сладить получше скворечник –
а вдруг прилетит и поселится маленький Бог.

МОСТАР

Огорчиться очень просто,
свой альбом перелистав.
С фотографий смотрит Мостар,
город старого моста.
Всюду память дней осады,
когда ненависть вкусив,
пулемёт крошил фасады –
вот убийственный курсив.
Когда старый мост взорвали,
разбежались берега.
Где соседей расстреляли,
где спасли родню врага.
Восстановлены руины,
но рубцы ещё болят.
Горечь всей Герцеговины
воды Неретвы струят.
Муэдзина крик неистов,
облака несёт река,
и туристки все в монисто
из патронов для АК[1].

[1] АК – автомат Калашникова.

ПО ЛЬДУ ЖИТЕЙСКОГО СМЫСЛА

Мы ходим по толстому, гулкому льду
житейского смысла.
А кто ненароком пропал на ходу –
вовеки и присно.

Но ходики тикали-тикали и
ходить перестали.
Споткнулся – глядят на меня, как мои,
глаза из проталин.

А может, рыбина, почуяв беду,
в меня поглядела.
Бессмысленный взгляд заморожен во льду.
Какое ей дело?!

Мы ходим по тонкому звонкому льду,
а бездна таится.
Словарный запас – как последний редут,
но слово слоится.

Но слово слезится, лишь только тепла
почует отраду.
И вот уже жизнь не туда потекла,
куда бы ей надо.

Тревожные слухи. Народ, как народ,
страшится и судит.
А гул уже слышен – грядёт ледоход.
И будет, что будет.

БОЯЗНЬ ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

Это боязнь закрытых пространств. Я с ней знаком.
Страх скорлупы родовой с годами острей.
Если мне спать, – конечно, с открытым окном.
Если мне жить, – так лучше бы без дверей.

Это озноб закрытых пространств, стен, потолков,
скудных квадратов квартирных, отмерянных свыше.
Дед ещё помнил, когда сквозняки Соловков
воздух студили для целой страны, как кондишн.

Это невольничья память, как спазм горловой,
генный испуг, что с веками ещё не заглох.
Это сигналы скорлупки моей родовой,
проба пространства для жизни – на выдох и вдох.

ОСЕНЬ

Горизонт тополями взломан.
Так и мы в разломе живём.
Поздней осени глаукома
обесцвечивает окоём.

Амнезия всего покруче,
как лекарство от давних бед.
А над нами слоятся тучи
и крошатся, как белый свет.

Скрип калитки. Отыщем спички.
Свет в окошке – не знак гостям.
Свечки, спички – давно привычка.
Как привычка к плохим вестям.

ГДЕ ТЫ, ОЗИМЬ?

Листья жухнут на морозе,
и недолог их побег.
Где ты, озимь? Где ты, озимь,
уходящая под снег?

Листья жухнут, с веток рвутся,
жизнь их, видно истекла.
Им не суждено проснуться
под веснушками тепла.

Мы у осени попросим
хоть берложий, да ночлег.
Где ты, озимь? Где ты, озимь,
уходящая под снег?

Эти слёзы на морозе,
как поминки каждый год.
Где ты, озимь? Где ты, озимь?
Где спасительный исход?

ПО ЗАКОНУ ЖАНРА

О том, что жизнь – трагедия
по всем формальным признакам,
не только в Википедии
написано и признано.

А значит, невезучие
селяне, горожане
себя и близких мучают –
всё по закону жанра.

Но как бы мы не бредили,
не будет жизни вечной.
По мне, трагикомедия
куда как человечней.

Законов здесь немного:
уныние – ошибка,
для каждой безнадёги
отыщется улыбка.

Другие здесь настрои,
приоритеты в силе.
Пусть умерли герои,
но хорошо, что были.

ЧЕЛОВЕЧИЙ УДЕЛ

Человечий удел –
испытать, как закланье,
одноразовость тел
и безмерность сознанья.

И не веря в писанья,
где бессмертные души,
мы исправно сознание
горячительным глушим.

Нам не жить просветлённо.
Лишь нахмурится осень,
мы в сердцах обречённо
Апокалипсис носим.

Он приходит с обходом
в больничной палате –
медсестрой с бутербродом
и в старом халате.

И усталые вены
рвут иголками в клочья.
Тленность целой Вселенной
являют воочию.

И предвестьем беды,
что зрачки успокоит,
свет угасшей звезды
или что-то такое…

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

ПРАЖСКАЯ ИМПРЕССИЯ

Часть I
Перелёт в Прагу, замок Глубока-над-Влтавой

«Пусть было, как было, – ведь как-нибудь да было!
Никогда так не было, чтобы никак не было».
Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

*

казалось, в спокойной улыбке пилота
нет места нашим страхам.
казалось, лететь над облаками
безмятежно просто,
и даже воздух в самолёте
полнится ангельской тишиной,
баюкая наши голоса своей свободой.

но несколько минут сильной турбулентности
до тошноты напомнили –
глубоко вросла душа в тело.

*

сегодня скажу так:
однажды пришло время
из почти летней Одессы
выпасть мне в зябкую Прагу,
вобрать её в себя –
от дождливой нахмуренности,
от холодной мясистости камня
до открытой ладони Влтавы,
по бокам которой на языке древних городов
шепчутся памятники о своём «однажды»…

*

во всяком случае сейчас
не возникает вопрос:
куда идти? –
иду со всеми по замку
с символическим названием «Глубока»
через спальню княгини Элеоноры
мимо её величественного ложа с колоннами,
но вспоминаю вчерашний сон –
сижу на своей кровати,
а большая группа людей
проходит мимо меня со словами:
зачем ей столько живых цветов?
они умирают быстрее вещей…

нет живых цветов в спальне княгини,
но платяной шкаф с изображением тюльпанов
из наследства писателя Адальберта Штифтера,
купленный Элеонорой у его родственников,
вызывает у меня больше вопросов,
чем «Бабье лето»

*

в чём суть людей,
измеряющих время полнотой далёкого эха?
вот мы исподтишка
щупаем старинные фламандские гобелены,
прицениваемся к фаянсу и массивным картинам,
проводим пальцами по стенам из ценных пород дерева,
шумно вдыхаем запах величественной библиотеки:
ах, двенадцать тысяч книг на разных языках!
эх, вавилонская башня…
мы растягиваемся вереницей ошеломлённых зрителей
по древнему замку.
его готическое нутро бесстрастно
поглощает всех входящих,
принимая за свою полноту
каждую вещь в себе.

*

куда бы мы ни шли
время – навстречу и в спину
подглядывает
в замочную скважину каждой вещи.
конская маска и латы с гравировкой 1540 года,
гобеленовые Юдифь и Олоферн –
их именам снятся разные боги…

– аллегория зрения, – шепчут купидоны Брейгелям.
– всё увидели, идём на выход, – торопит нас гид.
– выход везде, где вы ходите – мелькает чужая мысль.
или моя?
не забыть бы…

Часть II
Чешский Крумлов

«В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё,
что взбредёт ему в голову, словно в парламенте».
Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

*

есть разные жанры для передачи мысли.
выдохнуть смысл – что может быть проще?..
но вдыхается по-армейски кратко:
гора Шумава,
Ветряные ворота,
улица Широка,
сворность…
звонкий, с лёгкими нотками гордости голос гида:

по-чешски «сворность» –
единение людей, а не собачья стая.

…и я в гуще людей
на центральной площади
напротив музея пыток –
улавливаю всплески вечного единения
жертв и палачей.

*

откуда эта тоска по высохшей глине?
словно живое сердце, вспоминая обжиг,
принимает своё забвение в прахе,
лишь бы не заплыть воском
в одном из филиалов
музея мадам Тюссо, но…
они совсем близко –
Моцарт и Кафка,
Пикассо и Карл IV,
Казанова и Ленин,
Роженберги и Сальвадор Дали…
их сорок восемь.
восковой Далай-лама странной улыбкой
благословляет всех на выход
из колеса кукольных тел.

*

…и чувствами работать, как кулаками,
продвигаясь по узким старинным улочкам
среди множества себе подобных;
и говорить восторженные пустяки,
забывая, что здесь даже воздух –
замкнутое движение атомов,
заколдованных древними алхимиками;
и спешить за синим флажком гида,
чтобы вдруг наткнуться взглядом
на фрагмент герба Шварценбергов –
ворон выклёвывает глаз в отрубленной голове турка.

…а после – сидеть в весёлой корчме,
расположенной в бывшей тюрьме,
потирать своё ушибленное колено,
медленно похлёбывая грибной суп в хлебце,
не глядя в тарелки соседей
на запечённые свиные колени,
отвлекаясь поиском сложного ответа
на простой вопрос:
зачем нам атомные часы,
если звериный голод приходит по расписанию?

*

в середине группы, в середине этого города
вдруг кажется явственным серединный путь…
кажется
всё прошедшее
по левую и правую стороны
извилистой Влтавы
похоже на мир любой души,
где неминуемы его составляющие –
мост, замок, театр,
монетный двор, церковь.

и неизбежна верховная власть,
и человечий взгляд
неизменно упирается в призрачный силуэт
Белой Пани, баюкающей малыша
в каждом сердце…

Часть III
Прага

«Жизнь – не школа для обучения светским манерам.
Каждый говорит как умеет».
Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»

*

они говорят: эй, безумцы,
в горле катающие сумасшествие
словосочетаний и образов –
образцов безвольного романтизма,
играете, дети малые?
а жизнь – вот она,
облитая политикой, как бензином,
горит вечным огнём.

голоса глухие,
будто из-под земли…
кто они, святой Вацлав?

трава поёт,
полыхает Палах[1],
в небесном теле
набирая скорость

*

в памяти птица
слетает с бельевой верёвки,
вылинявшим платком
падает на землю.
ходили по ней, ходили –
по птице-земле,
не вытоптали.
я вместе со всеми.
кто дошёл, тому говорят:
скоро ход апостолов
пражского Орлоя.
смотрим снизу вверх
в толпе разноязыких
хочется смеяться,
кричать: я – живая!
слушать, спрашивать,
и чтобы в ответ – радость…
но мало силы в желании

*

фрагменты богемского хрусталя
в небесной люстре
видны лишь с близкого расстояния,
когда совпадают координаты
и взгляд в ожидании
сигнала точного времени
блуждает в поднебесье.

взглянешь ниже –
кукла-смерть на башенных часах
с колокольчиком наготове,
вдалеке полицейские вертолёты
лёгкими стрекозами
над разрушенным домом[2].
там Смерть уже сыграла
метановую прелюдию,
напомнив о настоящем…

*

гор*т* – говорю,
или мёрзну – слова в очереди
теснятся
от долгой игры сознания,
ветвей воображения.
пройти несколько улиц –
туда, где свежий след беды
взвесью разорвавшейся материи
собрал следопытов.
но бронзовый Моисей ближе
территориально.
у синагоги понимаю:
богатое словами слово –
«территориально».
буквенная экзистенция
победно берёт ум в плен –
тело терра тора
реально ритор
ирреально тор
театр на три тона ретро…

у каждой экскурсии своя цена,
у моей – выход из тьмы египетской

Часть IV
Пражская импрессия. Окончание

«Не всем же быть умными.
В виде исключения должны быть и глупые…
если бы все были умными, на свете было бы столько ума,
что от этого каждый второй человек стал бы
совершеннейшим идиотом».
Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»

*

какое нелепое зрелище
для каменистых надгробий –
моё лицо в окошке стены,
бутафорской границей отделяющей туристов
от старого еврейского кладбища…
какие нелепые фантазии –
вечер, сиреневый попрошайка,
за окном, с протянутым закатом –
требует с каждого:
дай немного своего времени…

чернея, уносит медные пятаки скупой щедрости
с иконами луны.
ему с ними спать
до следующего себя…

*

когда у вещи есть имя,
привычней ступать
в невидимый свет
сквозь плоскую щель между вещами.
вокруг говорят: Карлов мост…
что мне его название?
всего одна буква отделяет
правду на лбу голема от смерти,
всего одно желание жить
ведёт меня от вдоха к искушению –
выдохнуть себя в близкое нежное сердце,
и чтобы ближе только воздух,
много воздуха…

*

знаки препинания, упираюсь в вас.
без вас, будто без рук –
сейчас без вас будто…
но легче ли без рук,
чем с тяжестью знаков,
удерживающих путь по горизонтали?

милый Франц,
неизбежна любая точка,
которую ещё не достиг, но увидел.
ты не видишь меня,
я вижу тебя в себе,
вижу – мы стараемся избегать струй
президентов, писающих[3]
на карту своей страны,
но неизбежна струя их точек…

*

по хотению ползёт букашка вверх,
на травинке опоры
р а с к а ч и в а я с ь,
измеряет своё желание
у с и л и я м и.
а в страсти скачками
прыг через голову,
вот он объект страсти –
перепрыгнутый враг,
не ставший другом.
ползёт вверх букашка
п о х о т е н и ю.
где любовь? где?
анализирует себя,
агонизирует:
взлёт или падение?

но Чёрный по белому
о б ъ я с н я е т:
на улице Гусовой высоко висит Фрейд –
не падает и не взлетает[4]

*

во мне говорящее
говорит вовне:
если вся реальность –
это ощущение во мне,
кто слушает?
ночь рассказывает сказки
особо пугливым животным,
день учит смелых птиц видеть разницу
между светом и всеми.
на фоне света даже электрики –
служители тьмы,
на фоне всякого памятника
самые опустившиеся люди
светятся.
сколько их бликует
возле Собора святого Вита! –
выдувают из себя радугу впечатлений
в конечные точки – слова.
эти мыльные пузыри личного опыта
отражают любой пиксель на карте мира,
умещаясь в сердце и более
нигде…

Примечания:

[1] Ян Палах – студент философского факультета Карлова университета в Праге. В знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Советского Союза и стран Варшавского договора 16 января 1969 года, облив себя бензином, совершил самосожжение близ Национального музея на Вацлавской площади в Праге.

[2] 29 апреля 2013 года – в центре Праги в здании школы кино и телевидения, которая входит в состав Пражской академии музыкальных искусств, произошёл мощный взрыв метана. В результате было разрушено здание, пострадало более 50 человек.

[3] Скульптурная композиция, представляющая собой две бронзовые мужские фигуры, писающие перед собой в воду, находится во дворе музея Франца Кафки на Пражской Малой стороне. Её автор Давид Чёрный. Фигуры управляются компьютерным процессором, который регулирует поворот бёдер и поднимает член таким образом, что струя на поверхности озерца в виде Чешской Республики выписывает слова и фразы. В простонародье памятник окрестили «Президенты, писающие на Чехословакию».

[4] На выступающем элементе крыши одного из домов Праги, расположенном на улице Гусовой, находится скульптура висящего человека в костюме. Скульптура посвящена известному профессору Зигмунду Фрейду. Её автор Давид Чёрный. Одной из основных версий замысла скульптора в данной работе является желание показать оторванность интеллигенции от народа.

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

ТОЛЬКО НЕБА МНЕ И НЕ ХВАТАЛО

***

ведь нормально сидели, и было же всё до фени им –
ни кола, ни двора, ни страны, ни семьи, ни племени…
так возились бы дальше в саду, да под сенью райскою,
кожурой подтираясь то собственной, то хозяйскою

но пока здесь бардак, калиюга и одиночество,
золочённым плодам как попало висеть не хочется:
как искрятся они, как прекрасны в своём свечении;
золотые плоды – предшественники сечения

перезреть в одиночестве, что может быть ужаснее?
и кора превращается в змия с разверстой пастию,
и густая листва заряжает свой сладостно-подлый гимн,
золотыми огнями плоды осыпая под ноги…

но ни он, ни она одного не учли, придурки, –
золотые плоды полагается есть без шкурки,
и тогда уж тебя не заметит ни бог, ни дьявол –
одинакова кожа, отрезанная от яблок

РЕЖИССЁРСКАЯ ВЕРСИЯ

вот они напяливают гуччи или армани,
представляя себя рианной или киану,
помаленьку подтягиваясь к экрану –
обнулить свою личность, выжечь исходный код.
лишь бы только казаться похожими на кого-то…
и пока он из суеты высекает ноты
саундтрека, нелепым вопросом «кто ты?»
из процесса его выдёргивает народ

быть собою, а большего вроде бы и не надо –
но его постоянно путают: то с айпадом,
то с безмолвной подставочкой под награду,
с ненасытным, покорным мальчиком для битья.
он тогда надевает волшебное покрывало,
превращается в разъяренного буцефала
и пытается смыться из кинозала,
но затея эта срывается, аяяй

начинает сначала, старается быть покорным,
но его мгновенно забрасывают попкорном.
он едва добирается до уборной,
чтобы вновь услышать до дрожи знакомый стон:

не стесняйтесь, маэстро, не мешкайте на пороге,
вероятно, пришла пора подводить итоги:
дело вовсе не в этой волшебной тоге –
вы божественны, так проследуйте в пантеон!

всюду новые образы ищут его похожесть,
и тогда он остервенело сдирает кожу…
экзекуция врядли ему поможет –
здесь давно никто не спешит никого узнать.
пусть финальные титры взлетают неудержимо –
он запомнится всем как гвоздь в колесе режима,
как венок из порезанных сухожилий,
как последняя ниспосланная благодать

ГОРА

абонент лежит,
и бежит сигнал,
не жалея жил,
но сулит финал
овертон окна,
и гора лежит.
абонент привстал,
перевёл устав,
перевёл режим.
перевёлся с лайфа
на киевстар –
но гора лежит.
абонент, дружок,
это просто шок,
это только сон.
ну давай шажок,
и ещё шажок –
открывай сезон.
не хватает квот,
и плетётся год,
точно вечный жид…
очень странный год,
но и он идёт,
а гора лежит…
сам себе в горах
выдал на гора
новогорный гимн.
под лежачий камень
течёт ура –
абонент храним

***

Е.Г.

я ловлю в экран квадрат портала,
лазурита крошечный клочок.
отраженье мне бы не мешало,
если был бы телефон включён.

(аккомпанемент соседской дрели
прорубает в памяти тоннель:
вспоминаю небо и качели,
из Столярского виолончель…)

тут его практически не видно –
от экрана голубая треть –
путь назад, теряющий ликвидность,
детство заставляющий стареть.

остальное пусть заполнят рифмы,
потому что, если не они –
паутины сладостные рифы
путника стремятся заманить.

поднимаю голову на небо
сквозь глазок меж бесконечных крыш
и гадаю, как решить сей ребус?
как такой пейзаж изобразишь?

как вообще дошли мы до такого,
как мы до такого добрели,
что не видно неба голубого
из любого уголка земли?

среди буден с привкусом металла
носимся и мы вперёд-назад…
только неба мне и не хватало –
я его нашла в твоих глазах.

***

пусть в тучах вдалеке беснуется вода,
и ртутный горизонт не предвещает света –
они ещё идут по солнечным следам,
смеясь над тем, как там расплатятся за это

по обе стороны уже собрали рожь –
озимые сорта вберут побольше влаги
и толку сожалеть о том, что не вернёшь,
коль скоро всё вода размоет на бумаге

но в воздухе ещё танцует аромат,
сбивающий под дых с намеченных дистанций:
и кажется – вдохнёшь, но выскользнет назад
и вот уже ведёт в своём палящем танце

а в следующий миг развернется покров,
они уйдут, мыча, сквозь солнечные лужи…
пусть Гелиос, чудак, пасёт своих коров
теперь уже без них. он больше им не нужен

***

написанная победителями,
не терпящая сослагательного наклонения,
требующая
целительного заклинания
неподчиненного предложения
(если не думать об этом заранее)
скажет потом – люблю его раннего

***

по рекам бытия
сшивай пороги тьмы,
разглаживай края
серебряной тесьмы.
от скатерти зимы
отстирывая сон,
забудь о том, что мы –
обед на семь персон.
что ждёт веретено
за вереницей роз,
что улетишь на дно,
едва ступив на мост.
но то, что вечен рост
и неизбежен хруст,
а мир предельно прост –
запомни наизусть

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

МЕЖДУ
повесть

Когда я был собакой…
Ф. Сологуб

1. ПРОЛОГ НЕ НА НЕБЕСАХ

Однажды обыденным вечером, после долгого утомительного дня, я силился читать маленькому сыну сказку братьев Гримм. Собственно, это можно считать передачей традиции, установлением эмоциональной связи. С детства люблю эти сказки, особенно всё страшное и ужасное в них. Наверное, такие сюжеты – лучшее, что дарит нам жизнь. О них чаще всего вспоминается, если удалось из них выбраться, – из кромешного ужаса к свету. Итак, я бубнил:

– Вскоре она и родила мальчика, у которого во лбу красная звезда…

Я подумал об истоках коммунистической идеологии в Германии, о Карле Марксе, но ничего не сказал об этом, лишь продолжил зачитывать:

– Тогда обе её сестры, сговорившись между собою, решили бросить этого милого младенца в воду. И в то время, как они исполнили своё злое намерение, вдруг взлетела вверх птичка и запела:

На смерть осуждённый,
Тонуть обречённый,
Младенец невинный,
Твой час не пришёл!

Услышав это, обе злодейки испугались и пустились бежать домой. Когда король вернулся из поездки, они сказали ему, что королева родила собаку.

– А я бы даже хотел, чтобы мой сын был собакой, – перебил меня мой ребёнок.

Я же пристально на него поглядел и подумал: «Что-то в этом есть, послушания современным детям не достаёт, равно как и преданности… и вообще, им следовало бы поучиться у собак». Но, однако, вслух этого не высказал и просто продолжил:

– Король ответил на это: «Что от Бога, то всё на благо».

Эта фраза на столько меня потрясла, что я перешёл к полностью автоматическому чтению, сосредоточив всё своё внимание не на произносимых словах, но на этом утверждении. Неужели благо? Как можно считать все наши нелепые блуждания благом? А их отсутствие? Да ведь это ещё хуже! Я думал о Гильоме, который бы мог все это разъяснить, играя понятием «бог». И ещё эта собака… Нет, увы, собакой я быть не сподобился. Где мне до этого благородного животного! Но и обычным человеком я ведь тоже давно как не являюсь, хотя уже много лет тому, как перестал задумываться над этим, принципиально отказавшись от любого самосознания. Ведь, как сказано в Мидраше Рут Рабба, 3:4: «У каждого праведника имеется своё личное пространство». Толпы – это для людей с низким духовным уровнем… а, значит, и религии? И воспоминания нахлынули.

2. РОЖДЕНИЕ ЗОМБИ, ИЛИ FIRST NIGHT

На самом деле, если смотреть на вещи здраво, не замыленным догмами, стереотипами, штампами взглядом, без всяких идолов Фрэнсиса Бекона, конечно, по сути, я никакой не зомби. Мыслю вольно, независимо. И всё сам. Всегда сам. Это атипичная внутренняя свобода, иммунитет от любого зомбирования – прямой результат того, что, на самом деле, формально я зомби. И здесь ничего не поделаешь. Кем бы я себя не осознавал, как бы я ни поступал, ни думал – я зомби. Это паранормальный нормальный

факт, сверхъестественная естественность, факт. Парадокс? Вовсе нет. Ни капельки. Логическая несостоятельность моих рассуждений, мнимая парадоксальность – лишь результат невозможности полностью рационализировать, формализовать язык. Но по порядку.

В юности мне мнилось, что история даёт ключ к пониманию сути нашего мира, в котором человек – мерило всего. Ведь ничто не стабильно, всё меняется. И любую вещь можно ухватить, как нечто относительно целостное, постигнув динамику её изменений. Я был достаточно наивен, читая настоящих историков, полностью игнорируя предисловия в советских книгах. Возможно, когда-то давно я честно попробовал начать читать книгу сразу после фронтисписа, но не пошло… Следует оставить создание ложной памяти. Я фантазирую. Не помню, когда и почему я отказался от введений к текстам. Между тем, именно предисловия и содержали базовую информацию об официальной советской исторической науке. В книгах о Древнем Египте рассказывалось о Ленине, и в книгах о крестовых походах верховодил Ленин. Ильич был с нами, с ними и везде и всегда. Я не мог быть своим в среде советских идеологов. Совершенно. Времена, конечно, изменились. Но люди остались прежними. Впрочем, это даже не советское, а общечеловеческое. И учёные слишком часто ищут простые ответы в пустых словах. Переосмысление сути часто осознается как угроза существующему миропорядку, принимаемому за конечную истину. Кроме того, исторический диалог – это нарратив. Важно вписаться в него, а не понять «как было». Вспоминается Мигель Сервет, который в XVI веке очищал первоначальное христианство от позднейших наслоений… и на этом погорел.

А я был упорен и записался на подготовительный курс. Один из важнейших предметов там – английский язык. Эту дисциплину часто, приблизительно раз в два года, ставили вступительным экзаменом. Учительница, впервые войдя к нам в класс, бодро продекламировала: «Так какую мы с вами будем читать книгу? Вы, конечно, любите детективы?». К сожалению, природа одарила меня зычным голосом и многочисленные «да» заглушило моё твёрдое «нет». Я вовсе не пытался никому ничего навязывать, даже старался высказать свою позицию предельно тихо. Но никто и не кричал. Моё тихое «нет» заглушило тихие «да». Кажется, не я один высказался против детективов. Но услышали меня отчётливее других. И ведь, в самом деле, что я должен был сказать? Солгать? Я и правда не зачитывался детективами. Где-то в глубине души я уповал на разбор текстов Э. По. Впрочем, возможно, учительница как раз планировала развитие событий, не предполагавшее выбора. Она быстро, твёрдо и решительно произнесла: «Ну что ж. Будем читать рассказы Голсуорси». К чему был её вопрос, если автор заранее известен… Возмущённый гул стал ей ответом. А я испытал горькое чувство вины. Но скоро я проникся чужой болью, осознав, что моя юдоль ещё не самая страшная. Никогда мне не забыть судьбы британских бедняков, вместе с которыми мы непереносимо страдали, разбирая остросоциальные в далёком прошлом тексты. Нет-нет, разумеется, Голсуорси бывает замечательным. Но нам предлагали очень уж занудные рассказы, словно отобранные специально в качестве мести за нелюбовь к детективам. Тематика сборника явно продиктована сутью идеологии недавних лет. Октябрьская революция часто оправдывалась несправедливостями эпох и государств, не имеющими к ней никакого отношения.

После одного из уроков (кажется, то была философия) я двинулся в туалет по пустому пространству поздневечерних коридоров. Вдруг за спиной раздался гулкий звук торопливых шагов, но, не успев обернуться, я получил удар по голове. Помутнение, мрак, падение… Да-да, меня убили. После урока философии. Вполне в духе «Братьев Карамазовых». И эта причастность моей личной судьбы традиции великой литературы и сегодня наполняет меня гордостью.

Я не знаю имени преступника, нет у меня и точной, однозначной информации о его мотивах. Рискну предположить, что виной всему злополучный Голсуорси. Любопытно, что и ощущения после смерти я помню плохо, лишь какие-то смутные чувства без внятных зрительных образов. Так я совершенно позабыл, был ли коридор со светом в конце, были ли ангелы и черти, был ли там только мрак и забытье – отсутствие всего… ничего в моём поврежденном сознании. Удивляться тут нечему. Наша память не только фиксирует, но и редактирует, дополняя.

Из пустоты я вывалился в тупую боль. Тяжесть. Словно все члены налились свинцом. Нет, это всё от головы. Мозгу трудно, а он это сообщает телу. Количество ощущаемых деталей стремительно нарастает. Вот уже неприятное ощущение на коже. Я потёр пальцы друг о друга, – налёт? Земля или пыль? Что-то неприятное. Несколько мгновений… и вот физическое состояние уже позволяет мне открыть глаза. Хочу ли я этого? Какой-то необъяснимый страх. Да в чём тут дело?! Я с силой разжимаю веки. И шок. Реальность, которую я никак не ожидал увидеть, – сперва как совокупность звуков, образов, запахов, а после множество необычных деталей. Мне потребовалось несколько мгновений осознать, – я лежу на столе в пустой аудитории. Мерцающий свет, – стол возвышается в центре круга свечей. Сознание не сразу уловило стоявшую за кругом и бубнившую заклинания уборщицу Марию в чёрном балахоне. Мы её называли Просто-Марией. Сегодня это дама средних лет, полная и нелепая, а в прошлом блистательная кубинская ученица, мечтавшая сбежать, как и многие её сверстники, из коммунистического рая в капиталистический ад. Внезапно выигранная возможность учиться в СССР, в одесском вузе, ей мнилась

замечательным шансом пробраться ближе к Испании, в которую, если повезёт, потом получится улизнуть. Тщетно. Где там! Жизнь теряла смысл и Мария Кортез стала Просто-Марией, уборщицей в Одесском государственном университете.

Просто-Мария заметила моё пробуждение, её глаза блеснули, она плавно подняла руки вверх, жестами усиливая выразительность латинских заклинаний (как здесь не вспомнить Агриппу из Неттесгейма с его вниманием к жестам). Я позавидовал в тот миг уборщице, её родной испанский близок латыни. Ах, если бы я с детства владел древними языками, то, возможно, теперь бы я не лежал на столе, а стоял бы в балахоне, как истинный маг. Но увы-увы. Судьба властно диктует нам свои предписания, игнорируя данную людям свободу воли. А ещё подумалось: «Как же здорово, когда человек находит своё истинное призвание, занимается своим делом. Прихорашивающаяся уборщица Просто-Мария казалась неприметной и нелепой, а растрёпанная ведьма, стоящая предо мной была прекрасна своим уродством».

Но течение моих мыслей прервало прямое обращение ко мне. Покончив с заклинаниями, уборщица направила прямо на меня жезл и изрекла: «Слово плоть бысть. Тебе подчиняться мне отныне и вовеки веков, аминь!». Вдруг по-русски. Меня это удивило. Несолидно, исчезает всякая загадочность, таинственность, никакой «абракадабры». А ещё, с чего бы мне кому-то подчиняться? Что за цирк? Но я скромно промолчал. Перебивать некрасиво. Пусть выговорится. Я уж потом возражу. А Мария замерла, очевидно, ожидая моего ответа. Южная, полная страсти женщина рассчитывала на какую-то пылкую страстную реакцию. А её не было. Повисла неловкая пауза и Мария снова взяла инициативу в свои смуглые, с длинными пальцами, цепкие руки:

– Слово плоть бысть! Амен!

Неловко перебивать Марию, но ситуация развивалась неожиданно и странно, создавая ещё более странные и неудобные моменты. Кроме того, она пялилась на меня и явно чего-то ожидала. Так что я прокашлялся и негромко обронил:

– Да, кстати, мне кажется, сейчас довольно поздно… Вы не подскажете который час?

– У меня нет часов, – удивлённо парировала Мария. Она несомненно ожидала другого ответа. Но что я, бедный студент, мог ей предложить? Обстоятельства нашего общения казались странными, непривычными, а я терялся, не понимая, как следует действовать.

– Ну я, пожалуй, всё равно пойду. Я убеждён, время позднее. А ехать мне далеко. Значительную часть пути точно придётся идти пешком.

– Ах, глупый! Ты так ничего и не понял! Куда ты пойдёшь? Ты уже несколько дней числишься мёртвым. К слову, тебя не удивляет обстановка? – бессистемно выпаливала Просто-Мария. При этом у неё от удивления глаза лезли на лоб.

– Обстановка, прямо скажем, мрачноватая. Мне нравится. Я люблю ужасы. Но жизнь после смерти я себе представлял несколько иначе. Прошу прощения, если разочаровал.

– Вот не предполагала, что зомби могут рассуждать подобным образом… Хотя раньше я никого в зомби не превращала. Стыдно признаться, никакого опыта. В моём-то возрасте!

– Неужели вам непременно нужно обращать кого-то в зомби? Кроме того, вы вовсе не выглядите старой.

– Я, как и многие мои земляки, получила древнюю традицию, которой, вот, до сего дня не держалась. Это пока моя первая попытка сделать себе зомби по семейному рецепту. Так моя бабушка когда-то заполучила себе мужа… И её мать. И мать её матери. У нас там в деревне найти покладистого супруга – задача непростая. А тут… Даже не знаю, зачем мне зомби. Ну в хозяйстве точно лишним не будет.

– Если это латиноамериканский рецепт, то почему вы вставляете в заклинания славянские формулы? – в моей голове замелькали имена изобретателей альтернативной истории, накатывала тошнота.

– Я не следовала слепо ветхим бабушкиным предписаниям, но подправила рецепт под местные реалии. Каждое место имеет свои специфические особенности, находится под неким своим астрологическим влиянием. Всюду своя особая культура, оригинальная ментальность. Между тем, славянские методы зомбирования наиболее древние и могущественные. Я немало поработала, чтобы взять всё лучшее из латинской и славянской традиций, соединив их в новое могущественное действо.

– Очень сожалею, что выбор пал на меня. Я, признаться, жутко ленив. И немного огорчает дикость, отсталость. Удручает это следование сельским невежественным суевериям. Вот древние египтяне ушли в технологическом развитии далеко вперёд. Они одушевляли статуи, как свидетельствует герметический текст «Асклепий». А в гробницах размещали небольших заупокойных роботов-ушебти. А тут? Ручной рабский труд. Тьфу.

– А ты зануда. Ох, зануда. Я подарила тебе новую жизнь. И где благодарность?

Мы ещё какое-то время обсуждали детали. Моё новое положение создавало некоторый дискомфорт. Но в целом я смирился с новым положением. А что делать? Тут даже и руки на себя не наложишь, когда уже мёртв. И я находил в своём положении преимущества, – я познаю неведомое, тёмную сторону, о которой большинство людей даже и не подозревает.

3. НЕКОТОРЫЕ НОВОСТИ

Моё новое положение создавало массу неудобств. Главное – абсолютная новизна ситуации, требовавшая неординарных реакций, необычных действий, к которым я никогда не готовился, не имел для них жизненного опыта. В моём положении также невозможно полагаться на книги, советы. Всё впервые, всё вновь, всё не так.

И никакой психологической поддержки. Я не мог показаться родственникам и знакомым. Я для них умер. Моя смерть зафиксирована, задокументирована, а воскрешение не имеет научных, рациональных оснований. Выдержит ли сердце близких мне людей, если они вдруг увидят меня в добром здравии? О психоаналитиках в то время и в том месте знали только по книгам… Впрочем, повезло, да.

Огорчала невозможность поступить в университет. Ну что ж. Никто не знает, смог бы я успешно выдержать экзамен. Некоторые годами стремились к высшему образованию, превращая подготовительные курсы в клуб добрых знакомых. А ведь даже сумей я достойно подготовиться, никаких гарантий зачисления. Анкетные данные, ведущие к пометке на сочинении – «Не раскрыл тему». Так что, нет ответа на вопрос, как сложилась бы моя судьба, если бы я не превратился в зомби. В конце концов, ни история, ни индивидуальная судьба не имеет сослагательного наклонения. А мне хоть не нужно «устраивать жизнь» в человеческом сообществе, в качестве человека, то есть переступая через всё человеческое.

И недопустимо говорить, что зомби – творец своей судьбы, а многие проблемы решаются деньгами. Я практически убеждён, липовые свидетельства, подтверждающие принадлежность миру живых, продаются и покупаются на чёрных-пречёрных рынках, – рассказывали ли о таких в пионерских лагерях страшные истории? А реальность вполне вообразима до физической ощутимости. Так и вижу: «Справка выдана ФИО. Районная комиссия жилищных услуг гражданскому населению установила, что имярек не является зомби и годен к учёбе в университете. Подпись: управдом Клавдия Ильинична Иванова». Нужно ли мне это? Искать истины, – в этом цель научных поисков, – погрязая в обмане о каких-то базовых вещах? Отсутствие формального образования, упорядоченной картины мира – это недостаток для человека, но так ли уж это плохо для зомби? Я существую в перевёрнутом, ином мире, подрывающем основания нормального, нормативного существования. Я уже самим фактом своего существования приобрёл некие неведомые большинству истины, – ведь познание имманентно бытию.

Однако всё это пустые рассуждения. Мне же следовало найти работу. Хотя я и зомби, но зомби мужского пола. Просто-Мария формально, открыто вовсе не гнала меня на свободный рынок труда. Но проблематичность ситуации очевидна. Гроза висела в воздухе и даже где-то слышались её отдалённые раскаты из ближайшего грядущего, хотя сердобольная Просто-Мария терпеливо кормила, поила меня, предоставляла место в закутках корпусов на Французском бульваре. Но ситуация выглядела порочно с традиционной точки зрения как человека, так и упыря вроде меня. Просто-Мария иногда рассказывала, как на её родине под лирические, приятные, хотя и несколько монотонные народные напевы зомби, не страшась палящего солнца, усердно трудились на плантациях. В Латинской Америке не всегда требовалась скотина для пахоты. Особо отличившихся в сельском хозяйстве зомби награждали правом впрягаться в плуг. Впрочем, крестьяне и крестьянки экспериментировали. Люди всегда и везде ищут, экспериментируют, изобретают. Кстати, недоступная европейским читателям тайна повести Маркеса «Полковнику никто не пишет» в том, что один из главных героев, петух, был в молодости пахотной птицей. Да-да. Петухов, индюков, гусей и уток тоже часто впрягали в плуг. Птицам необходимо лишь слегка подкрепиться пейотом, чтобы трудиться не хуже буйвола. Всё это рассказывал Маркес в черновых версиях своего текста. Но после, понимая всю глубину культурных различий народов и государств, он вычистил местную специфику из окончательной версии повести, подогнал всё под лишённые склонности к воображению вкусы, дабы невежды не обвинили его в насмешках над читателями. Просто-Мария приходилась Габриэлю Гарсия Маркесу родней и лично видела некоторые его записи.

Просто-Мария часто сетовала на упущенные её родиной возможности. Латинская Америка могла бы перещеголять Китай. Надругаться над правами и свободами зомби куда проще, чем измываться над достоинством людей. И с формальной точки зрения всё чисто. Какие права человека могут быть у того, кто человеком не является? Но у Латинской Америки две проблемы, – дураки и джунгли. Не хватило ума у наркобаронов вложиться в будущее человечества, воздвигнув чадящие фабрики, заполненные зомби.

Впрочем, развитие ситуации с правами возможно самое неожиданное. Говорят, немногочисленные перебравшиеся в Индию зомби защищаются государством и правом. Их признали разумными мёртвыми личностями, обладающими всеми человеческими привилегиями, если таковые имеются.

Рассуждения Просто-Марии о моих, в сущности, правах звучали обидно. Задевало пренебрежение, словно я не такой как люди. Да разве у зомби нет глаз? Разве у зомби нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Но я понимал, что языком Просто-Марии руководят её культурные установки и её тёмное подсознательное. Она выросла в обществе, где дискриминация зомби – норма, а равенство не является абсолютным идеалом. Ещё она, не понимая того, подчиняясь зову далёких предков, загоняет меня на плантацию. Базовый инстинкт.

Как всякая нормальная женщина, Просто-Мария частенько меня пилила. Неслучайно «топор» мужского рода, а «пила» женского. Архетипы. Всё говорила, что нормальные люди способны к перерождению. Умирая и возрождаясь вновь, человек меняется, обретает новые качества. Мне же превращение в зомби, якобы, не пошло на пользу. Я как был занудой, так им и остался. А самое ужасное – скрытая строптивость, прикрытая мягкостью. И она часто корила меня: «Ну посмотри на себя. Что ты за зомби, прости Господи! Пошёл бы, убил кого-нибудь, а то сидишь и книжки читаешь».

Я старался ей помогать, чем мог, здесь и там. Иногда, впрочем, и ленился. Лень присуща любому живому существу… как и не живому. Но следовало подумать и о зарабатывании реальных денег. Протёртой пылью особо не разживёшься. Я же ничего не знал о рынке труда для зомби в нашей стране и потому метался между совершенно нереалистичными, фантастическими проектами. Для меня – работа водолазом. Дышу ли я? Нужен ли мне воздух? Конечно, моё жалкое человеческое тело бы, вероятно, размокло от чрезмерного нахождения в воде? Я подумывал сходить в цирк и предложить им шоу ужасов с моим участием. Ведь я – настоящий зомби! Однако и этот проект вскоре вызвал сомнения. Я не обладал жуткой, внушительной наружностью. Многие люди обладают куда более подходящей для зомби внешностью. И актёр, изображающий зомби, выглядел бы в этой роли куда убедительнее, чем я. Ещё меня посещали мысли об армейской службе. Я пацифист до мозга костей. Но убивать за деньги – это столь природно, естественно для зомби, как считалось, верилось. Я видел себя представляемым к награде за утечку вражеских умов в мой желудок. А ещё мечталось покорять космос, обретая не только телесное, но и идейное бессмертие, оккупируя мозги рядовых граждан.

4. ШАБАШ

С древних советских времён Одесса присутствовала на оккультной карте мира. Не было недостатка в разных йогах, каббалистах, колдунах и всяких банальных искателях высшей мудрости. Даже на мехмате в былые времена учительствовал лектор, преподававший после своей основной дисциплины ещё и йогу для страждущих студентов, – прежде он успел поработать в Индии и набраться от учеников вековой мудрости. Где-то в тайных местах собирались и любители поколдовать. Я слышал об этом ещё в довольно юном возрасте и всегда любопытствовал, как они выглядят, о чём говорят. Когда-то судьба свела меня с одним человеком, ведавшим тайные тропы в этот круг… ковен… уж и не знаю, каким словом обозначить. Я просил его ввести меня в число «избранников духов». Но тот лишь отшучивался, оставаясь при этом честным, он говорил, именно то, что думал: «Это всё нехорошие люди, злые, самовлюблённые эгоисты. Они на тебя плохо повлияют». Мне не верилось. Казалось, люди, занимающиеся духами, духовны, а потому и возвышены, добры и высокоморальны. Потом, через много лет, я осознал ошибочность своего хода мысли. Факт состоит в том, что в этой среде много эгоистов, завышенное самомнение которых ведёт их путями, далёкими от праведных. Сама по себе любовь к себе, как меня научили потом, – не порок. Но некоторые её формы ведут к печальным последствиям. Впрочем, есть у меня и другое объяснение. Для животной составляющей человека наличествует притягательность в простоте агрессии, а ещё и утомлённость сложностью и амбивалентностью цивилизации. После долгих утомительных дискуссий хочется непорочного человеческого мордобития. А порой и волшебства. Мне потом приходило в голову, что колдуны обречены быть рядом с преступниками, даже если такое соседство их и не устраивает. Чёрные маги – элита ада, ненавидимая низами. А ведь смешно думать, что Антон Шадор Ла-Вей – зло. И странно даже ставить Блаватскую рядом с Гитлером или Сталиным. Но есть, вероятно, какие-то «тонкие, властительные связи»…

Относительно же моей личной встречи с колдунами, мне отчасти повезло, что я стал зомби. Судьба, не иначе. Или промысел. Для зомби самое место среди легионов тьмы. Так я объяснил потом сам себе свои устремления.

Каким-то неизвестным мне образом оккультисты сумели договориться с университетом о предоставлении им помещения для вечерних встреч. И как раз не в старых корпусах в центре, а в новых, на Французском бульваре! А я уже вполне пообжился, поосмотрелся и подумывал о возможностях возвращения к светской жизни. Да-да, задача непростая, город маленький, всюду какие-то знакомые. И всё же. Недопустимо вот так просто похоронить себя за плинтусом.

Пойти на поклон к волхвам казалось логичным. Это рядом, нет необходимости долго гулять по улицам и знакомым местам, а компания новая, неведомая, а сам я, можно сказать, мифическое, сказочное существо. И я пошёл. Просто-Мария приятельствовала с этой компанией и представила меня им. Собственно, лишь назвала моё имя и сообщила, что мне интересны их занятия, и сам я могу оказаться весьма полезным… нет, она не может конкретизировать, это довольно очевидно, они сами всё смогут почувствовать. Всё в таком духе, как-то так, размыто, невнятно, неопределённо. Но главное было озвучено. Мы все нужны друг другу. Я же счёл за лучшее пока не раскрываться и не сообщать им о своей ненормальности, лелея своё инкогнито. Мой бледный вид и необычный запах не вызвали особых подозрений. Ну, очередной умученный от Дамы Философии молодой человек, в квартире которого перебои с горячей водой. Бывает.

Говорят, великий, последний римлянин Боэций трагически погиб на следующий день после встречи с Философией. Она как бы представляется вестницей его смерти. Вспомним и трагедию Сократа с его предсмертной речью. Но не суть.

Отторжение произошло с моей стороны. Хотя я формально и не был жив, мне стало немного дурно от мощной отрицательной энергетики. Зомби тоже бывают тонкими и чувствительными. Чего уж там. Но, всё же, я слушал. Помимо меня на сборище присутствовал ещё один новичок. То был очень нервный, исступлённый юноша. Резала ухо его грубая, малокультурная речь. Типичный представитель «простого народа», такого уровня, какого в реальности практически и нет, наверное, но который любят выдумывать для себя некоторые демагоги. Молодец парень, он оправдал надежды многих политиков и журналистов, подстраиваясь под образцы, на которые они ориентируются. Впрочем, тяга к знаниям его облагораживала, возносила на новый для него уровень бытия. Он задавал вопросы о практической магии и получал ответы, которые ему давали собравшиеся. Особенно выделялся полноватый, благодушный сангвиник с несколько небрежной и одновременно вкрадчивой, доверительной манерой общения. Такой – душа любой компании. Я же ощущал исходящую от него мощную магическую энергетику. Но как же мало он внешне походил на живущего в уединении мудреца! Как же внешность порой обманчива! Он всеми вокруг признавался очевидным авторитетом. Ответы его не отличались законченностью и простотой, но, я полагаю, он сознательно стремился говорить на ожидаемом другими уровне. Его ответы были построены приблизительно по такой схеме: я вижу, ты правильно всё понимаешь, молодец, а возникший у тебя вопрос – не вопрос вовсе, такое бывает у всех, поступать следует так-то.

В моей ситуации чистое созерцание – лучшая стратегия. Просто выдать себя в среде закоренелых эгоистов… Что может быть глупее? Но я несдержан. Очевидно, это результат некоего разложения тела. Ведь я зомби! Против природы не попрёшь. И уж стал таким, будь добр, поступай как подобает истинным представителям твоего… сектора? Национальности? Профессии? Ну, не суть. Гибкость – свойство живых существ. А на какие компромиссы могут идти мёртвые? И, когда полный человек (после выяснилось, что его зовут Борис) в ответ на какой-то вопрос об использовании каббалы в магии уверенным тоном рассуждал о том, что да, каббала – это сердце истинного колдовства, средоточие его сути, я вдруг прочитал пламенную речь о порче истинной каббалы, которая является лишь толкованием Пятикнижия. Я как раз впечатлился Гершомом Шолемом, которого мне подсунула Просто-Мария вместе с другими книгами, как она думала, об оккультизме, чтобы я скорее осознал своё предназначение, заключавшееся, по её мнению, в беззаветном служении ведьме, то есть ей.

Борис встрепенулся и, похоже, обрадовался моему хамству: «С тобой есть о чём поговорить». Я не помню доподлинно всех его гипнотизирующих слов, но в целом, то были пространные рассуждения на тему «если бы библейские пророки увидели современный иудаизм, они бы очень удивились». Нужно сказать, Борис прекрасно знал текст Писания, свободно в нём ориентировался.

Когда встреча закончилась, он позвал меня в гости на рюмку чая. Мы брели по ночным улицам, а Борис всё толковал Библию, обронив где-то: «А ведь знаешь, я потомок Магида из Межерича». Но в целом беседа была светской, иногда хозяин дома пытался утвердить свой авторитет, неожиданно заговаривая о каких-то случайных и малоизвестных фактах. В его дурашливой манере общения обнаруживалось больше пиратского, чем хасидского. Он даже держал попугая. Если он отдаст, подобно Одину, один глаз за магические знания, то сходство с пиратом достигнет своего совершенства-энтелехии. А когда я начал пристально разглядывать птицу, он заметил:

«Эта птица – тоже пророк, истинный выразитель настроений населения. Слушай, формально, для общества я не колдун, разумеется. Я иеговист. Удивлён? Истинный маг должен следовать не принципам, но улавливать конъюнктуру из тонких миров, подчинять мир своей воле, не оборачиваясь, не считаясь с другими. Пророк Елисей вызвал двух медведиц, чтобы они растерзали сорок два ребёнка! Кстати, отметь символизм чисел “24” и “42” в Откровении Иоанна Богослова. Но о малолетних хулиганах. Без конца ищут оправдания пророку. Например, в том, что из этих детей не вышло бы ничего путного. Но Елисей убил детей, всё преступление которых на тот момент – острые, обидные слова. Он совершил преступление, он убийца безотносительно к детям, к их прошлому и будущему.И никакие оправдания и ухищрения не изменят этого простого и очевидного факта. От этого никуда не уйдёшь. И в этом простая правда нашего мира, нашего земного существования. Так вот. Мне сказали прямо, хочу ли я бесплатно ездить за рубеж. А я хочу. Путешествия стоят мессы. Для меня не составило труда изобразить для истинно верующих дурачков, которых там большинство, благочестивого пастыря. Но это временно. Скоро всё изменится. Вот мой попугай принимает подстилку из местных газет на дешёвой бумаге, а полную благости “Сторожевую башню” отвергает. Так и народ, покривляется и потянется к главному в своей сути, к бутылке водки или ещё чему-то из этой серии, когда поймёт, – Бог не даст им этих простых радостей».

Я слушал это одновременно с неподдельным любопытством и необычайным возмущением, отторжением. Я зомби. Мне не хватало гибкости, чтобы принять это. Однако я промолчал. Язык немного тлел и говорить было неприятно. И я лишь кивал. Да и нужна ли Богу защита проклятого существа? Рай – это для избранных, не для отверженных.

5. ТРУДОУСТРОЙСТВО

Как я уже говорил, мне казалось, что я могу быть воином или космонавтом. Мне подходят опасные профессии. В конце концов, я не жив и убить меня невозможно. Но я понятия не имел, к кому обратиться. В разных силовых структурах, в армии, в космической отрасли у меня не было никаких знакомств. Да я к тому же формально мёртв, старыми связями не воспользоваться… И где отыскать заветный адрес? К кому обращаться? Вот не представляю себе объявления: «Требуется космонавт. Желательно зомби. Оклад такой-то и такой-то. Работа в неурочное время. Молоко в тюбиках за вредность». А можно и: «Требуется боец-терминатор, сущий зомби. Жрущим мозг преимущества. Оплата сдельно». Сегодня я думаю, что для таких должностей нужна определённая удача, нужно стать зомби в нужное время в нужном месте. А это не про меня. И я лишь грезил. Но Просто-Мария была практичнее, ближе к стихии земли, была «земляной ведьмой», если можно так выразиться. Она определила меня работать на нескольких заводах одновременно. Я метался между заводами «Сопротивление», «Продмаш», «Эпсилон» и ЗОР. Загадочные названия. Завод «Сопротивление» никому не сопротивлялся, а просто производил резисторы. Не берусь судить, достойно ли они противостояли напряжению электричества, – я в них верил. Продмаш назван не в честь каких-то девиц, носящих имя Маша. Хотя это было бы логично, называют же кафе, кооперативы, конфеты, наконец, женскими именами. «Продовольственное машиностроение» звучит хуже, чем «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Ну где продовольствие, а где машиностроение? Эпсилон – греческая буква… загадка. И всё же, все знают, этот военный завод делает электронику. Я полагаю, что окрестившие его иерархи вдохновлялись фильмом «Операция “Ы”». «ЗОР», бывший завод промышленника Гена, основан в далёком 1854-м. С тех пор там произошло немного изменений. Видимо, поэтому он и называется теперь «Завод Октябрьской революции», указывая на дела давно минувших дней. Народ придумал уточняющую формулировку, если кому-то основная кажется недостаточно ясной – «Завод обиженных рабочих».

Так или иначе, я с лёгкостью освоил несколько рабочих специальностей. Это совсем не сложно. Думаю, ПТУ нужны для адаптации ко взрослой жизни. Нет необходимости учиться на токаря или слесаря несколько лет. Недели, пожалуй, более, чем достаточно. Впрочем, зомби не употребляют алкоголь. Это способствует концентрации на учёбе. И вообще, должен сказать, не без некоторой гордости за всё наше сообщество в совокупности, зомби приспособлены к современному рынку лучше людей. Мы не разменяемся на чепуху, а уверенно движемся в заданном направлении. За нами будущее. И временное господство людей – результат вопиющей несправедливости, дискриминации.

Зачисление таких, как я, в штат – совершенно нереально. Какие я мог предоставить документы? Свидетельство о смерти? Поэтому официально на всех этих должностях числились какие-то люди, которым был необходим стаж в трудовых книжках. Так я за них работал, получал зарплату (я её уступал Просто-Марии), а этим людям шёл стаж. Чем занималась вся эта публика в свободное от безделия время, мне неизвестно. Учились ли они? Воротили ли тёмные дела на чёрном рынке? Кто знает… Но за мои скромные услуги они одаривали меня какими-то скромными суммами и подарками. Получался приличный доход в условиях хаоса, царившего в то время.

В рабочих коллективах у меня с людьми сложились неплохие отношения. В принципе, там были нормальные… хотя и люди, в большинстве чем-то занимающиеся и интересующиеся, но из-за разных независящих от них обстоятельств не попавшие в институты и университеты. Хотя, конечно, каждый завод имел какие-то свои особенности.

6. СТУДЕНТ

Завод «Эпсилон» был облюбован подрабатывающими студентами. С одним из них, с Гришей, мы довольно естественно пришли к обсуждению прочитанных книг. Как-то он подметил у меня среди серьёзной философской литературы дешёвые брошюрки о зомби, но промолчал, лишь выразительно поглядев на меня. Это пробудило стыд за низменный интерес. Кто я такой, чтобы интересоваться собой? Оправдания казались неизбежными:

– Зомби – сегодня популярная тема, не так ли? Надо хоть как-то ознакомиться и с ней.

– Со всеми темами невозможно ознакомиться. Следует выбирать важное для себя.

– Думаешь? Следует выбросить эти книги…

– Но почему? Если эта тема тебя интересует… Ты стыдишься своих собственных интересов? Нет ничего постыдного в любопытстве. Любопытство – одно из высших свойств человека. Им нельзя пренебрегать. А собственные интересы всегда превыше чужих. Не следует их стыдиться.

– Полагаешь? А что ты думаешь о зомби?

– Я не знаю. Я плохо разбираюсь в этой теме. В нашей стране она ещё недавно, как казалось, практически под запретом… или дело не в этом? Там ещё был перманентный дефицит любой информации. О зомби практически не говорили и не говорят. Впрочем, кажется, их много вокруг. Не именно это ли

является причиной того, что тема относительно закрытая? Вот просто оглядись, всюду какие-то странные личности с серыми лицами, ежедневно повторяющие одинаковые действия, всю жизнь проговаривающие одну чужую мысль. Мне представляется невероятным, что все эти персонажи от рождения такие.

– Не знаю, – выдавил я сквозь обиду. – Странно освящать обыкновенных идиотов через приобщение их к древнему магическому сообществу.

– Ты прав… С этим не поспоришь, – задумался Гриша и пристально на меня посмотрел. – Я плохо разбираюсь, я не специалист. Буду рад от тебя что-то узнать. Хотя я скептически отношусь к традициям. Они иллюзорны. Любая традиция рождается заново в каждый момент времени. Мир всё время меняется.

– Понимаешь, все эти книги – мусор. У меня есть некий интересный опыт, о котором не хотелось бы говорить…. Пожалуй, невозможно говорить, я ничего не понимаю, не разобрался.

– Да, бывает. Порой ощущаешь правильное, а словами не сформулировать. А книги… На чем-то они основываются. Кажется, в Талмуде есть что-то похожее, «Нет книг без чепухи» или вроде того. Может, не книг, а снов? Точно не помню… Да и какая разница?

– Забавно, что ты студент, а учусь здесь больше я. Но это и понятно. Для учёбы у тебя есть институт.

– Так и ты поступи уже куда-нибудь.

Я кивнул и подумал: «Как же трудно мне даются поступки». А ведь я зомби. Я должен всё крушить, жрать мозг, наводить ужас. Именно этому учат изучаемые мной книги. Но нет. Я плохой зомби. Мне было бы трудно подтвердить перед комиссией, что я действительно тот, кем являюсь. И если бы у нас ввели специальные документы, меня бы исключили. Но куда? Разве я могу стать настоящим человеком? Впрочем, исключают не куда-то, а из кого-то.

7. СУДЬБОНОСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Моё увлечение философией несколько обескураживало Просто-Марию: «Все зомби, как зомби, работают в полях, чётко выполняют задания, только ты маешься дурью».

– А другие зомби не задумываются ни о чём? Что со мной не так?

– Раньше было не принято задумываться. Люди играли свою роль в обществе. А теперь всё несётся в пропасть. Никому не хочется занимать уготованную ему традицией нишу. А ты, конечно, плохой материал для зомби… Ну почему я тебя выбрала?

Я знал причину. Я был единственным подвернувшимся трупом. И всё же до крайности обидно, что даже хорошим зомби мне не стать… Вспоминалось из М. Волошина:

Изгнанники, скитальцы и поэты –
Кто жаждал быть, но стать никем не смог…
У птиц – гнездо, у зверя – тёмный лог,
А посох – нам и нищенства заветы.

Настоящий поэт, постигший глубочайшие тайны, суть нашего мира, очевидно, не до конца осознавая значимость своих прозрений. Поразительно, как литератор, который никогда не был зомби, сумел так точно выразить всё, что было у меня на душе… хотя, возможно, у меня её уже нет? Есть ли у зомби душа?

Я всё понимал, в душе (?) жалел «земляную ведьму». Выбора у Просто-Марии на самом деле не было. Не каждый день, увы, убивают студентов. Да и если бы не я, то кто? Студенты – плохой материал для изготовления классических зомби. Но я вздыхал и молчал. Иногда хотелось поддержать Просто-Марию. А вдруг ей ещё повезёт, начнётся какая-то бойня, и судьба подарит ей хороших зомби, отлично справляющихся со своими обязанностями. Я молил об этом Бога.

Порой закрадывалась и крамольная мысль, – наше общество изначально развивает в зомби экстраординарные способности к оригинальному, нетривиальному мышлению. Мы не интегрированы в сложное человеческое сообщество, пронизанное непоколебимыми общепринятыми стереотипами. Приходится мыслить самостоятельно. И оказывается, что зомби – наименее зомбированная часть населения.

Пришла весна и хотелось проветрить гниющее тело на ещё прохладном, но потеплевшем радостном воздухе пробуждающейся природы. Я вышел на Французский бульвар и бесцельно зашагал, не задумываясь о направлении движения, скрывая, впрочем, по возможности, лицо, взгляд от прохожих. В какой-то момент я ощутил впившийся в меня взор. Я не обернулся в эту сторону, а сразу зашагал в противоположном направлении.

– Игорь! – окликнул меня кто-то знакомым голосом, хотя я сразу и не вспомнил, кому он принадлежал.

Я механически обернулся, не успев подумать о последствиях. Дима? Мой застреленный одноклассник?!

– Ну что вытаращился? Похоже, мы снова в одном классе. Ты тоже зомби?

– Формально… да.

– Ну, всё в этом мире формально. Материя – это не так уж и важно. Как чиновник из высших сфер решит, так всё и будет. Чем занимаешься?

– Э… всё как у всех… Работаю, живу, можно сказать. А ты?

– Как минимум, я разговорчивее. Ты знаешь хоть, как меня убили?

Я не знал подробностей. Дело не раскрыли.

И Дима поведал о своей мечте о покупке пистолета и о последствиях. Я это помнил. Вообще вздорная история. Теперь я узнал ещё некоторые неизвестные мне ранее подробности. Итак, примерный ученик в школе, Дима совершенно лишён всего присущего ботаникам. Его принимала любая компания. Видный, остроумный, самоуверенный, но не наглый. Он нравился и дамам. Это и привело его прямо в дурную компанию. Зачем ему пистолет? Практически уверен, что Дима бы сам себе не смог ответить на этот вопрос. Для «крутости»? Но кто-то предложил купить. Спрос рождает предложение. А это выглядело так здорово, неординарно, необычно. Исполнение безумной мечты. Настоящее оружие! И Дима купил. На какой-то дискотеке он, бравируя, извлёк оружие, нисколько не намереваясь его применить. Дима не умел пользоваться пистолетом. Такой поступок же оказался серьёзной ошибкой. Нельзя пугать идиотов, бравировать перед ними. У них нет мыслей и чувств, обращение не имеет адреса. Вот некто посмелее, понаглее, умелее в обращении с оружием выхватил у Димы пистолет, направил на владельца и без промедлений выстрелил. Конфликт нельзя назвать глубоким, а противоречия неразрешимыми. Но некоторым на роду написано бравировать, а некоторым убивать. Каждый поступил нормальным для него образом. На дискотеке оказались пьяные африканские студенты, которые решили изготовить себе зомби для личных целей, он бегал бы за пивом в случае необходимости. Дальше рассказ Димы не отличался ясностью. Я не понял, он сам сбежал от этих студентов или они его прогнали, так как его содержание оказалось слишком дорогим, а кроме того, он часто вступал в половые связи с их пассиями. Это было в его стиле. И несмотря на серьёзный статус зомби, Дима вовсе не остепенился.

Я, прослушав рассказ Димы, не стал уточнять детали, поделившись обстоятельствами своих мытарств.

– И что собираешься делать? Жить в каморке уборщицы и пахать на заводах? Хороша твоя карьера. Однозначный успех. Хотя куда податься? Скоро в этой стране будут только кукурузные поля. Я думал дернуть в Зомбиленд. Но там зомби всюду и никого кроме них. Они все ненавидят друг друга, выясняют, кто из них настоящий зомби, а кто таким на самом деле не является. Это тем более забавно, что там никого, кроме зомби, только они там и живут.

– И какой тогда выход?

– Говорят, некоторые зомби бегают за товарами в Турцию. Можно экономить на билетах. Дышать нам не нужно. Это позволяет проходить по дну моря. Но, конечно, не все товары так доставишь в целости и сохранности… Да и тело портится. Ты уже пытался устроиться в милицию? Я пробовал. Не хотят. Отказались. Бардак и идиотизм. Никогда в этой стране не будет ничего путного. Я намереваюсь сходить в военкомат, предложить свои услуги, так сказать. Я бессмертный. Как и ты. Я мог бы захватить какое-то мелкое государство… Въехать бы в какую-то столицу на огромной собаке, вымазанной фосфором, на эдакой собаке Баскервилей! Вот это здорово! Хочешь со мной?

– Ты мечтатель забористее меня. Думаешь, в других странах нет зомби?

Тут к нам подошёл человек с крайне невыразительной внешностью. Сегодня я пытаюсь вспомнить хоть что-то, какую-то деталь одежды, рост, характерные черты лица. Но ничего не возникает в голове. Он необычно обычный, словно и нет больше людей настолько типичных. Они должны появляться в каких-то статистических заключениях или в книгах по социологии, но не на улицах городов. Что-то такое, правда, осталось… мимолетное впечатление… Некая квадратность. Нет-нет, у него не было мышц, как у культуриста, он не выглядел особо спортивным. Скорее речь о трудноуловимой квадратности характера, о способе мыслить. В глазах было словно двойное дно. Не глубина, не ум, этого, как раз нет. Там иное. Какое-то время мне казалось, что глаза у него бегали, но я хорошо восстановил их в памяти и осознал, что это не так. Его глаза всегда глядели прямо и неподвижно. Забавна эта разница реальности и ощущения.

Но вернёмся ненадолго на Французский бульвар того дня в начале весны. Человек этот подошёл уверенным, но не слишком напористым шагом и мягким голосом осведомился:

– Закурить не найдётся?

– Не курим, – нестройным хором отозвались мы.

– Бережём здоровье, – добавил я на всякий случай, привычно притворившись нормальным человеком.

– Молодцы. Здоровье нужно беречь. Даже мертвец выглядит лучше, красивее, если не болен. И Ленин, и Готвальд стали мумиями, а какие разные судьбы!

Меня передёрнуло. Я взглянул на незнакомца. Его лицо ничего не выражало.

– А хороший сегодня денёк, – продолжил охотник за чужими сигаретами. – Даже выпить не хочется. А надо. Пройдёмте. Я могу сильно усложнить вашу жизнь, но могу и улучшить, несколько усложнив.

Его внешность отсекала все вопросы. Ясно, что перед нами так называемый «разведчик», ведущий перманентную борьбу против своих сограждан. Очевидно, про нас в его службе уже всё известно и бежать бессмысленно. Мы молча последовали с ним к чёрной машине. «Вот и катафалк» – подумалось мне. И ещё: «Вот Дима, мы и нашли работодателя».

8. ВМЕСТО ДОПРОСА

Я заранее твёрдо решил никого не выдавать, не сотрудничать. Хотя я и был мёртв, для этого требовалась недюжая смелость. Всё внутри похолодело и тряслось. Трудно описать весь тот ужас, который обуял меня, когда мы, как и ожидалось, прибыли на Еврейскую улицу, по-советски Бебеля. Я никогда не разглядывал мрачное здание, где располагалось «куда надо», а при необходимости пройти по улице мимо него, выбирал другую сторону. Помню только какую-то противоестественную для города хвою, растущую у его стен. Эти странные сине-зелёные ёлконасаждения словно вырывали КГБ из контекста города, делали его чуждым, инопланетным. Таким он, наверное, и был? Или нет? Вспоминается древняя советская байка про какого-то партийного бонзу, который заразил сифилисом чуть ли половину города. Впрочем, уверен, это просто выдумка недоброжелателей. И всё же. Почему этот чуждый дом, окружённый необычными для региона деревьями, стоит на улице Еврейской? Само название отражает суть мифологии города.

А другое здание на Малой Арнаутской, в помещении Синагоги рубщиков кошерного мяса. Почему? Зачем? Словно пришельцы вторглись и утверждают свою власть в знаковых, наполненных мифологическими смыслами местах, выделяя при этом свою инаковость.

Предаваясь таким размышлениям, с ничего не видящими от ужаса глазами, я проследовал в здание. К моему удивлению, меня и Диму не развели по разным камерам (а я слышал, что там же располагается небольшая тюрьма) или кабинетам для шантажа вымышленными показаниями друга, как предполагает обычная логика чекистского давления. Вот перед нами распахнули двери довольно большой комнаты, где не сидел один добрый или злой следователь. Нас ожидало человек пять. Все, конечно, квадратные и матёрые. Ничего хорошего от таких никто никогда не получал. И всё же… Что это?

Когда мы вошли, ожидавшие нас чекисты изобразили подобие любопытства. У них плохо получалось, несмотря на старания. Нам предложили присесть. Это звучало угрожающе, но мы не подали виду. Взгляды чекистов казались несколько насмешливыми. Очевидно, эта публика хорошо ориентировалась в обуревавших нас мыслях и чувствах. И в служилых просыпалась радость хищника, преследующего жертву. Однако страх смерти отступал – исчезало желание жить. Хотя… разве я жив? Я мёртв, но особое отношение к смерти сохранилось. Впрочем, полагаю, я бы с гораздо большей лёгкостью, чем обычный человек, мог пожертвовать своим жалким существованием. Понял, это боязнь не за жизнь, а за существование… Нет, не так. Это просто страх перед источником страха. Всё. И чекисты об этом знали… Но тянули время. А может это время как бы всё затягивало. И вот, наконец, самый квадратный из квадратных сказал:

– Не следует, товарищи зомби, так нервничать. Мы со всем разберёмся. Убивать вас не будем. Поздно.

И, выдержав небольшую паузу, этот квадратный человек принялся читать длинную речь, по сути издеваясь над формальной логикой. Смысл или, точнее, то, что за него можно выдать в данном случае сводился к следующим, довольно простым, банальным утверждениям, – родина всегда в опасности, всякие бяки стремятся ей навредить, а хорошие граждане должны, обязаны помогать органам. На лице лектора сияла идиотски-хитрая ухмылка, которая словно говорила: «Мои слова – враньё, это понятно. Но вам выгодно участвовать в обмане».

Закончив издевательство словами над логикой и нашими бедными ушами, речистый чекист подмигнул нам с некоторым озорством и заключил:

– Ну, товарищи зомби, будем помогать стране или как?

Мы выбрали молчание.

– Вы думаете тут со мной шутки шутить? У нас не КВН. Вы должны понимать всю тяжесть вашей вины перед государством. Вы зомби, позор вам. Вам следует стыдиться и всеми силами искупать. Вы не люди, как мы, как честные граждане. Я очень рискую, предлагая вам сотрудничество. А какой вам имидж создали киношники! Ха-ха. Не отмыться. Вы, там, такое вытворяете… мозги жрёте. И справедливо. Стыдитесь. Но в нашей организации работают люди прогрессивные, не чуждые даже художественного вымысла. Мы готовы с вами сотрудничать на благо страны. Есть вещи, которые «в чистых перчатках не делают».

– Позвольте полюбопытствовать… – робко среагировал я на давно занимавшую меня легенду про пожирание мозгов. – Разум – это важно для моего самопознания. А вот питаться чужими мозгами мне никогда не доводилось и вовсе не хотелось. Разве гниющий организм молодого зомби не требует их употребления для пользы, если можно так выразиться, здоровью?

– Молодой не человек, сказки про пожирание мозгов вашим братом придумали радикальные феминистки, чтобы отвести от себя оправданные подозрения и переложить свою вину на зомби.

– Ой! – внезапно сдетонировал Дима.

Его, очевидно, тоже занимала данная проблема, а спросить он не смел, не решался. Интересно, успел ли он сам отведать мозгов? Покладистость – важное его качество. Он способен вопреки желаниям следовать долгу.

Чекисты сделали вид, что не заметили возгласа Димы. С их лиц не сходили подловатые улыбочки, но к чему они относились – загадка.

– Я сам, как я уже говорил, – человек прогрессивный. У меня даже есть друзья-зомби (он нам подмигнул при этом). И мне нравится в рассказах о зомби их преданность начальству. Это я считаю главной гражданской добродетелью. Хотя, к сожалению, мне известно, что это такой же миф, как и пожирание мозгов. В реальности зомби своенравнее обычного гражданина. Утрата общественных связей и страха из-за смерти близких разрывает оковы, выводит за пределы норм, общепринятых мнений. Но, должен вам сказать, немало зомби оказалось среди первых большевиков и среди основателей ЧК. Зомби обладают какой-то своей особой, сугубо специфической мудростью, как юродивые. Даже Владимир Ильич Ленин хотел присоединиться к вам после смерти. Но не вышло. Интеллигенты-вредители помешали, сделав из него мумию. Интеллигенцию в нашей стране всегда больше современных стран третьего мира привлекал Древний Египет. Интеллектуалы игнорировали проблему зомби. Упущение, однако.

Меня мутило от страха, а пустая болтовня растягивала мучительные ожидания. «Поскорее бы расстреляли», – думал я. И проронил, не выдержав, не понимая даже, сказал ли я это вслух или лишь подумал:

– А что, собственно, вам от нас нужно? Я не собираюсь никого предавать.

– О! Предавать! Выявлять предателей страны – это никакое не предательство. Это долг каждого честного гражданина. И не надо этих гнилых интеллигентских штучек про недоносительство. Врага следует уничтожать. Всегда и везде. Ну, не буду с вами спорить. Лишь знайте, для того, что вы называете предательством, вы ещё не доросли. Мы вам поручим нечто гораздо проще.

Я промолчал. Ужас совершенно сковал меня. А чекист продолжал:

– Мы не даём вам слишком уж важную миссию. У вас нет необходимых умений, навыков, образования. Вы действительно полагаете, что мы доверим вам серьёзное задание? Чекист как монах, у него нет семьи, нет близких. Он служит высшей, нечеловеческой или даже античеловеческой цели. Вам это понятно?

Чекист-«заклинатель» выдержал паузу, сумрачно оглядев нас, надулся как лягушка, желающая кого-то напугать, и продолжил:

– Вы, зомби, существа разумные. Понятное дело, вы знаете о Чернобыльской аварии?

– Я в школе написал реферат «Последствия катастрофы на ЧАЭС». Полагаю, мой текст и был самым страшным последствием, – вставил Дима, оправившись от стыда за внезапный возглас.

– Поумничаешь потом. Впрочем, и потом не надо. Проще будешь, лучше спишь. Слышали и ладно. Так вот, живых людей посылать в зону проблематично. Они там, конечно, работают, вахтовым способом, приезжают в зону на определённый срок, потом выезжают, снова возвращаются в зону. Атомщики, энергетики, силовики. Авария случилась лишь на четвёртом энергоблоке. Всю станцию остановить пока невозможно. Энергия точно нужна этой стране. Работа продолжается. Взят курс на замену живых людей трупами. Идея не новая. Но пока у нас мало таких, как вы. Наш проект по зомбификации всей страны был отвергнут правительством. Я с этим не согласен, замена живых людей нежитями – выгодное дело. Особенно для армии. Но что я могу? Я человек служилый.

На сердце у меня полегчало. Нормальная сложная работа. Героизм без убийств, краж, предательств:

– А в чём состоит наша задача?

– Это государственная тайна. Вы получите инструкции на месте.

9. БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА

Нас перевезли в Киев. Мне даже не позволили попрощаться с Просто-Марией. Секретность! Нас разместили в общежитии на ул. Ивана Кудри, в районе, который в то время киевляне называли «зажопьем», так как статуя Родины-матери повернута к нему задом. Потом этот район приобрёл популярность, недвижимость скупили состоятельные бизнесмены. Но это потом. В те годы богачи обитали на Липках. Другое дело «зажопье». Там уже жили зомби из разных регионов страны. Мы быстро перезнакомились и подружились. Общность судеб нас сблизила. Ведь именно «близкий» часто подразумевается словом «хороший».

Занятия оказались довольно интенсивными. Уроки начинались рано утром. Нам читали лекции и проводили семинары по технике безопасности в зоне, по работе с дозиметром и многие другие очень важные практические вещи. Учили даже оказывать первую медицинскую помощь, – в зоне до сих пор обитали люди, отказавшиеся от благ цивилизации. Такие вещи легко даются здоровому человеку, а болезни приходят внезапно…

Ещё нам проводили какие-то общеполитические лекции, но я их совершенно не запоминал и не усваивал. От пустословия клонило ко сну или к беспорядочному чтению под монотонные звуки, издаваемые преподавателем.

О задании нам так ничего и не рассказали. Я же принялся за «Античную эстетику» Лосева ввиду неясности ситуации. Снега Киева радовали, но я убеждал себя, что солнце Эллады мне ближе. Хотя для этого не было никаких оснований. А ещё нравилась плотность ссылок, обилие малоизвестных фактов, перемежавшихся с невероятнейшими фантазиями.

Ах, совсем забыл, нам, следуя новомодным педагогическим веяньям, читали и «психологию зомби». Большую часть студентов этот предмет раздражал. Довольно дико слушать обыкновенного человека, ничего не понимающего, не знающего ничего толком о нас, но рассказывающего при этом как, по его мнению, мы должны думать и поступать. Бывает ли что-то нелепее? Впрочем, одна его лекция мне показалась разумной. В ней было что-то похожее на правду. По крайней мере, она заставила меня задуматься. Я и раньше размышлял о том, что заставило меня согласиться на участие в миссии. Конечно, не страх. Ужас во время общения с чекистами был столь велик, что я положительно не мог за ним следовать. Он пробуждал желание противодействовать. Такой парадокс. Моё согласие противоречило этому направлению моих мыслей и чувств. И я решил, что главным для моего решения было банальное тщеславие. Вот крючок, на который меня поймали. Я не хотел быть заводским рабочим, не хотел жить в тени швабры Просто-Марии. Я всегда грезил о рискованных приключениях, о славе и успехе, пусть и ведущих к разрушению и гибели. Я часто представлял себя героически погибающим. И это казалось куда привлекательнее опостылевшей каждодневной рутины. Казалось. А потом пришёл психолог и одной лекцией внёс сумятицу. Он рассказал, что, как все знают, зомби уже не относятся к роду человеческому. Они – принципиально иной вид существ. Но вся их память, а значит, во многом базовые основы самосознания заставляют их рассматривать себя как обычных людей. При том, что «обычных людей», «нормальных людей» в принципе не существует. Каждый – личность и не похож на другого. Выходит, зомби пытаются выстраивать своё поведение, выбирая для подражания фантомы, свои фантазии о том, каким должен быть человек. Ещё раз, не как конкретная персона, а как несуществующие «все». Так зомби создают для себя некую «повесть о настоящем человеке» в качестве руководства к действию. Такое желание быть людьми в профессиональной литературе зовётся «Комплексом Пиноккио».

Прав ли психолог? Меня, например, раздражала повесть Томаса Манна «Тонио Крёгер», где состоявшийся персонаж завидует чуждому для него образу жизни. У каждого своя судьба, а желанию присвоить чужую выглядит нелепо. И всё же… всё же… Ведь и в повести описывалась неспособность пристать к любому из берегов: «Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне приходится круто. Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели хотят меня арестовать».

10. ТУДА

Мы проучились там какое-то время, сдали экзамены. А после разные участники проекта отправились на свои особые задания, кое-кто группами, а некоторые индивидуально. Между тем, о целях и задачах никто ничего толком не знал ни во время обучения, ни в момент отбытия. Начальство никого ни о чём не информировало. Слухи ходили, да и немало, но все они противоречили друг другу. Иногда их старались выдать за секретную информацию, полученную с самого верха, но все прекрасно понимали, что никто из нас не имел доступа к данным такого уровня. И всё же появлялись даже граффити с «пророчествами». Знание о будущем – это важно. Во все времена оно кормило сонмы предсказателей. Впрочем, авторами надписей могли быть и агенты КГБ, желавшие привить нам определённое направление мысли… Какое? Полагаю, цель – дезориентация. Потерявшие ориентиры человек утрачивает и способность к смелому и самостоятельному мышлению, становится податливым и послушным параноиком. И я, подумав об этом, сразу постарался забыть это своё предположение. Паранойя – очевидная опасность для каждого, кто в той или иной мере сотрудничает в чекистами. Спецслужбы – это зло, это вред всему здоровому и нормальному, даже если и заниматься, подобно мне, не вполне профильными заданиями.

Так или иначе, наступил день отправки моего отряда, состоявшего из десяти человек. Не буду перечислять всех, как в пьесе. Зачем всё «драматизировать»? Главным назначили моего доброго знакомого Диму. Он действительно соответствовал должности, со своим спокойствием, очень устойчивой психикой, умением быстро соображать и выдавать решения, принимая на себя всю тяжесть ответственности, становиться душой любой компании. При этом я отлично понимал, старая дружба не даёт мне никаких преференций. Дима ко всем отнесётся одинаково. И это хорошо. Редкое качество в наши дни.

На тренировочную базу нас вёз некий Володя, худощавый, высокий, тёмноволосый человек. Вся его суть – смесь простоты и лукавства. Казалось, он немного ниже своего роста, немного сутулится, словно склоняется в поклоне. Но я присмотрелся и понял, – это иллюзия. Володя всегда держался прямо. Во всех его проявлениях ощущалась слабость и скользкость. Но простота располагала к себе. И всё же я осознавал, что в экстремальных ситуациях такие люди не испытывают жалости и минимального стремления помочь ближнему. Собственно, и в простых житейских ситуациях такой не уступит. Точнее, уступит на словах, избегая открытой конфронтации, а тайно всё сделает наоборот.

Мы двигались какими-то невероятными петлями, словно прицеливаясь, приноравливаясь к маршруту. Так водитель частным образом, нелегально доставлял за деньги всякие мелкие грузы, подвозил каких-то людей. Мы подъезжали к какому-то сельскому дому, Володя что-то брал, что-то отдавал. Хорошая прибавка к зарплате водителя. Знало ли его недоброе начальство о его бизнесе в несвободное от работы

время? Разве от чекистов скроешь подобное? Но если они знали, то как допускали? Можно заподозрить какие-то внутренние игры и манипуляция. Хотя, скорее, всё куда проще. У Володи было что-то такое… неуловимо объединяющее его на духовном уровне с его работодателями. Это трудно объяснить; если выписать в столбик какие-то характерные черты, то всё развалится на противоположности. И всё же…

Написав всё это, вдруг засомневался, нет ли в моих словах клеветы. Ведь я не человек вовсе. Я зомби. Не представляются ли мне все люди теперь чужими и одинаковыми? А Володя – типичный представитель простых, не развращённых цивилизацией людей, с их земной смекалкой и некоторой, не побоюсь этого слова, почвеннической, укоренённой в родной земле мудростью. Он без конца рассыпал перед нами жемчужины знаний, накопленные его предками, простыми тружениками, – «лучше переесть, чем недоспать», «любовь приходит и уходит, а выпить хочется всегда», «тише едешь, позже будешь», «если хочешь ты работать, ляг, поспи и всё пройдёт» и т.п.

Я слышал, что из центра Киева можно добраться до пропускного пункта за часа два, мы же скитались, я полагаю, часов шесть. Но, в конце концов, всё однажды заканчивается. Утомительная дорога привела нас к скромно обустроенному пропускному пункту. Ничего в нём примечательного. Даже беседовал с нами типичный, образцово-показательный милиционер. Я бы его потом никогда не опознал в толпе блюстителей порядка. Я полагаю, их не матери рожают, а производят на секретных фабриках при милицейских школах. Конечно, есть и другие типажи в милиции, встречаются и очень яркие люди, я их видел. А этот «типичный», карикатурный, безликий. Он «правильный» настолько, что может показаться, так в реальности и не бывает вовсе. Но это всё не имеет отношения к ходу событий. Последовала короткая рядовая проверка, Володя сменил одежду, – таков порядок. От нас же этого не потребовали. Мы не поедем назад, не вывезем радиацию на «большую землю». Нас пересадили в другой автомобиль. Всё. Страж закона (хотя какой в районе Чернобыля сегодня закон? Свой, особый?) для порядка повертел в руке вторичный милицейский признак, то есть палочку, потом поднял шлагбаум и мы проследовали по дороге, на которую с двух сторон нависало ошеломительное запустение. «Вот она, зона!» – так Володя попытался познакомить нас с новой средой обитания.

Во всём вокруг ощущалась какая-то тревога. Пустых мест в Украине немало. Не настолько заброшенных, как здесь, хотя глазу и может показаться, что разницы нет. Здесь же, в отличие от других мест, мне воображалось, что пустота, именно пустота и ничто иное пристально всматривается в нас, изучает, раздумывает, как с нами поступить, оставить ли нас в покое или поглотить. Поглощает ли пустота и за пределами зоны? Есть у неё такое свойство? Не знаю. Там это не осознаётся. Люди заняты своими мелочами, а пустота является незамеченной. Здесь же она оголена, открыта взору. Вот она.

Природа прорывалась сквозь брошенные людьми строения. Пустые дома с пустыми окнами. Ощущение зомби-апокалипсиса. Внезапно подумалось: «Наше прибытие очень уместно».

Между тем, даже здесь у Володи обнаружилась клиентка, которой он что-то возил. Проехав какое-то время, он остановился на обочине, вышел и помахал старушке, которая на своей грядке, в стороне от дороги, что-то сажала. А после этого он повернулся к нам и, подобно Адаму в райском саду, дал имя: «Баба Валя». Вся наша группа, не сговариваясь, двинулась по направлению к той женщине, – невозможно было более сидеть. Приблизившись к грядке, мы поздоровались с бабой Валей. Предложение помощи было с благодарностью принято. Нестерпимо просто глядеть на то, как пожилая женщина занимается тяжёлым трудом. Не знаю, сколько ей было лет… не менее шестидесяти? Крупная, полная, старая, но дышащая здоровьем и крепостью. Была у неё какая-то готовность всё принимать. Не смиренная, впрочем, нет. Согласие с миропорядком и таящимися в нём бедствиями было активным. Каждым своим словом и движением, она ставила резолюцию на природные и исторические явления, которые без её согласия бы не могли существовать. Как-то так, наверное, обстояли дела, когда фараон опускал в Нил приказ водам реки разливаться. Когда цари оступились, не обладали достаточным авторитетом, в так называемый Первый переходный период, Египет столкнулся с природным катаклизмом. Про нынешние времена я уже и вовсе молчу. Можно сколько угодно говорить о суеверном и абсурдном характере веры в связь фараона с природой Египта, но с исчезновением там законных царей-богов от людей отвернулась природа. Закончив с огородной деятельностью, мы отправились с визитом к бабе Вале. Отказ – нанесение тяжелейшей обиды. Выбор отсутствует. Нельзя не идти в гости. И вот село. Серое, неказистое, потерянное. Большая часть домов заброшена. Но видно, что здесь и там живут люди. Их немного. Но баба Валя здесь не единственная обитательница. У неё большой двор и внушительный каменный дом. Всё в идеальном состоянии, чисто. Внутри такая характерная обстановка. Типичные советские коврики на стенах, вьетнамская плетёнка с драконом, телевизор накрыт белой кружевной салфеткой. Иконы в углу, – у них старушка поклонилась, перекрестилась. В гостиной мы размещались плохо, для такой большой группы места маловато. Поэтому стояли. Получился шведский стол. Впрочем, главное угощение – спиртной напиток «Калгановка». Как объяснила баба Валя, от радиации первое средство. Оспаривать я это не стану. Бабе Вале уж точно виднее. Она живёт в «зоне», наблюдает ситуацию изнутри собственными глазами. А произносила она всё с такой искренней, глубокой, идущей от сердца верой, уверено крестясь, что не обратиться в её религию «Калгановки»

было невозможно. И отнеслась она к нам с пониманием: «Я считаю, главное, хорошее существо или нет, а живое оно или нет, человек ли – это дело последнее». А потом вдруг прибавила, пристально вглядываясь в наши лица: «Я и с местными-то неплохо лажу, бедные они, неприкаянные». Мне подумалось: «Здесь должно быть немало тёмных личностей, беглых преступников, а следят ли патрули, отлавливающие мародёров и других, незаконно проникающих сюда людей за соблюдением закона? Какой закон действует для людей, которых как бы и нет?».

11. ТАМ

Я полагал, что нас повезут в Припять, ближайший населенный пункт к четвёртому энергоблоку, на котором и случилась авария 26 апреля 1986 года. Мне виделось, что нас, зомби, удобно использовать непосредственно в районе катастрофы для ликвидации её последствий. Но нет. Как сказал Сергей, светловолосый и какой-то ровный, спокойный, покладистый, всегда поступающий «правильно» зомби: «Люди обычно едут в Чернобыль, но приезжают в Припять, мы же прибыли туда, куда и собирались».

Чернобыль расположен довольно далеко от Четвёртого энергоблока. Его включили в «зону», уровень радиации там оказался довольно высоким, хотя и значительно ниже, чем в Припяти. Собственно, с радиацией всё непросто. Нет никакого равномерного изменения фона по мере простого приближения или удаления. Есть словно полоски, пятна. Некоторые места сильно «фонят», а в шаге от них уровень радиации практически нормальный, как в обычных крупных городах. Это случилось по многим причинам, из-за того, как ложилась пыль, выпадали осадки, оставлялась техника, производились захоронения вещей с высоким уровнем радиации. Так или иначе, хотя для обслуживания зоны был возведён особый город Славутич, многие важные службы, включая и администрацию всей «зоны» с памятником Ленина возле здания, расположились в Чернобыле. В городе квартировались и силовики, патрулирующие закрытые для граждан территории. А ещё пожарники, учёные. Здесь велись активные проверки, исследования, множество работ. Измерялась радиация, выискивались особо заражённые металлические предметы даже в частных домах, всё свозилось в особые могильники. Расставлялись предупредительные знаки. И ещё много другого. Всего не перечислить. Пожалуй, достаточно лишь сказать, что работало там немало людей, выполнявших самые разные функции.

Как я уже убедился, самосёлам удаётся избегнуть выселения. В самом городе Чернобыле их немало, как говорят, больше, чем в других населённых пунктах. Кажется, был принят закон, требующий их депортации, но Верховный суд и Генеральная прокуратура воспротивились такому решению. Возможно, эта вся судебная интрига завершилась уже после описываемых здесь событий… Сейчас мне этого уже и не вспомнить… Я лишь пытаюсь восстановить в голове прошлое, которое видел, не стремясь его детально восстановить по чужим текстам. А это непросто… Велик соблазн заполнить лакуны в памяти чужими, официальными словами, которые принято принимать за истину. Однако помимо юридической проблемы была и практическая. В городе нуждались в работниках, на самосёлов здесь смотрели сквозь пальцы. А здесь ещё и южная часть зоны, где уровень заражения сравнительно низок.

Чернобыль оказался довольно типичным крошечным украинским городком, где преобладали частные дома, хотя в центре возвышались довольно уродливые советские постройки в (если я правильно помню, около пяти этажей), есть и старые дома – частные и многоквартирные – невысокие, в этажа три с минималистскими украшениями, очевидно, рубежа XIX и XXвеков. Среди них самое примечательное – бывшее здание синагоги, превращённое потом, как велел сам дух эпохи, в военкомат. Собственно, история города восходит к XII веку. Тогда здесь даже возвели замок. Но это было давно. Жизнь или Бог в каждом материальном проявлении дают нам знаки, – от некогда возвышавшейся средневековой твердыни остался лишь ров, указывающий на всю глубину падения, на погружение места в какие-то мрачные подземные бездны. Средневековье не для всех апофеоз мрачности. Впрочем, постройки рубежа веков достаточно любопытны, хотя и просты, они задерживают глаз. Старые дома главным образом низко посажены, словно вдавлены в почву. Но про некоторые можно сказать, что они «торчат из земли». В это царство вторгается советская архитектура. Где-то в центре толстая труба теплотрассы упирается в дорогу, изгибается вверх, проходит над дорогой, а потом снова опускается и идёт внизу. Чудовищная антиэстетика. Главное отличие от множества подобных маленьких украинских населённых пунктов – мерзость запустения. Всюду бродят лисицы, как в Плаче Иеремии по горе Сион. Видно, что многие дома оставлены. Здесь и там явно побывали мародёры. Потом я узнал, что солдаты, охранники часто за деньги помогали грабителям. Меня это не удивило. Люди везде люди. Не то, что мы, зомби. Человеческие слабости часто пробуждали в моей душе чувство гордости. Мы не такие… Даже если это и ложь, в неё хотелось верить.

Впрочем, сам город был в относительно сносном состоянии. Многие дома всё же использовались. Улицы усердно подметались. Чистота бросалась в глаза, поражала. При всём чудовищном запустении, как я уже сказал, в Чернобыле проживало сравнительно много людей.

Чернобыль находится южнее Припяти, ближе к столице Украины, к Киеву. Как я уже отметил, в относительно безопасной части зоны. Ветер нёс радиацию на север, в противоположную Чернобылю сторону. Обилие ликвидаторов делало жизнь сносной. Даже фильмы здесь крутили. Функционировал видеобар «Сталкер». Такое говорящее название, хотя, кажется тогда не называли ещё этим словом самовольно проникающих в зону искателей приключений. А может я опять что-то путаю… Мне хорошо запомнилось это советское серое бетонное здание с огромными окнами. Минималистическая доска объявлений, где большими буквами наверху было написано: «Молодёжный. Сталкер». Ниже крепился листик с актуальным объявлением. Внутри экран 3 на 4 метра. Частый показ порнографии. Вероятно, люди, занимавшиеся ликвидацией последствий идеологических экспериментов, тянулись к простой голой правде жизни.

Нас доставили к невысокому зданию советского времени. Никакой вывески. Думаю, оно было засекреченным, несмотря на тот факт, что и прятать его в зоне, из которой выселили людей, было как-то нелепо. Но КГБ есть КГБ. Удивляюсь, что они не повесили вывеску «Секретный объект, замечать запрещается». Здесь нас встретил наш инструктор и начальник, худой человек с измождённым, очевидно, от обильного употребления алкоголя, лицом, с сильно начищенными изнутри спиртом глазами. С ним мы вошли в здание, в какую-то довольно большую комнату со школьными партами. Было ли это здание школы или парты сюда перенесли из другого места, мне неизвестно. Но времени и желания осматриваться у меня, как, вероятно, и у других не было. Нас слишком утомило навалившееся обилие необычных ощущений и впечатлений. А когда инструктор вялым голосом умирающего генерала предложил нам усесться за парты, мы послушно и без эмоций сделали то, что от нас требовалось. Ещё я подумал: для измученных силовиков, собачья команда «сидеть» часто звучит спасительно и умиротворяюще.

Инструктор представился: «Лейтенант Иван Петрович Черненко», неряшливо сделал вид, что пристально нас рассмотрел, прокашлялся, – видимо нежелательные слова застряли в горле и мешали безупречной карьере.

– Итак. Ситуация для страны непростая. И мы на вас возлагаем большие надежды. В то время, как есть ручные, хорошие, добрые, законопослушные, политически сознательные зомби, существуют и дикие, антисоциальные зомби, не признающие никакой субординации. И враг рода человеческого, то есть наш засекреченный потенциальный противник, о котором вы знаете, но я его не назову, может использовать для своих тёмных, неведомых нам целей ваших несознательных сородичей. Такие, так сказать, не побоюсь этого слова, тёмные зомби не созданы волей сознательных людей, а, как бы, самозародились, возникли из соприкосновения не вполне ответственного человеческого материала с радиацией. Мы так предполагаем. Точного ответа наука пока не дала. Учёные в наши дни распустились, сильной руки на них нет. Но само по себе самовольное превращение в зомби – уже предмет для беспокойства. Несознательным гражданам не следует принимать такие радикальные решения независимо. Страшно подумать, что будет, если люди начнут самостоятельно становиться, кем хотят.

– А они жрут мозг? – с надеждой спросил грубоватый, резкий, но с цепким умом, крупный, слегка полноватый, тёмноволосый Валера.

– Тебе лишь бы кого-то обвинить! – встрепенулась, вспыхнула худая, невысокая, подвижная, непоседливая, нервная Таня.

– Спокойно. Приказа щёлкать еб-ом не было, – примирительно и по-военному просто отреагировал майор Черненко. – Пока эти зомби ведут себя смирно. Но они самовольно, САМОВОЛЬНО заняли территорию в селе Замошня. Там находится старая церковь, которую они преобразовали в сатанинский храм. Разведданные говорят, – у нас есть законспирированный агент в их среде, – они намерены захватить и Чернобыль из-за какого-то пророчества. Их цель – местная церковь. На территории зоны храмов не так уж и много. Но они важны для диких зомби. Какая у вас задача? Пока она преимущественно декоративная. Само ваше присутствие должно продемонстрировать простую истину – прогрессивные зомби с нами, на стороне добра. Вы сами можете притягивать диких сородичей. Вам строго-настрого запрещено вступать с ними в контакт. Однако, полагаю, зомби из Замошни постараются наладить с вами связь. А вас мы будем держать под наблюдением. Так мы выловим некоторое число противников. Пока ваша основная функция –ходить, отдыхать, тусоваться. Но не бухать. Это нельзя. Вопросы есть?

– Оружие нам дадут? – спросил покладистый Сергей.

– Нет, выдача оружия не предусмотрена. Ну ты сам подумай, чтобы убить зомби, следует ему отрезать голову. Подюжаешь? Накуролесишь, а мне потом отвечать.

– Ещё, о важном, граждане зомби, скучать мы вам не позволим. Вас привезли пока для декорации, работать пугалами. Но от безделья кони дохнут. Хотя вы и так уже не живые. Будете красить, убирать территорию в рабочее время, иногда родина прикажет вам выезжать на станцию, делать чёрную и опасную работу, которую людям не особо доверишь. Такие, вот, дела. Прохлаждаться можно только генералам. Шутка.

Я заметил, что Таню-активистку передёрнуло.

– А теперь о хорошем, граждане зомби. Жить будете здесь, прямо в этом здании. Главное, следите

за чистотой и порядком. Я проверю. Главное, вы переходите на наше полное довольствие. А этот первый вечер ваш, походите, осмотритесь, попользуйтесь телеком. Такая, вот, х-ня, малята, – лейтенант засмеялся своей, как ему казалось, шутке. – Завтра подъём в шесть.

Умолкнув, Черненко развернулся и ушёл твёрдым шагом. А воздух заполнило жужжание, многоголосье. Все принялись обсуждать сложившееся положение. Плохим, в сущности, оно не было. Мы вполне устроены. Но было странно оказаться, по сути, в армии тогда, как туда не должны брать по состоянию здоровья. Разве бывает болезнь страшнее смерти? Мёртвые разве служат? Впрочем, конечно, служат, всегда служили, хотя и не давали своего на то согласия.

Помню только слова Тани-активистки, которые хоть и звучали дико, застряли в сознании: «Все зомби-зомби. Мы все братья и сёстры». Эта концепция не встретила широкого понимания. Напротив, многие были возмущены тем, что некоторые зомби не с нами, призывали на их головы страшные проклятия. Я, было, хотел заступиться за Таню, прикрываясь дикими-зомби: «Разве они виноваты, что стали такими?». Но в ответ посыпалось: «А кто им виноват?», «Они позорят всех зомби», «Из-за таких плохо относятся к нам всем». Таню обвинили в том, что у неё развилась зомбофобия, так как она заступается за тех, кто нас порочит своим образом жизни, что она пример довольно характерной для зомби самоненависти (о чём-то таком нам вещали в Киеве). Тогда я полагал, что заступаюсь за чужую честь, за слабого, помогая переносить обиды. Лишь потом я осознал, что у активистов обычно вместо сердца пламенный огонь, они не обижаются на несправедливости, огорчаясь лишь своему проигрышу, хотя по моему скромному разумению, сам по себе он относительный и лишён смысла, как и победа.

12. О НАЧАЛАХ

Первая неделя в Чернобыле прошла довольно спокойно. Нам устроили утренние занятия до обеда. Остальное время свободно. Лишь несколько раз нам поручали какие-то чёрные работы, которые отнимали не более часа после учёбы. Очевидно, командование желало нашей мягкой адаптации. Валера предположил, что это своего рода карантин. Начальство явно присматривалось к нам, желая понять, чего каждый из нас стоит, а заодно и проверить нашу лояльность… Не удержался. Я стараюсь избегать таких теорий. Даже если они и верны, они навязывают параноидальное и принципиально ложное восприятие действительности. Принявший такое утверждение, даже если оно и правильно, рискует ошибиться во множестве других вещей.

Некоторые уроки выглядели как форменное издевательство, надругательство над здравым смыслом, – наставления как напугать противника страшной рожей. А ещё «психология» – распознавание намерений по поведению, стилю одежды, манере говорить. Я полагаю, кофейная гуща даёт куда более точные результаты. Проговаривались и интересные вещи, хотя и малополезные. Нам рассказывали об устройстве атомных станций, о радиации. Но всё было столь абстрактно, что не представляю себе никакого практического применения этой информации в нашем случае.

И всё же, как это ни странно звучит, основным нашим развлечением было размышление. Не активный поиск заказной истины в библиотеках. Это можно назвать неким опытом самопознания, попыткой понять себя в совершенно новых, непривычных условиях. Конечно, трудно проникнуть в мозг каждого из нашей группы. Я говорю о своих интуитивных ощущениях. На практике же это самопознание выражалось в некоем снижении формальной активности. Больше бесцельных хождений, случайных разговоров.

Главное развлечение в зоне было простым, традиционным и происходило из глубины веков. Как говорится, веселие Чернобыля есть пити. Формально здесь действовал «сухой закон». Но проблема активно решалась. Контрабандными напитками торговали водители, коменданты общежитий, кастелянши. Упомянутый выше Володя на этом поприще весьма преуспел. Так или иначе, каждому здесь известны адреса, где можно купить вожделенные жидкости в любое время суток. Сами труженики мирного атома и самосёлы также активно участвовали в решении проблемы, производя самогон и брагу. Многие работники жили в частных домах, так называемых «фазендах», где в специальных помещениях устанавливались чугунные ванны, в которых бродили местные фрукты. Впрочем, всё это для неженок. Серьёзные люди разбавляли этиловый спирт, пили лекарства и парфюмерию. Достоин упоминания «Одеколонный переулок» в начале ул. Некрасова, о важности которого говорят пустые ёмкости в зарослях кустов и травы.

Мы проживали в здании с довольно приличным залом, в котором нам устраивали занятия. Здесь выступал и упомянутый лейтенант Черненко. Мы на свой страх и риск организовали в нашем здании танцы, воспользовавшись наличием зала. Валера захватил с собой в «зону» магнитофон и немалое количество кассет. Это выглядело нелепо в наших условиях по многим причинам. Разные персонажи разного возраста. Сама система коммуникации далека от нормальной и привычной. Соответственно танцы на первый взгляд в ней не нужны. Но мы это делали и люди приходили. Возможно, для встреч и общения. Многие быстро покидали зал, пили, курили и беседовали на улице или в сопредельных помещениях, вовсе не приступая к танцам. Нужен был какой-то предлог, чтобы встретиться.

Мы много гуляли, бесцельно бродили по улицам Чернобыля. Я находил в этом особое упоение, обретая радость свободы, единения с бескрайними просторами, наслаждаясь сменой видов и возможностью свободно размышлять, обдумывать прочитанные книги.

13. ЗОМБИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Однажды, перед самым окончанием занятий, в зал вошёл лейтенант Черненко. С какой-то странной алкоголической улыбкой он неубедительно, хотя и отчётливо принёс учительнице извинения за отнятое время. Затем сказал: «Нашлась для вас работёнка. Добровольцы есть?». У меня не нашлось мгновенного ответа и я погрузился в размышления, «to be or not to be». А Таня, Дима и Боря, высокий молчаливый парень, о котором я мало знаю из-за его неразговорчивости, сразу подняли руки. «Только три человека. Однако. Для начала достаточно, все берите с них пример! Ах, понабирали всякую шваль, тунеядцев вместо зомби… симулянты, бездельники», – пристыдил нас лейтенант.

Так после уроков я отправился читать «Игру в бисер» Германа Гессе, пока мои товарищи, ведомые лейтенантом, исчезли в неизвестном направлении творить историю, которую не им определять. А я безуспешно концентрировался на тексте. Мои мысли путались. Меня мучило любопытство, что же поделывают мои товарищи, какие нечеловеческие задачи они решают. В какой-то момент я невольно уходил от текста в бесплодный поток сознания, мысль гналась за фантастическими предположениями, не позволяя сосредоточиться на судьбе Йозефа Кнехта. В конце концов, где он, а где я? Я выходил из здания, гулял, жадно вдыхая свежесть радиоактивного воздуха, возвращался, снова читал, приостанавливая бег мыслей.

Наконец наши вернулись. Не только я, но и вся наша группа бросилась к ним, – «Ну что? Ну как?». Все трое выглядели угрюмо и отказались мгновенно отвечать на вопросы. Сперва они вошли в помещение, уселись, мы поставили стулья рядом. Кто-то догадался принести бутылку и стаканы. Это было очень уместно. Выпили. Наконец, Дима заговорил. Почти ни одной фразы он не закончил самостоятельно, Таня его всё время перебивала, исправляла, дополняла, во всём не соглашалась, хотя суть истории была очень простой. Собственно, все замечания нашей активистки никак не меняли сути. Она перебивала Диму, но суть оставалась неизменной. Я воспроизведу кратко главное.

Лейтенант Черненко, водитель и трое наших зомби отправились на автомобиле. Путь не был особо длинным. Время никто не засекал. Так, по ощущениям, ехали где-то полчаса. Лейтенант в машине объяснил задание. Вкратце можно пересказать его слова следующим образом. Есть некое село, где обосновались дикие зомби. Они облюбовали закрытую ещё в 30-е годы кирпичную старообрядческую церковь XVIII века, к которой когда-то примыкал женский монастырь. От него ничего не осталось. В 80-е в здании церкви хотели сделать клуб, но безуспешно. Верующие крестьяне отказывались туда ходить. Уже после аварии на АЭС там случился пожар. Купол и перекрытия утрачены. Но стены стоят и выглядят довольно внушительно. Там внутри дикие зомби проводят свои богохульные обряды. Конечно, сам Черненко всякие суеверия отвергает. Но на самом верху считают, что это привлекает в нашу страну враждебные астральные силы. Необходимо разворошить осиное гнездо духовной оппозиции. Поэтому план такой. Машина останавливается на безопасной позиции, водитель остаётся её охранять. Черненко, Дима, Таня и Боря, взяв находящиеся в багажнике дымовые шашки, направляются пешком к церкви. Время рассчитано и группа будет у церкви в разгар бого… бого ли… служения. Группа забрасывает в церковь дымовые шашки и, пользуясь всеобщим смятением и неразберихой бежит к машине. Всё. Быстро садимся, уезжаем.

План выглядел жутковато. Риск казался большим. Что будет, если дикие, с рождения закалённые жизнью в «зоне», зомби настигнут городских неженок? Как зомби должны сражаться с зомби? Ответов на подобные вопросы не было. Нас к подобным сценариям не готовили. Но добровольцы вызвались, назад не повернёшь. Дима, Таня и Боря отважно последовали за Иваном Петровичем. Будь что будет.

Группа подобралась к жутковатым руинам церкви, стены которой, впрочем, были на месте. Ощущалась какая-то особая странная энергетика… Странно о таком говорить в Чернобыльской зоне, в зоне энергетиков. Из-за стен доносились нестройные заунывные напевы. Слов никто не разобрал, а точнее, и не пытался. Все сосредоточились на продумывании собственных действий, – куда подойти, как бросать дымовые шашки, куда потом бежать. А дальше всё получилось. Подошли, швырнули, убежали, уехали. Одно лишь удивило всех. И это не фантазия одного зомби. Дима, Таня и Боря сошлись в этом любопытном пункте. Дикие зомби вышли, но не пытались ловить или преследовать диверсантов, они лишь растерянно в них всматривались. Так всем показалось, хотя уверенности быть не могло. Невозможно тщательно изучить происходящее в состоянии страха, спешно убегая. Но всё же… Погони точно не было. Что является тому причиной? Растерянность, миролюбивость, какие-то неведомые никому соображения? Нет ответа.

14. БАЛ

На следующий день мы запланировали танцы. Отменять их не пришлось. Новых заданий не последовало. Вольно. Люди собирались. Мелькали знакомые лица, в том числе пришёл и учёный, занимавшийся изучением фауны в Чернобыльской зоне, давший мне почитать «Игру в бисер» Германа Гессе. Любопытный собеседник, рассказывающий увлекательные истории. А танцевать я не любил.

Наше пёстрое действо шло своим чередом. Люди приходили и уходили. Даже музыка подчеркивала разноцветье происходящего, советская и постсоветская попса перемежалась с «ДДТ» и «Арией». В разгар беседы я бросил взгляд в глубину очень маленького, на самом деле, зала. На противоположной стороне сидела и мечтательно, печально огромными серыми глазами смотрела в зал незнакомая девушка. Мне привиделось что-то древнеегипетское во всём её облике, хотя внешне, если подумать, ничего общего. Казалось, какая-то тайна покрывала её черты. Да, и одежда. То была, вероятно, как я сейчас припоминаю, обычная одежда, но тогда казалось, что девушка словно укутана во что-то, а не одета. Странное ощущение, обман зрения. Смущение улетучилось само собой, я извинился перед своими собеседниками, пообещав вернуться к ним позже. Не имея никакого плана, я пересёк зал, приблизился к девушке и пригласил её на танец, – в этот момент объявили какую-то медленную музыку. Можно было крутиться с ней, не выпячивая угловатые, неловкие движения. Девушка слегка улыбнулась своими большими глазами и кивнула в знак согласия. Мы кружились, а я пытался завязать разговор:

– Никогда прежде не видел вас здесь.

– А вы знакомы со всеми обитателями Чернобыля?

– Нет, конечно. Я радуюсь встрече. Есть люди, с которыми чувствуешь некую духовную связь… Нет-нет, это не такая новая форма ухаживаний… или… да, пожалуй, форма ухаживания. Не знаю. Я лишь хотел рассказать про ощущение некого сродства. Я почувствовал необходимость общаться. И общение здесь и сейчас – самоцель.

– Так здесь завязывают знакомства? Что ж, любопытно.

Я продолжал болтать с ней и после этого танца. Мы ещё кружились потом под медленную музыку. Быструю музыку я потом игнорировал, боясь открыть ей свою неловкость. Я всё время рассказывал анекдоты, шутил. Девушка же, её звали Стелла, не отличалась многословием, она предпочитала загадочно улыбаться.

В какой-то момент Стелла занервничала, посмотрела на часы и сказала: «Прошу прощения, мне пора, нужно торопиться».

– Но куда? Сейчас же ночь.

– Разве джентльмену пристало задавать такие вопросы?

– Моя очередь просить прощения. Но проводить вас можно?

– Немного.

Я прихватил с собой фонарик. Мы покинули помещение и отправились сквозь город, вышли к его окраине. Там Стелла вдруг сказала: «Дальше нельзя, теперь я пойду одна». Она стремительно исчезла в темноте, а у меня не хватило дерзости посветить ей вслед.

Очень странное прощание, удивительно… Кто она? Откуда? Куда она отправилась и почему не побоялась самостоятельно бродить в столь опасных местах? Вопросы, вопросы. Но мне не хотелось слишком сосредотачиваться на проблемах, не имеющих в данный момент никаких решений. Столь ли это всё важно? Всё в моей душе пело и сияло. Казалось, теперь мне любое дело по плечу. С весёлым и лёгким сердцем я вернулся к зданию, в котором мы располагались. Но уже на пороге почувствовал неладное. Когда я вошёл, все участники нашего мероприятия с растерянными, смущёнными лицами расположились по краям зала, а в середине матерился багровый и злобный лейтенант Пётр Иванович Беленький, сменивший вчера Ивана Петровича Черненко, временно покинувшего «зону». Я желал остаться незамеченным, но не вышло.

– А… Вот и наш Ромео. Ты её хоть выеб-л?

– В чём, собственно, проблема?

– Эта сука из диких зомби. Ты знал?! Ты, б-дь, знал?!

– Нет, – с удивлением крякнул я.

– Они уже здесь! Будьте же, б-дь, бдительны! Вы зачем здесь? Вы хоть сами знаете? Завтра я вам устрою, вы-бу и высушу. А теперь отбой.

15. СВОИ

Нам добавили занятий. После обычных уроков ещё где-то час бравый лейтенант Петр Иванович Беленький читал политинформацию. Если честно, у меня в голове после неё ничего не оставалось, кроме замысловатых ругательств. Беленький несомненно был одним из ведущих специалистов по обсценной лексике. А суть лекции такова, что она абсолютно не задевала мой мозг и сердце. Собственно, все места там уже были заняты Стеллой.

Стелла. Да-да, я задумался о долге. И сразу отбросил сомнения. Ну какой долг? Перед кем? Я клятв и обещаний не давал, взаймы ни у кого не брал. Преступная организация потратила на меня какие-то средства? Это её проблемы. Если я нанесу ей какой-то урон, прекрасно. Я готов предать «своих»? Но кто здесь свои? Близкие мне зомби или какие-то алкоголические лейтенанты и их шайки? Их начальство, помнится, что-то лепетало о моей вине перед государством, о необходимости искупать что-то? Что? Моё убийство, в котором я никоим образом не виноват? Разве я сам выбрал судьбу зомби? Я, как нам тогда было сказано, не могу быть причислен к честным гражданам. А я в жизни ничего не украл, никого не убил. Они считают меня чужим? Не проблема. Я это принимаю. А тут ещё и украшенная, расцвеченная отборным матом политинформация от вечно пьяного Петра Ивановича, которого скоро снова сменит ничем не отличающийся от него Иван Петрович, всё больше укрепляла меня, убеждала в правильности моего хода мысли. Собственно, я не утверждаю, что Беленький выпивал именно перед выступлениями. Скорее, он так пропитался алкоголем, что пьяное состояние организма стало просто перманентным и нормальным. В этом он, кстати, от Черненко ничем не отличался.

В первый день расширенных занятий, я, после политинформации, вышел на улицу, немного отошёл от входа и погрузился в свои мысли. Внезапно тяжёлая рука легла на моё плечо. Я резко обернулся, – Валера:

– Не обращай внимания на идиотов, на дегенеративного лейтенанта.

– Спасибо, – только и ответил я, растерявшись. Валера улыбнулся и ушёл. Вероятно, Беленький как-то описывал мой «провал», ругал меня в своём выступлении. А я и не заметил… Я попросту не слышал, не слушал, не воспринимал.

На третий день Беленький всё же попробовал втянуть меня в выступление, разбудить. Вдруг он стал вопить: «Вот, Ромео, иди сюда, иди сюда, не ссы». Я не сразу понял, что он подзывает меня, лишь пристальные взгляды моих товарищей пробудили меня от посторонних… нет, почему посторонних? От моих мыслей. Я медленно вышел.

– Не спи, сука, замёрзнешь. Вот о чём ты говорил с той блядью?

– Так, ни о чём особенном, – характеристика Стеллы меня возмущала. Но спорить я не стал. В конце концов, я не был уверен, что ругательство в речи лейтенанта стоит в значении ругательства. Беленький родным языком не владеет. Для него слово «блядь» означает просто «женщину».

– Ни о чём особенном?! – заверещал Беленький. – Это наш враг! Это как если бы когда-то коммунист спокойно говорил с фашистом!

– Как Риббентроп с Молотовым?

– Ах ты гад. Тебя бы расстрелять. Да пули жалко. Вот за таких, как ты, мы умирали? Чтобы ты теперь жил и радовался? Думай о своей вине, как ты можешь её искупить. Дикие зомби хитры. Вы им не нужны. Они вас используют и выбросят.

После занятий я отправился гулять. Хотелось найти сравнительно узкий переулок, чтобы потеряться, укрыться от солнца. Я нашёл такой. Но не успел дойти до его середины, как с крыш на меня полетел мусор. Кто это сделал? Я не разглядел. Я с тяжёлыми ощущениями прошёл переулок насквозь, с другой стороны ко мне подошла какая-то старушка, которая принялась кричать: «Предатель! Ты предатель! Таких расстреливать нужно!». Я постарался ускользнуть, – в какой-то момент мне в голову сзади угодил камень. После всех этих приключений я вернулся домой в расстроенных чувствах. Хотелось умереть… Однажды у меня это уже получилось…

16. ЗАДАНИЯ И УРОКИ

Между тем жизнь после смерти продолжалась. Я мало гулял и больше читал. Всё же мой недавний неприятный опыт был столь неприятен, что я постарался избежать его повторения в любой форме. Жизнь вообще стала скучнее. Контроль над нами усилили. Для походов в «Сталкер» требовалось специальное разрешение, дискотеки запретили.

Уроки с политинформациями, а потом, кажется, через три дня после педагогической премьеры лейтенанта Беленького, нас решили привлечь к новым спецоперациям. Две вылазки в неделю. Нас не задействовали всех одновременно, группа неизменно состояла из водителя, лейтенанта (Черненко или Беленького) и двух зомби. Не знаю, почему для первой пробной вылазки взяли троих наших, а теперь диверсионные группы уменьшили. Добровольцев больше не искали, а просто разбили нас на пары и составили график вылазок. Меня поставили в последней паре, очевидно, желая дать мне возможность всё обдумать или чтобы присмотреться к моему поведению, удостовериться в моей лояльности. Со мной отправляли Кирилла. Малознакомого зомби. Мы рядом жили, вместе учились, но никогда особо не общались. Кирилл невысокий, с резкими движениями, не любящий думать, он плохо учился. Это всё, что я смог о нём припомнить, увидев его имя рядом с моим.

Что совершалось на этих операциях? Обычный вандализм. Иногда приезжали во время богослужений, бросили дымовые шашки, камни или мусор и убегали. А бывало, приходили к пустой церкви и пачкали её

стены всевозможными оскорбительными надписями. Личная инициатива не приветствовалась. Лейтенант выдавал каждому листок с текстом, который следовало начертать. Дикие зомби никогда не преследовали нападающих. Так, по крайней мере, нашим казалось. Это выглядело странно, но факт. Никого из наших не поймали, хотя дикие зомби лучше развиты физически.

Отказаться от участия я не решался. Не мог себе даже представить, что будет, если я выкажу прямое неповиновение. Оно ведь противоречит всей покладистой природе зомби. Восставшие зомби – нонсенс. Я полагаю, что и конфликт с нашими дикими сородичами спровоцировали люди. Если бы все эти вечно пьяные лейтенанты и их злобные командиры попытались мирно договориться… но они выбрали конфликт.

Я молился неведомым силам, – выслушает ли Бог мольбы зомби? Считается, что мы им прокляты, – просил избавить меня от встречи со Стеллой во время задания. Неужели меня отправят швырять в неё камни? Я сломаюсь, я этого не сделаю. Надписи на стенах – тоже не моё. Но это, конечно, проще, тут легче переступить через себя…

17. МОЯ ВЫЛАЗКА

День, которого я так опасался, наступил. Мы с Кириллом сели в машину. Лейтенант посмотрел на меня с пьяной ухмылкой и сказал: «Не ссы. Твоя любовь уже ждёт тебя». Бравый вояка и в дороге непрерывно «развлекал» нас пошлыми шутками, своеобразно освещавшие «половой вопрос». Да, высшие силы не вняли моим просьбам, наше задание – забросать молящихся дымовыми шашками. Уже на подъезде лейтенант решил приободрить меня: «Ды ты не ссы, бабы такое любят, “чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей”».

Всё шло по плану. Машина остановилась в отдалении. Взяв дымовые шашки (слава Богу, что не камни!), мы приблизились к зданию церкви. Лейтенант и Кирилл быстро справились, не раздумывая бросили шашки. Я же вцепился в чеку и не решался её вырвать. Лейтенант с руганью бросился ко мне. Он моей рукой выдрал чеку, схватил мою руку, державшую шашку, махнул ею. Я от неожиданности разжал пальцы и шашка влетела в дверной проём… Лейтенант и Кирилл побежали к машине, а я застыл, наблюдая за выходящими… первой вышла Стелла – «Прости, я не хотел… Но я виноват, я не оправдываюсь». Я опустился на траву, сел. Меня убьют? Тем лучше. Дикие зомби окружили меня. Какое-то время они просто стояли вокруг меня. Я не чувствовал их настроений, слишком сильные эмоции переполняли меня самого изнутри, подавляя всякую чувствительность к внешнему. Разглядывать же лица не хватала решительности. Неслучайно же расстреливаемым завязывают глаза, хотя, что меняет эта повязка? Она не влияет ни на происходящее, ни на знание приговорённого о происходящем.

Но непродолжительную паузу нарушил звук шагов в мою сторону, я невольно обратил свой взор на идущего ко мне и увидел стоящего на расстоянии вытянутой руки зомби с серьёзным, грустным, мудрым, немного загорелым лицом. На его голове высился головной убор, напоминающий католическую митру. На меня пристально смотрели умные, мягкие глаза:

– Приветствую тебя, мой брат. Спасибо, что ты пришёл к нам. Pulsate et aperietur vobis. Ты выдержал испытание, ты спасён. «Много званых, а мало избранных».

– Приветствуем тебя, наш брат, – подхватил хор зомби.– «Приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус».

У меня потемнело в глаза от резкого облегчения, от внезапного понимания – «ничего страшного, спасён», – после ожидания чего-то непостижимо страшного.

– Ты узрел священный мрак? Спасён! – сказал человек с митрой на голове.

– Свят, свят, свят, – подхватил хор.

Зомби уже образовали круг вокруг меня, теперь они взялись за руки, втянув меня в свой круг, и продекламировали: «Свобода, равенство, братство!»

18. ИСКРЫ ЗНАНИЯ

Мои новые товарищи оказались вовсе не страшными, не ужасными, как нам их описывали на занятиях. То были простые и бесхитростные зомби, желавшие сохранить свой уклад жизни, свои обычаи, традиции. Они стремились лишь избавиться от непрошенных вторжений на свою территорию, прибегая только к ненасильственному сопротивлению. Хотя были у них и благочестивые верования о судьбах всего мира, о своей положительной роли в мировой истории. Но об этом позже.

Меня разместили на территории села, которое, как я уже знал, называлось Замошня. Оно находилось примерно в сорока километрах от Чернобыля. Его основали старообрядцы, пришедшие в 1755 году из Стародубья на Черниговщине. Первоначальное его название, впрочем, Слобода. Это от того, что оно в момент своего основания примыкало к более крупному населённому пункту, Глинке. Впоследствии

Замошня разрослась и сделалась центром сельсовета, в состав которого вошла и Глинка. Здесь же протекала живописная река Уж. Место красивое, зелёное, с какой-то особой аурой. В селе было немало пустующих домов. В одном из них меня разместили, а члены местной общины быстро собрали для меня самые разные необходимые в хозяйстве вещи. Зомби их когда-то специально выискивали, описывали, хранили. Это сказывалась покладистость нашей породы. В селе, кстати, до аварии функционировала довольно приличная для такой глухомани библиотека. Так что община владела и каким-то количеством книг. Как-то Стелла, рассказывая о накопленных вещах, заметила: «Процветал, очевидно, местный колхоз "Заветы Ильича", много накопил он имущества, но где теперь его председатель? Он как олень, не находящий пажити».

Ручные зомби во главе с лейтенантами продолжали свои атаки. Значительную часть оскорбительных надписей теперь посвящали моей скромной персоне. Подчеркивали, что я лгун и предатель. Вот она, слава, популярность. И всё же меня, если честно, это задевало, хотя я и знал о том, что стены пачкают официальными лозунгами, а не частными мнениями. И я себя предателем не считал. Но иногда в сознание проникала мысль: «Неужели кто-то и вправду так обо мне думает?». Дикие зомби меня утешали, призывали не реагировать и смиренно сносить все поношения, через которые лежит путь к совершенству.

В стандартный распорядок дня общины входили обязательные занятия, в первую очередь изучение святой «Книги ангела Лаанаэля». Я же был тёмен и в совершенно базовых вещах, так как не имел ранее никакой возможности изучать мудрость своего народа. Поэтому для меня ввели ещё и дополнительные уроки, которые проводили как священники, так и добровольцы из рядовых членов общины.

Особенно я признателен брату Родригесу, простому зомби, не очень начитанному. Однако же он твёрдо знал многое из основ нашего вероучения, не забывал, не путался, терпеливо, раз за разом объяснял мне главное, то, на что можно было нанизывать сложную информацию:

– Мы дети тьмы. Материя, всё земное – это мрак. Солнце сжигает жизнь. Люди издавна поклонялись Солнцу, а потом Богу света, тепла. И это понятно. Люди, ведомые своим Богом, уничтожают природу, всё живое на земле. Мы же призваны защитить планету от людей, добиваться наступления «прохладительных времён», как правильно понял Лютер из Деяний апостолов 3:20.

– Неужели мы должны бороться с людьми? Истреблять их?

– Вовсе нет. Наоборот. Убивая, мы сами станем подобны людям. Палач – это тоже убийца. Так мы сами станем последователями светлого Бога, который, хотя и рядится в «не убий», но в реальности лишь обманывает этим, призывая убивать неверных, других, непохожих. Причин и исключений много, а итог всегда неизменен, – истребление всего живого. В конце концов, люди сами придут к своей никчемности, осознают свою вредность. Разумеется, только самые умные действительно осознают. Остальные просто уничтожат сами себя, не ведая о причинах.

– Трудно себе такое представить…

– Да неужели? Посмотри вокруг. Авария на Чернобыльской АЭС, дикие милиционеры.

– Кто-кто?

– Дикие милиционеры. Не слышал? Собственно, там не только милиционеры. Милиция – костяк стай, а к ней примыкают и другие одичавшие люди. Многие прибывшие сюда во время аварии охранять правопорядок не совсем понимали, что и как тут происходит. Они были растеряны, дезориентированы. Команды им отдавались нечёткие. Милиционеры долго бродили по лесам и одичали, сбились в стаи. Потом к ним присоединялись потерявшиеся ликвидаторы, одичавшие самосёлы, браконьеры. Но милиционеры оказались сильнее всех, они неизменно руководят стаями, поддерживают в них порядок. Стаи часто нападают на диких животных и людей, пожирая и тех, и других.

19. КОСТЁР ЗНАНИЙ

Существовал обычай вечерами собираться у костров, обсуждая разные философские проблемы. Порой проговаривались банальности, порой наступали прозрения. Но суть даже не в словах, а в обновлении душ огнём. Говорят, сам обычай – память о кострах инквизиции. А с ними всё не так однозначно, как принято считать. Ведьмы страдали, погибая на кострах. Но они не понимали, что сама их деятельность вызывает подобный конец, обуславливает возникновение инквизиторов. Это естественный, природный процесс. Ведьма, достигая определённого уровня постижения магических оснований мира, утрачивала свою личность, должна была стать частью природы, пеплом, удобряющим почву. При этом сами её останки концентрировали энергетику результатов постижения мироздания. Удобряя почву, ведьмы делали мир мудрее, лучше.

Пресвитер Гильом, тот самый, с митрой на голове, благословивший меня после моей хулиганской выходки, как-то сказал у костра:

– У человека, как принято считать, две смерти и два рождения. То, что люди называют рождением, – смерть души и рождение тела. То, что люди называют смертью, – смерть тела, но рождение души. Ошибка в том, что человек – низшая форма жизни, лишь предваряющая высшее существование

в виде зомби. Это как гусеница и бабочка. Гусеница может просто погибнуть, а может превратиться в бабочку. Так и человек. Либо гибель, либо превращение в зомби. Существование же души вне тела не имеет ценности для нашего мира.

– Но должны ли мы как-то способствовать превращению людей в зомби? – вопрошал я.

– Духовно. В конце времён они обратятся к истине.

Разговоры о конце времён мне казались жуткой пошлостью. Банальная общая тема с Поздней античности до наших дней. Её популярность свидетельствует о перманентной актуальности. Но я ненавижу актуалии, не переношу ряды бесконечных плеоназмов, не люблю слушать собеседников, выдающих заплесневевшие всем известные фразы за свои оригинальные мысли. Есть лишь один способ вырваться из замкнутого круга – открыть неожиданную сторону темы. Но возможно ли после стольких повторений бесплодных речей? И я не провоцировал, я помалкивал. Лишь однажды…

Я шёл со Стеллой вдоль берега реки Уж.

– Скоро мы войдём и в церковь в Чернобыле. Я имею в виду не именно нас, а наших, впрочем.

– В Ильинскую? Зачем нам вообще эти церкви?

– Люди отвратили свои взоры от истинного Бога, заменив его оправданиями своей низости. Ты ведь не станешь отрицать, что именно таково современное состояние дел. Собственно, есть три вида человеческой религии. Первый, самый древний, – естественная религия. Люди поклонялись силам природы, одновременно постигая их. Второй, тоже очень старый – политическая религия. В какой-то момент возникли необходимость и умения нормализовать систему общественных отношений, сделав существование безопаснее. Оказалось удобно обосновать очевидные выгоды, не демонстрируя их несомненные преимущества, а через оправдание требованиями высших сил. Это забавный психологический момент. Человек стыдится своей выгоды.

– Но позволь. Эгоизм – это плохо для общественных отношений. Зачем же его выпячивать? В данной ситуации действия людей обоснованы.

– Смешной ты. Главное свойство Бога – любовь к своим творениям, в первую очередь к каждому конкретному человеку. Эгоист, полюбивший самого себя превыше всего, становится сопричастным, подобным в этой любви своему Творцу. Это и есть обожение, приятие богоподобия. Брат Гильом учит, что хотя мы и живём общиной, нужно готовиться к духовному сиротству, осознавать его каждую секунду. Не уповай на помощь. Все мы одиноки. Не следует рассчитывать на поддержку. Общность – иллюзия.

– Хорошо. Пусть так. А какой третий вид религии?

– Это религия «шары». Это новейший из известных видов религии. Какие-то группы людей придумывают, что Бог их возвысил над человечеством, позволил отнимать чужое имущество, чужие жизни. Но в конце времён это прекратится. Все люди превратятся в зомби, станут спокойными, покладистыми и исполнительными. Скоро ты и сам увидишь, даже не закончившие процесс обращения люди начнут страшиться неожиданных слов, порывистых действий.

– И когда же наступит это светлое… то есть тёмное будущее?

– Ты не случайно запутался. В наших пророческих книгах сказано: «Это свершится, когда ночь станет днём, а день ночью». На это очень туманно и искажённо намекает «Откровение Иоанна Богослова» при описании трубления четвёртого ангела.

– Ну ждать этого мы будем ещё долго? Не правда ли? Земля, что ли, налетит на земную ось, – я тщился глупо шутить.

– Это даже не как повествует «Идиот», «сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе».

– Но что тогда?

– Я никогда не бывала за пределами «зоны», но слышала… Ты должен знать ответ. Обращал ли ты внимание, что фонари на улицах иногда горят днём, а ночью, напротив, не работают?

– Да, пожалуй, бывало, – сказал я после некоторого раздумья. Я особо не приглядывался, но теперь мне показалось, что так и правда бывало.

– А заметил, что люди, если есть такая возможность, предпочитают поздно ложиться и поздно вставать, хотя это противоречит старинным, привычным распорядкам?

– Есть такое.

– Вот-вот. Начинается.

– Что начинается?

– Зомби-апокалипсис. Как не очень точно описано у Иоанна Богослова. Кстати, любопытно, что именно про зомби-апокалипсис, про воскресение из мёртвых говорится в библейских пророчествах, но люди попытались вычеркнуть нас из своей истории, читая, при этом, и комментируя Иезекииля… И спасённых будет немного. Как утверждал Цицерон: «Все глупцы, без сомнения, несчастнейшие люди больше всего оттого, что они глупы, ибо что можно считать более достойным сожаления, чем глупость?»

20. СПЕЦЗАДАНИЕ

Однажды мы сидели у костра и настроение у всех было приподнятое. Философские беседы не складывались, хотелось шутить, балагурить. Со всех сторон сыпались анекдоты. Лишь пресвитер Гильом не участвовал в беседе, храня какую-то мрачную торжественность. Сперва этого не замечали, но потом неуместно серьёзное лицо привлекло внимание. Рядовые зомби принялись подшучивать над Гильомом. Следует сразу сказать, такое поведение считалось нормальным. Внутри сообщества зомби допускается неформальное, демократичное общение. Удивительным было другое, пресвитер не отшучивался. Он долго отмахивался, стараясь ускользнуть от беседы. Лишь когда мы все расходились, он сказал:

– Грядёт час великих испытаний. Не бойтесь смерти, вы все её уже однажды испытали. А она вас испытает огнём и покажет качество работы каждого. Умерьте свои упования. Цель любого существования – смерть, конец. Этот мир принадлежит победителям: «Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни», «Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моём». Но победа – это иллюзия, это временный успех, сменяющийся поражением. По большому счёту, в этом мире нет и не может быть победителей. Всё сущее проигрывает. Всё приходит к гибели. Одно сменяет другое до бесконечности. И никто не победит. Все падут в землю семенами. Принято обещать грядущее неосознающей своего прошлого душе, далёким потомкам и т.п. Не думайте об этом, не уповайте на это. Вас там в вашем нынешнем виде не будет. И не надо. Награда в настоящем. Она в осознании, что поступил правильно. Всё. О грядущем следует лишь знать, как знать о законах физики. Это часть самопознания. Не более того. Я благословляю вас на горе, как благословлял на радость. А теперь лучше разойтись. Выспитесь, другой возможности не будет.

Слова пресвитера Гильома вызвали смятение, но никто не решился их обсуждать. Все молча, в смущённом состоянии отправились по домам, скупо попрощавшись друг с другом.

Лишь меня пресвитер Гильом удержал, схватив за руку. Он дождался, пока все разошлись:

– И мне, и всем здесь ты как брат. Для тебя у меня особое задание. Выполнишь?

– Да, сделаю всё, что в моих силах.

– В твоих силах многое. У тебя особая судьба.

– Что я должен делать?

– Завтра рано, за час до зари, ты должен покинуть наше селение. Прямо напротив нас, на другом берегу реки Уж раскинулись остатки села Бычки. Тут нет прямой переправы. Удобно, конечно, поехать в объезд, отправившись в северо-западную сторону вдоль реки. Но это долгий путь. Машины у нас нет. Ты пойдёшь на юг вдоль реки по просёлочной дороге, там будет поворот направо и дорога выведет тебя в нужном направлении. Потом ты пойдёшь по другой стороне на север вдоль реки. Прямо напротив Замошни, как я уже сказал, и находятся Бычки. Войдёшь в село и пересечёшь его по основной дороге, которая направлена приблизительно на юго-запад. Если следовать прямо по этому пути, ты выйдешь к руинам монастыря. Там есть волшебное дерево. Оно выглядит необычно, как некое диковинное чудовище… На всякий случай у меня есть подробная карта, по которой ты его найдешь. С северной стороны дерева стоит коробка из слоновой кости, ты возьмёшь её и, не открывая, отнесёшь её к нам в Замошню. Тут ты её откроешь. Ты поймёшь, когда это следует сделать. Ещё одна важная вещь… Не смотри долго на мох. Он выжигает глаза. Вот и всё. Никаких вопросов.

Я взял карту и в странном смущении отправился к себе. Завтра рано вставать.

21. ЛАРЕЦ И САРАНЧА ИЗ ДЫМА

Я рано проснулся и вышел за час до зари, как и обещал пресвитеру Гильому. Не хочу обстоятельно описывать путь, со всеми этими подробностями о кустах, деревьях, бабочках и вызываемых ими чувствах, как нормативный писатель XIX века. Я люблю созерцать природу, но словами всего не передать. Есть «несказ*а*нное», как говаривал Александр Блок. Не то, чтобы я всё сразу нашёл, двинулся по правильному пути и прямиком вышел к нужному дереву. Времени у меня ушло немало, я ошибался и путался. Но ларец, в конце концов, обнаружил. Он был прекрасен. Белый, из слоновой кости, по краям вырезаны изображения пирующих зомби, – они сидели за столами, ели из тарелок мозги и запивали пивом «Оболонь».

Несмотря на пожирающее меня любопытство, я не открыл ларец, но взял его и отправился в обратный путь. Уже на подходе к селу в моей душе возникло щемящее беспокойство. По какой-то причине я, не заходя в Замошье, двинулся через Глинку (через неё шла основная дорога), чтобы потом, срезав путь, попасть сразу в северную часть нашего села, к церкви. По какой-то неизведанной причине мне это казалось правильным, даже необходимым.

Я вышел… нет, выбежал к церкви, вошёл в неё. Всюду лежали обгоревшие тела зомби! Они были мертвы! Разве можно умереть повторно? Я был потрясён, опечален. Я осиротел. У меня больше никого нет. Вот Стелла, вот Гильом, вот Родригес… Боже-боже. Я бросил взгляд в отдалённый угол… Кунигунда?

Тихая, всегда незаметная, скромная. Она сидела с широко раскрытыми от ужаса глазами и не шевелилась. Я ещё раз присмотрелся. Она не погибла, нет. Я подошёл к ней. Она удивлённо посмотрела на меня. Я присел рядом, а она обняла меня и заплакала.

Не скоро она успокоилась и к ней вернулся дар речи… но в какой-то момент это случилось. Её рассказ не был очень уж длинным. История простая и трагичная. Всё произошло чрезвычайно быстро. Зомби молились, а в здание полетели дымовые шашки, значительно больше, чем обычно. Все заранее условились не выходить в случае атаки. Поэтому зомби стояли в церкви, внутреннюю часть которой полностью заволокло дымом. Каждый старался продолжить молитву, но пение расстроилось. Когда дым рассеялся, в церковь ворвалось подразделение солдат, все люди и ни одного зомби. У каждого в руках какое-то новое, ранее невиданное оружие, какие-то толстые трубки-стволы. Из них вырывался свет, стоило лучу лишь слегка коснуться тела зомби, и обгоревшее тело падало на землю.

Я выслушал рассказ и задумался. Как выжила Кунигунда? Это легко объяснить. Её просто не заметили. Это её естественный дар невидимости. На неё никто никогда не обращал внимания.

Ах, ларец! Я рассказал Кунигунде о последнем задании Гильома. Мы подняли красиво изогнутую крышку… Внутри оказался листик с картинкой, – сидящие король и королева держат венец над головой стоящего между ними ребёнка. Как я потом выяснил, это изображение – девятнадцатый рисунок из опубликованной в 1622 году «Philosophia reformata» Иоганна Даниэля Милия.

22. ЭПИЛОГ

Мы сошлись с Кунигундой, покинули зону, выдав себя за потерявшихся и одичавших ликвидаторов. Всюду царила относительная неразбериха, официальные бумаги часто теряли, а порой обнаруживали в самые неожиданные моменты. Случайность или подготовка к выборам? Не знаю. Но нам выдали документы людей. Добрая, мягкая, с глазами коровы служащая пожалела молодых людей, всплакнув, вспоминая о своей непростой юности. Я женился на Кунигунде. Мы завели ребёнка. Теперь мы ведём нормальную, размеренную буржуазную жизнь, дом–работа, работа–дом. Безынициативная рутина. Наша естественная стихия. Что может быть лучше для зомби? Это и есть счастье. Я уверен, что чекисты нас разыскивают и когда-нибудь найдут. Но я не боюсь смерти. Однажды я уже умер.

НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА

ИМЕНА, КОТОРЫХ НЕ НАЗЫВАЛ

***

Когда поле затоплено, маки всплывают над нами.
Мы подводный свой дом сторожим: с ремеслом повезло.
В готовальне покоится циркуль, хромой временами.
Под навесом наседка клюёт измельчённое зло.
То не почта закрылась, а просто тропинка кривая,
Потерялось в дороге письмо ли, замёрз почтальон.
То не плачет ребёнок – он медленно рот открывает,
Выпуская из лёгких рассерженных белый бутон.
Поднимись-ка со мной по ступеням надежды <побег!>
<там соседствует с плачем предвзятым неузнанный смех>
– и заплатишь мздоимцу за вдох и за выдох отдашь
всё, что там соберёшь, чтобы вечный построить шалаш.
Отчего, отчего, правдолюбец, ты требуешь дань:
десятину от каждой любви и иного труда?

***

На неродном уже не странно
Чертить убористые знаки:
На ватной палочке Балканы
Соседствуют с траянской Дакией,
А лёгкие живут на ренту,
И в промежутке между войнами
Нас ноги, взятые в аренду,
Несут по улицам присвоенным,
Где я вошла в порядок слов,
Творимый новых Твоих снов
Невыразимым свойством,
И стало роскошью весло,
Когда все лодки отнесло,
И вся планета – то одно
Плывущее устройство.
Дитя ли, дева ли мастак
Перенимать как тайный знак
Судьбы борозды –
Чтобы немного погадать,
Ты не подкинешь свой медяк
в морозный воздух.

***

Я точно знаю: до рождения
И ты здесь был, и я была,
Где подожжён октябрьский день
Последним призраком тепла,
И тень айвы легла устало,
По тени родины скользя,
На тени двух полубокалов,
И сбила нас, аки ферзя,
Спугнула спящих голубей,
И ты, колдун, шаман ли, фельдшер –
Перевязал нам, не робея,
Все раны, из которых меньшей
Не разглядеть: была она
Нам до рождения дана.
Я здесь жила, где каждый – ранен,
Где времени края свожу –
И вижу внука на веранде,
И ветхий дачный абажур.
Кровинку разве не приму
Под кров, который потому
На карте не отмечен,
Что ты все руки исколол,
Когда нетленный строил дом,
В котором жить нам вечно.
Нас в сизой приняли глуши
Дурман, туман, лиман.
Язык раздвоенный зашить
Мне помоги, шаман.

***

«Режь лучок, управляй страной», –
говорит мне седой сосед.
Неприлично сидеть одной
на террасе, которой нет.
Когда юность приносит счёт
и в оранжевых ждёт лучах,
я стираю усталость с щёк
и даю ей денёк на чай.
Двести лет его слой листвы
покрывает, а он… Но пусть.
– Просто Вы здесь случайно, Вы… –
и не знаю, о чём смеюсь.

***

Запомни себя в любви:
Как стояла тогда,
И треснула почва, обрушилась нищета,
Как несла дары:
Лукошко ежевики и прелый мох.
Окликнули по имени.
Позволили быть: живи!
Хотелось, эх, хоть чем-нибудь удивить,
Накопленным за отмерянный выдох-вдох:

Башней, обдуваемой ветрами,
Облупившейся на раме
Краской <пропасть других идей >
Водоёмом, куда впадают
Мрачные тайны людей,
Несъедобные, оттого
Неинтересные для лебедей,
Болезненной трансформацией,
Странной акцией,
Скоплением ли на площади рыжих женщин –
<Обнажённые
Редкие акации
Их родинок, расцветая,
Казались меньше>.
Но ты стояла перед судейским ликом
Одна
Без себя
Одна
И лопнуло небо речи,
И стало не видно дна.

***

Разве так много тех, чьё имя
падает в разломы и прорастает,
и корнями цепкими держит скалы?
Крик в горах вызывает обвал. Эхо двигает камни.
Что же тогда говорить о хвостах комет на чернильном небе?
Что говорить о белых следах самолётов?
В горячем асфальте застряли мои каблуки.
Ни шагу вперёд, пока не представлю себя до конца безмолвной.
И я разуваюсь, и жалит стопы дорога накопленным жаром.
И нужно бежать, иначе мучительно больно.
Каяться – значит к себе возвращаясь исконному,
всё переписывать набело.

***

Уходя, гроза оставила мне бруснику чистой.
Вот он, воздуха захолустья демон,
спрятанный в рюкзаке.
В каждом дне здесь, высыхающем,
как и листья,
было что-то от отсутствия часиков на руке.
– Эхо! –
звал меня мой двойник, меня же
путая то с собой раздвоенным, то
с голосом, который ещё тревожит…
Эх, разбой!
Веха
жизни дерева, реже –
его истории обозначена на кольцах
того, что позже
явит букву, обессиленную толпой.
Вещи
есть ещё бессменные на Земле:
смоляное озеро, чёрный вал.
Вещий
знак начертан был но – истлел:
имена, которых не называл.

***

Имя моего Другого
Состоит из букв на табличках памятников.
<Случайность сборки>
Однажды ты откроешь дверь…
И никогда не выйдешь,
Став невидимым.
Там, за пределами зрения,
В неизвестных мне маленьких городах
Твой дом обрастает вещами.
А здесь я заковала тебя в безвременье,
И в страхе молю: останься ангелом.
Иначе утрата ударит мне в солнечное сплетение,
И обратит живущие там времена вспять,
Туда, где тебя ещё нет.
А ты – невидимый –
Всё будешь стоять напротив,
Но я не знала тебя.
Посмотри, вот комната,
В ней живут твои имена, которые я украла.
И когда я сожгу их – обрету свой язык.
Есть поля, куда приходят,
Когда хотят позволить собрать себя, как урожай,
И это конец,
И тогда множество разных вещей обретают новый порядок,
Ведомые не последовательностью,
Но неведомым законом,
Обретают конечную форму не по своей воле,
А по воле последнего рифмующего их взгляда.
Когда судья-жнец придёт,
И я не убью его, чтобы пойти дальше –
Наступит моё завершение.
Ничего о себе не вспомню.
Как можно помнить?
Всё равно, что из оседлого стать кочевником
И носить с собой всё былое имущество.
Всё равно растеряешь.
А что останется – уже не совсем правда.
Вот, ежеутреннее рождение заново:
Между умершим и родившимся
Такая же степень родства,
Как между мной вчерашней и сегодняшней.
Тебя не хватает здесь, где шумят итальянские дубы,
Нет тебя ни на кладбище в Пьяченце,
Под медово-тёплыми листьями,
Ни в залитой солнцем турецкой крепости,
Ни в кустах малины, ни под листьями тыквы,
И тогда на всех пустых местах
Я создаю тебя заново.
И после долгого молчания (длиною в забытие)
Раздается голос, который ждала вечно:
«Любишь ли каждого, как самое себя,
Каждого в равной мере –
Говори с каждым в равной мере,
И с пустыми пространствами говори,
Говори с глухими, ртом припади к снегу,
Пусть звук достигнет почвы под ним,
забудь имена».
Но однажды ты откроешь дверь…

***

Стать отпуском, событием <гештальт
закрыть, в снегу секвойей> нет, не эпизодом
быть молоком, но знать, что ты – миндаль
<конструкции интимности в верлибре>
Три месяца на поезде в Тайланд,
все жизни, проведённые в Монголии:
отвергнешь всё земное, Иоанн,
подкоп под плинтус и подкат с подставой,
но что-нибудь оставь мне, Иоанн.
Вот это:
словарём белеет даль,
и женщины в платках дорожных
глядят туда,
где дикий зверь
хоРёк двусложный,
перебирает лапАми метровыми,
глядят туДа,
где Н не осознала свой запрос,
где А – авторитет фантомный,
где М, родившись, очень долго рос,
и был и беспроблемным, и удобным,
где жалобы, вопросы и советы
хранит олений рог антиковеда,
туда, где помышленьем не грешат, –
но в ночь, увы, не выйдешь без ножа,
туда, где рады нам, мой Иоанн.

***

…И я открываю клеть, продолжая петь
о хрупкой надежде в ладонях <озимый росток >
о нежном касании <страхе, сбивающем с ног>
размытой границе имён, <но всегда о тебе>
о мухе, плескавшейся долго в прозрачной судьбе
о крыльях махровых, живых парусах, о горе,
горячими углями ставшей в твоём ноябре.
…и я открываю клеть, открываю клеть.

БАХТИЯР АМИНИ

С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

*

абрикосы в цвету –
свадебное платье
как она мечтала

*

её шёпот –
дорисую на картинке
последний штрих

*

ночная смена
между мною и тобой
темнота

*

толпой
ходят за мной
белые облака

*

холодный вечер
просится ко мне
уличная проститутка

*

прерванный сон
весь день ищу
потерянное хайку

*

день рождения
улыбаются мне
воздушные шары

*

ожидание
меняет направление
тень

*

зимняя ночь
какого цвета говоришь
депрессия?

*

вишня в цвету
все разговоры о принце
на белом коне

*

сахарная вата
у кого пышнее борода
спорят дети

*

ничего нового
пересказывает соседка
старые сплетни

*

инь и ян
сменился смехом
детский плач

*

хижина
привычный гость –
сквозняк

*

цветущие маки
дерутся двое
за будущую прибыль

*

длинная очередь
принимает меня за врача
мальчонка

*

музей эротики
багровое лицо
пожилого сэра

*

библиотека имени Ленина
идёт конференция
«Будущее за капитализмом!»

*

семейное фото
в центре –
щенок

*

перед цветением
что ощущает роза
вот бы узнать

*

тополиный пух
разговоры
о лёгкости бытия

*

белый танец
прокручиваю в голове
следующее па

*

беременная жена
целую
земной шар

*

измена
падает тень дерева
в огород соседа

*

старый рыбак
делит с лодкой и сетью
сокровенные мысли

*

на исповеди
узнают друг друга
два бывших вора

*

урок прогностики
есть ли у робота душа?
спрашивает мальчик

*

«Давай потанцуем!»
подпрыгивают за окном
капельки дождя

*

первый рисунок
у моего человечка
кривые руки

*

жена на диете –
жую громко
и ещё громче

*

первое свидание
пробую мороженое
галстуком

*

«Подайте на хлеб…»
соблюдает дистанцию
попрошайка

*

ветерок
готовы к полёту
одуванчики

*

весенний день
у девочки за ухо
веточки сливы

*

где-то глубоко
и в моей душе цветёт
крыжовник

*

вишнёвый сад
только однажды отец
сказал нет

*

Палата номер 6
выхожу из себя
и опять возвращаюсь

*

виноградная лоза
вдыхаю полной грудью аромат
будущего вина

*

равноденствие
балансирует длинным шестом
мужчина на проволоке

*

обратная связь
посвистываем
чайник и я

*

музей
«Ты мой шедевр!» –
говорит папа

*

Дон Кихот
сражаюсь со своими
ветряными мельницами

*

отпуск
посещаю виртуально
пункт назначения

*

карантин
отродясь столько ласки
не видела собака

*

листопад
доктор сообщает
о выкидыше

*

барахолка
на пластинке пыль
прошлого века

*

оранжевое утро
тащат муравьи
солнечные лучи

*

где ты сейчас
меняется в голосе
интонация

*

с открытыми глазами
всегда рядом со мной
моё сомнение

НИКА БАТХЕН

НЕ ПОГАСНЕТ СЕРДЦЕ ТВОЁ, ШАМАН

ВЕРА В ВЕРОНУ

В Вероне Ромео водит такси с вокзала
К римскому амфитеатру, затем в отели
Возит туристок в теле, среди недели
Носит камзолы, шитые шёлком алым,
И повторяет сказки – о пьяных вишнях,
Белом шиповнике, выросшем из гробницы,
Ласково гладит взглядом, сулит присниться,
Брезгует чаевыми, считает лишним
Тешить тугое тело – душа девчонки
Вот та награда, которая стоит драки,
Алые маки щёк, золотые флаги,
«Аве, Ромео» стучат костяные чётки.
Пусть уезжают – каждая с розой в сердце,
Каждая – дама очень большого света.
Счастье даётся даром – скажи, Джульетта,
Официантка в баре «куда бы деться».
Розовым маслом пахнут тугие косы,
Бёдра колышутся, словно волна прилива.
Как ты красива, девочка, как красива!
Бегаешь кроссы, не задаёшь вопросы,
Смотришь в глаза старому дяде Джонни
(Семьдесят два, сахар и бычий клапан),
Видишь мальчишку – он ещё утром плакал,
Воображая Джулию на балконе.
Капли любви в горьком прохладном эле.
Датский король был бы тобой доволен,
Как и любой – рокер, моряк и воин.
Выпили пива «счастье» – и улетели.
Ближе к рассвету Джульетта бредёт в мансарду,
Дома Ромео – храпит как тюлень на пляже.
Тень занавески по штукатурке пляшет,
Розы растут, запах плывёт по саду.
Ближе к закату будет креплёный кофе,
Сладкие поцелуи со вкусом вишни.
Видел бы нас с тобою шутник Всевышний –
Отнял бы счастье мигом – он в этом профи.
Нам удаётся жить. Тасовать туристов.
Верить в Верону, гравий, вороньи страны…
Слышишь шаги на лестнице? Донна Анна
Гостя с вокзала снова ведёт на пристань…

КЛЮЧНИЦА

Мир имеет форму твоих ключей.
Он построен из балок и кирпичей.
Разлинован зебрами, взят на вид.
Сер и пресен. Почти что не ядовит.
Тропы муравейников и жуков.
Топот несмолкающих каблуков.
Зонт бензина выше горячих крыш…
Ты молчишь
Копейкой из мелочей.
Мир меняет форму твоих ключей.
Прорастёт берёза сквозь злую жесть.
Засияет вереском майский шест.
Светлячок хихикнет – свети, не грей!
Две звезды в оправе твоих кудрей.
Два письма из ракушек и тесьмы,
Чтобы получилось сплошное «мы».
На ковре из ломкого чабреца
Сохранилась тень твоего лица…
Лисы верно спрятали в камыши
Ключ от твоей души.

ФЛЕЙТА

Лето – флейта, дар Алтая.
Сладкий стон в тумане тает.
Колыхается река –
Уплывай на юг пока.
Там дельфины за кормою,
Мама солнце в море моет.
Смотрят лисы из норы
На спине Медведь-горы.
Гаснет в скалах конский топот.
Меганом меняет тропы.
Камни падают в обрыв.
Шива спит, глаза открыв.
Пляшет кошка золотая…
Далеко ли до Алтая?
Песня флейты, дым костра –
Там и встретимся, сестра!

ВЕСНУШКА

Без малого май. Молоко облаков.
Серебряный пух молодых мотыльков.
Тюльпаны на клумбе, снега далеко.
Смеяться легко и влюбляться легко.
Сегодня семнадцать любому ханже.
Все длинные юбки усохли уже.
Топочут коты с этажа на этаж,
Роняя герань на сердитых Наташ.
Зелёный газон надевает парик,
Орду голубей выпускает старик
И белые птицы бесстрашно парят
Над бедной Москвою и чудо творят.
Пусть солнце заглянет в любое окно!
Сок жёлтых цветов превратится в вино!

Снесёт ураганом дурные ветра –
Смеяться пора и влюбляться пора!
Мы будем гулять от реки до реки,
Купаться, плести золотые венки,
Играть в догонялки – попробуй поймай!
Тик-так – и наступит май!

ОДНА ВОЛНА

Вспоминать о море. Остаться вне.
Быть с тобой, родной, на одной волне.
Вене-види-вышел, вишнёвый сад,
Радиоприёмник и голоса
Говорят, пора мол, Нью-Йорк, Берлин,
По каналам плавает Лоэнгрин.
Деревянный мостик давно прогнил,
Что тебе речушка, когда есть Нил?
Трек и путь и шествие по пути,
Даже ветер вовремя приутих…
Не устану помнить и повторять –
Море моё, полное янтаря,
Корабельных сосен двойной конвой,
Серый парус неба над головой.
Властелины вереска, ведьмы дюн,
Собрались на воле встречать июнь.
Руки-крылья, в пляс языки костра…
Закрывай глаза и считай до ста
И лови губами и пей до дна –
Лето Фиолента. Одна волна.

МИДСАММЕР

Есть время маленьких хороших новостей
Смешных открыток, писем на коленках
Пыльцы на рукавах, варенья в пенках,
Ночных звонков и утренних гостей.
Весёлой суетой предотпускной
Опять полны шкафы и чемоданы.
И радуют немодные романы
Совсем не так, как думалось весной.
И дождь бежит по маленьким дворам,
И пахнет оглушительным жасмином,
И печка притворяется камином,
И удручает дачный тарарам…
Но всё пройдёт – дожди и суета.
Неделя моря, месяц урожая.
Истает свет, почти не возражая,
И время неизбежного кота
Наступит вновь, устроится в ногах,
И станет мир уютным и сонливым…
И лишь открытка с бешеным приливом
Напомнит о далёких берегах.

НА ЗАКАТЕ ИЮНЯ

Миновали метели,
Отгуляли волхвы.
Облака пролетели
Мимо речки Москвы.

В треугольнике – Углич
И Покров на Нерли.
Сколько Волгу ни гуглишь –
Всё равно на мели.
Съем дешёвого клипа
В антураже села.
На нелепую липу
Налетела пчела.
К чёрту глупые числа –
Единицу и нуль.
Телефон отключился
И в пруду утонул.
Зверобой и ромашка,
Земляника и хмель
Не команда – отмашка.
Не чернила, а мел.
Не балкон, а трибуна.
Не костюм, а броня.
На закате июня
Вспоминай про меня.
Невесёлые веси
И самшитовый сквер…
Где моё поднебесье?
Над мостами в Москве.

ЗОЛОТО СЕНТЯБРЯ

Блуждают в тумане цари площадей, моргают слепые провидцы.
В конюшнях с войны ни следа лошадей, девчонкам давненько за тридцать.
Таскают коляски, пакеты, кульки, рисуют лингамы и мангу.
Пустеют прилавки от русской тоски. Зачем апельсины и манго,
Коль золотом кроет полы и дворы сентябрь по-княжески крепко.
Пускай по колодам стучат топоры, в сердцах ни занозы ни щепки,
Ни тени угля, ни осколка стекла, ни ноты, оборванной рано.
Но в душу – татарская злая стрела – вонзился завет из Корана.
Доверюсь тебе, мой господь, мой отец, мой пастырь коров и букашек.
В окне деревянном не гаснет светец. Синица не сеет, не пашет.
И в золоте тонут палаты князей, развалины, рынки, причалы…
Из лодки случайный глядит ротозей.
Младенца волна укачала…

ЧАЙНАЯ НОЧЬ

Хриплый голос речного кораблика.
Одинокий рябиновый куст.
Золотого московского яблока
Зябкий, пряный, отчаянный вкус.
Небо высится, высится, высится,
Серебрится каймой голубей.
Если тучно – сегодня не выльется.
Если слёзно – не трогай, не пей.
Чайной ночью вода превращальная
Унесёт – на Алтай, на Утриш.
Шаль на плечи – шальная, прощальная.
Лишь о музыке не говоришь –
Тронешь ноту – на шее, где родинка.
Отзовётся высокое до.
Не Москва, а речушка Смородинка.
От росы потемнелый подол.

Дом старинный. Грибы и черничники.
Пыль Псалтири. Иван Златоуст.
И узором на сохлом наличнике –
Одинокий рябиновый куст.

ОКТЯБРЬ ДА И НЕТ

Ок, октябрь, скажи, куда улетают гуси?
Почему в чашке кофе, коньяк и немного грусти,
Если просто заваривал чай с лимоном?
Почему шум проспектов стерео, а вокзальное соло – моно?
Почему подстилая соломку, оказываешься в грязи,
В смертной изморози, в ознобе…
Разгрызают крутоны снобы.
Пахнет хлоркой и карантином.
Сен-Мартен притворяется Валентином.
Гаснет день с четырёх сторон.
Том встречается с Джилл в метро
У неё в волосах дождинки,
А в скетчбуке портрет Короля Неблагих.
Где только видела их, неистовых и кровавых?
Дремлют вороны в парковых вытоптанных дубравах.
Отживают свой век трамваи и флюгера.
Разживаясь каштанами, детвора
Верещит звонко, считает лужи.
Ок, октябрь, скажи – когда же наступит «лучше»?
Он молчит как рыцарь ордена тишины,
Наливает мне чая с медвяным лучом луны,
Улыбается и уходит нести конвой.
Лориенский проспект засыпает жёлтой хрусткой листвой.
Гуси косплеют чаек, кричат «земля»,
Маленький парус последнего корабля – клякса белил в тетради.
Чудной дымок. Сердце весной украде-
но осень, ок?

ШАМАН РЕКИ

Пошуми, шаман, в записную рань,
Семь семян сожги, семь чудес сваргань.
Обойди с огнём берега реки,
От обиды сердце убереги.
Души пляшут как языки костра,
Духи ходят мимо, наводят страх.
Злые звери скалят впотьмах клыки.
Напилась луна молока реки.
Вертолёт над тундрой – хмельной дракон,
Право быть собой для тебя закон.
И зазря мороз достаёт мелки –
Обопрётся мост о края реки.
За снегами валом идут шторма.
Не погаснет сердце твоё, шаман!
Погадай на звёздах, в каком краю
У реки стою, о тебе пою…

ВЛАДИМИР ШТОКМАН

МЕЖДУ ЯВЬЮ И СНОМ

1.

Между явью и сном очень тонкая перегородка,
Между жизнью и смертью и вовсе короткий дефис,
Погружаешься в сон, как в пучину подводная лодка,
И не знаешь, всплывёшь или камнем опустишься вниз.

2.

В этом зыбком, как море, и мутном, как марево, мире
«Не надёжны ни камень, ни лед, ни скала», ни вода.
Сети ада гораздо прочнее небесной цифири,
Ты ведь знаешь, какие плетутся в аду невода…

3.

Растяжима резина минут в этом липком гипнозе,
Пред очами течёт и течёт бесконечный поток,
Извиваясь спиралью, тебя он в глубины уносит,
Где уже не спасёт кислорода последний глоток.

4.

Задохнёшься и вынырнешь – снова знакомые лица,
Даже те, кого нет уж давно, рядом с теми, кто жив.
Значит, это не явь, а по-прежнему сна небылица,
Это фильм, каждый кадр которого так упоительно лжив.

5.

Сон во сне – это даже покруче, чем проза о прозе,
Словно краешком глаза косишься на полный стакан
И тебя постепенно, но неотвратимо «развозит»,
И ты видишь, насколько реальности плёнка тонка.

6.

Прорвалась – и ползут из дыры застарелые страхи –
То безрукие карлики, то человеко-медведь,
Тараканы с ладонь, металлические черепахи,
И зачем этот ужас чугунный? – попробуй ответь…

7.

Вот вошёл без лица, близнецом притворяясь умело,
Задрожал, проскользнул и безмолвно стоит за спиной,
И хрипит монотонно, как будто пластинку заело,
Заполняя пространство тяжёлой «тоской неземной».

8.

Или видишь внезапно – по улицам мчится коррида,
Коридоры становятся вдруг и длинны и узки,
Ты бежишь наугад, но уже по пролётам копыта,
Приближаясь, стучат, и хрипят, предвкушая, быки…

9.

Бац! – мерцающий свет. Ты проснулся? А может загнулся?
Говорят, что во сне умирать чрезвычайно легко.
Но, видать, не судьба… Слышишь? – кто-то хихикает гнусно,
И стекает с небес облаков кучевых молоко.

10.

Значит, это опять, то есть всё ещё, то есть как прежде.
Проходи, не стесняйся, садись, вон в углу табурет.
Ты пытаешься вспомнить, но вспомнить не можешь, хоть режьте –
Это что? – дежавю, или сон наяву, или бред?

11.

Доктор вежлив и сдержан – улыбка, пенсне и бородка,
Как в учебнике, мать твою! Значит, действительно влип…
«Вас терзают кошмары?.. Ах вы их смакуете?.. Вот как!
Ну-с, пройдёмте в подсобку…». И тут обрывается клип.

12.

Темнота, пустота, будто тело совсем отлетело,
Лишь осталась… Ох как подмывает сказать, что душа…
Нет, бесплотная мысль, что летает во тьме обалдело,
Перепонками крыльев невидимых мерзко шурша.

13.

Бьётся жилкой венозной под кожицей ужаса злого,
Заполняет пустоты и впадины давних обид,
Дребезжит язычком металлическим дерзкого слова
И, как разум разбуженных масс, «возмущённо кипит».

14.

И из этой дремучей, гремучей, клокочущей жижи
Вдруг забрезжат как будто знакомые чьи-то черты,
И мучительно вспомнить пытаясь, всё ближе и ближе
К хрупкой кромке меж явью и сном приближаешься ты.

АННА МИХАЛЕВСКАЯ

ХЛЕБ СОЛОМИИ
рассказ

1.

Серп захватывает сухие стебли, срезает колоски. Соломия отбрасывает пучок пшеницы, берётся за следующий. Саднят руки, ломит спина, перед глазами рябит – от золота колосьев, от палящего июльского солнца, от его бликов на серпе. Сорвавшийся тёплый ветер не приносит облегчения – он бросает в лицо сухую землю, на зубах хрустят крупинки. Соломия тыльной стороной руки вытирает лоб, разгибается, с сожалением смотрит на волнующиеся под ветром колосья. Сейчас они кажутся живыми. Она оборачивается, встречается с тяжёлым взглядом проверяющего, вздыхает и снова берётся за серп.

Из центра шлют и шлют своих людей, так боятся, что их маленькое село разворует весь государственный хлеб. Теперь у них надзирателей больше, чем женщин в поле. А врагов народа больше, чем этого самого народа. Что ни день, ловят на поле да и ведут к сельской раде. Якобы на суд, но все знают, что это за суд. Односельчан садят на машины и увозят. В тюрьму, на целину, до чёртов, бесов, дьяволов?

Впереди ещё полдня колхозной работы, а завтра с рассветом – обрабатывать свою ділянку[1]. С неё и кормятся. Только год этот худой, неурожайный: зима без снега, засуха весной и летом, погибла почти вся озимина – пшеница и рожь. Если разрешали, они выкапывали на полях мёрзлую картошку, свёклу, к почти иссякнувшим запасам муки домешивали подсолнечную макуху, когда пекли хлеб. А то и варили кору деревьев, кожуру от картошки. Но Соломия не хочет больше думать о голоде, потерянном хлебе, о сельраде и машинах. Чтобы не привлекать внимание партийных крыс, она еле слышно напевает:

Живо, женчики, живо,
Дожинайте ниву,
Будемо плести віночки
З золотої пшенички.[2]

Знакомые слова придают силу и всё громче звучат внутри многоголосым хором, оживляя воспоминания.

Вот маленькую Соломийку берут на жатву. Первый сноп – для боженьки, его не косят, оставляют на поле, только колоски надламывают, выминают из них зерно, сеют между корнями и приговаривают: «Роди, Боже, на всякого долю – и на бідного, и на багатого!»[3]. Батько называет этот сноп Божьей бородой и говорит, что там живут птички, перепёлочки. Соломийка смеётся: птички в бороде! Осторожно прикасается к надломленным колоскам. Батько перевязывает сноп червоной стрічкой[4], украшает гроздями калины, ромашками и васильками. Потом сноп всё-таки срежут, оденут как ляльку и поставят в красном углу под образами… Соломийка смотрит на поле и ей кажется, что у него нет хозяина. Колоски заботятся о них, кормят, но разве поле может кому-то принадлежать?

Перепілонька сіра,
Де ж ти будеш сиділа;
Вже немає пшениці,
Бо кінець косовиці.[5]

Батькам, Прокопу и Докии, дают отруб – участок земли на опушке леса. В низине течёт ручей. Рядом – пшеничное поле с васильками и маками. Хату строят быстро, всей семьёй – дядьки Данила, Микита, Коля, тітки[6] Ирина и Варвара. Детям тоже находится, что делать: Соломийка малює квітки[7] под окнами хаты. «Краще намалюєш, щасливіше життя буде![8]» – говорит мама Докия. И Соломийка старается. Руки мёрзнут, в жовтне[9] солнце быстро садится. Рядом крутится Павло, сын умершей в испанку тітки Югены, теперь он будет жить с ними. Павло сметливый, рвётся всем помогать. Вот и сейчас придумывает, из чего бы новую краску сделать – все квітки в поле уже оборвал…

Скоро начнут готовиться к зиме, думает Соломийка. Утеплят хату – свяжут стебли кукурузы, обложат мазанку по кругу. Но до этого надо ещё столько сделать – и матрасы набить, и феранки-занавески пошить, и палатары[10] по стенам развесить!

А вообще Соломийка любит лето. Тогда у детей особая работа – можно пропадать в яру, хоть там и полно жалівы[11]. В яру, в заполненных водой ямах-копанках, дети отмачивают стебли конопли, когда батьки заняты в поле. Потом коноплю отвезут на подводах домой, положат снопы на станок и будут молотить, пока стебли не станут мягкими, как нитки. Получится прядиво. Его намотают на куделю, деревянную палку, которую вставят в отверстие в лавке, и вьюжными зимними вечерами девушки возьмутся прясть. Потом ткать. Из конопли получаются красивые и прочные сорочки! Мать говорит, что каждая девушка должна соткать палатары из шерсти и вышить рушник – на приданое. Соломийка отмахивается, мол, далеко ещё до приданого. Летом они с Павлом понесут сотканное полотно к ручью, разложат на траве и будут поливать его целый день. Ждать пока высохнет, снова поливать. Солнце отбелит ткань, сорочки и рушники выйдут нарядными!..

Ми пшениченьку зжали,
В снопики пов'язали,
В кіпоньки поскладали,
Хороше заспівали.

В эту недилю Соломия надела тернову хустку[12]– праздничный платок невесты. В резной сундук-шлябан с витыми ручками сложили её приданое – и вышитый рушник с палатарами тоже. Она возилась всё лето – толкла ягоды, варила кору дуба и бурак, настаивала цветы на краски; в настойках вымачивала шерстяную нитку, высушивала, и лишь потом ткала. Работа ей в радость. Соломии нравится, когда опрятно и красиво, из-под её пальцев выходят дивные узоры, півні[13] и квітки на орнаментах как живые! Всё потому, что её сердце поёт. Она думает о Леонтии, вспоминает, как он пришёл ряженый на Ивана Купала в их дом, как подарил ей украшенную ягодами ветку и крынку мёда. Его глаза – тёплые, лукавые – подсвечивало солнце, и они тоже казались медовыми, сладкими.

А теперь Леонтий её муж – высокий и статный – он так похож на батьк*а*. И ни один не хочет уступать другому. Соломия помнит перебранку их взглядов на весіллі[14], но пока Докия рядом, мужчины не решаются на открытую вражду. Вот Павло и тот батьк*а* не выдержал, давно из дома ушёл, свою хату построил, женился.

От діждали літа
Та нажали жита,
Поставили в копки
І вдарили в гопки![15]

На Соломии нарядная сорочка, из-под лёгкого жилета-летника видна вышивка на воротнике, такая же и на рукавах, внизу мыса – квіточка. Она собирает Леонтия в поле, заворачивает в тряпицу брынзу, даёт краюху хлеба. Улыбается, пытаясь взбодрить хмурого мужа. Свара идёт за сварой, с батьком всё никак не поладят. «Ледачій твій Левонтій, та хоч бы ласкавий був, а не приголубить тебе, слова доброго не скаже»[16], – твердит в усы Прокоп. Но Соломия верит, что всё уладится, что красота сильнее злобы. И, когда улучает время, вышивает мужу рубахи, пусть они уберегут его… их…

Відчиняй, пане, ворота,
Бо йде твоя робота.
Несем тобі вінки
Із золотої нивки –
Житні, пшеничні,
Щоб були величні![17]

Не уберегли. В люльке угукает дочурка Франя, Соломия угукает вместе с ней – плачет. Ушёл её Леонтий. Разбилась крынка, вытек весь мёд. Зато батько Прокоп спокойный и довольный, видать, не обошлось без его способствования.

А ми насієм жита, жита,
Та поставим копи, копи,
Та ударим гопи, гопи,
Земля аж гуде,
Де громада йде![18]

За работой горевать некогда. Подрастает Франя, её квіточка, её радость. У доньки такая же светлая тяжёлая коса, как у Соломии, те же глаза – точно васильки в поле за хатой. К ним часто заходит Герасим, сосед, он тоже получил ділянку у леса, живёт с матерью, тіткой Грушей, и двумя младшими братьями. Но приходит Герасим не к Соломии, а к батьке Прокопу – когда колодец поможет выкопать, когда крышу перестелет, когда плуг починит. Соломия на него не смотрит, но Франя бежит к Герасиму, только завидит. Герасим подхватывает доньку, сажает на гергоши и спускается к ручью. Франя визжит от радости, Герасим смеётся. Соломия впервые замечает, какой у него зычный голос. Сильный, надёжный. В следующий раз Герасим приносит халву, угощает Франю, та с жадностью ест. Откуда он достал это лакомство, гадает Соломия, в селе дети сами «халву» к праздникам делают – толкут в макотре[19] орехи и сахар.

Соломия приглядывается к Герасиму. Не такая стать, как была у Леонтия, не бросает он из-под соболиных бровей долгих взглядов, не любит много говорить. Но всегда рядом крутится и Прокопу по душе пришёлся. А уж Франька как ему радуется – возьмёт за руку и не отпустит, до чего дошло: тот у неё, малой, в кузню отпрашивается! Соломия смеётся в хусточку и уводит непослушную доньку. Она нет-нет и улыбнётся Герасиму. И тот топчется на пороге, не может уйти.

Сыграли скромную свадьбу и зажили душа в душу. Родилась вторая дочь Любочка. А через три года грянула война. Прокопа не взяли, но все молодые из семьи ушли: сыны тітки Варвары, Нюсик, Степан и Тодосий, младший дядько Коля, её ровесник, сын Микиты, Гаврюша, чоловік[20] Ирины, дядько Сеня… Ушёл и Леонтий, которого так не любил батько. А Герасим остался. Неправильно это было, но Соломии уже не до правды. Красивый рушник не спасёт от голода, как ты его не вышей, как не выбели. У неё маленькая дочь и старые батьки, а Герасим мастеровой и добрый. Титко Ирина привозит двухлетнюю дочурку из Одессы, и Герасим играет с девчатами – Аллочкой, Франей и Любой – поднимает повыше на руках к отяжелевшим от ягод вишнёвым веткам.

Зимой в Студёную приходят немцы. Женщин и детей не трогают – разместились по хатам, какие побогаче, да и собирают дань со дворов. Мужчины у них в прислужниках – то на подводе отвезти куда-то, то доставить припасы, то депешу, то убрать, то почистить. Сметливого Герасима замечают сразу. День он бегает по поручениям фрицев, а к вечеру приходит с пайком и тёплой одеждой. Соломия щупает жакет – тёплый, мягкий, из шерстяного сукна, у неё никогда такого не было. Она делит немецкую консерву на всех – и родня молча ест ужин. Соломия пытается себя уговорить – всё хорошо, война закончится, у неё заботливый муж, подрастают дочери – кудрявые, голубоглазые. Батько Прокоп подобрел. Всё хорошо – да нехорошо. В лесу пережидают партизаны и не сегодня-завтра Герасима найдут. Да и станут ли немцы жалеть своих прислужников, когда снимутся с зимовки? Леонтий ушёл, а Герасим остался… Она просыпается, думая об этом, и с этими же мыслями засыпает. Каждый раз, когда Герасим подолгу не возвращается, Соломия прощается с ним по-вдовьи, навсегда.

Страх живёт с ней бок о бок до самого дня Победы. Они молча выслушивают новости от односельчан, и Герасим улыбается ей последний раз. Вымученно, словно прося прощения. Не сегодня-завтра, понимает Соломия, и на всякий случай отсылает девочек к тітке Варваре. Красная армия наступает, и по сёлам прокатывается волна показательных казней предателей. Она хочет сказать Герасиму, что тот должен уйти, бежать, прятаться, но у неё будто нет рта – забыли нарисовать на сделанной наспех ляльке. Герасим всё понимает сам. Но никуда не уйдёт.

Вечером мужа долго нет. Соломия сидит под окном на лавке, пока не стемнеет. Ждёт. Вместо Герасима приходит Прокоп. Первый раз она видит, как батько плачет.

– Не ходи туда, – говорит Прокоп, и указывает на лес. – Повесился наш Герасим…

Соломия больше не боится. Только навязчивые слова вязнут на зубах: Леонтий ушёл, а Герасим остался.

К концу лета односельчанин приносит весть о Леонтии. Под Берлином уже после войны они стояли в соседних лесках. Леонтий прознал, что свояки рядом, и отправился наведаться в часть через поле. Там его и нашла шальная пуля. Насмерть.

Соломия слушает и кивает. Не плачет – не может. Горькая у неё судьба. Другой не будет…

Песни мельчают, иссякают, воспоминания тоже. Два года прошло, что было – быльём поросло. Доньки подросли, Прокоп и Докия одряхлели. Немцы ушли, красноармейцы пришли. Война закончилась, но это не имеет никакого значения, ведь потерянного не вернёшь.

Обжигающий зной отступает, Соломия вяжет снопы, затягивает перевясла[21]. В руках снова появляется сила, солнце будто расплавилось и потекло по её жилам, так бывало не раз, когда она думала, что всё, сегодня поле не одолеть. Но это её земля, на ней живут её дети, её батьки, в ней похоронены её любимые! Это её хлеб! «Не имеете вы права и на колосок!» – думает она, поглядывая из-под платка на своих надзирателей. Разморенные, те жмурятся, снимают кепки, вытирают вспотевшие лбы. Садятся среди снопов. Солнце держит их за чужаков, усмехается Соломия и прячет взгляд.

2.

От колхоза до хаты, если напрямик, через лесок, – всего ничего, но Соломия обходит село по кругу, выбирая дорогу подлиннее. Она перестала бояться лиха для себя, но по-прежнему боится за малых и старых. Не успеет Соломия подойти к тыну, девчата побегут встречать, как в глаза смотреть? Не принесёт она им халвы, как когда-то Герасим, и даже хлеба скоро не испечёт. Амбар пустой, молотить нечего. Цеп вон сколько лежит без дела, соломой присыпан. Была корова, молоко пили, так и ту забрали – мол, Соломия колхозную норму не отрабатывает. Одна с хаты в поле, вздыхает она. Батьки от вечери отказываются, внучкам отдают. И от этого Соломии становится ещё горше.

Она идёт к ручью – где так часто они гуляли с Герасимом, опускает руки в прохладную воду. «Підкажіть, – просит Соломия ручей, поросшие мхом камни, гай, вербы, – підкажіть, що робити?»[22]. Но и ручей, и камни, и гай, и вербы молчат. Зато Соломия слышит, как за селом волнуется налитое золотом поле пшеницы – её хлеб, не колхозный. В этом далёком шорохе ей чудится приглашение. И разрешение.

Переступая порог хаты, Соломия уже знает, как поступит. Она крепко обнимает девчат и впервые за долгое время улыбается им. Докия и Прокоп читают молитву, стучат ложками по полупустым тарелкам с кашей на дне.

Соломия укладывает девочек, целует и долго смотрит на родные лица – золотистые завитки на висках, длинные светлые ресницы, румянец во всю щеку. Когда-то она верила, что красота пересилит злость, перетянет коромысло. Пусть у них всё будет хорошо. Пусть их красота окажется сильнее. Она нехотя выходит из хаты, возится в сарайчике и погребе – наводит порядки. Но сколько не переставляй кадки с кувшинами, это их не наполнит.

Ночь накрывает село мягким рядном, тихо шелестит яблоня, сладко пахнет розовый куст. В такую ночь сбежать бы в гай и любиться, слушать жаркий шёпот, смотреть на зірки[23]. Но Соломия забыла, как любить мужчин. Она сидит на лавке под хатой и ждёт. На тонкий месяц набегают облака, он окрашивается кроваво-красным. И Соломия решает – пора. Она расправляет юбку и тихо, чтобы не скрипела, приоткрывает калитку. Оглядывается. Ей чудится – хотя в темени ничего и не разглядишь – что кто-то приподнимает феранку. Соломия замирает на месте. Но нет, в хате тишина.

До колхозного поля она доходит быстро. Слишком быстро. Оглядывается – надзирателей, если они и есть, не видно. Может, разморило после зноя, вот и пьют холодное молоко от ворованных коров в хате сельского головы. А, может, и прячутся. Нет, пьют молоко, уговаривает себя Соломия и, пригибаясь, подходит к полю. На убранном участке лежат колоски – их тоже запрещают подбирать. Лучше пусть сгниют или птицы склюют, так считают надзиратели из столицы. Но колоски она собирать не станет. Всё равно покарают одинаково.

Стараясь не спугнуть воронье, Соломия пробирается к копнам. Она специально уложила снопы так, чтобы можно было легко вытащить один из копны, и чтобы пропажа не бросалась в глаза. Соломия быстро находит копну, вытягивает сноп, прячет под широкую юбку, закрепляет на поясе. И так же, пригибаясь, бежит на дорогу. Сердце бьётся как застрявшая в колосках перепёлочка из песни. Она почти доходит до дома. Оглядывается. Никого. Неужели получилось?!

Соломия спускается к ручью, гладит воду, благодарит. Её земля – это её земля. Никто у неё не отберёт хлеб!

Сзади раздаются шаги. Соломия оборачивается не сразу. А когда поднимается, понимает, что бежать поздно.

К ней по тропке идёт надзиратель. Красивый хлопец – Соломия отстранённо его рассматривает. Красивый, только глаза злые. Он смотрит на неё с ухмылкой, она не отводит глаз. Оба всё поняли. Он знает, что она воровка. А она знает, что её ждёт наказание. Хорошо хоть – не донесла сноп до дома, тогда бы и хату не пожалели.

А надзиратель, продолжая ухмыляться, уже расстёгивает ремень. Тяжёлый, армейский, с большой бляхой.

Соломия качает головой. Её мужья не для того с жизнью расстались, чтобы какая-то тварь насиловала их вдову. «Что тебе стоит, – говорит страх, тот, который не за себя, за других. – Согласись, авось отпустит». Но Соломия знает цену сделок с совестью. Леонтий ушёл, а Герасим остался. Надзиратель её не отпустит. Она бросает сноп в ручей и что есть мочи кричит.

Удивление на лице красноармейца сменяется гневом. Он оставляет ремень в покое и хватает Соломию за косу:

– Ах ты ж паскуда, – жарко шепчет ей в ухо, – ты ж мне полюбилась, отпустил бы, что мне снопа какого-то жалко, а теперь одна тебе дорога…

Соломия не верит ему, не верит себе. Она отчаянно вырывается, только как тут вырвешься.

Рассвет она встречает в сельраде. Её осуждают на десять лет. Перед тем, как посадить в пыльный грузовик, Соломию под конвоем ведут до хаты – собрать вещи, попрощаться. Ей больно смотреть в глаза

Прокопу и Докии, ей стыдно перед доньками, но Соломия пересиливает себя и смотрит – когда они ещё снова увидятся. Десять лет – это так долго.

Она сжимает подмышкой узел с вещами, смотрит на пыль, клубящуюся из-под колёс грузовика, и гадает: вдруг надзиратель сказал правду? Немного потерпеть – ради детей, ради батьки́в. И её бы отпустили. И им бы был хлеб. Если и так, решает Соломия, ничего не поделаешь. Горькая у неё судьба. Другой уже не будет.

3.

Я – хлеб. Я – жизнь. Меня взращивает земля – она хранит зёрна до срока, пока твёрдое зерно не становится ростком и не начинает свой путь к солнцу. А люди срезают мои стебли, толкут, снимая всю шелуху и пытаясь добраться до сердцевины. Они хотят есть, но питает людей не мука в сдобных калачах и пресных лепёшках, питает их земля и солнце, их священный союз, рождающий спелые колосья. Я – хлеб. Я – любовь.

Я очень стар, у меня много имён и лиц. Могу быть одним колосом, всем полем, я могу спрятаться в зерно и дотянуться до Бога. Кострубонько и Ярило, моё зерно – древний страдающий бог, брошенный в землю, погибший там и возродившийся густым колосом. Бог Спас и жертва ему – Спасова борода, «сриблом-златом обвита, красным шовком обшита», пучок моего несжатого жита, оставленного на поле. Это жито и есть сиротская доля – людская доля. Мои колосья – приют для птиц и полевого духа, превратившегося в козу. Последний сноп моих колосьев – именинник, дидух, дид – его приносят в хату, одевают как ляльку и ставят под образами, сберегая целый год, чтобы потом заменить на нового. У меня много имён и лиц. Я – хлеб. Я – жизнь. Я – любовь. И я – смерть ради жизни.

Сейчас я – соломенная лялька, дидух[24]. Вместо головы – колосья и сухоцвет, руки и туловище обмотаны пенькой, в юбку вплетена узором тонкая прочная соломинка. Это Соломиина работа, никто в семье лучше не украсит квитками хату, не вышьет подол-питочку, не соткёт палатары, не пошьёт рубаху. У Франи и Любы всё в руках спорится – и работают ладно, и живут дружно. Но у Соломии пивни на палатарах вот-вот закукарекают, квитки расцветут, у девчат же – нитка к нитке, а узор выходит простым. Молчат пивни, застыли квитки. Не те руки, не те глаза, не видят они красоту, что открылась Соломии, не могут её повторить.

Дидухов меняют каждый год, но я здесь задержался. Людям нынче не до обычаев и поверий, вот и живу под образами в красном углу хаты. Слушаю молитвы, обращённые не ко мне. Я ведь не бог, простая соломенная лялька. Чаще всего сюда прибегает десятилетняя Люба. «Боженька, поверни матусю! – говорит девочка, стоя на коленях. – И прости, що їла в пост ковбасу за грубкою. Я гадала, ти не бачиш!»[25]. Дед Прокип с Докией совсем глухие стали, им не докричишься. Франя всё больше о хлопцах говорит. Любе даже посоветоваться не с кем, вот она и приходит сюда, к своему придуманному богу. «А ще, – вспоминает Люба, – у нашій Чорнушки скоро телята будуть, та… я читати навчилася!»[26]. Люба рассказывает всё, что приключилось с ней за день, всё, что сказала бы маме, будь Соломия рядом.

Франя молится сдержанно. Бога почти ни о чём не просит, больше надеясь на свою смекалку. Только одно она изменить не может и смиренно опускает голову прежде чем прошептать: «Господи, нехай мама повернеться до мого весілля…»[27]. Франя собрана и серьёзна. Но стоит ей отойти от красного угла, как хата переворачивается вверх дном от её бурлящей натуры и зычного голоса. Весь день из открытой двери в сенях несётся Франин смех – никого без подковырки не отпустит.

Прокоп приходит редко, долго молчит. Говорит не с богом, с собой. «А що, якби…»[28] – всё чаще звучит в его мыслях. И он перебирает в голове события давних лет. Если бы Соломия осталась с Леонтием, если бы Леонтий выжил, если бы Герасим не пошёл работать к немцам с его, Прокопа, молчаливого согласия, если бы они не дали уйти Герасиму одному в лес, если бы он остановил Соломию той ночью, он ведь знал, что дочь идёт на колхозное поле, или, заслышав крики, отбил бы её у надзирателя… Слишком много «якби», он путается в них и уходит ни с чем. Почему старость не даёт покоя его голове? Он хотел бы всё забыть, сидеть на лавке и смотреть на своих девчат. Он путает имена и часто зовёт то одну, то другую Соломийкою.

Тяжелее всего с Докией. Она вроде бы приходит к образам, а на самом деле – ко мне. Читает краткие весточки от Соломии. Не плачет и не молит, но предлагает угоду. «Забери у мене, віддай їй»[29], – требует Докия и смотрит прямиком в моё соломенное лицо. И Волос, и Ярило, Кострубонько, Илья и Спас, полевые божества всех времён оживают в моих высохших от времени сплетённых рукой Соломии колосках. Боги любят угоды, особенно с людьми. Особенно с теми, кто в отчаянии. И сквозь моё непрочное соломенное нутро рвётся божье любопытство, чужие глаза, не мои нарисованные, рассматривают Докию, будто гадая о выкупе, что за неё можно взять? За окнами хаты жаркий полдень висит напряжённой тишиной – ни жужжания шмеля, ни шелеста листьев в кронах, ни шагов. Боги качают косматыми головами, цокают языками – прицениваются, думают. И наконец хлопают мосластыми руками по коленям! «Добре[30], – говорят боги и сухостой с колосьями, что у меня вместо головы, едва заметно подрагивают, – вернём тебе доньку. Только кто-то потом проживёт за неё непрожитое! Сама выберешь кто!».

Докия слышит их, хоть и не понимает этого. Она стоит, опустив голову, медлит.

Мне хочется крикнуть: «Нет! Не соглашайся, ни за что! Лучше уж сейчас отторевать!». Я берегу этот дом и его людей не один год, я знаю, как деликатно стучится лихо, когда переступает порог хаты, я научился различать его шаги. До сих пор у меня получалось прогнать его. Докия, зачем ты попросила?! Зачем?!

– Добре, – еле слышно Докия повторяет вслед за богами.

Веточка полыни с моей головы падает в руку Докии – договор скреплён. Она уходит, а я остаюсь. В хате темнеет, она наполняется тяжёлым духом. Никто этого не заметит, только я. И ничего не поделаешь. Остаётся только ждать…

Дни идут за днями, ко мне всё так же приходят – молиться и просить – они не знают о том, что в хате живёт темнота, и вместе с домашними забываю об этом и я.

На дворе играют свадьбу Франи – на столе пузатые бутыли с вином, тарелки с мясными пирогами, миски с борщом и холодцом. Прокоп пригласил из Песчанки фотографа, и тот установил какой-то странный ящик на треноге и всех заставляет смотреть в него. Сосед Михайло наигрывает на аккордеоне, молодые пляшут. Шум, гам, одним словом – *весілля*. Франя смеётся и не даёт никому сидеть за столом, всех тянет в танец, а кто не может – тем подливает из пузатых бутылей в стаканы и заставляет пить до дна. Сегодня ей особенно горько, что мамы нет рядом, поэтому она должна веселиться в два раза больше, чтобы чем-то перекрыть эту горечь. И Франя хватает Ивана за руку, не ждёт, пока жених сам поведёт её, и кружит в танце…

А через два года возвращается Соломия. Вместо десяти лет срока – в тюрьмах и на каторге всего лишь семь. Всего лишь? Соломия так не считает – в ней убили веру, а после этого – что три, что пять, что двадцать лет. Всё одно. К прежней жизни её ничто не вернёт.

Когда Соломия снова видит свою хату, она роняет дорожную торбу и без сил опускается в траву. Всё родное и одновременно чужое. Это потому что она стала сама себе чужой.

Девчата бегут встречать её как в детстве – красивые, уже взрослые, но для неё маленькие – какими она запомнила Франю и Любу перед своей семилетней отлучкой. Её обнимают, целуют, а она невольно отстраняется. Соломии кажется, на ней налипла грязь, что вовек не отмоешь, она не хочет марать ею своих детей…

Столыпинский вагон для заключённых, каждое купе за решеткой. Обыски в тюрьме, стыд и отчаяние, когда шарят по голому телу, что им там искать? От уборной вонь – и никуда от этого не деться. На окне козырёк, вместо домика на опушке леса, бескрайнего поля и ручья – узкая полоска неба. В тесном прогулочном дворе не растёт ни одной травинки. Всё, к чему Соломия привыкла, пусть заработанное тяжёлым трудом, исчезает, будто его и не было. Иногда она думает, что деревья, цветы, её дочери, батьки, её любимые привиделись, и она всю жизнь провела, опираясь на мокрый камень с запахом плесени. Она пишет письма, но их не берут. Всё чаще Соломии снятся Леонтий и Герасим. Её зовут! Соломия испытывает странное облегчение. Она ворует чулки у одной из своих сокамерниц, дожидается, пока надзиратель глянет в глазок и цепляет за балку заранее приготовленную петлю. Это не самогубство[31], она всего лишь закончит кем-то начатое. Но внезапно просыпаются жінки[32], начинают кричать, и охранники волокут её в карцер – совершенно голую. Карцер – тёмный высокий чулан, под потолком горит тусклая лампа, всё время мигая. Сколько Соломия проводит там времени, она не знает, всё сливается в одну бесконечную промозглую ночь. Соломии кажется, что она – утопленница и лежит на дне ручья не один век. Она хочет позвать кого-то, но все имена забыты. После карцера Соломия не пишет писем и не просит их отправить. Когда заключённых выводят в баню, открывают двери всех камер, Соломия не смотрит по сторонам. Она боится увидеть лицо и не узнать. Идёт, прихрамывая на левую ногу, покашливает. В карцере застудилась.

После трёх лет тюрьмы их отправляют на каторгу. В вагоне тесно и грязно, Соломия плачет – сегодня она снова видела небо, деревья, траву. Она не может прийти в себя до самой Колымы – просто дышит воздухом, смотрит по сторонам. Кто она? Что с ней будет? Соломия не знает. Прежняя она сгинула с первым неотправленным письмом, похоронена в карцере. Сейчас её место занимает кто-то другой. И этот другой ещё умеет чему-то радоваться… Не успев распределить заключённых по баракам, её насилует охранник – не особо прячась, прямо за сарайчиком, под улюлюканье товарищей красноармейцев. Соломия не вырывается и не закрывает глаз. Смотрит в звёздное небо и закусывает до крови губу. Горькая у неё судьба, другой уже не будет – приходят слова из чьей-то чужой жизни. Она вспоминает брошенный в ручей сноп и под тяжестью навалившегося мужского тела вдруг решает, что завтра снова напишет домой…

Соломия приходит в красный угол не помолиться, боги её не слышат, так думает женщина. Она приходит сюда прятаться. Когда рядом люди, Соломия чувствует на себе их тяжёлые взгляды. Они жалеют её и ещё – сторонятся, будто у неё испанка или круп. Даже доньки, кровиночки её, нет-нет и прячут глаза.

Меня ни о чём не спрашивают, и напрасно. Я бы предупредил, дал знак! С приездом Соломии чернота в хате веретеном крутится возле неё, густеет и застывает, как холодец из наваристого бульона. И всё, к чему прикасается это веретено, даёт трещины. Хата чисто побелена и выметена, а паутина невидимых расколов в каждом углу. Докия, ты спасла три года жизни дочери, но понимаешь, что отдала взамен?

Нет, не понимаешь, а я знаю – эти трещины пойдут ветвиться по всей семье, затронут близких и дальних, вплетутся в их жизни и расколют их на мелкие щепки. Много ли это за три года чьей-то жизни? Не мне судить, я всего лишь соломенный оберег, сплетённый Соломией, когда она ещё умела любить.

Жизнь идёт своим чередом. Невесты-яблони сбрасывают цвет, поднимаются тюльпаны на тонких ножках, следом нарядные нарциссы, благоухает сирень, распускаются лилово-жёлтым петушки, на полях яркие пятна красных маков, и белые – ромашки, вслед им расцветает чайная роза и жасмин. Синий клематис вьётся по плетню, раскрывает разноцветные колокольчики мальва, сами всюду засеялись чернобривцы. А за плетнём – золотые шары рудбекии. Вскинутся майоры, зацветёт покрова. Стойкая сальвия и рябина – до самой зимы…

Весной Соломия решает строить свою хату – между домом батька Прокопа и лесом. Она часто болеет, её донимает кашель, да и нога после карцера не слушается, старая застуда никак не отпускает. Но Соломия привыкла жить с хворью, а уж когда хлопочет возле будущей хаты, совсем про болезнь забывает. У детей свои заботы, батьки совсем старые, но Соломии помогают кто чем может. Сбивают каркас-клетку из тонких поленьев, а между стойками и ригелями мостят деревянные колья и жерди, оплетая их хворостом, соломой, камышом, как плетут корзинки – продевая то сверху, то снизу. Когда каркас готов, мужчины рядом ссыпают глину, навоз, солому, сечку, заливают водой и пускают лошадей месить раствор копытами. Сами помогают вилами. И все дружно набрасывают лопатами смесь на каркас – кто снаружи, кто изнутри. А уже только потом разглаживают руками. Соломия проходит все стеночки своей хаты и любовно гладит каждую – чтобы ровненько, без зазубрин. Чтобы красиво.

Стенки оставляют сохнуть на несколько дней, а её, хозяйку, поднимают на руки и опускают в месиво глины и соломы. На счастье! Сколько того счастья осталось, думает Соломия, но улыбается вместе со всеми. Не часто ей теперь случается веселиться.

К концу травня[33] у мазанки вырастает камышовая крыша, стены становятся белыми – беленными. Соломия берётся за роспись, и расцветают на стенах хаты васильки и мальвы, жасмин и розы, сирень и петушки. Она выводит лепесток и плачет – знает, красота ничего не спасёт в её жизни, да и жизнь её уже никому не нужна, но она рада, что хоть что-то смогла сохранить непоруганным, чистым – как ручей в яру, как лес, который видит из окна…

Соломия приходит ко мне – на сей раз не прятаться, прощаться. Кашель выворачивает её наизнанку, к докторам она ехать отказывается. Ходит едва-едва, опираясь на палочку. Ни о чём не просит, знает – её время пришло. Ей здесь больше нечего делать. Она не родит детей, не полюбит, не выйдет на поле, никого не накормит, не защитит, никому не поможет. Она построила хату, она так хотела. Но пусть в ней живёт кто-то другой.

В окно бьётся птица – говорят, это к беде. Но Соломия понимает – пришли за ней. Она ложится на лавку и ждёт. Слышит голоса Леонтия и Герасима. Теперь это по-настоящему…

Девочки разъехались по другим сёлам, древние Прокоп и Докия живут на два дома. Бог им даёт года, только нелёгкие эти года. После смерти Соломии ко мне редко приходят. Забыли про образа, про дидуха. Оно и понятно. Сейчас посевами заправляют агрономы, а урожай собирают комбайны, к чему люду сухая солома и сухоцвет? Но я помню всё и всех. Я наполнен их желаниями до краёв, только кто теперь исполнит эти желания?

Невидимая паутина трещин никуда не исчезла, она отправилась вслед за Франей и Любой в новые дома в новые сёла, протянулась в город к тітке Ирине, которая нянчила ещё маленькую Соломию, осела на приёмном ребёнке Прокопа Павле, пробралась к тітке Варваре и её сыновьям. Семь сестёр и братьев у Прокопа – всем досталось. Вот плата за три года человеческой жизни, Докия, жизни твоей дочери – это много или мало?..

Я – хлеб. Я – жизнь. Я – любовь. И я – смерть. Смерть ради чего? Спросите у древних богов, и, может, они вам ответят.

Примечания:

[1] Ділянка – участок *(укр.)*

[2] Песня жнецов, которую начинала петь старшая жница перед сбором урожая.

Живо, жнецы, живо,
Дожинайте ниву,
Будем плести венки
Из золотой пшенички *(укр.)*

[3] Дай урожай, Боже, на всякую судьбу – и для бедного, и для богатого.

[4] Червона стрічка – красная лента *(укр.)*

[5] Перепёлочка серая,
Где же ты будешь сидеть,
Уже нет пшеницы,
Закончился покос *(укр.)*

[6] Тітка – тетя *(укр.)*
[7] Квітка – цветок *(укр.)*
[8] Красивее нарисуешь, счастливее будет жизнь! *(укр.)*
[9] Жовтень – октябрь *(укр.)*
[10] Палатар – коврик на стену *(мол.)*
[11] Жаліва – крапива *(укр.)*
[12] Тервнова хустка – праздничный платок с орнаментом из цветов, сделанный из шерстяной ткани, похожей на кашемир.
[13] Півень – петух *(укр.)*
[14] Весілля – свадьба *(укр.)*
[15] Эти слова говорила самая красивая девушка, на которую после жатвы надевали венок, сплетенный из Божьей бороды.
Мы пшеничку сжали,
В снопы связали,
В копны сложили,
О хорошем запели.
Вот дождались лета
И нажали ржи,
Поставили в копны
И принялись танцевать!
[16] Ленивый твой Леонтий, так хоть бы ласковый был, а не приголубит тебя, слова доброго не скажет *(укр.)*
[17] Песня жнецов, когда подходили к дому хозяина поля или головы колхоза.
Открывай, хозяин, ворота,
Идёт твоя работа.
Несём тебе венки
С золотой нивы –
Из ржи, из пшеницы,
Величаем их!
[18] Песня жнецов, когда хозяин принимал венок от девушки и приглашал в дом.
А мы посеем рожь, рожь,
И поставим копны, копны,
И начнем танцевать,
Земля гудит,
Это мы идём!
[19] Макотра (макитра) – широкий глиняный горшок.
[20] Чоловік – муж *(укр.)*
[21] Перевясло – жгут из соломы для перевязки снопов.
[22] Подскажите… подскажите, что делать? *(укр.)*
[23] Зірка – звезда *(укр.)*
[24] Сноп жита, стоявший на Рождество в углу, символизирующий дух опекуна хозяйства и покровителя рода.
[25] Боженька, верни мамочку!... И прости, что ела в пост колбасу за печкой. Я думала, ты не видишь! *(укр.)*
[26] А ещё… у нашей Чернушки скоро телята будут, и… я читать научилась *(укр.)*
[27] Господи, пусть мама вернётся до моей свадьбы *(укр.)*
[28] А что, если… *(укр.)*
[29] Забери у меня, отдай ей *(укр.)*
[30] Хорошо *(укр.)*
[31] Самогубство – самоубийство *(укр.)*
[32] Жінка – женщина *(укр.)*
[33] Травень – май *(укр.)*

ИРИНА ЧУДНОВА

КАМЕНЬ
рассказ

I.

В последнее докитайское лето я жила с такой скоростью, словно кто гнался за мной. При попытке восстановить очерёдность некоторых тогдашних событий, создаётся ощущение, что в иную единицу времени я могла, нет, просто обязана была находиться одновременно в двух точках пространства. И дело было даже не в скором отъезде – до середины лета я ничего не знала о нём, видимо, в те дни моя обычно медлительная парка страдала приступом немотивированного трудоголизма, навязывая и напутывая множество крепеньких узелков с далёкими последствиями в затейливый коврик моей судьбы.

У лета 1993 года был вкус переспелой донской вишни и крепких майкопских яблок, клубничного варенья, кипящего в огромном тазу под раскидистым ореховым деревом, колодезной воды и студёной водки, намешанной в разнокалиберной посуде с покупным абрикосовым или персиковым ликёром – по тогдашней интеллигентской моде. Начало июля скрипело на зубах лёссовыми суглинками – мы копали приазовские курганы. Это было хорошее дело, где-то даже выгодное, археологические изыскания проводились спешно, на степном участке, идущем под застройку дачного кооператива, подрядчик платил как за земляные работы, в зависимости от вынутого и срезанного с поверхности кубометража. Раз в неделю два крепких молодых человека с бритыми затылками, Олег и Сергей, привозили деньги, подписывали у начальника партии очередной акт, а после не брезговали нашей водкой, за столом травили одним им смешные анекдоты, по-деловому пошлили о покойниках пятитысячелетней выдержки, поторапливали нас. Дачные участки размечали прямо по нашим вчерашним квадратам, счастливцы-хозяева тут же завозили стройматериалы и саженцы, иногда заглядывали в свежие раскопы, крестились и с живостью интересовались, куда мы деваем все эти кости, неужто каждую в музей под стекло? Дачников отваживали напускной неприветливостью – в некоторых могилах позднего, сарматского, времени попадалось золото, чужие глаза на раскопе были ни к чему. Впрочем, большинство захоронений были более древними, изредка содержали в себе кроме костяка один-два лепных сосуда грубой выделки и совсем редко украшения, вроде бус, колец, браслетов, бронзовых и костяных нашивок на одежде да наконечников стрел или копий – если покойник был знатным воином. Детские погребения не были столь скудны – малышу давали в загробный мир пищу, игрушки, обережки, взрослый же мог всё добыть своими руками. Такая забота древних о детях трогала не на шутку, иной раз чуть не до слёз – подумать только, ведь это современники египтян, из металлов знавшие лишь медь и бронзу, жившие не более 30-40 лет, всё достояние их – стада и оружие, быт – война и кочевье, их дети умирали чаще, чем вырастали, но каждому младенцу в могилу давали больше, чем он имел при жизни. В этом было столько гуманизма, что как-то невольно ощущалось родство с этими безымянными племенами, оставившими в наследство только свои могилы. От кочевников вообще остаются в лучшем случае гробницы и, если повезёт, воспоминания умевших писать соседей.

В тот день в силу разных обстоятельств на раскопе нас было трое. Мы с Р., вооружившись лопатами, шли за бульдозером, из-под ножа которого обнажалась рыжая глиняная плоть срываемого слой за слоем кургана. Наше дело было не дать срытой земле навалиться с боков, и проверять чёрные пятна в суглинке – могила там или сурчина, при обнаружении захоронения в ход шли лопаты, а затем ножи и кисточки. Нам везло – мы прошли трёхметровый курган до основания и не встретили ни одной впускной могилы. Никакой ручной работы – а денег как за неделю труда! Мелькала даже шальная мысль, что курган естественного происхождения, но прямо у материкового основания показалось чёрное пятно удивительно правильной, прямо-таки хрестоматийной формы – надо же, ровно по центру, идеально ориентированная могила, разве чуть шире, чем обычно. Через несколько часов, докончив расчистку, мы втроём сидели на краю раскопа, курили по четвёртой папиросе кряду, цедили дымящийся на жаре кофе из термоса и всячески тянули время. Погребение было к тому моменту полностью зарисовано и сфотографировано,

расчищено с ювелирной точностью, а желания начать, наконец, разбирать костяк не было ни у кого. В могиле лежали двое – он и она, высокие, двухметровые красавцы, прямые, гармонично сложенные с чуть удлинёнными ритуальной деформацией черепами – члены знатного рода, вожди. Сохранность скелетов удивляла перевидавших тысячи могил археологов – грудные клетки и кости таза, не провалившиеся внутрь за несколько тысяч лет, головы повёрнутые друг к другу – глаза в глаза. Первым нарушил молчание Р.:

– Умели хоронить, чёрт их возьми! Какое место, и ни одной сурчины! – землеройки и кроты часто разрушают курганы, перетаскивая предметы и кости от одного обладателя к другому, тасуя целые эпохи и порождая забавные ситуации.

– И ведь заметь, ни одного впускного погребения, скажи, ты вообще видел когда-нибудь такое: трёхметровый курган и чисто, а ведь только вчера закончили копать тот кошмар – в пахоте полуметровка и костяк на костяке – уж как эти умельцы их только ни утрамбовывали – а правее сто метров – вот это чудо, и хоть бы хны! – Е. затянулся так, что дым едва не пошёл из ушей. А ведь действительно странно – скифы, сарматы, половцы, да и казаки очень любили такие места – готовый курган, сухо, высоко, ничего насыпать не надо, вырой могилу, положи дорогого покойника и плиту надгробную сверху. Идеальный случай, но никто – ни человек, ни зверь не позарился…

– Заговорённое какое-то место! – добавляю я. Мне позволительно озвучивать подобные глупости – на правах девятнадцатилетней юной особы.

Р. бросил пяточку «Примы», сплюнул и первым соскользнул в яму. Я тоже поднялась и пошла к бульдозеру за коробками – скелеты подобной сохранности – находка для антропологов.

– Слушай, а какой у тебя рост? – спросил меня Е. в тесном пространстве раскопа.

– Метр семьдесят, а что?

– А дай-ка руку!

Прочное, желтоватое кольцо из гладкой плотной кости как влитое село на мой безымянный палец.

– Я фигею, ребята! Это ж какой размер пальца, если она на тридцать сантиметров выше!

– У меня восьмой, – бормочу, рассматривая кольцо, голова закружилась, наверное, от жары и тесноты раскопа…

…Ребята сказали, что я была без сознания минут десять, после того, как меня выволокли из ямы. И только когда сняли кольцо, потихоньку пришла в себя. Доработали молча. Рассортировали собранное, как положено, обернули в мягкую бумагу, описали в полевой книжке. Я спустилась последний раз в уже пустой раскоп, проверить, не осталось ли где чего незамеченного, нож глухо скрёб по материку, пальцы машинально просеивали суглинок, пока не наткнулись на камешек. Обыкновенный ракушечник, такой в изобилии в бортах донских балок и в стенках крутых берегов притоков Дона, Северского Донца, Аксая. Рука сама зачем-то сунула его в карман.

– Нет, ничего! Чисто! – кричу наверх.

– Тогда вылезай, на сегодня достаточно наработали! – пойдём ужинать и хвастаться начальству!

Вечером, сославшись на дневной обморок, я, отказалась от участия в дружеской попойке, ушла в глубину сада, что прилегал к снятой на сезон даче, мазаная казачья хатка которой громко именовалась в наших отчётах «временной базой Придонско-Приазовской археологической экспедиции-1993». Там, в глубине сада, у ручья, моё любимое место, комары по странности брезговали им, предпочитая лёгкую добычу на веранде под фонарём. От воды тянуло свежестью, стрекотали кузнечики. Я, не разжимая пальцев, опустила руку с давешним камушком прямо в ручей, закрыв глаза, ловила кожей чистый, упругий ток воды. Сумерки за спиной доедали деревья и очертания соседских домиков, мычали коровы, мерно стучала ниже по склону электричка Ростов – Миллерово. Подумалось, что вот лежу я тут на второй древней террасе реки Аксай, а раскопы наши наверху, на водоразделе, и что пять тысяч лет назад река была много полноводнее, климат суше, а зимы суровей, и что знания эти почерпнуты мной из курса геоморфологии, и что всего три года назад я не была точно уверена, хочу идти на геологический или исторический. В условной борьбе между камнем и черепком победил камень, а точнее – тяга к древности, захотелось охватить вниманием не только обозримую историю рода людского, но и всю историю Земли. Рука в ручье закоченела, утратив чувствительность, кулак не разжимался, я потрясла им в воздухе, согревая мышцы. Вот спрашивается, зачем я взяла этот камень из раскопа? Откуда у меня вообще эта дурацкая привычка вечно таскать при себе камушек-другой, сколько помню себя – с самого сопливого детства, в кармане то пёстрый змеевик – «камень от Уральских гор», то отполированный кусочек облицовки, подобранный у памятника, то и вовсе – не примечательный голыш, из лужи. Мама всё время выбрасывала, а я подбирала снова и снова. Так, кажется, и по сей день – подбираю, хотя уж давно собрала симпатичную коллекцию минералов, привезённых из походов и геологических поездок по Кавказу и другим местам. Забавно, лет до тринадцати я всерьёз полагала, что выражение «камень за пазухой» означает нечто, вроде «иметь что-то за душой», да и «каменное сердце» представлялось комплиментом.

Холодно. Горячего бы чаю со свежей малиной и спать. Я пошла к дому, за спинами тёплой компании. На веранде ночная мошка и мотыльки бились в стекло фонаря, незадачливые их собратья падали на заботливо подстеленные газетные листы. Я налила чаю из ведерного самовара, дрова для которого колол лично начальник экспедиции. Сахар по талонам, зато на столе всегда конфеты, впрочем, их-то я как раз и не люблю, вот фрукты-ягоды – вишня, малина, клубника, крыжовник – другое дело.

– Ты чего, простыла, чаи с малиной гонять? – басовито поинтересовался начальник.

– Нет, замёрзла просто!

– Замёрзла – выпей водки, с народом! – подмигнул он хитро и неожиданно трезво спросил: – Какой у тебя размер пальца, ребята говорят, вроде, седьмой?

– Восьмой.

– Ничего себе пальчики, как у белошвейки! – он внимательно посмотрел на мои – А росту два метра, вот были бабы! Ладно, отдыхай, не мешаю, – обернувшись ко мне загорелой спиной, начальник налил из самовара чаю и вышел вон.

Чашка приятно согрела руки. Я положила на стол давешний камешек – он был всё ещё немного влажным, после ручья, вокруг окаменелой раковинки вился кремнистый прожилок, сверкали кристаллики кальцита. Перекристаллизованный органогенный известняк, ранне-неогенового возраста, формой немного напоминающий резную фигурку, что-то вроде нэцке. Чуть округлый, камушек уютно лёг в руку. Я сунула его обратно в карман и допила чай. Пара страниц из любимого в то лето Проппа «Исторические корни волшебной сказки» – это уже в постели, на походной кровати, пока глаза не закрылись сами собой – вот и прожит ещё один день…

…свист копий, ржание коней, мечутся отблески костров, сквозь топот копыт слышны гортанные крики и плач детей, скрипя, разворачиваются вокруг костров тяжёлые возы, воины организуют оборону. Степь пахнет типчаком и гарью, ветер помогает стрелам нападающих, те стреляют, передвигаясь ползком по земле, из темноты, на свет костров. Оседлав коней, защитники разделились на два отряда, обходят нападающих с флангов, с гиканьем, на полном скаку, отвесно пускают стрелы вниз, в тёмную траву, из которой летят смертоносные ответы, впиваются острыми жальцами в конных, раня и убивая. Я привязана к грубому деревянному колесу, рядом кто-то корчится и стонет, пьяняще и душно пахнет кровью и гарью – кто я и зачем здесь? Поднимаю голову – вижу: там, в гуще битвы двое – он и она, каждый слился с конём, но не прячет голову в густой гриве, отряд следует за ними, чуть отставая, до тех пор, пока те двое не падают почти одновременно, словно наткнувшись на невидимую стену. Повозка надо мной вдруг раскачивается угрожающие и увлекает меня вниз по склону, ломая кости и разрывая мышцы…

Ветки ореха дробно стучат в окно – на улице ветер и дождь. Похоже, выходной, товарищи полевые изыскатели, отдыхаем и камералим до упора. Надо ж, какой приснился сон. Впрочем, не удивительно – быть впечатлительной в 19 лет – не порок. Да ещё и кости-то эти, вчерашние, под моей кроватью лежат, как, впрочем, и всё найденное, опять же – Пропп перед сном. Выходной кстати, съезжу-ка я в Ростов, сорок минут на электричке туда, вечером обратно…

Обратно в то лето больше не получилось. Парка начала новый узор. Только сон про неведомый степной бой стал сниться время от времени, всегда под утро, в дождь. Камушек вновь обнаружился в Китае, сунула руку в карман и нашла, назначила талисманом, и уже намеренно не расставалась с ним.

II.

..По пустынной воде моя лодка плывёт
в час закатных теней в мир иной.
А на Млечной Реке, средь межзвёздных болот,
полумесяца серп надо мной..

В китайском городе, куда определил меня узор парки, дожди были самым частым погодным явлением. Время шло, незаметно и неотвратимо, как усилия той старухи, что делает швейную иглу из толстого песта, стачивая его о камень. В какой-то момент ощущение изломанной шеи из предутреннего сна стало навязчивым, как и перетёртые в пюре иллюзии юных лет. Впрочем, это сегодня я называю вещи их именами, а в тот год было лишь ощущение жизненного тупика, я топталась на развилке двух дорог, по левую руку – возвращение на родину, по правую – возможность потратить ещё несколько лет на то, чтобы найти себя в новых декорациях. И тот и другой варианты были равновозможны, требовали равных усилий и казались равно же неинтересными. Ни одна чаша весов не хотела перевешивать. Я плыла по течению, массируя по утрам шею, дождь не желал кончаться, на юге страны начались наводнения, и

мне неожиданно предложили поездку в Россию, с возможностью побывать на родине. Накануне отъезда я отправилась на велосипеде в одно из любимых мест на Восточном озере. В сумерках берег полностью скрыл меня от любопытных глаз, за спиной шумела просёлочная дорога, по ней проезжали машины и мерно проходили волы, тяжёлый, влажный воздух субтропиков монотонно распиливали цикады. От стоячей воды несло водорослями. В коротких сумерках я пробралась по камням метров на 20 от берега, туда, где озеро было чище и холоднее, на прибрежном же мелководье вода покрыта плёнкой и отвратительно тепла, как подкисший суп. Завтра в это время я буду идти по пекинским улицам, а ещё через пару дней – по московским – легко ли поверить в такое? Я вынула из кармана руку с привычно зажатым в ней камнем и сунула в воду. Рука быстро покрылась пузырьками воздуха, которые, отрываясь, тянулись ниточкой к поверхности и лениво лопались. По камню, рядом со мной, сновали мелкие крабы, я посидела бездумно ещё минут пять, глядя на огни дальнего берега, и вернулась к велосипеду. Похоже, в эти пять минут что-то сдвинулось во мне с мёртвой точки, будущее стало чуть менее безразличным, а мир вокруг чуть более красочным, я уже знала, что сделаю в эту поездку обязательно, даже если все другие планы провалятся.

Есть круги, которые мы замыкаем для того, чтобы они не замкнули нас навечно внутри себя. Через месяц я сошла с пригородной электрички Ростов-Миллерово на станции «Малый Мишкин». По крутой тропке вверх, мимо казачьей таможни, памятника истории и архитектуры XVII века, по мосткам через балку, по дну которой течёт тот самый ручей, затем вправо, по улице, до бывшей «временной базы Придонско-Приазовской археологической экспедиции-1993». На подходах к калитке решимость стала меня покидать – что я скажу хозяевам? Но во дворе видимое запустение, калитка покосилась, её заржавленную щеколду давно не открывали. Я постояла, глядя на облупившуюся синюю краску. А, спросят – скажу, что подыскиваю дачу, по старой памяти заглянула сюда. Во дворе густо росла лебеда, по-хозяйски кустилась сквозь доски веранды. По едва заметной тропинке я спустилась в сад, нашла по чуть слышному шуму ручей, раздвинув траву, увидела зеркальную поверхность и отборный песок дна. Обмелел ты, дружок, курица напьётся, замутит. Я вынула из кармана камень, сунула руку в воду и разжала кулак. Вода текла сквозь пальцы, ласкала их, рождала в душе уверенность, что всё идёт, как должно, камень лёг на мягкое песчаное ложе дна, я чуть прикоснулась к нему последний раз безымянным пальцем. Круг замкнулся.

Найдя под старым орехом несколько спелых плодов, я с лёгким сердцем спустилась к станции. Хорошо бы вернуть все подобранные когда-то камни на свои места. Пожалуй, тогда и наступит та самая свобода-нирвана, да кто ж их, эти места, помнит?..

Весна 2006-го года *г. Пекин, Лунцзэ*

ПО ГОЛУБЫМ ПРЕДУТРЕННИМ ДОРОГАМ
рассказ

Осень держала паузу, долгим, пронзительным взглядом погрузившись в материнские глаза лета. В Кутном Логу, ничем не примечательном местечке на окраине королевства, сентябрь в тот год выдался тихим и хрупким: вёдро, день ото дня редеет лес, всё прозрачнее воздух, лишь паутинки дрожат на сухих былках по просекам да опушкам. Жирует зверь и птица – охотное время на утку, бекаса, оленя. Пришлые не наезжают – откуда бы им и зачем – в эту глушь, за тридевять переездов от столицы.

Лишь только по временам, но всегда перед рассветом, черная, запылённая от ступиц до лакового герба под крышей, государственная карета с окнами в решётках, да какая там карета – крепкий грубый рыдван, сработанный безо всякого изящества, с небритым мрачным кучером на облучке, появляется в проёме въездной дубовой арки, под слинявшими охряными письменами – «Кутный Лог – владение короля Грегоша». Привратник в чёрном, с закрытым лицом, зычно спросит: «Се Кутный Лог. Откуда такие? Пошто пожаловали?», угрюмый кучер, прочистив горло, ответит: «Именем короля Грегоша! К потомственному палачу их Величества Зданеку послан. Пятерым отпущения!». Их голоса, скрип колёс и хорханье утомлённых лошадей далеко слышны в хрупком сумраке утра. Ритуал един спокон веку, меняются в нём лишь имена монарха и палача, да выкликаемое число привезённых. После привратник ударит жезлом оземь, разрешит: «К западу правь!». И рыдван прокатит по пустой в этот час улице, единственной в местечке, по которой может пройти чётвёрка запряжённых коней, к дому палача, лязгнет чугунный запор на воротах, въедет во двор чёрная государственная карета. Чтобы на закате того же дня пуститься в обратный путь. Везёт ли она обратно какую поклажу – про то никому не известно, но летит быстро, словно у четвёрки вороных выросли крылья. До заката никто из жителей не выйдет на улицу, и этот обычай в Кутном Логу тоже спокон веку.

Старый Зданек почти слеп, хоть и крепок рукой и силён здоровьем. Женился поздно. Кто за палача пойдёт? Страшно людям. Дана моложе мужа на двадцать пять лет. Сирота. Неизвестно, чья дочь, перекати поле без роду-племени. Приблудилась в метель за чёрной каретой, за ней же и дошла до ворот Зданека. Так с ним и осталась. Пугливая, худенькая, что твоя галка, глаз быстрый, чёрный, соседей избегает. Двоих сыновей палачу родила. Збигнева и Яна. Старшему в эту осень шестнадцать. Яну – четырнадцать. Старший лицом в мать, но костью в отца, крепок, охотник знатный, хохотун, на девок заглядывается. Младший напротив – мастью в отца, белокур, голубоглаз, а кость материнская, тонкая, изящен в движеньях, в труде стоек, но мечтателен, молчалив, странный мальчишка, однако, не глупый. Да мал ещё, может, через годок-другой приземлят его мечты, поманит в большую жизнь дорога. Мать глядит на малого, вздыхает. Отец же, напротив, больше смотрит на старшего сына.

Шестнадцатый день рождения. День, когда всякий парень в Кутном Логу получает самостоятельность и долю в отцовском наследстве. В каждой семье свои традиции – кто чем владеет, то и передаёт сыну, наказывает быть работящим и счастливым.

Зданек в красной рубахе да именинник в белой шли сквозь предрассветный лес. Обратно вернётся только один. Старики знали это. Помнили ещё, как принимал своё наследство нынешний палач. Знал про то и Збигнев. Знал, почему на отце красная рубаха, а на нём белая.

– Запоминай дорогу. Через лес, выше, выше в гору, мимо скал, до водопада. Вот он – Камень Отпущения. – Старик передвигался ходко, не глядя по сторонам, но всё же давал возможность сыну запомнить путь. Изредка заламывал ветки. На место пришли чуть запыхавшись. Всё, что касается казнимых, парень уже узнал, теперь отец откроет последнее.

– Палач, сын, не убийца! Люди к нам относятся настороженно, но не потому, что мы ведаем смертью, а из страха прикоснуться к преступлению. Из страха своей человечьей природы.

Збигнев кивнул, кудри рассыпались по плечам. Отец вынул топор и подал сыну – прими! Тот взял привычное с детства орудие. – Помни, каждый палач делает это, в том и есть главная наша суть – глянуть с добром в глаза казнимому, грех отпустить, остановить своё сердце и занести руку.

Зданек положил голову на камень. Сын глянул в глаза старика. Верно глянул, с добром, очистил душу пожившего, и через миг схватился за грудь, как подкошенный рухнул в траву. Не вынесло юное сердце, не поднялась рука. Отторгло небо нового палача. Зданек весь день провозился с могилой. Привычное, кажется, дело – сколько их здесь зарыто, казнимых, а, поди ж ты – даже отца хоронил с лёгким сердцем, и лишь любимого сына с тяжёлым. Всё думал, перебирая узловатыми пальцами влажную землю – остался ещё один, сможет ли он? Сможет ли? Сможет? Сумеет ли? Два года до нового совершеннолетия, глаза старика выдержат, но не подведёт ли второй сын?..

Домой шёл на закате. Знал, из каждого двора наблюдают. Гадают, сплетничают вполголоса.

Небо, тяжёлое осеннее небо, лежало плащом на его покатых плечах.

Зданек вошёл во двор, сгорбившись, направился к дому. Солнце садилось за редкий лес, за дальние поля, слепило глаза, и Яна у поленницы, с топором в левой руке, он заметил поздно, едва не столкнувшись с тем. Увидев, что Зданек вернулся один, младший, а теперь и единственный, сын как-то смело, открыто и пристально, по-новому, глянул в глаза отца, так, что старый палач понял, этому мальчику дано остановить сердце и занести руку. Уголки старческих губ предательски задрожали, усилием воли скинув вдруг навалившуюся гранитную усталость, палач положил заскорузлую, пахнущую землёй руку на плечо юноши.

– Сыну, через два года будет тёплая осень, – сказал тихо, но твёрдо, как взрослому.

– Я знаю, отец, – Ян мальчишески откинул светлую чёлку и почти не глядя, привычно и точно обрушил топор на ладное берёзовое поленце.

Дерево сухо треснуло под уработанным железом. Солнце закатилось, наконец, в холщовую торбу земли, запела в тальнике иволга…

10.09.2004 г. *г. Пекин, Лунцзэ*

ЮЙЦЗЯШАНЬ
рассказ

Восемь лет я прожила на окраине Учана по адресу Юйцзяшань, 31. В переводе с китайского – Гора семьи Юй. Я даже познакомилась с одним из последних Юев, он хорошо помнил их старый дом и ходил иногда на вершину горы к могилам своих предков, многие из которых умерли задолго до Освобождения. Там же, на горе, у старых могильных камней мы и встретились в первый раз.

Оранжевый шар солнца почти касался озёрной глади на западе, к востоку же были только холодные стально-серо-сиреневатые тона. С вершины горы хорошо было смотреть на лёгкие запятые рыбачьих лодок, чей ход повторял ход чуть угадываюшихся тёмными пятнами в глубине воды рыбьих косяков, и на призрачные в слабом вечернем тумане, красные и зелёные огни вывесок прибрежных ресторанов.

Ветер с каждой минутой становился всё холоднее, и в полчаса наступила осень. Меня всегда удивляла эта особенность тридцатой широты неизменно приводить времена года в соответствие с временем суток.

Неожиданный лёгкий запах сандаловых свечек, и сухой треск горящей бумаги заставили обернуться. Старик в синей даньи стоял на коленях у стёртого могильного камня и бил поклоны западу. Родовое кладбище на вершине холма – таких давно уже не осталось, разве только заброшенные. Древний крестьянский обычай – хоронить умерших рядом с домом, среди светлого бамбукового леса.

Завершив обряд, старик, покряхтывая, поднялся с колен, осмотрелся, сделал несколько мелких, ревматических шагов в мою сторону, по-деревенски обстоятельно оглаживая-отряхивая штаны рукавом тужурки.

– Отец? – указываю на давешний холмик.

– Нет, дед, отец там, – он машет рукой чуть вправо и назад. И улыбается. Контакт установился легко – у меня тоже карие глаза. Юй садится рядом со мною на покосившуюся каменную скамейку.

– Раньше вся гора была нашей, но жили мы на южном склоне, так хотелось бабке, она была из рода У, и любила взглянуть на дом своих родителей.

– Уцзявань? Её родные ловили рыбу? – высотные здания уже тридцать лет заслоняют Заводь Семьи У, хотя я и мой собеседник без того знаем, что на том месте стоит самый большой и роскошный из всех отелей Восточного озера, построенный лет десять назад на тайваньские деньги. Вечером его подсвечивают красным так, что с той стороны неба совсем не видно звёзд.

– Да, ловили. А мы выращивали овощи. И торговали ими на одном рынке с У. Там же, мой отец приглядел себе невесту, молодую Ли.

– Ли жили в той стороне? – я показываю на восточный берег озера, на лодочную станцию Лицзяпо. Там туристы арендуют катера, чтобы осмотреть озёрные достопримечательности – павильон Синъингэ, парк на Стёсанной горе и Хубейский краеведческий музей. Старик широко улыбается моей догадливости и утвердительно кивает головой.

– Ли держали постоялый двор и тоже приторговывали рыбой, может, потому, как рассказывал отец, бабка поначалу не очень любила молодую невестку. Потом уж успокоилась, это когда её второй сын, мой младший дядька, взял в жёны дочь Чжана-убийцы и ушёл жить в его семью, за озеро. То было в начале двадцатых, времена настали неспокойные, нравы переменились, и родители не имели уж полной власти над детьми. Почти все молодые У, бабкина родня, ушли в Ханьян на заводы, и она с тех пор не так часто смотрела в сторону Уцзявани, да вскоре и дома того не стало. Потом, через несколько лет, два моих брата и старшая сестра ушли сперва в Ханькоу, к Цзяну, а потом в Янъань, к Мао. Я был младший, уходить не решился, не на кого было оставить грядки и дом, но уж так и остался холостым. Не подыскал невесты, робкий был. Всё огородничал на пару с отцом. Семья оскудела, работать стало некому, потому жили бедно, что при японцах, что после. Я и воевать не пошёл, нельзя было бросить стариков. Никто из братьев так и не вернулся. Мать умерла от тифа в неурожайный год, уже после Освобождения. Ваши тогда мост на Янцзы построили. Отец же умер в шестидесятых, когда заставили варить сталь во дворах.

Широко посаженными, с лёгким прищуром, глазами Юй ловит вопрос в моих.

– Председатель Мао так и остался крестьянином. Пусть и стал большим человеком, правителем государства. Нет, как сталеварить, не знал ни он, ни мы. Отец отравился газом, когда открывал глиняную печь-домну. А тот ком руды и запечённого угля мы с сыном через несколько лет столкнули с горы. Теперь сталь варят за озером. Большой у них комбинат, много рабочих.

Мы некоторое время молча смотрим на северо-восток, там, в тумане нарождающихся сумерек, парят далёкие заозёрные огни Угана.

– С сыном? – переспрашиваю я.

– Однажды какая-то старушка из-за реки привела мальчика лет трёх и сказала, что это мой сын. Мальчик был тихий, но крепкий, глазами в мою мать. И он, конечно, мог быть мне сыном – я несколько лет в числе других крестьян строил новый порт за рекой, тогда все должны были отработать положенное на стройках государства. А ведь в городе нравы не столь строги, как здесь… Да теперь и здесь город…

Старик гладит ладонью тёмной, натруженной руки плотный известняк скамьи, вытертый до блеска задами его сородичей.

– В семидесятых пришли рабочие, стало шумно, пыльно. Под горой строили много, и овощи уже не родили так, как раньше. Сыну исполнилось пятнадцать, я отдал его в монастырь, учиться грамоте,

в школу поздно было, там он и остался, монахом. Рисует картины, в культурную революцию монахов хоть и поприжали, но всё ж многие выжили. А меня взяли сторожем на стройку, под горой. Это потом, на старости, сын позвал к себе в Чанчуньгуань, доживать. Копаюсь с монахами на их огороде. Да вот, иногда, прихожу сюда к родным могилам.

Озера почти не видно, оно лишь угадывается светлым пятном внизу, за кронами деревьев. Луна поднимается над горизонтом, набирает силу, из полупрозрачной становится серебряной. Старый Юй зябко потирает ладони, прощаясь, отвешивает мне комплимент:

– У тебя, барышня И, высокий нос.

– Моя мама всегда хотела, чтобы я сделала операцию, – улыбаюсь в ответ.

– Долгих ей лет жизни. И могилы на светлом высоком холме!

– Спасибо!

Мы ещё раз приветливо улыбаемся друг другу и расходимся – я к восточному склону горы, Юй к западному. Он спешит – как бы не пропустить последний автобус. Я медлю некоторое время, чтобы ещё и ещё раз взглянуть на коренастого крестьянина, ловко спускающегося по чуть заметной в неясном свете луны тропинке, каждый поворот которой издавна привычен его ногам в стоптанных бусе.

Красное марево в полнеба поднимается над тайваньским отелем за Уцзявань, мелкие камешки шуршат под моими ногами и длинные изящные тени бамбуковых веток ложатся поперёк тропинки, которая начинается сразу от старых могильных камней.

21.11.2001 г. *г. Пекин, Чжичуньли*

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

РЫБЫ
рассказ

У Марии Константиновны была смешная привычка всякий свой рассказ предварять словами: «Я вам такое расскажу!» Или: «Такое было!.. Вы умрёте…». За этими словами могло последовать повествование как о событиях из ряда вон выходящих, так и, напротив, о явлениях совершенно рядовых. Знакомые Марии Константиновны давно привыкли к её забавным привычкам и не обращали на них никакого внимания.

Но однажды, когда Мария Константиновна явилась в кафе на встречу с двумя приятельницами – такими же полувековыми девочками, как и сама Мария Константиновна, – её невинные присказки дали начало прелюбопытному разговору. Одна из подружек – Елена Геннадьевна, полноватая брюнетка с короткой стрижкой, покрытая серебряными украшениями как бронёй – недовольно поморщилась и сказала строго:

– Маша, когда ты перестанешь причитать? Говори уже по существу.

Мария Константиновна смутилась, захлопала глазами и, сбитая несколько с толку, поведала неинтересную историю о том, как уронила на заправке перчатки и как перчатки, оказавшиеся в луже, дождались возвращения своей хозяйки, вовремя спохватившейся и сообразившей, где следует искать пропажу.

Лариса Вячеславовна, носившая крупную бижутерию из пластмассы, зато не имевшая ни единого седого волоса в туго затянутых резинкой светло-русых волосах, деликатно улыбнулась и даже цокнула языком, выразив таким образом удивление и сочувствие. Но Елена Геннадьевна, почему-то настроенная в тот день особенно воинственно, прохладно заметила:

– Ну, бывает. Только с чего бы нам умирать? Ещё и не то случается.

Мария Константиновна, окончательно смутившись, виновато улыбнулась и уставилась в чашку, где в жёлтой мутной жидкости плавали ягоды облепихи, похожие на глаза пираний.

– Умирать, конечно, не стоит, – примирительно заметила Лариса Вячеславовна, – но это забавно, когда твои перчатки дожидаются тебя в луже. Одна из таких удивительных ситуаций, в которые все попадают время от времени.

– Да ничего тут нет удивительного, – нахмурила нарисованные брови Елена Геннадьевна и махнула рукой, так что кольца, унизавшие все пять пальцев, легонько звякнули.

Она сделала глоток зелёного чая из маленькой белой чашки и продолжала:

– В наше время вообще трудно удивить. Во всяком случае, не могу себе представить, что могло бы вызвать моё удивление. Народ вокруг совершенно ополоумел, никто ничего не соображает. Иногда мне кажется, что я живу в сумасшедшем доме. Вы только оглянитесь! – она понизила голос и небрежно махнула другой рукой, отчего послышалось то же лёгкое звяканье. – Вон! Собаку в кафе притащили… Совсем уж… Дожили! А вот вырядились, дуры… ворон, что ли, пугать собрались?..

Мария Константиновна фыркнула, Лариса Вячеславовна слегка улыбнулась, а Елена Геннадьевна продолжала:

– А вы послушайте, о чём говорят вокруг! День будете прислушиваться, а назавтра уже ничему не удивитесь!

– Согласна, – объявила Лариса Вячеславовна, отламывая вилкой кусочек торта, покрытого толстым слоем красной глазури, – но всё же ты преувеличиваешь. Возможно, всё дело в степени удивления. Но если бы ты услышала … ммм… невероятную историю, то есть что-то такое, о чём ты ещё никогда раньше не слышала, наверняка бы ты испытала что-то вроде удивления.

– Сомневаюсь, – возразила Елене Геннадьевна. – То есть я сомневаюсь, что есть нечто, о чём я ещё не слышала. Даже не представляю, что это за экзотика.

И на сей раз лёгкое бряцание издали её серьги.

– Берусь тебя удивить! – улыбнулась Лариса Вячеславовна. – Вернее так: я знаю нечто, о чём ты гарантированно не слышала.

Елена Геннадьевна недоверчиво улыбнулась и повела бровью.

– Ну попробуй, – сказала она с таким видом и таким тоном, что все отчётливо поняли: «Послушаем, что это за враки».

Лариса Вячеславовна между тем откинулась на спинку диванчика и спокойно сказала:

– Не думайте, что я расскажу вам о встрече с инопланетянами, вампирами или Микки Рурком. Это история о том, как я ходила в театр примерно месяц назад.

Мария Константиновна с какой-то неуместной тревогой приготовилась слушать, а Елена Геннадьевна хмыкнула и даже отвернулась на мгновение, словно желая скрыть недоверчивую улыбку.

– В общем, примерно с месяц тому назад отправилась я в N-ский театр. Правда, меня предупредили, что спектакль не обычный, а… как же это… хеппенинг. Ну или что-то вроде. Словом, публика входит, получает жёлтые жетоны на длинных лентах и вешает эти ленты на шеи. На жетонах разные надписи. Мне выпало: Достоевский. Ну, думаю, хороший знак: Достоевского люблю. Тут выходит тётенька и всех, кто с жетонами, просит пройти в угол и подождать. Собралась группа. Тут стали подходить девушки с табличками на палочках. На табличках те же надписи, что на жетонах. Подошла и с «Достоевским», говорит: «Пожалуйста, следуйте за мной, не теряйтесь». Потом разворачивается и ведёт нас куда-то не в зал за сценой, а в какие-то кулуары. И вся наша компания – ну, все, кто с «Достоевским» – идёт, как на экскурсии, следом. Останавливаемся возле какой-то двери. Ждём. Наконец дверь распахивается, и выходит… Кто бы вы думали?

Тут Лариса Вячеславовна назвала всем давно известную театральную фамилию, так что обе её приятельницы оживились и промычали что-то одобрительное. А Лариса Вячеславовна продолжала:

– Он выходит и начинает излагать нам историю здания театра. Всё это довольно скучно – в конце концов, никто не ходит в театр на экскурсии или лекции. Но в ожидании чего-то большего, в предвкушении, так сказать, действа поневоле смиряешься и слушаешь перечисление дат и фамилий. И вот он перечисляет весь цвет русской культуры и доходит до самого Достоевского, чьё имя болтается примерно на двадцати шеях. Выясняется, что и Достоевский бывал в здании в бытность его рестораном… Здания, конечно, не Достоевского… Ну и что будто бы в здании ресторана Достоевский начал сочинять знаменитую свою речь о Пушкине. И вот, дойдя до Пушкина, он распахивает двери, из которых только что вышел, и приглашает всю нашу группу в небольшой с колоннами зал. В зале расставлены для зрителей стулья, а перед стульями… Перед стульями что-то вроде анатомического театра.

– В каком смысле? – зашевелилась Елена Геннадьевна.

– В театральном, разумеется, – улыбнулась Лариса Вячеславовна. – Стоит длинный стол, на столе вроде как тело, покрытое простынёй. Кругом – на полу, на простыне, на колоннах даже – вроде как кровь. За столом – прозектор, сестра милосердия, судя по косынке, а между ними – мужик с бородой. Потом этот с бородой начинает говорить, и становится ясно, что это вроде как Достоевский, а под простынёй – вроде как Пушкин. Ну то есть нам показывают, как Достоевский анатомирует Пушкина.

– Жесть, – заметила Елена Геннадьевна и спросила:

– Но надеюсь, ты не этим собралась нас удивить? А то, знаешь, на подобное насмотрелись…

– О нет! – лапидарно возразила Лариса Вячеславовна и продолжила:

– Пушкина они расчленили на три части. Долго тащили из него кишки в виде красной верёвки, достали сердце и пустили в него пулю. Потом опять тащили из него красную верёвку, к концу которой оказались привязаны бирюзовые панталоны, завидев которые барышня в косынке взвизгнула и убежала за ширмы, помещавшиеся у них за спиной. За ширмы препроводили и панталоны. Потом «Достоевский» – ну тот мужик с бородой – погрузил руки в «труп» «Пушкина» и, сияя как ёлочный шар, достал их уже в красных перчатках, вроде как обагрив их пушкинской кровью. Потом начались какие-то фокусы с превращением верёвок в палки, а палок в верёвки. Я, признаться, всё ждала, когда из «Пушкина» достанут кролика. Но обошлось без кроликов…

– А что же публика? – перебила рассказчицу Елена Геннадьевна.

– Да, реакция-то какая? – заволновалась Мария Константиновна.

– А что публика? – многозначительно улыбнулась Лариса Вячеславовна. – Публика смеялась. Но наконец фокусы прекратились, и нас попросили пройти дальше.

– Пока что не удивила, – усмехнулась Елена Геннадьевна.

Мария Константиновна молчала, но Ларисе Вячеславовне показалось почему-то, что мысленно она уже рассказывает кому-то о «трупе» Пушкина, предварив свой рассказ восклицанием: «Такое было!.. Вы умрёте…».

– Подожди, – сказала Лариса Вячеславовна, кивнув Елене Геннадьевне, – самое удивительное впереди.

Елена Геннадьевна приподняла левую бровь, поправила подвески, украшавшие грудь, звякнула кольцами и ничего не сказала.

– Мы вышли из этой прозекторской, – продолжала Лариса Вячеславовна, – и снова двинулись гурьбой за девушкой с табличкой. Она повела нас дальше по коридору, свернула раз, другой… Наконец остановилась ещё у какой-то двери. На сей раз к нам вышел…

Опять прозвучала известная всем театралам и даже любителям кино фамилия, так что Елена Геннадьевна и Мария Константиновна не смогли хранить молчание и волей-неволей что-то промычали в ответ.

– Тут нам стали толкать о Чехове, – продолжала свой рассказ Лариса Вячеславовна, сделав глоточек кофе и прожевав отломленный кусочек печенья. – Чехов – то, Чехов – сё… Наконец завели в другой зальчик, небольшой такой… Там мы уселись в дальнем тёмном углу на приготовленные стулья, а в углу по диагонали Чехов с Сувориным завели какой-то долгий и нудный разговор о книгах, о деньгах и Бог знает, о чём ещё… Разговор их прерывался Львом Толстым, старавшимся ворваться в комнату. Кто-то его там держал в коридоре, а он рвался и орал, что Суворин – подлец. На что Суворин каждый раз отмахивался и приговаривал: «Не обращайте внимания, это же Лев Толстой». Потом Чехову стало дурно, и Суворин стал кричать, требуя карету скорой помощи… Ну, видимо, забыл, что в его времена скорой помощи в Москве не существовало.

И Лариса Вячеславовна, довольна собой, усмехнулась.

– Правда? – удивилась Мария Константиновна.

– Что? – не поняла Лариса Вячеславовна.

– Ну вот, что скорая помощь…

– Разумеется, – фыркнула Елена Геннадьевна, издав недовольное бряцание.

– Ну вот, представьте, – Лариса Вячеславовна выдержала паузу, – расчленённый Пушкин, потрошитель Достоевский, придурок Толстой… Что может внушить такое зрелище?

– Я бы ушла после Пушкина, – заметила Елена Геннадьевна.

– Была у меня такая мысль, но, знаешь, неудобно… Но случай-таки выдался!

– Неужели свет выключили во всём театре? – предположила Мария Константиновна.

– Ну, нет! В этом театре уместнее предположить пожар! – заметила Елена Геннадьевна.

– Не угадали! Я же говорила, такого вы точно не видели и не слышали!

– Так не томи! – бряцая кольцами и серьгами, отозвалась Елена Геннадьевна.

– К нам всего-навсего вышла очередная знаменитость – на сей раз дама – и отвела в третий зал, предварив этот поход рассказом о дне святой Татьяны, который московские студенты отмечали с таким энтузиазмом, что иные профессора уходили с попойки без очков. Ну вы знаете, что святая Татьяна якобы покровительствует студентам. «Берегите очки!» – сказали нам и ввели в новое помещение, где мы расселись за длинным столом, покрытым скатертью. В другую дверь вошёл актёр, изображавший пьяного студента…

– Что, правда, пьяный? – испугалась Мария Константиновна.

– Да нет, конечно! Имелось в виду, что он пришёл в кабак и здесь напился. На разных стадиях опьянения он… э-э-э, ну, как бы это… Короче, он взаимодействовал со зрителями.

– Наливал, что ли? – обрадовалась Елена Геннадьевна. – Ну, если так – признаю, такого не видела.

– О! Подожди! Я совсем не об этом. Да и пьянел не взаправду. Ну, сначала он вроде как начал приставать к мужчинам…

Слушательницы оживились и обе прыснули.

– Опять не угадали! – воскликнула Лариса Вячеславовна. – Он выпить их звал: выпьем да выпьем. Потом вспомнил свою любовь. И, как бы обращаясь к этой любви, с которой он давно расстался, повис на какой-то тётке. И даже, пардон, облапал её – других слов не подберу.

Это сообщение, по всей видимости, тоже пришлось по душе и Марии Константиновне, и Елене Геннадьевне: первая тихонько захихикала, прикрыв рот ладошкой, а вторая завела глаза к потолку, точно желая сказать: «Я так и знала, что этим кончится».

– На следующей стадии опьянения он залез под стол и начал хватать зрителей за ноги. Послышались визги, ойканье, аханье и прочее в том же роде…

– Подожди, – перебила Елена Геннадьевна, – а зрители-то что? Ну облапал он эту тётку, а она?..

– Да ничего! Сидит, сжалась вся, подобралась так… Раньше-то, когда он мужиков тискал и орал «Брудершафт», она хихикала сидела. Я ещё подумала, как он стал её хватать: ты всё пела – это дело. Так поди же попляши.

Елена Геннадьевна удовлетворённо кивнула. А Лариса Вячеславовна объявила, что подобралась к самому интересному.

– Так, – согласилась Елена Геннадьевна, – вернёмся к пьяному студенту.

– Ну да, – Лариса Вячеславовна кивнула и продолжала. – Вот он уже один выпил, требовал у зрителей брудершафта, помял несчастную тётеньку, с рёвом заполз под стол и стал хватать зрителей за ноги. Как вдруг из-под стола вылетела чья-то туфля. Может, он стянул её с ноги у одной из зрительниц, а может, это был заготовленный реквизит – не разберёшь. Но только туфелька эта – такая вся грязненькая, такая вся облезлая и замызганная – прилетает из-под стола прямо в мою физиономию. Вот сюда! – и Лариса Вячеславовна показала на свой маленький, аккуратный носик.

– Жесть… – отозвалась Елена Геннадьевна.

– Умереть… – согласилась с ней Мария Константиновна.

– Спасибо, конечно, не в глаз… Но очки падают на стол. Опять же, спасибо, не разбились и не сломались. Туфелька эта, отпечатавшись на моей физиономии, приземлилась тут же, то бишь на столе. Поверх моих сорокатысячных очков.

– И что же ты сделала? – в глазах у Елены Геннадьевна, словно предчувствовавшей феерическую развязку, мелькнуло какое-то хищное выражение.

– Я решила, что это превосходный повод прервать встречу с прекрасным, – гордо объявила Лариса Вячеславовна. – Собрала вещи, в смысле, взяла очки, сумку, и ушла. Просто встала и ушла.

– Честно говоря, это давно следовало сделать, – заметила Елена Геннадьевна, дёрнув плечом, как будто стряхивая чью-то непрошенную руку. – Расчленённый Пушкин уже был поводом лучше некуда.

– С одной стороны, конечно, – согласилась Лариса Вячеславовна, – но с другой-то… Никто же не поймёт.

– Ну да, – поворчала Елена Геннадьевна, – нам нужно сапогом по роже заехать, чтобы до нас дошло…

Все замолчали.

– Ну надо же! – нарушила тишину Мария Константиновна. – В театре!..

– Угу, – Лариса Вячеславовна кивнула, – именно! Грязным башмаком.

– Да по физиономии! – подхватила Елена Геннадьевна.

Все трое весело рассмеялись.

– Да уж, признаюсь: удивила! – сказала наконец Елена Геннадьевна. – Надо было пари заключать…

Но не успела Лариса Вячеславовна ответить, как Мария Константиновна о чём-то вспомнила.

– Ой! – вдруг пискнула она. – Что я вам расскажу…

– Мы умрём? – Елена Геннадьевна ухитрилась одновременно сощурить глаза и высоко задрать левую бровь.

Мария Константиновна расхохоталась звонким, нервным смешком. А Лариса Вячеславовна улыбнулась не то снисходительно, не то покровительственно, переводя чуть усталый взгляд с одной приятельницы на другую…

За огромными стёклами кафе в тёмных водах московского вечера проплывали похожие на рыб люди. А может, рыбы, похожие на людей. Холодные и равнодушные ко всему рыбы. И кафе казалось каким-то огромным аквариумом – стеклянным ящиком, наполненным воздухом и помещённым в толщу вод.

ЭЛЬДАР АХАДОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКАХ ВОСПОМИНАНИЙ

НОЧЬ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ

2016 год. 26 марта. Мост через реку Парана – государственная граница Бразилии и Парагвая. Я, четверо моих детей и жена пешком идём по мосту от бразильского берега к парагвайскому, из города Фос-ду-Игуасу в город Сьюдад-дель-Эсте. Нас никто не останавливает ни на той стороне, ни на этой. Под мостом внизу возле воды мирно загорают на солнышке кайманы – местная разновидность крокодилов. Через несколько часов мы так же пешком возвращаемся из Парагвая в Бразилию… на пограничных постах обоих берегов – у нас ни возникает никаких проблем. Вроде, как не в другую страну, а в соседнюю деревню сходили.

1979 год. Раннее утро 19 июля. Третья полка плацкартного вагона пассажирского поезда. Душно и пыльно. Я лежу на третьей полке, потому что дальше Приозёрска мне не продали билета, а значит, дальше я еду нелегально.

Советским гражданам запрещено перемещаться по территории своего государства вблизи государственной границы и находиться там без специального временного разрешения, согласованного с комитетом государственной безопасности – КГБ СССР. А получить такое разрешение очень трудная и долгая процедура. При этом в любой момент без всяких объяснений вам могут отказать.

Станция Элисенваара. Железнодорожные пути забиты грузовыми составами: цистернами с газом и нефтью, открытыми платформами с древесиной и металлом, закрытыми грузовыми вагонами. Мой поезд медленно начинает набирать скорость. Если бы я собирался пересечь советско-финскую государственную границу, то Элисенваара для этой операции – наиболее удобное географическое место. Отсюда до государственной границы ближе всего.

Но у меня иная цель. Я еду по запретной для меня и моих сограждан зоне. Без паспорта, без денег, без вещей. Почему? Без паспорта – на всякий случай. Без денег – потому что они кончились. Без вещей – потому что лето и потому, что еду ненадолго. Как я собирался вернуться? Не знаю. От Приозёрска до Ленинграда у меня был билет. Дальше – ни туда, ни обратно – не было ничего.

За грязным немытым окном мелькнула станция Лахденпохья. Солнце уже светило вовсю, когда мой пассажирский состав проследовал через Хаапалампи. Неумолимо приближалась цель моего тайного путешествия – Сортавала. Там, за ней, над озером Кармаланъярви уже маячила гора Паасо, с которой виднелись крыши посёлка Хелюля… Но туда мне было уже не нужно. Мне до моей цели оставалось 150 метров от вокзальной площади. Но эти 150 метров мне так и не удалось пройти.

Пограничники! Внизу по всему вагону началась проверка паспортов. Паспорта, как я уже говорил, у меня при себе не было. Да, и не помог бы он мне. А вот студенческая зачётка – была. Ни для чего. Случайно осталась в кармане куртки после возвращения с практики, с полевых работ. Но и это ничего не решало в моей ситуации. Вжаться в полку, переждать пограничников и выйти на вокзальную площадь: таков был мой ближайший план.

Увы, осуществиться ему было не дано. Народу в вагоне находилось немного. Паспортный контроль прошёл достаточно быстро. Я был почти уже у цели. Но бдительная женщина с ребёнком, плаксивой капризной девочкой, сидевшая глубоко внизу подо мной на нижнем сиденье, подала пограничникам знак рукой и что-то шепнула. Я почувствовал на своей лодыжке крепкую руку, тащившую меня вниз. От отчаяния я со всей силы ударил ногой по зелёной фуражке пограничника, которому принадлежала эта рука. Она отцепилась от меня, но через мгновение солдат начал звать на помощь своих сослуживцев и громко ругаться…

Сколько их было, я не помню. Вообще, смутно помню все последующие события. Очнулся я в камере. Вскоре пришёл офицер. Сухонький, ниже меня ростом, лет тридцати пяти. С фамилией, которую я не забуду никогда – капитан Верёвкин. Явился он с листом чистой белой бумаги формата А4 и потребовал, чтобы я на нём расписался. Я расписался, мне было всё равно в тот момент, потому что я понимал, что мне не позволят пройти те самые 150 метров до цели. Мне уже вообще ничего не позволят.

«Ну, и дурак!» – довольным голосом произнёс капитан Верёвкин. Фамилия, напоминающая о смерти через повешение, отметил я, молча, для себя. Он и внешне чем-то напоминал верёвку с петлёй. «Я теперь на этом листе напечатаю что угодно и объявлю, что это ты во всём сознался! Во всех злодеяниях! У меня есть твоя подпись!». Он рассмеялся, довольный своей речью. Мне было всё равно. Капитану это явно не понравилось, и он снова обратился ко мне: «Ты оказал сопротивление советским солдатам. Ты незаконно проник в приграничную запретную зону. За все эти преступления ты арестован. Будешь сотрудничать с нами?». Я продолжал молчать. «Ты отказываешься сотрудничать с властью. Ну, что ж… Готовься. Тебя расстреляют. Не сейчас. Завтра. На рассвете. В пять утра за тобой придёт конвой». «За что? А как же суд?» – я пытался возражать, но получалось как-то вяло, не убедительно. «Никакого суда для таких негодяев, как ты. Ты будешь застрелен при попытке к бегству». «Я никуда не побегу». «А нам всё равно: побежишь ты или нет. В документах будет указано: при попытке к бегству. Не ты первый, не ты последний. У нас всё отработано». На этом наш разговор завершился. Дверь моей камеры захлопнулась. Я остался один на один со своими мыслями.

С чего всё началось? С любви. Я влюбился. Без единого шанса на ответное чувство. Она не хотела ни встречаться со мной, ни общаться, ни видеть меня. Почему? Всё просто. Её сердце было занято другим. Там тоже не было взаимности. Это обстоятельство почему-то не смягчило, а ожесточило её сердце. Поэтому шансов у меня не было и не могло быть никаких. Мы не встречались. Общаться со мной она тоже категорически отказывалась. Я всё понимал, но продолжал искать какие-то пути к сближению, захотелось увидеть места, в которых она выросла, увидеть её родителей, её дом. Я сказал ей об этом. Она пожала плечами и хмуро ответила: «Ты никогда не сможешь побывать в моих краях. Я выросла в приграничной зоне. Без пропуска туда не попасть. А пропуска тебе никто не выдаст».

Раз есть нечто невозможное, значит, надо с этим как-то справляться. И я поехал в её город, зная, что её там нет, и не зная точно: там ли её родители. Короче, поехал, не зная ничего, кроме адреса, который она сообщила мне сама, считая его физически недостижимым для меня. И оказалась права. Я добрался до её города. Но не дошёл до её дома 150 метров от вокзала.

19 июля 1979 года. Это был день моего рождения. Единственный день в моей жизни, который я провёл в тюремной камере. У меня было много времени до рассвета. Ночь только начиналась. Я стоял под маленьким зарешечённым тюремным окошком, находившимся где-то возле самого потолка, и читал наизусть свои стихи о любви, посвящённые девушке, выросшей в этом самом городе. Влюбившись, я посвятил теме любви тогда много стихов, памятью слаб не был, и читать стихи мог наизусть часами. Не знаю, слышал ли их кто-нибудь в ту ночь? По крайней мере охранники в камеру не заглядывали и читать стихи не запрещали. Временами чтение мне надоедало, тогда я умолкал. Но долго молчать, зная, что очень скоро за тобой придут и, вполне вероятно, убьют, как это и обещал капитан советских пограничных войск… было невыносимо. Невыносимо, потому что тебе только что исполнилось девятнадцать, и это – твоя последняя ночь на земле… Как уместить эти два события в своём сознании? Для чего жил? Зачем умираю? И нужно ли что-то осознавать, если всё равно через несколько часов тебя не станет – «при попытке к бегству»? А ведь как убедительно звучит! Побежал. Догнать не смогли, начали стрелять, ну, и как бы убили… в общем, случайно. Молодец, Верёвкин! Всё верно рассчитал. Кому поверят: трупу или бдительным доблестным пограничникам, стоящим, как говорится, на страже интересов советского народа? Объяснил бы кто-нибудь тому народу, в чём его интерес от казни девятнадцатилетнего юноши?

Шагреневая кожа времени неумолимо сжималась. Вот и рассвет забрезжил. Послышалось пение первых утренних птичек. Красиво поют. Душевно. Как они называются? Какая разница? Теперь уже никакой… Слышишь шаги? Всё громче. Всё ближе. Это солдатские сапоги. Чёткий, спокойный, размеренный шаг. Это за тобой… За мной? Как? Разве уже пора? Куда? Мне некуда идти. Я тут никого не знаю. «При попытке к бегству». Какому бегству? Я не побегу! Не побегу!!!

В металлической двери заскрежетал ключ. Дверь, как мне показалось, медленно, очень медленно начала открываться. За ней возникли лица в зелёных фуражках. В камеру вошли двое солдат, следом за ними – капитан Верёвкин. В руках у него была какая-то, вероятно, очень важная бумага…

Он передал её старшине, и скомандовал: «На выход!». Меня вывели во двор. Там уже стоял крытый автомобиль. Солдаты погрузили в него меня, сели сами, и машина поехала. Окон внутри салона автомобиля не было. Я не видел куда мы едем, но догадывался для чего… Невольно вспомнились знаменитые набоковские строчки:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, –
вот-вот сейчас пальнёт в меня –
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.

Мысли в голове скачут, не останавливаясь уже почти ни на чём. Вот, промелькнула ещё одна шальная: откроются двери, начнут меня выводить, что если и впрямь – побежать? До финской границы не так уж и далеко. Есть шанс! Есть! Надо пробовать! Надо бежать! Надо! Пока живёшь – веришь. Пока веришь – живёшь. «При попытке к бегству», говорите? А вот, поглядим: кто тут бегать умеет! Ты же бегун на марафонские дистанции! 42 километра 195 метров! Ты же за институт бегал! За «Спартак»! У тебя второе дыхание открывается после 35 километров? Открывается. Прошлой осенью дистанцию Ленинград – Пушкин – Ленинград ты как пробежал? Отлично. Не первый, но в «десятке». Тренер хвалил? Хвалил! Так что не всё потеряно! Не всё! Кажется, куда-то подъезжаем. Готовься. На старт! Внимание!..

Что это? Опять сортавальский железнодорожный вокзал? Куда меня ведут? На платформу? К поезду? Вагон дёрнулся один раз, второй, и пейзаж за окном медленно поплыл в обратном направлении… Снова мелькнули и исчезли знакомые надписи, но теперь уже в обратном порядке: Хаапалампи, Лахденпохья, Элисенваара… Наконец, Приозёрск. Здесь конвоиры оставили меня без присмотра, вернув мне мою студенческую «зачётную книжку». В ней, кстати, в то время стояли только отличные оценки по всем предметам. Не таким уж кровожадным оказался товарищ Верёвкин. Век не забуду…

АХМАТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

В 1978 году я стал студентом горного института в Санкт-Петербурге, жил и учился на Васильевском острове. Мой студенческий товарищ Игорь Копейко узнал где-то о том, что в Царском Селе некий господин Умников создал нелегальный музей Анны Ахматовой в своей квартире в городе Пушкине (в бывшем Царском Селе). Первый в мире музей Ахматовой располагался по адресу город Пушкин, улица Вокзальная, дом 25, квартира 21. Конечно, я в те времена не предполагал так хорошо и надолго запомнить адрес музея, но именно такой адрес подтверждает запись Фаины Георгиевны Раневской в письме Михаилу Михайловичу Кралину от 11 декабря 1981 года: «…Серг. Дмитр. Умникову я отослала снимок с руки А.А. в гипсе, которую она мне подарила. Посылаю Вам адрес С.Д. Умникова: Ленинград. 18862, Вокзальная, 25 кв. 21…».

Мы нашли квартиру Сергея Дмитриевича Умникова, долго звонили в дверь, но она не открылась. По-видимому, никого не было дома. Мы очень расстроились. Но на этом история не закончилась.

Мой товарищ, заметив, как я разочарован безрезультатностью нашей поездки, начал звонить в соседние двери на том же этаже. Пожилая женщина, открывшая соседнюю дверь, сказала, что Умников болен и находится в больнице, но если мы действительно хотим увидеть музей, то она позовёт свою подругу по парадной и они откроют нам квартиру Умникова, потому что он им это разрешил. Мы согласились и поблагодарили их за отзывчивость и любезность. Вскоре двое студентов осматривали экспозицию первого, ещё неофициального музея Ахматовой, а наши гостеприимные старушки заваривали чай там же в квартире Умникова, на самой обычной советской кухне, чтобы угостить бедных студентов (нас с Игорем) чаем с конфетами и печеньем.

Когда вода в чайнике закипела, старушки пригласили нас на кухню (потому что это на самом деле была обычная квартира, а не то, что подразумевается под торжественным словом «музей»), чтобы вместе попить чаю со сладким угощением. Мы пили чай, разговаривали, и я сознался в том, что тоже пишу стихи. Женщины сразу же попросили меня прочитать что-нибудь из своего вслух. Я прочитал для них стихотворение о любви, и оно им так понравилось, что они попросили меня записать его для них на память. Но у меня, как обычно, не оказалось с собой ни бумаги, ни ручки, ни карандаша. Женщины начали спешно искать для меня бумагу и ручку. Чем писать нашлось почти сразу, а вот на чём…

Наконец, одна из двух женщин, с возгласом «Нашла!», принесла на кухню откуда-то и вручила мне синюю школьную тетрадь, раскрытую на последней пустой странице для того, чтобы я скорее сделал свою запись. Я сразу же начал писать, потому что мы с Игорем уже опаздывали на электричку. Только

закончив запись, я решил посмотреть на другие страницы. Все они были наполнены стихами, написанными одной рукой – рукой Анны Ахматовой! Эта тетрадь принадлежала ей!

Конечно, если бы хозяин музея был дома, ничего подобного произойти бы не могло. Если бы его соседи не открыли дверь музея, тоже ничего не случилось бы. Но в тот момент мне казалось, что над нами витает дух самой Анны Андреевны. Потом, много лет спустя, мне сказали, что такой тетради в официальном архиве Ахматовой не существует. Но всем известно, что несколько рукописей Ахматовой исчезли до того, как возник официальный архив.

О ненайденных синих тетрадях Анны Андреевны сообщает Лидия Чуковская (Чуковская Лидия. Переписка, М.: Новое литературное обозрение / 2003. Директору института русской литературы члену-корр. АН СССР В.Г. Базанову): «Со мною Анна Андреевна о будущей судьбе своих бумаг и вещей никогда не говорила. Но однажды, показывая тетрадку, дорогую ей по особым причинам, произнесла: «Этому место в Музее. В Пушкинском Доме». Предложение моё исполнено не было… мы теперь так никогда и не узнаем с должною точностью, каково было содержимое архива Ахматовой ко дню её смерти. Когда-то Ахматова показывала мне, например, три синие школьные тетрадки, куда ею от руки была переписана «Поэма без героя». Что сталось с этими тетрадками впоследствии? Существовали ли они в архиве до 5 марта 1966 г.? Если да – то где они теперь? Если нет – то куда и когда они исчезли? Из-за отсутствия своевременно сделанной описи каждый из нас таких вопросов может задавать десятки».

Возможно, какой-то посетитель до нас пытался показать рукописи Умникову и привёз их к нему тайно, но неудачно: именно тогда, когда тот по стечению обстоятельств заболел и потому, возможно, что ни о чём так и не узнал. Я не судья, не прокурор и не следователь. Всякое случается. Жизнь гораздо изобретательнее нас в создании, казалось бы, немыслимых ситуаций. Но рядом со мной находились три взрослых человека, которые видели то же самое, что и я: ахматовская тетрадь была в моих руках.

Лично мне случившееся кажется благословением великого русского поэта через двенадцать лет после своей официальной смерти. Можете относиться к моим словам как вам угодно, но я благодарен судьбе за то, что тогда случилось.

ПАУЛО КОЭЛЬО – ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ

В мае 2006 Пауло Коэльо было 58 лет. Утром 22 мая было пасмурно, днём накрапывал дождь и воздух прогрелся до плюс семи, но с утра было не выше плюс четырёх, а накануне в краевом центре пробрасывал мокрый снег. Из тамбура голубого вагона поезда «Москва – Иркутск» выглянул невысокого роста улыбчивый мужчина с небольшой седенькой бородкой в тёмной рубашке с очками в одной руке и компактным серебристым фотоаппаратом в другой. Поезд дёрнулся и окончательно остановился. Коэльо накинул лёгкую куртку с капюшоном, поскольку было свежо, и спустился на перрон. Было около семи утра местного времени. В половину восьмого поезд двинулся дальше, увозя писателя и его четвёртую супругу Кристину в Иркутск. Большую часть времени на перроне Красноярского железнодорожного вокзала Пауло Коэльо раздавал автографы и перекидывался репликами с местными журналистами. Посещение Красноярска бразильским писателем было отмечено газетами «Красноярский рабочий», «Коммерсантъ» и новостным сайтом российских железных дорог.

«Вся наша жизнь – путешествие, от рождения к смерти. Меняется пейзаж за окном, меняются люди, меняются потребности, а поезд всё идёт вперёд. Жизнь – это поезд, не вокзал» – делился Коэльо с читателями своим отношением к перемене мест. Большой любитель путешествий, он полагает, что для того «чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном движении, и только тогда один день будет не похож на другой. Риск одного приключения дороже тысячи дней благополучия и комфорта». И в этом я с ним совершенно согласен.

Совершить путешествие по Транссибирской железной дороге от Москвы до Владивостока Коэльо мечтал с 1982 года. В 2006-м мечта сбылась. В пути его сопровождала супруга, а также журналисты и издатели со всего мира. На сайте железной дороги после обеда 22 мая уже сообщалось о знаменитом бразильце и повествовались некоторые подробности путешествия: «…в Новосибирске один мальчик шесть часов ждал писателя возле гостиницы. Узнав об этом, Коэльо вышел к нему, обнял и пригласил на ужин в ресторан. На одной из маленьких станций Транссиба Коэльо вышел и спокойно гулял по перрону. Когда его спросили: «Пауло, всё-таки ночь, Россия, бандиты! Вы не боитесь?», он посмеялся и сказал: «Я вырос в Рио-де-Жанейро, поэтому в России мне ничего не страшно. Я чувствую себя здесь практически как дома». Компания «Российские железные дороги» специально для турне предоставила писателю и сопровождающим его лицам два комфортабельных спальных вагона. По словам Пауло Коэльо, единственным его бытовым капризом была возможность ежедневно принимать душ в поезде. Поэтому в данных вагонах имелись душевые кабины. В остальном же, как заметил писатель на пресс-конференции перед началом поездки: «Важно в путешествии существовать в тех условиях, которые складываются».

Вот как описывал то краткое пребывание Коэльо на красноярской земле один из моих старших по возрасту и опыту товарищей и учителей лауреат международной премии имени Фазиля Искандера

Эдуард Иванович Русаков: «Культовый бразильский писатель, автор всемирно известных и очень популярных в России книг “Алхимик”, “Заир”, “Пятая гора”, Пауло Коэльо прибыл в наш город проездом, совершая паломничество по Транссибу через всю страну. По нескольку дней он провёл в Екатеринбурге и Новосибирске, впереди его ждут Иркутск и Владивосток. Едва сойдя с поезда, писатель объяснился в любви к сибирякам, правда, свидание его с Красноярском продлилось совсем недолго».

В Иркутске и на Байкале Коэльо провёл несколько дней, попробовал копчёного сига, рыбные пельмени, байкальскую воду и записал следующие впечатления от озера: «Если вы посмотрите на Байкал, то увидите, что энергию создаёт движение. Ею надо пользоваться, как и пользоваться общением с людьми. Нужно двигаться к жизни, идти вперёд. Мне понравилась самобытность этого региона, и мне приятно, что в окрестностях Байкала нет “макдональдсов” и “пиццы-хат”». Поездка по Транссибирской магистрали являлась частью его «паломничества» по миру, которое началось 20 марта и завершилось 22 июня.

«Ничто в этом мире не происходит случайно», – заметил когда-то Пауло Коэльо и добавил: «Иногда случаются необъяснимые чудеса, но исключительно с теми, кто верит, что чудеса бывают». Совершенно согласен с ним, хотя бы потому, что почти дословно такая же мысль однажды посетила и меня и стала эпиграфом моей книги «Ожидание чуда»: «Чудеса случаются только с теми, кто в них верит». Замечу сразу, что никто ни у кого ничего не списывал: эта мысль родилась у Коэльо, а потом и у меня абсолютно независимо.

Магия чисел: Коэльо родился 24 августа. Ровно через 40 лет 24 августа родился мой старший сын. Коэльо начинает своё паломничество в Россию 20 марта 2006 года, ровно через 10 лет, тоже 20 марта 2016 года я с женой и детьми прилетаю в Южную Америку. Коэльо недолго, но был в моём городе, там, где я живу и поныне. Через 10 лет после того посещения, тоже недолго, но я был в его родном Рио-де-Жанейро. Одно совпадение, второе совпадение, третье совпадение… Не слишком ли много странных совпадений?.. «Я – не тело, наделённое, душой, я – душа, часть которой видима и называется телом», писал когда-то знаменитый бразильский прозаик и поэт. И в этом я с ним снова совершенно согласен. Душа первична, тело бренно.

И тут мне вновь вспоминаются гениальные лермонтовские строки о сосне и пальме, ещё один, неожиданный смысл которых открылся мне в далёкой знойной Бразилии, на родине Пауло Коэльо:

И снится ей всё, что в пустыне далёкой –
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.

Я писал уже о том, что Лермонтов пишет об одиночестве сосны, выросшей на голой вершине наперекор ветрам судьбы. И мы представляем себе аналогию с судьбой самого поэта. Но о какой пальме идёт речь далее? Не о той ли самой, под сенью которой оказались представители рода Михаила Юрьевича в знойной Бразилии более чем через сто лет после его трагической гибели?

«Есть люди, которые родились на свет, чтобы идти по жизни в одиночку, это не плохо и не хорошо, это жизнь», констатирует бразилец Коэльо по этому поводу…

Вынужденная эмиграция, вызванная бурными годами революции и гражданской войны, забросила их в немыслимо далёкий Рио-де-Жанейро. Но и там они сохранили память о великом представителе их лермонтовского рода! Глава бразильской ветви семейства, Александр Григорьевич Лермонтов, незадолго до своей кончины вспоминал такой случай: «Мой дедушка, Михаил Михайлович Лермонтов, окончил Пажеский корпус и был выпущен корнетом в гусарский полк. В 1884 году уволен из полка за дуэль с потомком Мартынова, на которой Михаил Михайлович лишился одного глаза».

На фотографии, сделанной мной 25 марта 2016 года с вершины горы Сахарная голова напротив пляжа Копакабана, тот самый район Нитерой, в котором находится дом бразильских Лермонтовых. Океанской волной истории лермонтовская сосна однажды была унесена к пустынным песчаным берегам солнечной Бразилии, и стала там одинокой пальмой.

Я верю в то, что вояж Пауло Коэльо в Сибирь, как и моё путешествие в Южную Америку, не были случайны. Я верю в чудеса.

OBLIVION

Заметил: у гениев – глаза детей, а если так, то и у детей должно быть глаза гениев. Какими они вырастут – это уж как ляжет карта, но в детстве, наверное, все люди – гении. Ибо все живут настоящим, прошлого ни у кого ещё нет, да и будущее пока не напрягает. Для гениальности, как и для музыки, важен только настоящий момент, настоящее время. Невозможно быть гениальным вчера или завтра. Только здесь и сейчас. Так и музыка – это всегда сейчас, всегда настоящее. Не где-нибудь завтра, не когда-нибудь

вчера. Она звучит сейчас. Не важно – слышим мы её или нет. Даже становясь тишиной, она продолжает жить и звучать…

Я находился в небольшом магазинчике со стеклянной наружной стеной, за которой в обе стороны мелькали прохожие – такие же обитатели местного тюменского курорта, как и я. Продавщица о чём-то энергично рассказывала (вероятно, мне), сопровождая речь показом то одного, то другого товара. Но слух мой неожиданно уловил иную речь – музыкальную – откуда-то снаружи из-за призывно распахнутой стеклянной двери. Это был диалог скрипки и фортепиано, сцепившихся в вихре танго. Не произнеся ни слова, я покинул магазинчик и направился навстречу звукам неуловимо знакомой мелодии.

Где же я это слышал? Когда? В некотором отдалении от барных столиков, за которыми густо расположились слушатели, две женщины средних лет в облегающих концертных платьях завершали исполнение очень знакомой мне музыкальной пьесы на скрипке и цифровом фортепиано. В зале было темновато, неяркий свет мягко освещал небольшую сцену. Я заторопился сделать пару фотографий на память, не сразу сообразив, что можно снять и на видео. А когда сообразил, музыка, увы, кончилась.

Вздохнул и, опустив голову, направился в свой номер. И тут, в коридоре перехода из одного санаторного корпуса в другой, откуда-то изнутри моей же памяти догнал меня задорный голос уличного конферансье: «Аплос! Аплос!! Аплос!!!». Вечерний Буэнос-Айрес. Центр города. Пешеходная улица Флорида, освещённая сдвоенной ниткой подвесных ламп на уровне потолка второго этажа и светом магазинных витрин. Небольшой пешеходный перекрёсток. Лысеющий худощавый брюнет в бежевом жилете с красноватым галстуком время от времени что-то быстро говорит в микрофон, а потом снова звучит музыка и страстная пара исполняет гремучее танго…

Пары меняются. Невозможно в аргентинском климате беспрестанно двигаться в таком темпе. На месте только конферансье – всё тот же неутомимый громкоголосый зазывала-живчик. Он постоянно напоминает публике об аплодисментах. И люди аплодируют, задерживаясь на пару минут поглазеть на уличных артистов. Или проходят мимо, если нет времени. Одну танцевальную пару сменяет другая. Вот вместо джентльмена в строгом чёрном костюме и славной такой пышечки в полупрозрачном платье с разрезом во всю ногу выходит парень в чёрном пиджаке, широких синих брюках и пронзительно белых туфлях под руку с сухощавой долголицей женщиной средних лет. Танцующих дам красавицами-то не назовёшь, обычный мужчина прошёл бы мимо, не заметив ни ту, ни эту, если б они просто стояли или сидели. Но они танцуют танго. И танцуют его так, что глаз не оторвать!

Я вспомнил эту мелодию! Это «Либертанго» Астора Пьяццолы! И понеслась моя память в далёкую осень 1979 года под крышу здания с мансардой, стоящего и поныне на одной из линий Васильевского острова в Питере. И жили в этой мансарде двое юношей-студентов – поэт и музыкант. А ещё – хозяин квартиры – 95-летний дедок с ноготок, но с папиросой, помнивший о том, как сапожничал ещё при царе-батюшке. У музыканта было детское лицо с восторженными, влюблёнными в мир вдохновенными и беззащитными глазами. А поэтом был я.

Музыкант мечтал скопить очень много денег и приобрести на них какую-то невероятно раритетную гитару для сочинения и исполнения на ней гениальной музыки всех времён и народов. По крайней мере, он не раз делился этой мечтой с другом-поэтом. При этом лицо музыканта становилось таким неземным и светлым, словно мерцающим изнутри, как лицо юного Астора Пьяццолы.

А затем судьба разделила друзей на долгие годы, на несколько десятилетий. И лишь во времена сотовых телефонов и сплошной интернетизации земного шара им повезло вновь обнаружить друг друга. За это время произошло много глобальных мировых событий, повлиявших и на их жизни. Исчезла их общая родина – Советский Союз. Поэт, родившийся в Азербайджане, остался в России. А музыкант, родившийся в Казахстане, оказался в Аргентине, где его основным языком жизни стал испанский. Они недолго переписывались и созванивались: поэт полетел к музыканту. И они встретились.

В Буэнос-Айресе. Возле гостиницы «Салес». И пили мы за встречу «ерба мате» двумя бомбильями из одной калебасы. Это такой парагвайский чай – напиток из высушенных и измельчённых листьев падуба парагвайского. Бомбилья – особая металлическая или деревянная трубочка с фильтром, через которую пьётся настой. В Аргентине это слово произносят как «бомбижья». Калебаса – традиционный сосуд для приготовления и питья мате, тонизирующего напитка народов Южной Америки. Сосуды выделывались индейцами из древесной тыквы-горлянки. Познакомившиеся с напитком испанцы начали производить калебасы также из других материалов, таких как древесина палисандра, дуба, железного дерева кебрачо, а также из фарфора, керамики и серебра.

И вспоминали мы нашу жизнь, непредсказуемую, как танго. И рассказывали о ней друг другу. У моего музыканта, как и у Астора Пьяццолы, была в жизни своя судьбоносная Надя, так звали его супругу. А Пьяццола вспоминал о своём парижском педагоге Наде Буланже: «Нади научила меня верить в Астора Пьяццоллу, верить, что моя музыка не так плоха, как я думал. Я ведь часто думал, что я – ничто, потому что играю танго в кабаре, однако, у меня есть то, что называют стилем. Но это было скорее неким сортом внутренней свободы стыдливого исполнителя Танго. Только благодаря Нади, я внезапно освобо-

дился, и с этого момента я понимал, какую музыку буду играть». Великий Астор написал опериту «Мария из Буэнос-Айреса» о смерти и воскрешении девушки Марии – духа аргентинского танго нуэво.

Мой друг не разбогател, не приобрёл уникальную гитару и не прославился на весь мир. Прах аргентинской Марии – его юной дочери – покоится на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе. Отец помнит о ней и носит туда цветы – «для Маши». У каждого в жизни свои потери. Толчком для создания известнейшей композиции Пьяццолы «Adios Nonino» стала смерть в октябре 1959 года его отца – Висенте Пьяццолы. Что такое потерять отца, я понимаю:

Я сегодня речь сказать –
Не большой мудрец:
Этой ночью год назад
Умер мой отец.
Плох он был или хорош –
Не ищу словца:
Миг – год прошёл, как дождь.
…Год, как нет отца.

А что такое потерять своего ребёнка, потерять дочь – не дай Бог знать никому!..

Пьяццола всю жизнь играл на бандонеоне. Это такая гармоника с душой виолончели. Великий Астор мечтал о том времени, когда его инструмент бандонеон станет солировать в симфоническом оркестре, а танго, как и вальсы Штрауса, будет признано явлением классической музыки. Его мечты сбылись.

Его гениальнейшим творением считаю «Oblivion» – «Забвение» – музыку к кинофильму «Генрих IV». Сам Астор исполнял это произведение на бандонеоне. Но, на мой взгляд, не менее потрясающе оно звучит в исполнении виолончели хорватского музыканта Степана Хаусера. Почему эта музыка так трогает мою душу? Это очень личное: композитору удалось передать в ней сам дух давно ушедшего времени почти полувековой давности. Это – как воспоминание о том времени, которое никогда уже не вернётся и не повторится. И со смертью его носителя – исчезнет во Вселенной безвозвратно…

Пьяццоле удалось невозможное – сохранить в мелодии и передать слушателям ощущение неуловимости и исчезновения. Когда я услышал это, то впервые почувствовал, что такое «невыносимо»… Это когда в горле такой спазм, что даже от слёз стало бы легче, но они не идут, не идут, не идут…

«Музыка – больше, чем женщина: с женщиной можно развестись, а с музыкой – никогда. Женившись на ней однажды, вы уйдете с ней в могилу», – не раз повторял Пьяццола друзьям. И это – правда. Мой постаревший аргентинский товарищ с детским выражением глаз остался в душе тем же ребёнком-музыкантом, каким был в давние незабытые нами обоими семидесятые.

«Вся моя жизнь, – говорил маэстро Астор, – это Грустное танго. Вовсе не оттого, что я грущу. Нет, я счастлив, я люблю вкусную еду, хорошее вино – я люблю жить! У моей музыки нет причин быть грустной, но она грустна просто потому, что это Танго. В ней есть драма, но нет пессимизма». И мы можем сказать так же о каждом из живущих и живших на Земле. Лишь бы не случилось Забвения.

Каждой весной в конце октября – начале ноября весь Буэнос-Айрес, как, впрочем, и вся Аргентина на два месяца погружаются в сиреневый сон. Это цветёт джакаранда. Улицы, переулки, дороги, проспекты, парки и площади – всё вокруг источает лёгкий запах мёда. Это пахнет джакаранда. Сиреневым туманом её цветов окутаны все пространства – внешние и внутренние, какие только есть вокруг вас. Джакаранда в Южной Америке – хозяйка у себя дома. И потому здесь ей позволено всё. Здесь это практически культовое растение. Затем начинаются сиреневые дожди, они смывают цветы джакаранды с деревьев и окрашивают в сиреневый цвет всё на земле и воде – газоны и бассейны, фонтаны и дорожки… а когда падают на землю последние цветы джакаранды, на ней начинают распускаться новые молодые листья. И бессмертие жизни продолжается, не переставая, из года в год. Из тысячелетия в тысячелетие…

Аргентинское танго – джакаранда народа этой страны, то, что скрепляет людей в единое. И продолжает цвести из года в год. А значит, всё было не напрасно, и забвение не наступит никогда.

ВЛАДИМИР ДЕЛБА

СТРАСТИ ПО КАРЕНУ
рассказ

Наискосок от здания Горсовета Сухуми, в самом центре города, стоял небольшой, уютный павильончик. Верхняя часть, до крыши в форме зонтика, была по периметру остеклена.

На вывеске, установленной за стеклом, было написано, что здесь ремонтируют часы, ювелирные изделия и электроприборы. Ниже вывески висел кусок картона, на котором от руки аккуратно было выведено: «ВСЯКИ МЕЛОЧ И ЭРУНДА ПАЧИНЮ».

Трудился в стеклянном тереме неординарный человек, иммигрант, репатриант из Ливана, известный всему городу. Все называли его – Дядя Карен.

Высокий долговязый человек с фигурой юноши и седой как лунь головой старика, он всегда был чисто выбрит и изысканно, «по фирме», одет.

В моей памяти он сохранился как персонаж, только что сошедший с обложки глянцевого западного журнала, какие попадали в город, кстати, через тех же иммигрантов: в джинсах, клетчатой рубахе с пуговицами на воротнике, модных босоножках и фирменном кепи, с длинным козырьком. Этих самых кепи у него был, видимо, полный чемодан, ибо каждый день он надевал разные.

Запомнился тёмно-синий, с красивой эмблемой и надписью на английском языке – «US NAVY», что переводилось, со слов дяди Карена, как флот Соединенных Штатов.

Курил дядя Карен ароматные французские сигареты «Житан», носил солнечные очки «Маккарти», в золотой оправе, и ездил на спортивном, или как его называли дети – «гончем» велосипеде.

Руки у дяди Карена были воистину золотые. В починку он принимал любой предмет, от «МЕЛОЧ И ЭРУНДА» до старинных музыкальных шкатулок, антикварных часов, наручных и кабинетных, затейливых ювелирных изделий и охотничьих ружей.

И всё, без исключения – ПАЧИНЯЛ! Но универсальность кареновых рук и умение со вкусом одеваться, являлись, видимо, единственными его положительными качествами.

Во всём остальном дядя Карен был отвратительнейшей личностью: интриганом, сплетником, брюзгой и патологическим жадиной.

Помню, с какой агрессивностью и злобой он гонял нас, мелкоту, заворожено наблюдающих сквозь стёкла павильона за священнодействием мастера.

С зеркальцем, крепящимся на голове, по типу врачебного, и с блестящим оптическим прибором в глазу, он приковывал наше внимание. А если кто-то из детей не справлялся с соблазном потрогать сверкающий никелем велосипед, привязанный к павильону цепью с амбарным замком, дядя Карен становился монстром, циклопом из фильма о Синдбаде.

Он орал фальцетом, брызгал слюной и гонялся за виновником конфликта с армейским ремнём. И горе тому, кто оказывался не очень проворным бегуном…

И у взрослых горожан причин не любить дядю Карена было предостаточно.

В расчётах за выполненные работы он был сущим грабителем, рвачём высочайшей марки, изощрённым и циничным человеком. Он заранее назначал высокую цену, говоря клиенту, что мастер он самый престижный в городе, и одним только этим фактом можно хвалиться всю оставшуюся жизнь. А это чего-то да стоит.

Но это было лишь началом. После завершения работы, он закатывал истерику, доказывая, что задача оказалась значительно сложней, времени ушло гораздо больше, чем предполагалось, к тому же понадобились дефицитные запчасти, и грозился вообще не возвращать предмет, пока цена за починку не будет увеличена.

Заказчики, как правило, пытались беречь свои нервы, тем более, многие знали о методах работы Карена. (Позднее, уже юношей, я слышал историю об одной проститутке, которая действовала по похожей схеме. Она выискивала заезжих клиентов в зрелом возрасте и при деньгах, договаривалась о цене, а потом, во время любовных игр, чувствуя приближение финала, резко ускользала из-под клиента, пощёлкивая

пальцами перед его носом. Смысл жеста был понятен и, как правило, клиент тут же отдавал наличность, дабы закончить начатое дело. Правда, путану частенько били за это, но извините, кто не рискует, тот шампанского не пьёт!).

Торговаться с Кареном, просить снизить цену или надеяться на отсрочку платежа было делом абсолютно бесполезным.

И я уверен, многие жители города с удовольствием «вклеили» бы дядюшке Карену за все его художества.

Но рассуждать в сослагательном наклонении практически бесполезно, ибо вести дальнейшую речь необходимо о конкретных событиях, и местных Робинах Гудах, о, так сказать, «народных мстителях» сухумского образца конца пятидесятых – начала шестидесятых годов двадцатого столетия. Заинтриговал?

А теперь представьте раннее летнее утро. Люди, идущие пешком, не спеша, на работу по Проспекту Мира, вдруг замечают небольшое изменение в окружающем ландшафте.

Всё, вроде бы, по-старому, дома на своих местах, асфальт после утренней уборки, как всегда, девственно чист, в парке Ленина шумит листва от слабого ветерка, всё привычно, кроме одного – на положенном месте не стоит павильончик дяди Карена!

Кто-то попросту отметил для себя этот факт, кто-то удивился и стал строить версии, почему могли его убрать, а кто-то просто прошёл мимо…

А на другом конце города, в это самое время, разыгрывалась почти детективная история.

В частном доме уважаемого горожанина, ответственного работника одного из министерств, вечером собрались друзья. Зрелые, степенные мужчины после обильного ужина засиделись допоздна, играя в нарды и болтая на разные житейские темы.

Утром хозяин дома встал, как всегда рано, сварил себе крепкий кофе, чтобы взбодриться, выпил ещё и крохотную рюмку коньяка, затем вынул из пачки сигарету, взял коробок спичек и вышел на балкон.

Было прекрасное летнее утро, солнце светило прямо в глаза, и пришлось искать место, куда бы не попадали солнечные лучи. Такое место нашлось, мужчина с удовольствием закурил, привычным взглядом окинул уютный двор, и… лицо его окаменело, нижняя челюсть отвисла, сигарета выпала изо рта и улетела вниз, описав мудрёную траекторию, покатилась по асфальту, и замерла около типового павильона управления бытового обслуживания населения.

Именно он, павильон дяди Карена, застекленный сверху, с информацией об предоставляемых услугах и объявлением – «ВСЯКИ МЕЛОЧ И ЭРУНДА ПАЧИНЮ», известным всему городу, как ни в чём ни бывало стоял во дворе частного дома, принадлежащего министерскому чиновнику.

Массивные ворота были заперты, как всегда, изнутри.

Каким образом павильон переместился со своего обычного места в центре на окраину города, во двор с накрепко запертыми воротами, оставалось необъяснимой загадкой. Видимо, не обошлось без помощи инопланетян или какого-то весёлого джинна, вырвавшегося из бутылки и решившего пошалить.

Хозяин дома некоторое время находился в шоке, затем протёр глаза, убедился, что ситуацию это не изменило, павильон не исчез, и нетвёрдой походкой направился к телефонному аппарату. После набора «02» состоялся следующий разговор:

– Дежурный по горотделу слушает.

– Тут такое дело – у меня будка.

– Что, что у вас?

– Будка, застекленный павильон.

– У вас украли застекленный павильон?

– Да, он стоит у меня во дворе.

– Так что – ДА, украли, или – НЕТ, не украли, а просто он стоит во дворе! А почему он вообще у вас во дворе?

– Не знаю, его принесли ночью.

(Пауза)

– Кого принесли?

– Павильон.

– Принесли ночью павильон? Кто?

– Не знаю, принесли и поставили во дворе, а ворота были заперты на замок, изнутри.

(Пауза)

– Уважаемый, у вас вчера гости были?

– Откуда вы знаете, вы за мной следили?

– Да зачем мне за тобой, идиотом, следить, когда и так всё ясно. Вечером у тебя были гости, а утром во дворе появился павильон? Так вот, осмотри его внимательно, и, если найдешь в нём маленьких зелёных людей с хвостами и рогами, дай мне знать.

Дежурный вешает трубку.

Спустя несколько минут телефон звонит снова. За это время в милиции произошла пересмена.

– Дежурный горотдела милиции у аппарата.

– Так вот, умник, я осмотрел.

– Что осмотрел?

– Как что? Павильон, конечно.

– Какой павильон?

– Тот самый, который принесли ночью.

(Пауза)

– Кто принёс?

– Не знаю же, говорю тебе, принесли и поставили во дворе, я осмотрел, как ты советовал, никаких зелёных людей с хвостами там не нашёл.

– Я советовал?!

(Пауза)

– Жора, это ты опять шутишь? Товарищ старшина, сколько можно предупреждать, что горотдел милиции это вам, понимаешь, не цирк шапито и не публичная библиотека, а после смены надо не пьянствовать с утра и старших по званию разыгрывать, а идти, идиоту, спать.

Дежурный вешает трубку. Вслед тут же звонок.

– Дежур…

– Да не дежурный ты, а ишак невоспитанный! Ты кого два раза идиотом назвал?! Сейчас сам приду в дежурную часть и яйца тебе оторву вместе с погонами, а когда тебя из милиции выгонят, будку эту грёбанную тебе отдам, чтобы всю оставшуюся жизнь утюги и примусы ремонтировал! А сейчас записывай, наконец, мою фамилию, должность и адрес.

– Уважаемый, не признал я вас по голосу, думал наш старшина шутит, у него это по утрам бывает, это я ему «идиота» адресовал, но не два раза, а только один, я же не предполагал, что звонит такой уважаемый человек, как вы! Всё, что скажете, сделаю, любым способом свою ошибку исправлю, так что же вас побеспокоило?

– Будка у меня, будка, павильон.

– Какая будка?

– Которую ночью принесли.

– Ночью? Кто принёс?

– Да не знаю я, не знаю, мать вашу, приезжайте сюда, разберитесь на месте!!!

Через семь минут по адресу прибыла опергруппа с собакой, металлоискателем и судмедэкспертом, на всякий случай, но собака след не взяла, отпечатки пальцев, кроме кареновых, не обнаружились, не оказалось и следов взлома на замках. На самой будке никаких повреждений найдено не было и, забегая вперед, по секрету скажу, что и внутри будки не пропал ни один, даже мелкий, винтик.

Всё это происходило ранним утром, а уже в десятом часу на спортивном велосипеде на работу приехал сам дядя Карен. Не увидев павильона на месте, он вывалился из седла, сел на асфальт, а затем, бросив велосипед, что было невообразимым фактом, исторгнул из себя звуки, похожие на паровозные гудки и понёсся как ракета в сторону городского отдела милиции.

В кабинете начальника дядя Карен, совсем как зубной техник Шпак из известного фильма, захлебываясь, стал перечислять исключительные ценности, похищенные вместе с павильоном. Причём, сбиваясь, начинал сначала, каждый раз всё увеличивая и увеличивая количество пропавших предметов.

Остановить его начальник не мог, хоть и пытался. И лишь когда вошедший в раж дядя Карен сказал, что в будке находились золотые монеты «с руски цар», начальник резко вскинул руку, и указывая в направлении улицы Энгельса, где располагалось КГБ, грозно произнёс:

– Насчёт золотых царских монет, сообщишь туда, они тебе их бы-ыстро найдут. А будку твою мы уже обнаружили, поезжай вот по этому адресу, там сейчас наши сотрудники.

При упоминании КГБ Карен тут же успокоился, пробормотал что-то вроде того, «что я рускими язык плоха владэю», и тут же из милиции исчез.

Павильон, конечно, вернули на место, и дядя Карен так же, как и раньше пачинял «ВСЯКИ МЕЛОЧ И ЭРУНДА» и только иногда рассказывал, по большому секрету, как на него покушались агенты империалистических разведок, выкрали с помощью секретных лучей павильон, чтобы тайно установить в нём шпионскую аппаратуру для наведения вражеских подводных лодок. И, если бы не доблестные советские органы… На этом месте рассказчик, обычно, умолкал и движением глаз, подчёркнуто уважительно указывал в сторону всё той же улицы Энгельса.

Конечно, прошло время, и «страна узнала имена своих героев», но мне и сейчас непонятны, а вернее, неизвестны, три момента: – как павильон протащили через весь город на рассвете, соблюдая полную тишину (а то, что его, автомобилем, тащили на тросе, понятно точно), как обеспечили при этом полную сохранность, и главное – *как занесли во двор через запертые на замок ворота?!*

НИКИТА БРАГИН

СОНЕТЫ

ЧАСОСЛОВ

Как радостно – построить из песка
фантазии зубчатых стен и башен,
раскинуть зелень плодородных пашен
и выпустить на волю облака!

И вот, поёт, свободна и легка,
волна цветов, и мир уже раскрашен
кирпичной охрой, белизною башен
и шёлковой лазурью василька.

Пройдут века, и занавес былого
клоками распадётся, обветшав,
осядет пыль, и ты увидишь снова

всё, что узнала некогда душа,
летая по страницам часослова
и красотой наполниться спеша.

***

На полпути за утренней звездой
торопишь время – скоро заалеет,
по холодку шагаешь всё быстрее
навстречу солнцу, сильный, молодой…

Шумит листва над головой седой,
уходит день, смеркаясь и старея,
и груды лет чугунной батареей
влекут на дно за горем и нуждой.

Но воздух снова свеж и неподвижен,
и слышен шорох бабочек ночных,
и про себя ты повторяешь – вижу,

как поле языки тумана лижут,
и ветви прогибаются всё ниже
под сладким грузом яблок наливных.

***

Великий труд быть умным на Земле,
не просто труд, но подвиг и аскеза –
потрогай раскалённое железо,
и потанцуй на колотом стекле.

Послушай сказки о добре и зле,
постой, пока играют марсельезу,
и промолчи, придумав антитезу
тому, что проорут навеселе.

А то, что для тебя всего дороже,
запомни, ограни и сохрани,
пока его дотла не уничтожат.

А для кого – не спрашивай, не надо…
Созрели яблоки в покое сада,
стихает мир, и думой длятся дни.

БЮСТ

Усы, глазищи, гипсовая пыль,
хтоническое торжество во взоре,
провидящем сквозь огненные зори
кондитерский ампир, колхозный стиль.

Его судьба – перекобылить быль,
быть сковородкой в коммунальной ссоре,
вершить и править в смуте и раздоре,
и, наконец, отправиться в утиль.

Но и на свалке перед ним камлают,
живым провозглашая мертвеца,
и спасу нет от пафоса и лая.

Быть может, в этом промысел Творца –
всё, что трещит, искрится и пылает,
должно испепелиться до конца.

***

Когда моя последняя весна
прощальные щедроты раздавая
прольётся без остатка, грозовая
и огненная, как душа вина,

я не смогу допить её до дна,
и у корней падет слеза живая,
вздохнёт прохлада, травы овевая,
склонится над цветами тишина.

Но там я не останусь одиноким –
всё рядом, от песчинки до звезды,
ростки вселенных и времён истоки.

Душа, ты капля дождевой воды
меж громом неба, хмурым и высоким,
и сном зерна в покое борозды.

***

Не в моде в наши дни «высокий штиль»,
его клещами рвут, «болгаркой» режут,
его усердно топчут по-медвежьи,
и, раздробив, перетирают в пыль.

Взамен – перелицованный утиль,
шансон убогий да жаргон несвежий,
бесстыжий рэп и клиповая нежить,
и замудрённый стиль для простофиль.

Как хочется ответить на такое
без гнева и без криков наобум,
негромкой, но уверенной строкою,

где был бы чист и ненавязчив ум,
и тихий дух высокого покоя
звучал слышнее, чем базарный шум.

***

В гармонии костёр и падающий снег,
в них зёрна жарких звёзд и ледников проростки,
в них треск горящих дров и по морозу поступь,
предощущенье дня и ночи оберег.

Огонь старинных букв, глаголей и омег,
хрустальные кресты соборов и погостов
друг с другом говорят так искренне и просто,
что время слышит их и замедляет бег.

Тогда встаёт душа, сметая хлопья праха,
рождаются миры в органном строе Баха,
и льётся тихий свет кристалла и свечи.

Торжественность зимы и мимолётность искры…
Дыхание любви так горячо и близко,
что самому себе внушает – помолчи.

***

И всё-таки, что делать нам в деревне?
Ходить в соседний двор за молоком,
по солнцу жить, расстаться со звонком,
дожди и холод принимать душевно?

Прийти к доярке в поисках царевны,
и притвориться, что давно знаком,
по стопке выпить с каждым стариком,
премудростью обогащаясь древней?

Вещать и просвещать, вживаясь в роль?
В согласии с передовым ученьем
поверить, что ругательство – пароль,
и шиболет бесспорного значенья?

Нет. Просто вспомнить вековую боль,
и поклониться, попросив прощенья.

СТРАНИЦЫ НА ВЕТРУ

Листает ветер книжечку мою,
а я стыжусь, что написал так мало,
что от забот душа моя устала,
что я давно шепчу, а не пою.

Но так и быть, читай! Я не таю
ни лет своих счастливого начала,
ни горьких бед, которые встречала
любовь и жизнь моя в родном краю.

Прощай же и лети по белу свету,
шепча мои заветные слова
капелями дождя, шуршаньем веток…

Их будет слушать росная трава,
их будет греть осенняя листва –
иного и не надо мне ответа.

***

Осколок слова жалобно звенит,
мерцая и крошась под каблуками –
увы, он не железо и не камень,
а жертва посреди людской возни.

В нём угасают отсветы зарниц
и русской печки ласковое пламя,
и золото заката за горами,
и лёгкий прах обугленных страниц.

Ему на смену – пафосные речи,
отчётные доклады, пресс-релизы,
собраний золочёные гробы.

А у могилы – догорели свечи,
небытие всё холодней и ближе,
и где-то вдалеке – аккорд судьбы.

***

Не стало нашей зимушки-зимы,
течёт и льёт на Рождество и святки,
как будто дед-мороз играет в прятки,
сбежав от новогодней кутерьмы.

Узоры на стекле забыли мы,
коньки и лыжи нам теперь вприглядку,
на небесах сплошные неполадки,
и зеленеют под дождём холмы.

Печально вспоминаешь минус двадцать,
под валенками снег тугой и хрусткий,
в рассветной стыни солнце-помидор.

Теперь пора к Байкалу отправляться,
чтобы изведать на Крещенье русский
мороз-трескун и снеговой простор.

ВИТАЛИЙ МОЛЧАНОВ

ЗВЁЗД МОРСКИЕ ОРХИДЕИ

***

Ярким светом звезда
Отражается в море, как в зеркале,
И твердеет вода,
И зеркальным становится блеск
Тёмной глади морской.
Корабли свои рейсы отбегали,
Застывания треск,
Безмятежный холодный покой.
Скульптор горд: без резца
Превращается синее в белое.
Лишь мороза-творца
Изваянья в музее «Зима».
И упав с высоты,
Вдруг Луна, оглянулась, несмелая,
На торосы-дома,
Устыдившись своей красоты.

***

Ни шторма, ни бури – и чайки уснули,
Весь мир удивительно тих.
А помнится, утром ветра ещё дули,
На пристани шум был и крик.

Не скрипнет уключиной старая лодка,
Волну не догонит волна.
Улыбка луны одинока и кротка,
Покорна объятиям сна.

Фонарики-звёзды сияют
На небе в полночной дали,
А рядом огнями играют
Фонарики стран – корабли.

СПАСЕНИЕ

Бушует океан. Песчинкой на ветру
Летит над гребнем волн
Слепая бригантина.
Разбит судьбой комп*а*с, и в чёрную дыру,
Как к сатане на трон,
Влечёт поток Гольфстрима.

Бессчётны странствий дни… Лишений и забот
Давно настал предел –
Голодных страшен ропот.
Качаясь, капитан один псалом поёт.
От горя поседел,
Ослаб, но к Богу шёпот.

Страдая от цинги, под лихорадки дрожь,
Команда – организм,
Собрав остатки силы,
Молилась вместе с ним, презрев стихии мощь,
Природный катаклизм
Над бездною могилы…

…вдруг чуда миг настал. От судна на восток
Пронёсся ураган,
И – облегченье в стоне.
В отверзшие сердца вошёл незримо Бог.
Спасённым щедро дан
Им остров на ладони!

АНИМА СОЛА[1]

история одной яхты

1

В подкрылье заснувшего мола
Скользнула, огни обесточив,
Бродячая «Анима Сола» –
Карибская спутница ночи.

Хранило таинственность фрахта
Застывшее сердце машины,
Тюки поднимали на яхту
Могучие чёрные спины.

Обломок надежд диктатуры,
Плавсредство богатого гринго –
Давненько дух выбит из шкуры
Несчастного крепкой дубинкой.

Сигары и ром, попугаев,
Стволы, обезьян, листья коки
Возила, волну разбивая,
Разбойница водной дороги.

Багамы. Ямайка. Гренада…
Влекла воровская стихия
К зелёным холмам Тринидада,
Потом – Барбадос, Сент-Люсия.

В портовом аду Порт-О-Пренса
Заразой отравлена вуду.
Яхтсменов, ограбив до пенса,
Пустила на корм барракудам.

Плечом прикрываясь атолла,
Акулой, по карте пунктиром,
Срывается «Анима-Сола» –
Проклятье Карибского мира.

Вдогонку летят самолёты,
Плывут боевые эсминцы.
Туманом густеющим воды
Погоне мешают продлиться…

Скользнула бесовская яхта
В подкрылье заснувшего мола.
Несут постоянную вахту
Убийцы из «Анима Сола».

2

Омоет ночь скорбящий лик-луну,
В морской купели – заискрятся блики.
К дорожке света бриз пошлёт волну,
Небес мантилья звёзд зажжёт игру,
Уткнётся яхта носом в берег дикий.

Посёлок буканьеров. В кабаке
Не спят, галдят, назойлив ритм фанданго.
Хрустит банкнот в бандитском кошельке,
Горланят на испанском языке,
Сипит сампунья и бренчит чаранга

Горюет яхта… В скрипе тополей,
Корсетом сжавших телеса крутые,
Отчётлив плач-мольба: «Беги скорей!»
Шаманит ветер: «Сердце не жалей,
Надуй в нём парус, покори стихию.

Негоже – прародитель твой Ковчег,
Спасать убийц, предателей и блудней.
Сейчас пируют, а с утра – в набег,
Кровавить волны и плодить калек…
Сорви навек смолу чертовских будней!».

Упали весла – звёздные лучи,
Толкнули прочь так надоевший берег.
Решилась! Как проклятья горячи –
Стреляют вслед беглянке палачи,
Ревёт мотор, винт – в море двух Америк.

Летит подобна клину странных птиц,
Драконьерожих, в жажде лета, дома.
Буравит ночь, стирает штрих границ,
Читает залпом книгу волн-страниц.
Осталась «Анима», исчезла «Сола»!

---

[1] «Анима Сола» – душа неприкаянная.

***

Я помню моря голос нежный,
Когда сомкнуло солнце вежды,
И на краю воды безбрежной
Нашло приют и сон.

На теле неба еле-еле
Веснушки звёздочек алели,
Но в чёрный бархат ночь одели
И повлекли на трон.
Луна рядила волны в блики,
Цвели пурпурные гвоздики.
На якорях заснули бриги
Недолгим сном.
Скучали в парке кипарисы,
Ночные освежали бризы,
Балконов ветхие карнизы
Кудрявым затканы плющом.

АТЛАНТИДА

Стало меньше белых пятен,
География точнее.
Мир земной стал всем понятен,
Мир морской понять сложнее.

Где-то в чреве океана,
Голубой водой сокрыта,
В древнем кратере вулкана
Тихо дремлет Атлантида.

Под метровой толщей тины
Трудно стены обнаружить,
Только резвые дельфины
Средь домов погибших кружат.

Грациозные русалки
Здесь живут и умирают,
Треугольник рыбьей стайки
Корм подводный собирает.

И на площадях и скверах,
На террасах и аллеях,
Стадионах, банях-термах
Звёзд морские орхидеи.

С силой ты влечёшь магнита.
Не вернусь и не раскаюсь.
Безнадёжно Атлантиду
Разыскать один пытаюсь.

В блюдце моря – крошка хлеба –
Мой корабль, рулю покорный.
Карту звёзд подарит небо,
И корму обнимут волны.

Где-то в чреве океана,
Голубой водой сокрыта,
В древнем кратере вулкана
Ждёт героев Атлантида.

МОРЕ НЕБА

Снова дождь моросящий
Мочит уставшие руки.
Ветер со стоном тащит
Туч грозовые струги.

И в океане воздушном,
Где облака, как волны,
Кашляет гром натужно,
И маяки молний.

Будущий лес сажаю –
Мачты эскадры чудесной.
Саженцы заклинаю
Старой матросской песней.

Среди лугов росных,
Радость даря корабелам,
Вырастут юные сосны,
Гордые стройным телом.

Волны о берег бьются,
В пыль растирая камни,
Снова на рейд вернусь я
Старческими мечтами.

Больше солёные брызги
Не взбудоражат нервы,
Если в чёрные списки
Смертью поставлен первым.

Небо вылилось в море,
Море унёс в небо ветер.
Чайка в сером просторе
Белой подобна комете.

Звёзды ещё не блещут,
Скрытые парусом тучи –
В струйках воды трепещут
Стрелки травы на круче.

ЮЛИЯ МИТЬКО

СОН ОБ ОДЕССЕ, ИЛИ РАКОВИНА КОЛОКОЛЬЧИКА

*

Сон о бессмертье больше не приходит,
или не сплю, а чаще – сплю всегда,
за памятью, на дальнем развороте
горит любви высокая звезда.
В ней небо отражается седое
и моря голубиного глаза,
и верной жизни золотая доля
между стихами – света полоса.
Сон об Одессе – это вызов? – вряд ли,
скорее: Вы – Зов!
Мне ли не везёт?
Уединиться в раковину каплей
и жить, и плыть – и плыть – и плыть вперёд!

*

Собирается устная речь
на мои откровения лечь,
при дороге растёт ли трава,
в каменистую землю слова,
скрежетанье цикад или звон
колокольный утешит канон.
Я с тобой обо всем говорю,
до сих пор, как умею, люблю,
не прошу подаяний с небес,
посылая мне добрую весть –
человека с открытой душой,
без раздумий в объятия – мой!
И я знаю, что будет финал,
ты ведь тоже заранее знал,
воздух счастья, пропитанный морем,
так легко зарифмуется с горем,
но у древней земли есть ладонь,
и попробуй её ты не тронь.

*

Люди! Люди! – Белой грудью,
пенной, сочною волной
наплывает день и будет
этот праздник жизни твой!
Между пальцев свет песочный,
нет повторов – миллиард
крошечных, сквозных, лубочных
камешков морских – парад!

На ладонь волна подкинет –
унесёшь ли далеко?
Полюбившееся имя
канет в воду глубоко.

*

Слова, как кровь, качают клапан сердца,
и всё исписано, и прожито давно,
но есть ещё одно простое дельце,
оно бесхитростно, привычно и старо.
Не отобрать у жизни пожирнее
куска и крова, разделить улов,
и вновь тебе подаренное слово
сложить в одно, единое – ЛЮБОВЬ.

*

Звоню и набираю море,
на том конце, наверно, штиль,
гудки, как волны в ореоле,
а берег, как епитрахиль.
Он огибает плавно шею
песчаного, пустого дна,
я ни о чём не сожалею,
пока с тобой – я не одна.
И даже если связь прервётся,
за неуплату отключат,
душа к душе всегда прибьётся,
по воздуху войдя в свой чат.

*

Перед дождём у ветра жизнь другая:
размах свободней и суровей вид,
природа – это музыка такая,
прислушаешься, тянет как магнит.
А мы всё спим, а дождь низы качает,
укачивает мысли, как гипноз,
целуется и спится нам ночами,
и кажется, что многое сбылось.
И рассказать бы, приоткрыть завесу,
как человеку нужен человек,
но выдержит ли грозовую мессу
плывущий мимо города ковчег?

*

Как незаметно лета тень
осела на ладони клёна,
рябина, строгая Мадонна –
зрачкам блуждающим мишень.
В тени деревьев иногда
услышать можно моря шёпот,
то памяти строптивой опыт
притягивает без труда
мгновения, в которых соль
обыденности не разъела
всю нежность,
а как кровь, кипела,
то поперёк струясь, то вдоль.

*

Тонкая бровь Марлен Дитрих –
знаешь такую луну?
Слышу твоё: «Иди ты!
Знаю, и не одну».
Астры в саду искрятся,
«Марина в цветах жива», –
в говоре иностранца
не разобрать слова.
Август срывает сливы,
синий туман сочит.
Я не хочу быть сильной, –
игривой, как одессит.

*

Вернётся звук,
но будет поздно
(не дай нам Бог таких времён),
влюблённый в звёзды видит – Звёзды!
Он гибкий, как хамелеон:
волна морская – он песчаный,
небесный парус – фараон,
влюблённый верит обещаньям,
он этим свыше одарён.
Тем отличается попутчик
в судьбе от друга и врага,
удобный случай видеть лучше
чужую душу без лекал.
Здесь нет для нас с тобой запретов,
преемственность – наш ритуал,
в тебе я встретила поэта,
который жить во мне устал.

МАРГАРИТА НАЗАРУК

СЛУШАЕМ ДЫХАНЬЕ АВГУСТА

РЫБА-ПТИЦА

Господи, а ведь выныривать всё сложней.
Мягким да ласковым кажется это дно.
Так бы лежать да лежать бы себе на дне
И забываться, качаясь, коротким сном.

Странною рыбой захочется вдруг взлететь,
Неба прозрачного залпом глоток вдохнуть,
Только Рыбак не спеша починяет сеть,
Чтобы поймать эту рыбу когда-нибудь.

Чтобы поймать ту, летящую невпопад,
Глупую рыбу. Зажарить её да съесть.
Это всего лишь сон. Просыпаюсь – сад,
Утро, окно и… клетки привычной крест…

И ЯБЛОКИ

…и яблоки!
Да, август на исходе.
И день застыл, как будто на холсте.
Но всё уже стремительно в природе
меняется… И мысль, что всё проходит,
становится любимейшей из тем.

И утра зябнут, и молчат рассветы,
бледнея в непривычной тишине.
И с детства всем знакомые приметы,
что нам на всё могли давать ответы,
сегодня не работают. И снег

нет-нет да и привидится в тумане.
Но нам с тобой ещё разжечь костры!
И осень приютить. Да мы и сами
приюта ищем… А теплее станет,
Лишь стоит дверцу в душу приоткрыть.

И так душе волнующе и зыбко.
И взгляд тревожно ищет журавлей.
Освещены осеннею улыбкой,
стоим прижавшись. Глупые ошибки
подарены, как та листва, метле

лихого ветра. Прошлое сметая,
кружит. Его движения легки.
А мысли снова грустно сбившись в стаи,
как птицы ветки, гнёзда покидают.
И звёзды, и мечты,
и яблоки…

СЛУШАЕМ ДЫХАНЬЕ АВГУСТА

Да, сегодня тянет холодом
С этих знойных берегов.
Время надвое расколото,
Да тоски богат улов.

И кострище прошлых радостей
Точно чёрная дыра…
Слушаем дыханье августа
Да глядим в своё вчера.

Но уже пути проложены
В нашу осень, в наш приют,
Где надежды осторожные
Пусть не в срок, но гнёзда вьют.

Там, залечивая раны нам,
Листопадами шурша,
Ветреная да туманная,
Ждёт нас осени душа.

ПУГОВКА-ГРУСТЬ

Как там тебе в тридевятом живётся,
В эти туманные дни ноября?
Светит ли то же унылое солнце,
Или снега твои сны серебрят?

Мчишься навстречу отчаянным далям,
Или грустишь по осенним кострам?
Знаешь, а я иногда вспоминаю
Эту тоску по попутным ветрам.

Наш разговор у окна полуночный
И совпадений волшебную нить.
На остановках мы ставили точку,
Ты выходил на перрон покурить.

Спящий вагон, равнодушно качаясь,
Нашим открытиям не помешал.
Так и не выпив остывшего чая,
Ты напоследок смущённо молчал.

Что мне на память об этом осталось?
Сладко сжимая ладонь, улыбнусь.
Пуговка, что от пальто оторвалась,
И бесконечная светлая грусть…

КОСЫНКА

Откуда нам с тобою это знать,
Что там, за той синеющею дымкой,
Где машет кто-то белою косынкой,
Где шелестит страницами тетрадь.

Там будущих печалей череда,
Открытий и побед хмельное эхо.
Там отголоски чьих-то слёз и смеха,
И снова холода и города.

Там грустные слова и лунный свет.
Прохладная роса, хрустящий иней.
Там день осенний между строк застынет
И, может быть, мы в нём найдём ответ

На тот вопрос, единственный вопрос,
Который мы сейчас задать не смеем,
Который скрытым будущим синеет,
А в душах наших нежностью пророс.

Там – ты идёшь. В твоих руках тетрадь
Полна стихов, полна признаний пылких.
И я машу, машу тебе косынкой,
И ты меня не сможешь не узнать…

НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Оно дрожит и просится наружу,
Хмельное слово!
И всё ж границу хрупкую нарушить
Я не готова.

Проснётся день. И маятник качнётся
Не так, как прежде.
Но снова лжёт ласкающее солнце,
Лишив надежды.

Какие-то дары упрямо прочит
Унылый праздник.
И, спрятавшись в обрывки глупых строчек,
Я жду, как казни,

Пустых страниц и выверенных будней,
Холодных истин,
Ночей, в которых о тебе не будет
Ни снов, ни мыслей.

Не избежать… Как всё это не ново.
Но тише, тише
Дрожит во мне не сказанное слово.
А ты не слышишь.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

САМЫЙ ТИХИЙ ЗВУК
рассказы

ДЕД МОРОЗ

В самый первый день Нового года Саша проснулся на заре, когда взрослые ещё спали.

«Пусть я буду первым, кто выйдет на улицу в этом году», – решил Саша.

Он очень тихо, чтобы не разбудить никого, оделся и вышел во двор. Снег выпал ночью и был совершенно свежим, как только что испечённый хлеб, и розовым от восходящего солнца.

– Здорово, – восторженно выдохнул Саша и вдруг увидел, что он во дворе не один.

Прямо ему навстречу по двору шёл невысокий, немного лохматый дед Мороз в синем пальто, с огромным мешком и палкой, как и положено всем приличным дедам Морозам.

«Ну и ну», – подумал Саша и поздоровался с дедом Морозом вежливо.

– С Новым годом, – грустно сказал дед Мороз, – Сколько лет я уже хожу по улице и каждый раз мне встречается кто-нибудь вроде тебя…

– А что здесь плохого? – удивился Саша.

– А хорошего что? – воскликнул дед Мороз. – Если хочешь знать, я самый старый дед Мороз на этой улице. Мне почти сто лет. И ты, конечно, ждёшь от меня подарка…

– Ничего я не жду, – смутился Саша, – Я просто решил самым первым выйти во двор.

– А тут я попался,– догадался дед Мороз, – но подарков я тебе дарить всё равно не буду.

– Да не надо мне подарков, – обиделся Саша.

– Не надо – так не надо… – сказал дед Мороз. С этими словами он, тяжело кряхтя, сел на скамейку и стал развязывать свой мешок. Из мешка он достал большой цветной термос, осторожно отвинтил крышку и стал пить чай, искоса поглядывая на Сашу.

– И чаем я тебя не угощу, – сказал дед Мороз.

Саша насупился.

– Я не хочу чая.

– И вообще мне надоело быть дедом Морозом, – воскликнул вдруг дед Мороз, – ходи – разноси всем подарки. А мне, если хочешь знать, никто ещё не подарил ни одного подарка!

– Ну и что, – удивился Саша, – У Вас и так их целый мешок…

– Ничего ты не понимаешь, – проворчал дед Мороз, – Нет, уйду я из дедов Морозов, честное слово…

И тут Саше стало вдруг жалко деда Мороза.

– А хотите, я Вам подарю снежинку? – спросил вдруг Саша. Он порылся в кармане, достал маленькую пластмассовую снежинку и протянул её деду Морозу.

– Это мне? – обрадовался дед Мороз, – но тебе, наверное, жалко её дарить?

– Не жалко, – сказал Саша.

– Тогда давай, – согласился дед Мороз, – такой снежинки у меня ещё никогда не было.

Он бережно, двумя пальцами, взял снежинку и поднес её к глазам. Глаза у деда Мороза были голубые и круглые, как две большие бирюзовые бусины. По всему его лицу к бороде и усам бежали глубокие морщины, большие и маленькие.

– Эта снежинка никогда не растает, – сказал дед Мороз, – в этом есть и радость, и грусть…

– Почему? – поинтересовался Саша.

– Сам не знаю, – сказал дед Мороз и спрятал снежинку в карман.

И тут Саша увидел Нюрочку, которая вышла из своего подъезда очень сонная и серьёзная.

– Привет! – крикнул Саша, – С Новым годом!

– С Новым годом, – Нюрочка подошла к ним. – И Вас, глубокоуважаемый дед Мороз с Новым годом!

– Он уже подарил мне снежинку, – сказал дед Мороз, – А у тебя что есть?

– У меня только шариковая ручка, но она наполовину исписана, – и Нюрочка достала из кармана зелёную шариковую ручку.

– Мне как раз такая нужна, – сказал дед Мороз,– я очень люблю рисовать.

– Берите, – Нюрочка протянула деду Морозу ручку и с интересом уставилась на его бороду.

Дед Мороз спрятал снежинку, ручку и термос в мешок и вдруг чихнул. Потом он чихнул ещё пять раз, а когда дед Мороз перестал чихать, рядом с ними оказалась Светочка, которая тоже встала в это утро рано и вышла погулять.

– А ты мне что подаришь? – спросил дед Мороз Светочку.

– А разве дедам Морозам дарят подарки? – удивилась Светочка, – всё ведь наоборот…

– Молчи, Светочка, – шепнул Саша и дёрнул её за рукав. Ему показалось, что дед Мороз сейчас обидится. И, действительно, дед Мороз начал было обижаться, но, видимо, передумал и только вздохнул.

– У меня есть открытка с весной, – сказала Светочка,– Но ведь сейчас зима. Зимой не дарят открытки с весной…

– С весной? – задумался дед Мороз, – в общем-то, мне нужна открытка с весной…

Светочка достала из кармана немного помятую открытку и протянула её деду Морозу.

– Действительно, весна, – улыбнулся дед Мороз, разглядывая ручьи, цветы и голубые облака на открытке,– даже стало теплей… Больше у вас нет подарков для меня?

– У меня есть кошка Соня, но я её подарить не могу, – призналась Нюрочка.

– Жалко, – сказал дед Мороз, – кошка мне тоже нужна…

Он помолчал грустно несколько минут.

– Пойду я, – сказал он наконец и, кряхтя, встал со скамейки. – Вы не знаете, какой это дом?

– Четырнадцатый.

– А мне какой нужен? – спросил дед Мороз у Светочки.

– Не знаю, – призналась Светочка.

– Ладно, по дороге вспомню», – вздохнул дед Мороз и медленно, грузно заковылял по снегу. Дети глядели ему вослед, пока фигура деда Мороза не пропала за углом, а потом переглянулись.

– Какой странный дед Мороз, – заметила Светочка.

– Действительно странный, – согласился Саша.

Они втроём уселись на скамейку и задумались об этом странном деде Морозе – самом старом на их улице, если, конечно, он не придумал…

САМЫЙ ТИХИЙ ЗВУК

Нюрочка ела манную кашу. Она не очень любила её и поэтому ела очень медленно и каша почти остыла. Нюрочка всё болтала и болтала без умолку.

«Послушай, бабушка, я ведь почти ничего не умею, – воскликнула она, – и почти ничего не знаю. Зато я, наверное, очень красивая!».

Бабушка улыбнулась.

– Если будешь так болтать, каша совсем остынет, – сказала она. – И ещё, – тут бабушка сделала загадочное лицо, – ты не услышишь Самый Тихий Звук.

– Самый Тихий Звук?

– Да, Самый Тихий Звук. Хочешь, я расскажу тебе одну историю?

Нюрочка кивнула.

– Когда я была маленькой, я знала одного часовщика. Он был очень старый и очень мудрый. Он сидел в своей мастерской и чинил часы. Ему приносили самые разные часы, – те самые часы, в которых вдруг замерли стрелки и остановилось время. Эти часы словно бы уснули.

Он бережно брал их в руки, разбирал, чинил, и время снова оживало, и часы благодарно и радостно тикали в ответ. Часовщик же был очень одиноким и, пока он чинил часы, он подолгу разговаривал с ними.

И вдруг услышал Самый Тихий Звук. Этот Звук был таким прекрасным, что сердце Часовщика замерло, словно старые, добрые часы, а потом снова забилось, но уже по-другому, потому что оно расслышало необычайную тайну.

Этой тайной Часовщику очень хотелось поделиться. К нему приходили люди и приносили поломанные часы, и каждого нового посетителя Часовщик спрашивал: «Вы когда-нибудь слышали Самый Тихий Звук?».

Но людям было некогда отвечать на такой странный вопрос. Они обычно спешили, у них было множество дел, да к тому же им хотелось поскорей получить обратно свои часы. Они чувствовали беспокойство от того, что время вдруг остановилось. Они-то знали, что делать со временем: заполнять его разговорами, важными делами, развлечениями. Зачем им непонятная тайна старого Часовщика?

– А ты как узнала эту тайну? – спросила Нюрочка, совсем забыв про кашу.

– Очень просто. Однажды мама поручила мне отнести в ремонт часы с кукушкой. Она очень любила эти часы. Я отнесла часы, и Часовщик поведал мне свою историю. А мне так понравилась эта история, что я и сама захотела расслышать Самый Тихий Звук.

Но ведь я не была старым Часовщиком и не чинила часы. И я стала искать Самый Тихий Звук в других вещах. Я пыталась расслышать его в летящем дожде, в свистящем ветре, морских раковинах, распускающихся цветах, в полёте и пенье птиц и даже в глотках воды. И однажды услышала.

Это было так хорошо, что я тут же побежала к старому Часовщику и всё рассказала ему.

Он внимательно меня выслушал и очень обрадовался.

«Знаешь, Маринка, – сказал он мне, – теперь мне будет не так одиноко. Ведь поломанные часы – всего лишь поломанные часы, а ты – живая девочка». И ещё он взял с меня обещание – поделиться своей тайной с кем-нибудь.

– И ты поделилась со мной! – воскликнула Нюрочка.

– Ну да, – кивнула бабушка, – но только скорей доедай кашу. А когда доешь, мы с тобой отправимся на прогулку и будем стараться расслышать Самый Тихий Звук. Ведь вдвоём его слушать намного прекраснее. Правда, Нюрочка?

– Правда, бабушка.

Нюрочка глядела на бабушкино лицо, на васильковые, задорные глаза, на разбегающиеся в разные стороны морщинки и ей так захотелось разгадать тайну старого Часовщика и бабушки Марины! Расслышать Самый Тихий Звук.

ПРЯТКИ

Дети играли в прятки. Водил Саша. Он уткнулся носом в стену дома и выкрикивал слова считалки:

«Один, два, три, четыре, пять,
Я иду искать!
Кто не спрятался – я не виноват!».

Все бросились врассыпную. Нюрочка тоже принялась бежать. Она забежала за гараж и вдруг увидела деда Кузьму. Дед Кузьма сидел на корточках, а на лоб его была надвинута шляпа.

– Здравствуйте, – шёпотом сказала Нюрочка деду Кузьме.

– Здравствуй, – шёпотом ответил дед Кузьма.

– А что Вы здесь делаете? – Нюрочка заметила, что вид у деда Кузьмы очень виноватый.

– Я прячусь, – признался дед Кузьма и ещё больше надвинул шляпу на брови.

– И я прячусь! – обрадовалась Нюрочка. – А от кого Вы прячетесь?

– От бабы Клавы, – признался дед Кузьма.

– Вы играете в прятки?

– Нет, – вздохнул дед Кузьма, – уж лучше б мы играли в прятки. Но я плохо себя вёл!

– Вы были непослушным? – догадалась Нюрочка.

– Очень непослушным, – признался дед Кузьма. – И я так боюсь бабу Клаву, что у меня дрожат коленки. Вот посмотри.

Нюра посмотрела на колени деда Кузьмы и они задрожали у неё на глазах.

– А когда я был такой, как ты, – сказал дед Кузьма, – я никого и ничего не боялся! Я мог залезть на самое высокое дерево. Мог приручить самого сердитого пса. Мог заплыть далеко в море и мне не было ни капельки не страшно!

– А я боюсь темноты, – призналась Нюрочка, – и то иногда. А, бывает, закрою глаза в темноте и вижу, как ко мне приходит сон. И если этот сон добрый, полный всяких чудес, то мне совсем не страшно.

– Смелая ты девочка! – воскликнул дед Кузьма.

– Ещё я иногда боюсь учительницу, – сказала Нюрочка, – когда плохо знаю урок. Тогда мне так и хочется от неё спрятаться. Но она меня вызывает и ставит плохую отметку. А я не люблю плохих отметок!

– А я не делал сегодня зарядку и съел целую банку с вареньем! – признался дед Кузьма.

– Баба Клава каждое утро проверяет, делаю ли я зарядку, а сегодня она проспала. А на столе стояло варенье. Я хотел только попробовать и съел одну ложку. А потом – ещё одну, а потом – ещё две, а потом – начал мечтать. И так замечтался, что съел всю банку.

– А какое варенье было? – поинтересовалась Нюрочка.

– Вишнёвое! – воскликнул дед Кузьма и облизнулся.

И Нюрочка тоже облизнулась.

– А если баба Клава Вас найдёт – что будет? – спросила Нюрочка.

– Не знаю… Возможно, она заставит меня делать зарядку, а варенье спрячет подальше. Хочешь секрет? – спросил вдруг дед Кузьма.

– Хочу, – кивнула Нюрочка.

– Я знаю бабу Клаву уже пятьдесят лет и пятьдесят лет она мною командует, – сказал дед Кузьма, – но я до сих пор в нее влюблён!

– А я ни в кого не влюблена, – вздохнула Нюрочка.

– А я так влюблён в бабу Клаву, что уже по ней скучаю, – вздохнул дед Кузьма. – Так скучаю, что у меня в носу щекотно делается!

Дед Кузьма потянул воздух носом.

– И она по Вам, наверное, тоже соскучилась, – пришло в голову Нюрочке.

– Ищет везде, – сказал дед Кузьма и стал собирать одуванчики для бабы Клавы.

И сам он был похож на тоненький, пушистый одуванчик. Шляпа слетела с его головы в траву, и седые волосы растрепались на ветру. Он бережно срывал жёлтые одуванчики, а пушистые не трогал – ведь они такие хрупкие.

И по тому, как дед Кузьма собирал одуванчики, совсем не было видно того, что он боится бабу Клаву, а было видно только, что он в неё влюблён.

«Вот бы мне так влюбиться», – подумала Нюрочка. Она выглянула из-за гаража, чтобы посмотреть, не идёт ли Саша. Но Саша был в самом дальнем конце двора, и было видно издалека его белую футболку.

– Давайте, я Вам помогу собирать одуванчики, – предложила Нюрочка.

– Давай, – согласился дед Кузьма.

Они насобирали одуванчиков, дед Кузьма надел свою шляпу и отправился домой.

А Нюрочка смотрела ему вслед и ей казалось, что стоит ей закрыть глаза, и она увидит, как дед Кузьма превращается в мальчишку, похожего на Сашу, а баба Клава – в девочку с косичками. И они так влюблены друг в друга, что ничего не боятся. Ничего на свете!

ПЕГАС

Нюрочка никак не могла заснуть. Она ворочалась с боку на бок: сначала на один бок – не спится, потом на другой бок – не спится, потом она упиралась носом в подушку – а вдруг из подушки придёт сон? Но сон не приходил.

– Попробую посчитать, – решила Нюрочка, – один, два, три… – шептала она в темноте.

И вдруг окно открылось и в комнату влетел конь. Он был залит лунным светом, белоснежный, с серебристой гривой и огромными чёрными глазами.

– Здравствуй, – сказал конь и подлетел к Нюрочке. На спине у коня Нюрочка заметила два светящихся в темноте крыла.

– Так не бывает, – сказала Нюрочка коню и протянула к нему руку, чтобы погладить.

– Бывает, – радостно заявил конь и подставил под руку Нюрочки свою роскошную гриву. – Я – Пегас, – торжественно добавил он.

– А, я знаю о тебе, – воскликнула Нюрочка, – ты прилетаешь к поэтам. Но ведь я не поэт. Зачем же ты прилетел ко мне?

– Сам не знаю, – признался Пегас, – я очень долго летал над городом, залетал к самым разным поэтам и мы вместе сочиняли стихи. Потом я залетел к Саше. Но он уже спал, и я даже подсмотрел, что ему снилось: ему снилась высокая яблоня с зелёными яблоками и во сне бабушка ругала его за то, что он съел семь зелёных яблок».

– Я тоже люблю зелёные яблоки, – призналась Нюрочка, – но после них у меня ужасно болит живот.

– Вот-вот, – сказал Пегас, – у Саши во сне тоже болел живот. Ему было совсем не до стихов.

– А я живу уже семь лет, но ещё не сочинила ни одного стихотворения! – воскликнула Нюрочка.

– Что же мне с тобой делать? – спросил Пегас.

– Не знаю, – Нюрочка вздохнула и вдруг ей в голову пришла мысль.

– Покатай меня, – сказала она.

– Но ты ведь не поэт. Не положено.

И тут Нюрочке ужасно захотелось стать поэтом.

– Знаешь что? – предложила Нюрочка, – давай ты меня покатаешь, а я по дороге что-нибудь сочиню!

На самом деле, она была не совсем уверена, что сможет сочинить стихотворение, но ей так хотелось полетать над спящим городом!

– Что же, – Пегас внимательно посмотрел на Нюрочку, – тогда я посвящаю тебя в поэты! – Он сказал это с очень важным видом.

– Ура! – воскликнула Нюрочка. Она вылезла из кровати в своей жёлтой пижамке, забралась на спину Пегасу и они вылетели в окно.

Луна заливала светом крыши домов, листья деревьев что-то пели на ветру, а Пегас с Нюрочкой летели над городом. Нюрочка с высоты разглядела свой двор. Какими маленькими ей казались школа, хлебный магазин, соседние дома. Некоторые окна и ночные фонари светились в звонкой тишине, и Нюрочке стало так радостно, что она запела:

Я лечу, лечу, лечу,
Я лечу, куда хочу!
Всё я вижу с высоты,
Так сбываются мечты!

– Ну вот ты и сочинила стихотворение, – сказал Пегас, – можно возвращаться домой.

Но домой Нюрочке возвращаться совсем не хотелось. Пегас это понял, и они улетали всё дальше и дальше, и дальше от дома.

И тут они увидели ещё одного летающего коня. И на его спине сидел не кто-нибудь, а Нюрочкина учительница Наталья Ивановна. Она летела легко, грациозно в своих круглых очках, соломенной шляпе и что-то сочиняла, размахивая в такт рукой.

– Здравствуйте! – крикнула ей Нюрочка.

Но Наталья Ивановна была так поглощена стихосложением, что даже не заметила Нюрочку.

А Нюрочке это показалось очень забавным. И тогда она принялась смеяться.

– Не смейся так громко, – воскликнул Пегас, – у меня в ушах от тебя звенит.

Но Нюрочка не слушала его. Она оглядывалась вослед улетающей Наталье Ивановне – такой строгой на уроках и такой лёгкой и задорной сейчас – и смеялась. Она смеялась, смеялась, смеялась и… проснулась.

РАЗГОВОР ДЕРЕВЬЕВ

Нюрочка с бабушкой сидели у пруда, в старом парке. Солнце поднималось над верхушками деревьев, и деревья о чём-то шептались, покачиваясь в такт ветру.

– Слышишь, о чём они говорят? – спросила бабушка.

– Нет, – призналась Нюрочка.

– Значит, ты невнимательно слушаешь.

Бабушка загадочно улыбнулась, а Нюрочка загляделась на гладь пруда, по которой весело плясали солнечные зайчики, искорки, блёстки. Рядом со скамейкой, на которой сидели Нюрочка с бабушкой, росла ива, а за их спинами белела целая стая берёзок.

И вдруг Нюрочке послышался шепот берёз.

– Снова она грустит, снова плачет!

Нюрочка так удивилась, что обернулась к шепчущимся берёзкам, и спросила:

– Кто грустит? Кто плачет?

– Ива, – ответили березы, и Нюрочке показалось, что они не просто качнули ветками, а указали зелёными ладонями на пышную иву.

– И совершенно без причин, – продолжали берёзы, – грустит, скучает – просто так, от нечего делать.

Ива понуро прошелестела листвою и ничего не ответила.

– А мы вот – никогда не грустим, – сказала одна из берёз, – И совершенно её не понимаем.

– А я иногда грущу, – призналась Нюрочка. – Особенно в дождливые дни, или когда с кем-нибудь поссорюсь, или когда получаю двойки.

– Это бывает, – сказала самая старшая и высокая из берёз. – У тебя есть все причины грустить. А она плачет без причины. Она плачет – и когда льёт дождь, и когда бывает такой чудесный весенний день, как сегодня.

– И нам так это надоело! – Воскликнула самая юная из берёз, тоненькая и невысокая. – Разве можно всё время грустить? Мне кажется, она хочет испортить всем нам настроение.

– Да-да, она ни с кем из нас не считается, – проворчала ещё одна береза.

– А, может, у неё всё-таки есть причины? – поинтересовалась Нюрочка, глядя на иву, которая стояла, свесив косы в воду и словно не обращая на них внимание. Нюрочке показалось, что ива обиделась и поэтому молчит.

И тут в разговор вмешался клён.

– У неё есть все причины грустить, – с важным видом прошептал он. – Она влюблена в меня!

Берёзы фыркнули (во всяком случае так показалось Нюрочке) и воскликнули:

– Вот ещё! Вот ещё!

– Ни какое не «Вот ещё!» – самодовольно продолжил клён. – Все знают, что я – самый красивый и умный клён в этом парке. Меня посадил счастливый молодой художник, и, когда он меня садил, он пел звонкую песню, и его сердце восторженно билось в такт звукам. Он специально купил саженец в магазине, пришёл в парк ни в какой-нибудь обычный день, а в свой день рожденья и, пока садил меня, думал о самом прекрасном и радостном, что случилось в его жизни. Поэтому я и вырос таким стройным и красивым! Когда меня увидела ива, она тут же влюбилась.

– Глупости! – воскликнула черёмуха, которая до этого молчала. – От любви никто никогда не плачет. Во всяком случае, я, когда влюбляюсь, только звонко смеюсь. Мне становится весело.

– И мы смеёмся, – хором воскликнули берёзы.

– Это потому, что вы несерьёзные, – сказал клён. – Вы не умнее и не солиднее самого никудышнего воробья в этом парке.

Берёзы обиженно закачали листочками.

– Хвастунишка! Хвастунишка! – шептали они.

– А вот у елей порой есть все причины плакать, – вмешалась в разговор старая ель, – или же трястись от страха. Ведь стоит приблизиться Новому году, того и жди, что придут люди с топорами. Но, между тем, мы не плачем и не трясёмся от страха. Ели – очень гордые деревья.

Нюрочка покраснела. Ей было неловко перед старой елью, ведь она так любила Новый год, и никогда ей не приходило в голову, каково это – быть беззащитной, хотя и суровой елью.

– Да, у нас непростая жизнь, – шептались деревья, – непростая жизнь!

И тут Нюрочка почувствовала, что кто-то трясет её за плечо. Это была бабушка.

– Нюрочка, пора домой! – сказала она.

– Бабушка, ты слышала, о чём шептались деревья?

Нюрочке совсем не хотелось уходить из старого парка. Ей хотелось долго-долго сидеть рядом с бабушкой у пруда и слушать, и запоминать, и чувствовать всё, что происходит вокруг.

Но бабушка уже вела её за руку к выходу.

– Послушай, бабушка, а ведь я не спросила саму иву, о чём она плачет. Она-то знает это лучше, чем другие деревья. Я так и не узнала её секрета.

– Возможно, ты когда-нибудь его узнаешь, – ответила бабушка, весело поглядывая на Нюрочку.

– А ты, бабушка, его знаешь?

И вдруг Нюрочке показалось, что именно бабушка, которая так спокойно шла рядом с Нюрочкой в своей синей вязаной шапочке и с жёлтой кожаной сумкой через плечо, именно она, а не смешливые берёзы, и не самовлюблённый клён, и даже не гордая ель, – знает секрет плакучей ивы. И, может быть, когда-нибудь бабушка откроет его Нюрочке. Надо только очень сильно её попросить.

ЖЕНЩИНА-ОСЕНЬ

Нюрочка вышла погулять в яркий, жаркий летний полдень, когда все люди словно куда-то попрятались, и только солнце вовсю плясало по окнам и веткам деревьев. Нюрочка долго каталась на велосипеде, с интересом наблюдала за рыжими муравьями, а потом присела на скамейку и стала зевать. Её клонило ко сну, веки слипались, и она не знала – то ли идти домой, то ли уснуть прямо здесь, на скамейке, где детям в общем-то спать не положено…

И тут она увидела Сашу и Светочку. Они шли по дорожке, взявшись за руки, и весело болтали. Нюрочка встала со скамейки и пошла навстречу Саше и Светочке, и вдруг что-то перевернулось в ней, словно злая стремительная оса подлетела и ужалила её. Она замедлила шаг и остановилась, улыбка исчезла с её губ, а глаза наполнились слезами.

– Что с тобой? – спросил Саша, а Светочка растеряно улыбнулась.

– Ты любишь Светочку больше меня! – воскликнула Нюрочка и стала смотреть в сторону, а из глаз её – одна за другой – покатились слёзы.

Саша очень удивился и начал краснеть.

– Я люблю и тебя, и Светочку… – очень тихо сказал он, и покраснел ещё больше.

Потом покраснела Светочка, а за ней – Нюрочка, и все трое долго молчали, не зная, что сказать.

И вдруг Нюрочке стало стыдно. Она внимательно посмотрела на Сашу и Светочку и бросилась бежать. Она бежала так, ничего не замечая, очень долго, и хотя ей не разрешали далеко уходить со двора, она вдруг сердито решила нарушить все запреты и убежать далеко-далеко, где её никто не найдёт.

Но, в конце концов, бывают минуты, когда человек устает бежать,– и такое случилось с Нюрочкой. Она остановилась, задыхаясь, у входа старого парка, где, как и во дворе, совсем никого не было. Нюрочка растерянно огляделась по сторонам и медленно пошла по тропинке под высокими, солидными каштанами, которые словно бы укоризненно качали пыльными зелёными кронами и приговаривали:

– Ну надо же… И как ей только не стыдно, этой злой девочке!

– Думайте, что хотите! – сказала Нюрочка каштанам и продолжала печально идти по тропинке. Её рыжеватые косички растрепались, мокрая от бега чёлка прилипла ко лбу, а зеленоватые глаза покраснели от слёз. Нюрочка с обидой шмыгала носом, и вдруг на неё кто-то дунул.

«Ветер…», – подумала Нюрочка.

И снова на неё повеяло прохладой – прямо на разгорячённый лоб, на щеки, охладило её ладони и худые ноги в жёлтых гольфах, и ей вдруг стало легко-легко, как будто кто-то погладил её по голове и начал рассказывать сказку.

«Это ветер, который живёт в парке, – догадалась Нюрочка, – Интересно, а где он живёт?». И она решила поискать то место, где живёт ветер.

«Наверное, он живёт в одном из старых скворечников, – подумала Нюрочка, – а, может быть, в дупле старого дуба – того самого, который перерос все деревья в этом парке».

И она пошла по тропинке дальше, вслушиваясь в шелест листьев, по следу летящего ей навстречу ветра – если только можно идти по следу того, кто летит тебе навстречу…

– Где ты, ветер? – чуть слышно спрашивала Нюрочка каждые пять шагов.

Но ветер ничего не отвечал, а только очень осторожно дул и дул ей в лицо, обвевая её прохладой и тишиной.

– Я бы хотела подружиться с тобой, – сказала Нюрочка ветру.

Но ветер снова ничего не ответил.

«Наверное, он хочет, чтобы я его сначала нашла…», – догадалась Нюрочка.

И тут ей показалось, что кто-то шёпотом сказал ей на ухо: «Да…».

– Ладно, если ты хочешь, я постараюсь найти тебя…

И Нюрочка пошла дальше по тропинке и вдруг увидела, откуда дует ветер.

– Да это вовсе не ветер! – удивлённо воскликнула Нюрочка.

И действительно, это был совсем не ветер, а была это высокая, немолодая женщина в длинном тёмном платье, которая сидела на скамейке и задумчиво вязала.

– Так это вы дули… – немного расстроено сказала Нюрочка, подходя к женщине.

Нюрочке не очень-то понравилось, что ветер обернулся обычной женщиной.

– А может, всё-таки не Вы? – с надеждой спросила Нюрочка.

– Я, – смущённо сказала женщина, продолжая вязать.

– Тогда я пойду, – вздохнула Нюрочка и собралась уйти, но вдруг она вспомнила, что привело её в парк и ей снова стало грустно и одиноко.

– Я убежала от своих друзей, – сказала Нюрочка, – и ухожу в пираты…

– Но ты ещё слишком маленькая, чтобы быть пиратом, – сказала женщина, – Тебя не возьмут.

– Возьмут, – Нюрочка упрямо посмотрела на вязаные узоры, которые плавно текли из-под пальцев женщины, – Меня обязательно возьмут, и я стану самым главным пиратом.

– И ты не будешь скучать по родителям?

– На каникулы я буду приплывать к ним на своём корабле.

– Но у пиратов нет каникул, – вздохнула женщина.

– А я устрою им каникулы, – сказала Нюрочка, – Мы будем целый день есть мороженое и танцевать морской танец.

– А вдруг однажды тебе станет скучно, – поинтересовалась женщина, – У пиратов ведь не очень весёлая жизнь.

– А откуда вы знаете? – недоверчиво спросила Нюрочка, – Вы ведь не пират…

– Я Женщина-Осень, – сказала женщина, – я многое знаю.

– Осень – это не женщина, – сказала Нюрочка, – Это время года.

– А я вот Женщина-Осень, – вздохнула женщина, взглянув на небо, а потом на свои пёстрые узоры, словно сравнивая их с облаками.

– А что Вы тогда делаете в лете? – недоверчиво спросила Нюрочка.

– Жду своего времени, – сказала Женщина-Осень, – Оно ведь скоро придёт.

– И придётся идти в школу, – грустно сказала Нюрочка, – но мне-то надо в пираты…

– Да, нелёгкая у тебя жизнь, – вздохнула Женщина-Осень, но в глазах у неё вдруг запрыгали озорные солнечные зайчики, – Ты, наверное, очень несчастная девочка… И никто тебя не любит…

– Светочку Саша любит больше, – призналась Нюрочка.

– Неужели? – спросила Женщина-Осень.

– Если хотите, мы можем уйти в пираты вместе, – предложила Нюрочка, – Вас, наверное, возьмут… – она с некоторым сомнением посмотрела на Женщину-Осень.

– Но я не совсем готова уходить в пираты, – смутилась женщина, – Если хочешь, я лучше покажу тебе, где я живу.

И тут она достала тяжёлую бархатную книгу, причём Нюрочка так толком и не поняла, откуда она её достала, ведь до сих пор кроме вязальных спиц у женщины в руках ничего не было.

– Вы живёте в этой книге? – удивилась Нюрочка.

– Ты лучше загляни, и сама поймешь…

И Нюрочка заглянула. И тут она увидела замечательные, волшебные страны или миры, а может быть, это были сны – редкие сны, которые снятся не каждый день, и Женщина-Осень начала перелистывать страницы, а миры, страны и сны проплывали у Нюрочки перед глазами.

– Вы живёте в этих разноцветных странах? – восхищённо спросила Нюрочка.

– Да, – сказала Женщина-Осень.

– Здорово, – Нюрочка с уважением посмотрела на Женщину-Осень и долго не знала, что сказать.

– Наверное, тебя уже ждут твои родители, – тут Женщина-Осень спрятала книгу и снова – неизвестно куда (книги просто не стало) и в руках женщины быстро замелькали спицы, а лицо приняло сосредоточенное и строгое выражение.

– Я пойду, – сказала Нюрочка и медленно пошла по тропинке под звонкий щебет птиц и шелест листвы, а женщина – так казалось Нюрочке – дула уже ей не в лицо, а в спину: Нюрочка чувствовала прохладное дыхание за своей спиной, но не оборачивалась, а всё шла и шла по тропинке, и в голове у неё мелькали странные картинки из волшебной книги – как в цветном калейдоскопе, сменяя одна другую.

Нюрочке вдруг расхотелось идти в пираты. Ей захотелось домой – погладить умную кошку Соню и выпить чаю с бабушкой, дедушкой и мамой.

«А Саша, – подумала Нюрочка, – пусть любит Светочку».

И от этой мысли ей стало легко и спокойно, она радостно улыбнулась.

А в спину её всё дула и дула Женщина-Осень, и в руках её, конечно, мелькали острые, тонкие спицы, а если начать рассказывать о волшебных странах, может быть, никто толком и не поймёт.

«Для этого, наверное, надо познакомить всех с Женщиной-Осенью, – подумала Нюрочка, подходя к дому, – и тогда она им сама всё расскажет. Если, конечно, захочет».

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

САШКА, МУСЯ И ЗВЁЗДЫ
сказка

В ПЫЛЬНОЙ КВАРТИРЕ

Когда Сашка была маленьким котёнком и играла со своими братьями и сёстрами, к ним пришли незнакомые люди: женщина, пахнущая жареными котлетами, в запахах Сашка понимала толк, и озорной мальчишка, с которым сразу удалось поиграть.

«Давай, мам, вот этого возьмём, он самый шустрый», – предложил мальчик, держа котёнка на руках. «Хорошо, – сказала мама, – только с одним условием – чтобы двоек больше домой не приносил». Так котёнок попал в семью. Мальчик и женщина думали, что это котёнок-мальчик и назвали его Сашкой. Потом выяснилось, что котёнок вовсе и не мальчик, а девочка, но новые хозяева котёнка не вернули, в конце концов, сами выбрали. Девочке тоже подходит имя Сашка. Это только полные имена разные, была Александром, стала Александрой. Правда, никто полным именем её ни разу не назвал. Сашка и Сашка. Мама у неё была немного иностранного происхождения – наполовину британская голубая, а папа был похож на сибирского кота, но без документов, а это значит, вроде и не породистый, а так себе – дворняга. Характером Сашка была похожа больше на мать, тот же весёлый нрав, общительная и задорная. Папин характер тоже проявлялся, подобно ему, она умела быть и ласковой, и вредной. А было с чего вредничать. Сашка не просила новых хозяев разлучать её с братьями, сёстрами и мамой. Взяли без всякого разрешения с её стороны, принесли в какую-то пыльную квартиру. Кроме хозяйки, которая кормила и гладила, был ещё противный хозяйкин муж в больших шаркающих по полу тапочках, он Сашку словно и не замечал. Сашка посмотрит на него жалостливым взглядом: накорми, мол, – а он делает вид, что и не видит вовсе, как будто котёнок – неживая игрушка. Была ещё нехорошая бабушка, брезгующая даже дотронуться до котёнка. «И зачем кошек в дом приносить, – ругалась она, – одна шерсть и грязь от них». С Вовкой, с тем самым озорным мальчишкой, что её выбрал, отношения были неоднозначные: с ним, с одной стороны, можно было и поиграть и порезвиться, а с другой стороны, он её часто обижал. Хозяйка тоже была не сливочная, когда погладит, а когда тряпкой замахнётся. Иногда от хозяйки приятно пахло котлетами, а иногда она брызгалась чем-то противным, от чего Сашка в комнату не могла зайти до тех пор, пока запах не улетучится. Женщина упорно не разрешала ей лежать на диване, качаться на портьерах, бегать по утрам между ног и мяукать ранним, а иногда и поздним утром. Впрочем, все они почему-то не любили, когда Сашка начинала мяукать по утрам. А ранним утром почему-то всегда хотелось есть, хотелось играть, носиться по квартире – всего хотелось, а они спят себе в кроватях, непонятно почему, и в комнаты не пускают.

Со всеми обитателями квартиры Сашка расправлялась своим способом. Она вытягивалась на табуретке в кухне, притворяясь, будто спит, а когда хозяин проходил мимо, Сашка резко протягивала лапу и задевала его, при этом слегка распустив когти. Вот так-то, нечего не замечать. Для противной бабушки Сашка придумала другой метод расправы. Она забиралась высоко на шкаф, где её никто не мог достать, и оттуда смотрела на бабушку злобным взглядом, а та пятилась с опаской, ругая Сашку, но не слишком резко, а вдруг Сашка всё же бросится. С мальчишкой были свои разборки. Он дёрнет за хвост, а она ему – в тапочку написает. Утром мальчик проснётся, а тапочка мокрая. Вот было забавно!!! Жаловаться на котёнка Вовка боялся, мать знала, что Сашка делала это неспроста, значит, опять котёнка мучил. А вот обидеть в отместку он мог, поэтому Сашка исчезала на время, будто её и не было в квартире. Прятаться она умела так, что никто не мог найти, сначала пытались, а потом и вовсе смирились с исчезновениями Сашки в нужный момент. Самое противное случалось, когда к Вовке приходил другой мальчишка, они так и норовили привязать что-нибудь к хвосту, чтобы Сашка гонялась за ним по кругу.

Были и приятные моменты общения с Вовкой. Например, когда Вовка вырезал что-то из бумаги, некоторые листочки падали на пол, и Сашка начинала их ловить, подбрасывать и играть с ними.

Однажды она схватила падающий листочек на лету, это было её коронным трюком, и весело подпрыгнула. А Вовка начал кричать и отнимать эту бумажку. Ну, уж нет, просто так она ему бумажку не отдаст! Сашка бросилась бежать. Когда Вовка всё же нагнал её и грубо схватил, она поцарапала его, а он больно пнул её ногой. Ну, уж это ему просто так с рук не сойдёт: Сашка замыслила план отмщения. Утром Вовка стал обуваться, чтобы идти в школу, а шнурков в ботинках нет, Вовка начал бегать, ругаться, мать на него тоже кричала, отец ругался, а Сашка невозмутимо наблюдала за этой перепалкой с полки для головных уборов. Это она ночью шнурки вынула из ботинок и спрятала в Вовкином пододеяльнике, чтобы подольше искали. В конце концов, Вовка ушёл в школу в кроссовках, а Сашка просмеялась полдня, вспоминая Вовкино растерянное выражение лица. Кошки умеют смеяться, только люди не умеют это видеть и слышать. Никто из взрослых Сашку не заподозрил, все решили, что Вовка сам их куда-то спрятал, чтобы в школу не идти. Но Вовка всё-таки догадывался, кто стащил шнурки, только не знал, где их искать. В кошачьем горшке шнурки не были видны, в ботинках их тоже не было, но бить Сашку не решился, а, наоборот, зауважал, или вернее, стал кошку побаиваться: кто её знает, что она ещё придумает.

С хозяйкой, Вовкиной мамой, у неё были разногласия, в основном из-за дивана. Она Сашку прогонит, а как только отвернётся, а Сашка уже опять там и хвостом машет, словно говорит: «Лежала тут и буду лежать. Где хочу, там и лежу». Сашка ещё никак не могла понять, почему они все, кроме Вовки, были против того, чтобы она качалась на портьерах. Для чего же они их вешали? Без неё они так и висели бы без дела, семейство должно радоваться, что Сашка нашла им применение. Вовка любил подсаживать её на ковёр или портьеры, когда никого не было дома, благодаря чему Сашка забиралась по ним чуть ли не до потолка, а потом прыгала на Вовку. Забавно!

Когда Сашка подросла, вместо качания на занавесках пришли более приличные занятия. Исследовав все уголки в квартире, Сашка заинтересовалась, а что там, за пределами квартиры? Она садилась на подоконник и смотрела в окно. Там был очень забавный мир: серые полы, и маленькие люди, и автомобили, в которых они катались. Такие автомобили были и в квартире у мальчишки. Вовка и его гость часто возили их по комнатам, а Сашка за ними гонялась. За окном люди были такими маленькими, что помещались в такие машинки. Однажды Сашка увидела, как Вовка, выйдя во двор, чтобы отправиться в школу, тоже стал таким же маленьким. Там какое-то волшебство… Как выходишь из дома, так и становишься маленьким. Выходить туда было страшно. Нет, Сашка ни за что туда не пойдёт!

НА ДАЧЕ

Однажды её без спроса запихнули в какую-то корзинку или коробку с дырками, так называла она переноску, вытащили из квартиры, куда-то поставили коробку. Возникло неприятное чувство. Вовка сказал, что они поехали. Да, она, видимо, в машине, но почему-то ни машина, ни люди маленькими не стали. Но Сашке всё равно было не по себе – а вдруг они все превратятся в маленьких-маленьких? Очень долго ехали на дачу, так хозяева назвали это место, куда они добирались. Сашке было тревожно, она кричала из переноски, но в ответ на неё только шикали, а доставать не стали. И вот дверца в автомобиле открылась, переноску вынесли, поставили на землю и открыли.

– Вылезай! – скомандовал Вовка. Он схватил её за шкирку и поставил на землю.

Что это?! Всё изумительно пахнет! От запаха просто с ума можно сойти! Чем тут только ни пахло: травой, землёй, цветами, мышами. Конечно, про мышей Сашка не знала, но запах их почувствовала сразу, распознав его среди многих других. Поверхность под ногами была неровная. Чего там только не было: старая пожухлая трава, новая зелёненькая, вкусно пахнущая, какие-то букашки, прошлогодняя косточка от сливы, кусочек веточки, пожухлый лист, видимо уже перезимовавший, и под всем этим очень приятная земля. О такой земле она только могла мечтать, копаясь дома в цветочных горшках. Интересно, не стали ли они все маленькими? Вон, какие огромные деревья, а ведь когда она смотрела на них из окна, деревья были не больше тех, что растут в горшках в квартире. Сашка пошла неуверенно по земле. И наступать-то страшно, так всё неровно, на каждом клочке земли что-то незнакомое, вот какая-то колючка торчит. Но через четверть часа кошка освоилась в этом загадочном мире, осмелела и научилась ловко наступать на землю между всякими торчащими из земли предметами.

Да, здесь для неё началась новая настоящая жизнь. Целыми днями она гуляла в саду, бегала за бабочками, птичками, мышками. Приходила поесть и опять отправлялась гулять, даже по ночам иногда гуляла, но спать возвращалась всегда домой, ловко запрыгивая в окно. По ночам ей разрешали спать в ногах у хозяйки, чтобы та не мёрзла. Сашке тоже нравилось спать на постели, хотя не нравилось, когда лапы протирали мочалкой перед этим. Поначалу стоило закрыть глаза, как в голове начинали мелькать трава, земля и сучки под лапами, снились они и ночами. Но потом она привыкла, и ей совсем перестали сниться сны. Она спала крепко, уткнувшись носом в хозяйкино одеяло. Так прекрасно проходило первое её лето.

Однажды она увидела такую же особу, как она сама, и как её мама кошка. Это была первая встреча с представительницей кошачьего племени, кроме родной семьи, и Сашка даже растерялась, не зная, что делать.

– Давай, поиграем, – предложила она кошке своё любимое занятие.

– Ищи того, кто моложе, – ответила кошка, даже не пристав с места.

– Ладно, – вздохнула Сашка и побрела дальше. Она была разочарована. Гулять в этом саду, где с тобой не хотят дружить, было как-то неуважительно к самой себе, и она полезла за другую ограду. Там тоже была кошка, они познакомились. Кошку звали Мусей, и она согласилась с Сашкой поиграть. Они бегали по огороду, играли в кошки-мышки, слазили на дерево и вместе погрелись на солнышке. Но дальше своего дачного участка новая знакомая идти отказалась.

– Там очень страшно, – призналась кошка.

– А что там страшного?

– Во-первых, там бегают собаки.

Это была правда, иногда по улицам пробегала добрая рыжая собака, а иногда злая, серая, лохматая, но на дачные участки они не заходили, пролезть не могли.

– А, во-вторых, там ходит один кот, он и сюда заходит, я его боюсь, и хозяйка сказала, чтобы я с ним не связывалась.

– А я никого не боюсь, – похвасталась Сашка, и чтобы доказать это, отправилась гулять на улицу. И в этот же день повстречала большого кота с поцарапанной щекой и откусанным ухом.

– Иди сюда, – приказал он. Голос его Сашке показался противным.

– Вот ещё, – ответила Сашка, – сам подойдёшь.

Кот, не привыкший к такому непочтительному отношению, изогнулся дугой, а потом пошёл в наступление. Было очень страшно, но Сашка сдаваться не привыкла, она тоже изогнулась дугой, шерсть встала дыбом. Как только кот приблизился к ней, она первая ударила кота лапой, распустив когти, а кот с такой силой отшвырнул её, что Сашка как мячик, отлетела в сторону. Лоб, щёки и бок болели, обида захлестнула, хотелось дать сдачи, но силы были не равны, и Сашка опрометью бросилась к изгороди, пролезла под ней, ободрав спину из-за спешки. Кот кинулся за ней, но он был больше и пролезть не смог, только злобно зашипел ей вслед. Не оборачиваясь, Сашка бежала домой и вдруг увидела собаку и уже во второй раз её спас забор. Тяжёлый выдался денёк – сплошные испытания, но этим всё не кончилось: дома её отругали за царапины, намазали их чем-то, от этого стало ещё больнее. Сашка, конечно, не давалась, но перевес сил был на стороне хозяйки и Вовки.

Весь следующий день Сашка никуда не ходила, сидела на подоконнике и выглядывала по всем сторонам кота с рваным ухом. Однако, когда царапины зажили, по словам хозяйки, как на кошке, Сашка осмелела и отправилась с хозяевами на пруд. Купаться она не стала: и в тёплой-то воде домашней раковины купаться не любила, а в такой холодной воде – брр! Но здесь оказалось очень интересно. В пруду, если присмотреться, можно было увидеть много маленьких и даже больших живых рыб, по воде смешно бегали водомерки и в воздухе кружились синие стрекозы. Кошка целый день просидела рядом с рыбаком, и он подарил ей настоящую живую маленькую рыбку, а потом ещё одну, и ещё одну. Ничего более вкусного она в жизни не ела. Рыбак оказался настоящим защитником: отгонял от неё собак и приставучих детей. Правда, один раз он на неё накричал, а всё из-за смешной птицы, которую назвал курицей. Сашка погналась за ней, потому что та смешно бежала, переваливаясь и подпрыгивая, и ещё кудахтала: кудах-тах-тах. Ну как тут устоишь! Нельзя так нельзя, – кошка уважала рыбака, и за курицей гоняться больше не стала, да и курица скрылась в траве. Так Сашка пристрастилась к рыбалке. И стала каждый день наведываться на пруд. Здесь она нашла своё подлинное призвание – помогать ловить рыбу.

ВЗАПЕРТИ

Однажды, когда кошка наблюдала за поплавком, ей послышалось, что хозяева зовут её. Странно, ведь они были далеко. Нет, не пойдёт она к ним. Ей здесь куда интереснее. Да и не голодная она, кроме рыбки её ещё и колбаской угостили. Наступил вечер, рыбак пошёл домой, и Сашка с ним.

Дойдя до своего дома, она с удивлением обнаружила, что дом закрыт, и хозяев нет. И автомобиля нет. Уехали, значит. И её, Сашку забыли. Ну и ладно, неинтересно жить в пыльной квартире. Много есть домов, где ей готовы налить молочка, вынести кусочек колбаски или косточки с мясом, да и в деревне можно у кошки из блюдца похлебать. Можно зайти, в крайнем случае, к её приятельнице. Только вот ночи холодные. Где бы переночевать? Надо найти какой-нибудь открытый дом. И Сашка отправилась на разведку. Ага, вот и домик раскрытый. Сашка зашла. Таких домов она ещё не видела. Чего там только не было: гвозди в ящике, камни в куче на полу, пыльные банки, дощечки, трубы, рваный ватник, грязные стулья, пустые бутыли для воды, какие-то тряпки, молоток, которого Сашка боялась, противная пила, Сашка не любила её голос. Всё лежало в беспорядке. Да, не дом, а свалка, зато прятаться удобно. Кошка забралась в дом, нашла какую-то лавку с подушкой и улеглась. А тут и хозяин домика появился, закричал на Сашку, схватил метлу. Кошка прыгнула за какие-то коробки, потом спряталась за деревяшками. Не так-то просто её здесь достать, пусть только попробует! Но человек закричал, что ему некогда, у него

электричка скоро уходит, схватил рюкзак и запер дверь снаружи. И тишина. Сашка подождала минут пять, подошла к двери, попробовала толкнуть, поддеть лапой. Дверь плотно закрыта, видимо на замок. Сашка подпрыгнула на подоконник и посмотрела на оконную раму, окно тоже закрыто на все щеколды. Ну и ладно. Она победила. Здесь переночует, а завтра уйдёт, нужно больно в таком сарае жить. Спрыгнув, наступила на что-то острое. «Не дом, а форд Боярд какой-то», – вспомнила любимую телепередачу, одну из немногих, которые было интересно смотреть. Она наткнулась на раскрытый мешочек с песком. «Ага, и туалет есть, неплохая ночёвка». Прыгнула на лавку, легла на подушку и заснула. Просыпаясь, прислушивалась к тишине и опять засыпала. А утром, когда рассвело, захотелось пить. Она встала, выгнула спину, прислушалась, пытаясь узнать обстановку по звукам: за окошком пели птицы, гудели проезжающие поезда, но людей не было слышно.

– Эй, хозяин, пора открывать, выпусти меня, – промяукала Сашка громко.

Но никто не отвечал. С улицы стали доноситься голоса людей, лай собак, иногда жужжание пилы, косилки, вдалеке слышался стук молотков. Целый день Сашка прислушивалась ко всем звукам, но шагов хозяина домика не было слышно.

– Что же делать? Что делать?

Сашка металась по двум комнатам, искала что-нибудь поесть и попить. Вот и бутыль с водой, но как её открыть? Она стала грызть ребро пластиковой бутыли. На то, чтобы прогрызть малюсенькую щёлочку, ушло много времени. Вода стала просачиваться. Сашка лизала воду. «Ну что ж, пока как-то можно жить». Она нашла кусок хлеба, завёрнутый в пакет, на нём когда-то лежала колбаса, и хотя колбасы уже не было, запах остался. Но вот стало темнеть. Комнату наполнил сумрак, на небе взошли звёзды. А потом стало светлее. На небе показалась огромная луна, почти полная и такая яркая, как будто светил огромный фонарь, даже намного ярче. В городе такой луны Сашка не видела, ей было не по себе. Спать не хотелось. Сидя на подоконнике, она смотрела в окно и жалобно мяукала. Вдруг Сашка увидела, как к окну подлетела белая кошка.

– Это у меня, наверное, от голода, – подумала. Закрыла глаза и снова открыла, а кошка за окном, у которой были необыкновенно добрые и мудрые глаза, беззвучно произнесла, слова были только в Сашкиной голове:

– Не бойся. Скоро к тебе придёт помощь, – и исчезла.

Сашка вглядывалась в сад, в тень от сосны и яблонь, в небо, кошки не было видно. И помощи не было. Сашка начала кричать громче и громче:

– Помогите, помогите!

Она услышала писк в тёмной комнате, где не было окон. Шорох, запах. Ура! Это мышь. Она не умрёт с голоду. Сашка опрометью бросилась в тесную комнату. Из дальнего угла донёсся тоненький голосок.

– Если Вы вздумаете ловить меня, я уйду.

– Ты мышь? – спросила ошеломлённая кошка.

– Она самая, пришла Вам помочь.

– Кому это «Вам»? Я здесь одна.

– Вам одной.

К Сашке никто никогда не обращался на Вы, и она знала, что так обращаются друг к другу чужие люди, взрослые, это было вроде уважение. Выходит, что и к кошкам так можно обращаться.

– Чем же ты можешь помочь?

– Вот пришла узнать. Вас, наверное, здесь закрыли? Есть, наверное, хотите?

– Конечно, хочу, может, ты другую мышь приведёшь, которую съесть можно?

– Где же я Вам такую дурочку найду, которая сама пойдёт к Вам на ужин? Я могу чего-нибудь принести.

– А чего?

– Кусочек колбаски, например, или сыра.

– А где ты возьмёшь?

– Да уж найду где. Ну, я быстро, ждите.

– Возвращайся скорей.

Мышка исчезла, а кошка подумала, что важнее еды – это общение с живым существом. С приходом мышки исчезли тоска и страх. И Сашка с нетерпением ждала её возвращения. Мышки долго не было, на самом деле, она отсутствовала всего десять минут, но и эти десять минут показались Сашке вечностью. От нетерпения она стала кататься на спине. А вдруг мышь не придёт? Зря она её испугала, сказав, что хочет съесть.

И вот оно, спасительное шуршание.

– Принесла?

– Угу, – ответила мышь с полным ртом. – Стойте, стойте, стойте, дайте-ка я отойду… на всякий случай.

Сашка подбежала к кусочку колбаски, и тут же проглотила его, кусочек-то был очень маленьким.

– Ну, я сбегаю за вторым кусочком.

– Я буду ждать, приходи быстрее.

Сашка смиренно села ждать. Она уже не волновалась, а больше радовалась предстоящей встрече. Было что-то очень приятное в том, что к ней обращались на Вы. Это повысило её в собственных глазах. Хотелось вести себя более благородно и уверенно.

Мышка прибегала ещё два раза с кусочками колбаски. У Сашки в желудке становилось всё приятнее, а на душе всё радостней. Она ещё раза два подходила полизать воды из бутыли.

На третий раз она попросила мышку остаться.

– Отдохни, давай, поговорим.

– Давайте.

– Как тебя зовут?

– Меня никогда не зовут, а только прогоняют.

– Ну, имя-то у тебя есть?

– Я слышала только возгласы: «Мышь! Мышь!».

– Ну, о том, что ты мышь, ты уже мне сегодня докладывала. Значит, у тебя нет имени. Можно я тебе его придумаю?

Мышь от восторга подпрыгнула.

– Да! У меня будет настоящее имя! Придумайте мне самое-самое красивое.

Сашка была озадачена. Она не так много знала имён, только имена хозяев, Вовкиного приятеля, да ещё пару людей, заходивших к хозяевам. Ещё она знала имя своей приятельницы кошки, с которой недавно подружилась. Вот у неё было самое красивое звучное имя – Муся.

– Да, я придумала. Хочешь, я буду звать тебя Мусей?

– Да. Мне очень нравится быть Мусей.

– А меня зовут Сашкой.

– Очень приятно.

– А как ты узнала, что мне плохо?

– Да Вы кричали на весь посёлок.

– Правда? а почему же никто больше не слышал?

– Да все слышали, даже было слышно из окна, как ругались по этому поводу. Вы никому спать не давали.

– А почему никто больше не пришёл?

– Да кто же ночью пойдёт из тёплой постели? Всем спать хочется.

– А вот ты же, Муся пришла?

– Мне стало так жалко Вас, Сашка. Вот, Вы какая большая и совсем беззащитная, а я вот маленькая, и мне ничего не стоит в любую щель пролезть.

Сашка уже не слышала, что говорила Муся, она остановилась в мыслях на одном слове.

– Как это, «жалко»? Что это такое?

Сашка часто слышала от хозяйки слова, обращённые к Вовке: «Пожалей кошку. Неужели тебе её не жалко?». Она всегда думала, что жалеть это значит не дёргать за хвост.

– Жалко, – ответила Муся, – это когда тебе становится больно, если кому-то другому больно и хочется помочь. А когда не можешь помочь, хочется плакать. Вам кого-нибудь было жалко?

Сашка задумалась. Нет, никого ей никогда не было жалко. Ещё не хватало, чтобы у неё болело, когда у другого болит. Может быть, это только у мышей бывает?

– Нет, кажется. Не было жалко. А это у всех бывает?

– Да. Думаю, что должно быть у всех, иначе бы все друг друга перекусали. Когда кто-нибудь кого-нибудь жалеет, ему хочется совершать добрые поступки.

– Я, кажется, и добрых поступков не совершала.

И вдруг Сашке стало и стыдно, и обидно. Почему она хуже мыши? И тут же кошка подумала, что не съела же она мышь, значит, это добрый поступок. Но внутренний голос подсказал, что это ещё не добрый поступок. Вот мышка рисковала жизнью, выбежала из уютной норки, и бегает туда-сюда, кормя её, а ведь какое ей дело до кошки. А как она уважительно к ней обращается – на Вы.

– Знаете, Муся, я должна тоже обращаться к Вам на Вы, это ведь приятно.

– А мне нравится на ты, ну это как-то больше по-дружески, ведь мы же друзья?

– Да, друзья, ну тогда и ты зови меня на ты, что бы было равенство.

– Давай, – согласилась охотно Муся.

– Муся, не уходи, пожалуйста, посиди со мной.

– Да, я и не собиралась уходить. А давайте, то есть, давай на звёзды и луну посмотрим. Сегодня луна такая яркая – сверхлуние называется.

– Это что такое – сверхлуние?

– Это луна близко к земле приблизилась.

– А она не упадёт? – испугалась Сашка.

– Наверное, нет. Дедушка про это ничего не говорил.

– Какой ещё дедушка?

– В доме около моей норки дедушка есть. Он своему внуку интересные вещи и рассказывает, и читает, а я слушаю.

– Вовка тоже иногда что-нибудь смешное рассказывал около телефона. Возьмёт его в руку и давай говорить, так ерунда всякая, а иногда интересно. А вот читал он редко, да и то не поймёшь. А иногда возьмёт книгу, смотрит туда и ничего не говорит. Я туда смотрела, полизала, понюхала и погрызла, так и не поняла ничего.

– Я тоже пробовала, там тайна какая-то, мне нравится, как пахнет. А вот дедушка говорит, что там есть буквы, вот эти буквы он и читает, и получаются слова. А мы слушаем, и нам интересно.

– Расскажи мне, что дедушка читал, ну или рассказывал.

– Вот, например. Эти звёздочки, что мы видим – они не маленькие, а огромные, и вокруг них по кругу вращаются разные планеты.

– А что такое планеты? – Сашке было страшно интересно, ничего такого в её доме не рассказывали, а в основном, говорили, что чего стоит, где что дешёво продаётся и как их где-то обманули.

– Планеты – такие большие шарики, но поменьше звёзд, такие как наша Земля, на них может быть, даже живут другие люди.

– Ну, про людей мне не интересно, их и здесь навалом. А кошки там есть?

– Наверное, есть планета кошек и планета мышек. И может, быть когда-нибудь, они прилетят к нам. – Муся и сама стала верить в то, что она сказала, хотя дедушка, кажется, этого не говорил.

– Ой, – обрадовалась Сашка, – а я сегодня видела кошку с другой планеты, она пролетала около окна, и сказала, что скоро ко мне придёт помощь.

– Интересно, а она ещё прилетит? – спросила Муся.

– Не знаю, давай смотреть. – Они уселись рядышком и стали смотреть в окно. Вернее, сидела кошка, а мышка стояла на задних лапах, упершись передними в нижнюю раму.

– Какие здесь яркие звёзды! – воскликнула шёпотом Сашка, – а в городе таких не было.

– А город, он тоже на земле или на другой планете?

– Не знаю. Мы оттуда ехали на автомобиле.

– Значит, тоже на Земле, с другой планеты вы бы летели, – подумав, ответила мышка. – А мыши в городе есть?

– Нет, я никогда не видела. Наверное, это всё-таки на другой планете. А мне нравится здесь, потому что если бы я была на планете, где только кошки, я бы тебя никогда не встретила.

– Мне с тобой тоже нравится, – сказала мышка. И поближе придвинулась к кошке, а та нежно лизнула её в ушко.

– А вот этот внук – это мальчик?

– Да, мальчик. Он очень добрый, он кормил меня, когда дедушка не видел, сушками.

– А за хвост не дёргал?

– Нет.

– А меня Вовка и его приятель за хвост дёргали и за уши, а это больно, – Сашка вздохнула.

Мышка в знак сочувствия нежно лизнула кошкину лапку.

И вдруг он увидели, как мимо пролетела белая, полупрозрачная кошка с мудрыми глазами и помахала им лапой.

– Вот она! Вот она! – наперебой закричали Сашка и Муся, но кошка уже исчезла. Подруги молча смотрели в тёмный сад и звёздное небо, пытаясь понять, куда улетела прекрасная гостья.

– Прилетай ещё! – наконец, опомнилась Сашка.

– Мы будем ждать, – шёпотом дополнила Муся, – каждую ночь.

Они просидели до утра, смотрели на звёзды и гадали, с какой планеты прилетала загадочная кошка, и вокруг какой звёздочки вращается планета кошек, а вокруг какой планета мышек.

Утром мышка принесла ещё немного еды, и Сашка уснула. А Муся побежала по своим делам, надо было и самой поесть, и поспать в норке, которую она прорыла около дома с дедушкой и внуком. Там были все условия, и диван от Барби и одеяльце, и целый склад зерна, вермишели и орехов.

Ночью она опять пришла к Сашке. Подруги провели всю ночь в интересных беседах. Мышь рассказывала много неизвестного и занимательного для подруги, она была очень образованная, а Сашка рассказывала ей телепередачи о животных. Рассказывать Сашке про городскую жизнь было стыдно, получалось, что она всё время делала всем только неприятные вещи и не сделала ни одного доброго поступка.

И вот неожиданно днём к кошке пришло решение: надо помочь хозяину дома навести порядок. Сашка бодро вскочила с подушки и взялась за уборку. Она складывала просыпавшиеся гвозди в коробку. Все бумажки и газеты сложила в одно место. Потом взяла тряпку и возила по полу. Проделав столько тяжёлой для кошки работы, она почувствовала себя страшно усталой и легла спать. Делать добрые поступки оказалось делом непростым, хорошо бы что-нибудь полегче придумать.

На следующую ночь Муся рассказывала Сашке сказку, и не какую-нибудь там сказку про колобка, которую Вовка иногда упоминал, а сказку про дядю Фёдора в деревне Простоквашино. Сашке очень понравился кот Матроскин. Вот бы ей научиться быть такой хозяйственной. Слушая каждую ночь новые сказки, она поняла, почему дедушкин внук мышку не обижал: дедушка ему сказки читал и рассказывал, а Вовке никто не рассказывал, поэтому он и дергал её за хвост. Сказки, выходит, дело полезное. В них всегда всё заканчивается хорошо и добро всегда побеждает. Вот бы и ей тоже добрые поступки совершать. Но какие? Дом она уже убрала, а что же ещё сделать? Она спросила Мусю, кого пожалеть и кого спасти. Муся задумалась.

– Я вот что думаю, у меня есть хороший вариант. Хозяева твои могут и не вернуться. А тебе надо куда-то на зиму пристроиться. Ты же в норке зиму не пересидишь. Здесь неподалёку живет одна женщина, картины рисует. У неё недавно умер кот, вернее он исчез, он был очень старый, и потом совсем пропал, наверное, улетел на другую планету, и она по нему очень сильно горюет, ты бы могла её пожалеть и с ней пожить. Но ты всё-таки сначала сходи к своим хозяевам. Вдруг они вернулись и тебя ждут – не дождутся.

– Мне бы только выйти отсюда.

– Хозяин домика скоро должен приехать: неделя прошла, сегодня вечером народ уже стал приезжать на дачи. Значит, твой завтра приедет.

Муся часто говорила о том, что хозяин приезжает раз в неделю, но Сашка плохо разбиралась в календаре. И поэтому очень обрадовалась, что этот день завтра наступает.

– А если он не приедет?

– Значит, ещё через неделю приедет.

– А если нет?

– Не может быть. В крайнем случае, будем делать подкоп.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Хозяин всё-таки приехал. Сашка ждала его, спала тревожно, и только человек вставил ключ в замочную скважину, она подскочила к двери. Как только дверь открылась, кошка тут же выскочила, как стрела из лука.

– Смотри-ка, живая! – воскликнул человек. – Ну что, не хочешь больше оставаться взаперти?

– Нет! – отозвалась Сашка. – Спасибо за гостеприимство, – и быстро побежала на участок, где жила мышка Муся. Она громко мяукала, пока не разбудила мышку, и та сонная вылезла из норки.

– Я свободная! Ура! – крикнула кошка. Подруги потерлись носами.

– Иди, попроси у дедушки поесть, – подсказала Муся.

Сашка мяукнула, подбежав к дому, и дедушка налил ей в блюдечко сметаны и положил ложку творогу. «Хорошо быть кошкой, – думала Сашка, – стоит мяукнуть, и на тебе молочко, а рыжий пёс бегает по улицам, вертит хвостом, в глаза смотрит, провожает и встречает, и только тогда ему молока могут налить». Сашка с жадностью съела обед и потёрлась в знак благодарности о ногу дедушки, внука было не видно, видимо где-то играл.

Наши подружки договорились встретиться ночью, пока ещё неизвестно на какой территории, и Сашка отправилась проведать своих хозяев. Она волновалась: как всё сложится? Калитка была открыта, но дома была только злая бабушка, она замахнулась на кошку и закричала:

– Иди отсюда! Иди, откуда пришла!

– Пока, – махнула хвостом Сашка и убежала из этого дома навсегда.

Прежде чем искать новый дом, она отправилась на пруд. Рыбака не было видно, и Сашке стало грустно. Старая жизнь, похоже, закончилась совсем, и кошка отправилась на поиски новой. Калитка в заборе у искомого дома была открытой. Сашка подошла к дому, да это был точно дом художницы, Сашка определила по запаху, как описала Муся. Женщина мыла чашку в мыльной воде тазика. Сашка присмотрелась к ней: добрая, такая за хвост точно не будет дергать. Художница казалась очень грустной, Сашке вдруг стало её жалко. Да-да, она в первый раз поняла, что умеет жалеть. Она подбежала к женщине и потёрлась о ногу в знак сочувствия. Женщина поставила чашку на стол и погладила Сашку. Сашка решила проявить свой кошачий талант и замурлыкала.

– Какая ты хорошая, – женщина взяла её на руки. – Кушать хочешь?

Сашка, конечно, поела у дедушки, но она так наголодалась за эти дни, что не отказалась бы от чего-нибудь вкусненького. Женщина вынесла ей баночку с кошачьим кормом, открыла и выложила на блюдце. «Да, от такой еды не откажешься», – и кошка опять замурлыкала после еды и потёрлась о ногу женщины. Та взяла кошку на руки, села на лавку, положила на колени и стала гладить её серую головку за ушками. Сашка совсем расслабилась и заснула. Сон был приятным: они жили с Мусей в одной чистой и солнечной квартире, спали на одной подушке, а женщина пела им какую-то ласковую песню. Проснулась Сашка и вправду на подушке. Рядом стояло блюдечко с водой.

– Как мило, – подумала Сашка. – Так что, остаюсь?

Женщина оказалась очень понятливая, она тут же откликнулась на вопрос:

– Оставайся у меня жить, киска.

Сашка опять потёрлась о ноги новой хозяйки.

– Ну что же, решено. Придётся помыться. Ты не возражаешь?

Ей налили тёплую ванночку, намазали каким-то шампунем, поливали из кувшинчика тёплой водой. Оказалось, что это даже приятно. Потом женщина завернула кошку в пушистое полотенце, положила на колени и сказала:

– Совсем забыла представиться, меня зовут Лена.

– А меня Сашка, – представилась Сашка. Но Лена кошачью речь не поняла.

– Как же тебя звать? Откуда ты взялась? Худая какая, значит, хозяев давно нет. Хотя, ты домашняя. Не возражаешь против имени Саския?

– Почти угадала, может быть, это моё полное имя? – подумала Сашка.

– Саския была женой Рембрандта, это художник был такой, – объясняла Лена Сашке, будто бы знала, что кошка её понимает. – Саския, правда, длинновато, может быть просто Саска, а я тебя буду звать Сашка. Согласна?

– Какая же она умная, – с восхищением подумала кошка, – даже, пожалуй, умнее меня.

Всё время, пока Сашкина шерстка сохла, Лена гладила её, согревая руками, и они вместе слушали музыку. Сашка и не знала, что музыка может быть такой приятной. Стоило пожалеть разок, и вот, пожалуйста, сколько подарков тебе даётся. Сашка впала в полудрёму и продолжала урчать.

Потом женщина сказала:

– Ну что же, ты, уже высохла, Сашка. Приступим к работе.

– Надо же, это она мне предлагает, – подумала кошка. В прежней семье ей никто поработать не предлагал, все куда-то уходили работать без неё.

Лена достала какую-то странную штуку (это был мольберт) и установила её около куста, покрытого розовыми цветами, поставила стул с подушкой перед мольбертом и посадила сверху Сашку.

– Будешь натурщицей. Посиди немножко, я тебя нарисую.

Вместо карандашей у Лены были какие-то мелки, она называла это пастелью. И она села рисовать. Сашка терпеливо ждала, она никак не ожидала, что сидение на подушке и называется работой. Ничего в этом сложного не было, сиди себе и смотри или можно совсем глаза закрыть. И чего они всегда говорили, что устают на работе?

– Ну, всё, – сказала Лена, – ты у меня уже готова, сейчас я буду писать куст. А ты можешь посмотреть, что получилось.

Сашка сразу спрыгнула со стула и подбежала к мольберту.

– Давай, я тебя подниму, чтобы было лучше видно.

Лена взяла Сашку на руки, и та рассмотрела изображение кошки на бумаге. Неужели это она? Очень даже симпатичная кошечка. Сашка осталась довольна результатом. Вот только справа штрихи на полотне были какие-то неровные, Сашка потянулась и лапкой потёрла штрихи, краска выровнялась, вместо штрихов стала плавная поверхность.

– Смотри-ка, какая ты талантливая! Супер-художник!

Сашка опять потянулась и потерла лапкой ещё в одном углу.

– Мы с тобой вместе будем писать картины!

– Да, – воскликнула Сашка.

Лена заканчивала картину, а Сашка пристально смотрела на полотно. Что же добавить? Придумала! Она прыгнула к Лене на руки, дотянулась до своего портрета и приложила свою лапку, размазав штрих, и даже царапнула свою подпись коготками. Вот теперь она самый настоящий художник, у неё есть своя картина, совместная работа с Леной.

Так у Сашки началась новая, полная творческой деятельности жизнь.

Ночью она отправилась к Мусе, а та уже ждала на пороге дома.

– Пойдём на подоконник звёзды смотреть, – предложила кошка.

– Ага, – ответила Муся шёпотом, чтобы не разбудить Лену.

Они уселись на подоконнике. Чистая счастливая кошка и мышка, радующаяся за свою подружку.

– Я художницей стала, – прошептала Сашка и рассказала сегодняшнюю историю.

– А можно картину посмотреть? – спросила Муся.

– Завтра утром посмотрим. А теперь давай на звёзды поглядим.

И они молча любовались звёздами. Луна была другая, а сад более тёмным, чем они привыкли наблюдать, в доме пахло краской, чаем и цветами. Хорошо и радостно быть на воле, иметь такой уютный дом и любоваться вместе звёздным небом и ночным садом. Они и не заметили, как уснули.

Лена проснулась, увидела, что дверь приоткрыта, а Сашки на месте нет, она тихо прошла на веранду, и увидела свою спящую питомицу, обнимающую мышку. Лена замерла в удивлении. Посмотрела, тихо-тихо вернулась в комнату, а утром нарисовала картину: мышка спит в объятиях кошки.

– Значит, она нас видела, – подумала Сашка, оценив произведение. – Молодец, не испугалась Муськи.

Она, конечно, добавила бы кое-что от себя: звёздочки. Звёздочек явно было маловато, Сашка их запомнила хорошо и нацарапала лапкой.

– Ты права, – сказала Лена, – в звёздах я плохо разбираюсь.

Днём они собрались на пруд, Лена взяла мольберт, краски, кисти и купальник. Сашка шла рядом с хозяйкой, слушала Ленины размышления, а думала о своём: «Интересно, будет ли рыбак на пруду?». А вот и приятный водяной аромат, от него ушки у Сашки поднимаются, ноздри ловят запах воды и рыбы. А ещё она пытается унюхать рыбака. Ура! Он здесь. Она побежала к рыбаку, художница пошла за ней. Сашка их познакомила, и Лена решила нарисовать и рыбака, и Сашку за рыбалкой. Сашка, конечно, похвасталась всеми своими талантами. Во-первых, она скребла лапкой, и поплавок начинал колебаться и тонуть, и рыбка ловилась, – хотите, верьте, хотите, нет. Сашка и сама удивлялась, что у неё открылся такой волшебный дар. Во-вторых, она помогала художнице рисовать, а ещё ловко подхватывала на лету рыбку, стерегла одежду, пока хозяйка ходила купаться. Дел у неё было много.

Настала счастливая пора. Почти каждый день Сашка ходила на рыбалку, совмещая с пленером. Пленером, как выяснила кошка, называется живописание под открытым небом. Потом они все вместе отправлялись домой, чистили рыбу, жарили и ели вместе с рыбаком. В другие дни они с Леной отправлялись далеко-далеко, через поле, переходили почти высохшую в этом месте речку и собирали луговую клубнику или подходили к роще, где росла лесная земляника. Ягоды Сашке нравились, нравилось поваляться на землянике, половить бабочек, а весь долгий путь Лена несла её на руках или Сашка сидела у Лены на плече. Однажды Лена отправилась в город по делам, а Сашка была в доме за хозяйку, рыбак, правда приходил рано утром, открывал ей дверь, кормил, и они вместе отправлялись на рыбалку, ближе к вечеру возвращались, и он закрывал кошку в доме. Потом Лена вернулась с подарками для Сашки: домик, миска, туалет. Всё новенькое, пахло зоомагазином с кошачьими кормами. Ещё Лена сказала, что отдала на выставку их совместные картины, и теперь Сашка прославится на весь город, а может быть, и на всю страну.

Однажды солнечным утром они, как всегда, отправились на пруд. Рыбака в этот день не было на пруду, он работал, они шли не спеша, налегке, без мольберта, Лена собиралась поплавать, а Сашка – подышать любимыми запахами, Лена рассказывала Сашке о городских новостях. Сашка слушала внимательно, не очень-то следя за дорогой, и вдруг на дорогу выскочил велосипедист, это был Вовка. Он сразу заметил Сашку, спрыгнул с велосипеда и закричал:

– Сашка! Вот ты где, иди сюда.

Сашка испугалась, как бы Вовка не забрал её в свой дом. Она подбежала к ноге хозяйки и подняла хвост.

– Иди сюда! – кричал Вовка, пытаясь схватить Сашку. Изогнувшись дугой, кошка зашипела.

– Она не хочет к тебе, – мягко сказала Лена и взяла Сашку на руки.

– Это моя кошка, отдайте.

– Почему твоя? – спросила Лена.

– Потому что моя. Мы её сюда привезли на дачу. А она убежала, когда мы уезжали.

– Когда это было?

– Месяц назад, перед тем, как мы в Турцию летали.

– Она ко мне пришла, – ответила Лена, – три недели назад, голодная и худая. Возможно, это и твоя кошка была, но видишь, она не хочет идти к тебе.

Сашка при этих словах плотнее прижалась к хозяйке.

– Вы не имеете права! – кричал Вовка. – Отдайте!

– Как тебя зовут?

– Володя.

– Сашка, хочешь к Володе?

Сашка зашипела в ответ.

– А почему Вы знаете, что её зовут Сашкою? – спросил с подозрением Вовка.

– Она мне об этом сама сказала.

– Да ладно, кошки не умеют говорить.

– Ты знаешь, Сашка – необыкновенная кошка, умеет говорить, дружит с мышкой, любуется звёздами и пишет картины. Если хочешь, пойдём с нами, и ты посмотришь, как она рисует. Может быть, вы нарисуете что-нибудь вместе.

– Да ну, не умею я.

– Сашка тебя научит. Правда, Сашка? – Сашка заурчала в ответ, такой поворот событий ей больше нравился.

Вовка и вправду нарисовал пейзаж вместе с Сашкой. Лена, конечно, помогла им немного советами, ну и кое-что подправила. Вовка остался довольным.

– Класс! – восторженно воскликнул он, высоко подпрыгнув. – Я тоже художник! А мне на выставку можно?

– Думаю, что да, если Сашка разрешит.

– Сашка? Разрешаешь?

– А почему бы и нет, – подумала Сашка и заурчала. Такой Вовка ей тоже нравился, но жить она останется всё же у Лены, а он пусть приходит рисовать.

Ночью она всё рассказала Мусе, та радовалась за подругу и сожалела, что не умеет рисовать.

– А ты знаешь что? – пройдись вот по этой картине, – Сашка показала на картину, которая лежала на столе. – Только вот здесь, где пол нарисован.

Муся прошлась, оставляя следы на пастельной зарисовке.

– Вот видишь. Теперь видны твои следы на полу, сразу видно, что здесь ходила мышка.

– А хозяйка не отругает?

– Я думаю, что ей понравится. Это знаешь, концептуально.

– А что это такое?

– Сама не знаю, но когда что-нибудь непонятно, Лена говорит: «Концептуально».

– Ну, будем надеяться, что это кон… как ты говоришь?

– Концептуально, а Вовка говорит, что это круто.

– Мне, кажется, что у людей какие-то разные языки. Как они друг друга понимают?

– Да, главное, чтобы мы друг друга понимали. Правда?

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ДОБРОЙ?

Так во взаимопонимании проходило лето. На месте цветов появлялись семена с пушинками или колючками, яблоки становились всё больше, а ночи становились всё длиннее и холоднее. Звёзд на небе стало больше и ещё они стали падать с неба.

– Побудем в поле, – как-то сказала Сашка, – посмотрим, как звёзды падают. Может быть, и найдём одну.

– Они же огромные, вдруг на нас свалятся, – испугалась Муся.

– Но что-то не видно, чтобы огромные падали. Может быть, они уменьшаются, пока до нас летят.

И они отправились в поле ещё в сумерки, не дожидаясь темноты, Сашка несла Мусю на спине. Перед глазами мелькала мошкара, Сашка моргала и махала хвостом, пытаясь отогнать надоедливую мошкару, но Мусю несла аккуратно.

Подул ветер, мушек как будто сдуло, по небу понеслись облака, стало совсем темно. Внезапно они услышали чей-то визг.

– Кто это? – испугалась Сашка.

– Не знаю, – сказала Муся, – пойдём, посмотрим.

И они отправились на звук визга.

Перед ними было странное лохматое существо поменьше кошки, но намного больше мышки, и хвоста не было. Большие чёрные глаза смотрели на Сашку и Мусю снизу вверх растерянно и испуганно.

– Ты кто? – спросила удивлённая Сашка.

– Ксюша, – ответила незнакомка, плача. Ветер порывисто промчался, и жёсткий лист вишни упал на лоб Ксюши, она вздрогнула и взвизгнула.

– Привет, Ксюша, – ответила Сашка, стараясь не обращать внимания на испуг новой знакомой. – А я никогда про ксюш не слышала. А вы кто такие, ксюши?

– Я о других не знаю, я одна – Ксюша.

– Ну вот, я – кошка, а она – мышка. А про ксюш я не знаю.

– Это меня **зовут** Ксюша, а я не кошка и не мышка, я свинка.

– Да ну? Свинки не такие, я в деревне видела – там около пруда.

– А я морская.

Ветер подул ещё сильнее. Большие чёрные деревья качались из стороны в сторону, и Ксюша дрожала от страха. Сашке тоже было не по себе, но она должна была держаться с достоинством рядом с меньшими приятелями.

– Вы в море плаваете? – удивилась Муся. – А как вы сюда приплыли – по пруду?

– Я морская не в смысле морская, а в смысле заморская, меня из-за моря привезли.

– Ух ты, какие там свинки за морем! – воскликнула восхищённо Сашка. – Ты плакала от того, что за море хочешь?

– Нет у меня дом здесь, но я заблудилась, – и Ксюша ещё больше заплакала. Большие блестящие её глаза даже в темноте выделялись на фоне трёхцветной шкурки.

– А как Вы заблудились? – спросила Муся.

– Я сидела на травке. Солнышко прямо в глаза, я пошла в тенёк, потом ещё дальше – в тенёк. Потом грядка со свеклой, такие вкусные листья, потом капуста, тоже вкусно, потом куда-то шла, потом под чем-то пролезала, а потом ягодка такая красная вкусная, а потом была капуста, а потом кажется салат, нет, кажется, травка, я забыла, – и Ксюша опять заплакала.

Стало ясно, что скоро начнётся дождь, стало прохладно, запахло очень сильно какой-то травой и землёй. Ветер донёс сюда даже запах пруда, и хотя Сашка обожала этот запах, сейчас вдалеке от пруда он показался ей очень тревожным. Она волновалась, но своим маленьким товарищам волнения не выдала.

– Я думаю, что Вы недалеко ушли, – предположила Сашка как можно более уверенным тоном, – поэтому надо громче визжать, тогда Ваши хозяева услышат, ведь Вы в доме с хозяевами живёте?

– Я сначала жила с Лёвой, папой и мамой, – хныча, отвечала Ксюша, – а потом они поехали отдыхать, а меня не взяли, и сюда отдали – тёте Насте, а она сначала положила меня в ванну плавать, она думала, что я в море должна жить, потому что морская, а потом, когда поняла, что я боюсь воды, выпустила на травку.

– Визжите, чтобы тётя Настя Вас нашла, – пронзительно пискнула Муся, стараясь перекричать шум листвы.

– Я боюсь, что прежде её лохматая собака услышит и прибежит, – решила Сашка.

– Ой, боюсь, боюсь, боюсь! – захныкала свинка, – Лёва говорил, что я вкусная, и собака меня может съесть. А вы меня не съедите?

– Нет. Мы добрые, не бойтесь, – ответила ласково Муся.

– Скоро дождь начнётся, – подытожила Сашка. – Быстрее вспоминай, какого цвета дом.

– Я не помню, – и Ксюша залилась слезами.

– Ладно, – констатировала Муся. – Кое-что мы знаем: у Вашего дома растёт свёкла, капуста и малина, стоит ванна. Есть хозяйка – тётя Настя. Сашка, ты везде ходишь, где это?

– Я сейчас мало гуляю, мне некогда, рыбалка, пленэр. Но, кажется, я знаю, где это, – пошли.

Ксюша спешила за Сашкой. Неожиданно грянул гром, и Ксюша метнулась в траву, а Муся спрыгнула со спины.

– Куда вы? – испугалась и Сашка.

– Мы боимся! – пропищала Муся, а Ксюша спряталась в высокой траве.

– Ничего страшного, важнее найти дом, у нас нет времени, – серьёзно сказала Сашка, а у самой поджилки тряслись от страха. – За мной!

Они прошли ещё немного.

– Это твой дом? – обратилась она к морской свинке около маленького дома со светящимся окном и открытой калиткой.

– Кажется, да. Но тогда светло было.

– Тогда визжи, – велела кошка.

Не успела Ксюша взвизгнуть, как из дома выскочила хозяйка. Она подбежала к свинке, радостно схватила её, прижала к груди.

– Как хорошо, Ксюшка, что ты нашлась, а мы уже плакали, нам сказали, что тебя собаки съели.

Ксюша похрюкивала от счастья и лизала хозяйку.

– Ну, мы пошли, – сказала Сашка, – завтра придём навестить.

Тут только тетя Настя заметила мяукнувшую кошку, мышку в темноте она так и не разглядела.

– Да ты тут не одна, заходи, кошечка.

– Нет, мы пойдём, скоро дождь, – ответила кошка. Но тётя Настя её речи не поняла и увидела только убегающую кошку с поднятым хвостом.

Опять сверкнула молния, и грянул гром. Муся, прижавшись к Сашкиной спине, верхом добиралась до дома. Едва кошка подошла к ограде Мусиного участка, закапали первые капли, Муся соскочила, попрощалась и бросилась бежать в норку, а Сашка – к себе. Отдельные капли сменились проливным дождём, мех на Сашке промок и прилип к шкурке, глаза заливала вода. Лена стояла в дверях и звала свою подопечную. Сашка с мяуканьем бросилась к Лене. Она начала рассказывать ей сегодняшнюю историю, но Лена решила, что Сашка напугана грозой. Она взяла Сашку на руки, завернула в полотенце, положила на колени и стала согревать руками, гладить, успокаивать.

– Как нелегко быть доброй, – думала кошка, – вот промокла до шкурки, зато Ксюша в тепле, и тётя Настя рада. А как там Муся? Не залило ли норку? Не холодно ли ей? Надо было её к себе пригласить.

Лена чувствовала, что Сашка никак не успокоится, и разговаривала с ней, пытаясь отвлечь от неприятных переживаний.

– Сашка, я хочу тебя порадовать. Скоро мы с тобой полетим в Венецию.

Сашка подняла ушки. Что это ещё за Венеция? Наверное, это другая планета, раз на неё летают. Вот, они всё мечтали, мечтали с Мусей, и вот тебе – другая планета – Венеция. Там, наверное, всё другое, и если свинки за морем без хвоста и такие чудные, то на другой планете, кошки, наверное, тоже без хвоста. А вдруг там хвост отвалится?

С одной стороны – никто за него дёргать не будет, а с другой – как-то она к этому хвосту уже привыкла.

– Там много воды, – продолжала безмятежно Лена, – кругом одна вода, представь, что вокруг дома большие пруды, всюду пруды. Пахнет рыбой.

Большое количество воды Сашку не радовало. Вон оно как за окном поливает, Сашка бы сейчас предпочла что-нибудь сухое. Ей и Ксюше хорошо. А каково Мусе? А этот кот с откусанным ухом, может быть, он тоже где-нибудь мокнет, от того и злой такой, потому что его никто не жалеет. Нет, что-то не о том она думает, что-то она главное упустила. Если они полетят в Венецию, что же будет с Мусей? Она останется одна? И они никогда не будут вместе сидеть ночами, и рассказывать друг другу истории? И смотреть на небо? А есть ли в Венеции звёзды? А есть ли рыбаки?

Кошка ёрзала в руках, мяукала, пытаясь задать вопросы, но Лена поняла её по-своему.

– Да ты не бойся, в самолёте будем лететь не долго, зато потом мы будем с тобой писать венецианские пейзажи. Туристы будут покупать наши картины. Ты станешь известной на весь мир.

Да, это было неожиданное предложение, что-то внутри приятно ёкнуло, она представила, как на глазах у публики подписывает картины, позирует перед камерами, и её показывают по телевизору. Вовка посмотрит и удивится. А бабушка будет злиться на себя! Но потом она подумала, что придётся расставаться со всем этим миром, который она успела полюбить: бабочками, цветами, деревьями, свинкой Ксюшей и прудом, пусть не таким большим, как в Венеции, с рыбаком, которого она полюбила, а главное, придётся расстаться с лучшим на свете другом Мусей. От этого стало так больно, как никогда в жизни ещё не было. Вот если бы она не подружилась с Мусей, она бы так не страдала. Нет, она не сможет расстаться с подругой, она останется здесь, может быть, к Вовке опять придёт жить или к дедушке. А как же Лена? Ведь её она тоже не сможет покинуть. Лена опять будет грустная. И от этого кошачье сердце заныло ещё сильнее. Выходит, не так и хорошо, когда кого-то жалеешь, ведь ей никогда не было так грустно. Если бы кто-нибудь два месяца назад ей сказал, что она будет страдать из-за мышки или из-за хозяйки, она бы не поверила.

– Увидишь, какое там красивое небо, – сказала Лена, – мы там встретимся с одним художником, его зовут Джулиано, мы всегда там в это время года встречаемся, будем вместе любоваться мириадами звёзд и по ночам писать картины. Очень удобно, освещение не меняется, свет звёзд и фонарей.

– Значит, она такая же, как я, – подумала Сашка, – любит смотреть на звёзды, и, выходит, небо звёздное там тоже есть. Она будет разговаривать со своим Джулиано, а я с кем буду?

Эти мысли не давали ей покоя ни днём, ни ночью. Спала Сашка плохо, аппетит пропал, рисовала картины без вдохновения, только портила. Стояли дождливые ночи, и Муся не приходила к ней по ночам. Днём Сашка сама приходила к подруге. Они забирались в высокую траву, чтобы побеседовать незаметно о всяких разных вещах, но разговор плохо клеился, Мусе было некогда, она сушила свои запасы на солнышке, а Сашка продолжала мучиться и не знала, что ей выбрать. Она не осмеливалась сказать подруге о Ленином решении. Она навещала и Ксюшу, деловито жующую траву на лужайке, свинку привязывали поводком к кусту, чтобы далеко не заходила. Ксюша была приветливой, делилась огурцом и морковкой. Сашка погрызла огурец, огурцы она любила, а вот морковка её не привлекала. Она хотела спросить у Ксюши совета, но не смогла. Сашка понимала, что решение должна принять сама. Рыбак куда-то исчез, выходит он не надёжный, то есть, то его нет. Надеяться на то, что он зимой её прокормит и приютит, нельзя. Когда приходил Вовка, который, впрочем, стал Володей, Сашка присматривалась к нему и понимала, что его она никогда так не полюбит, как Лену, да к тому же он сказал, что скоро уезжает с дачи. Ещё он похвастался, что ему скоро купят собаку. Этого только Сашке не хватало! Да, Сашка ему не нужна. Она нужна Лене и Мусе. Так кого же выбрать? Самое сложное в жизни – это сделать выбор. Когда никого не любишь и не жалеешь, то всё равно, а когда любишь и жалеешь…

Вот и настал день, когда Лена сказала, что они должны собираться ехать в город, назавтра она заказала такси. Она начала складывать вещи, Сашка же металась из стороны в сторону, она бегала то к Ксюше, то к Мусе, но играть не стала, не игралось. Надеяться на что-то было уже некогда, надо было принимать решение. Вечер выдался ясный, и Сашка предложила Мусе пойти на пруд – посмотреть на звезды. Прошлый поход их так и не удался из-за дождя.

Они шли не спеша, ночь была тёмная: луны не было видно, хотя звёзды светили лучезарно. Трава была мокрая от росы. Муся, как и в прошлый раз, сидела на спине у кошки. Вот и пруд, он подошли к нему со стороны поля, подальше от деревни. Сели и смотрели молча на раскрывшийся над ними купол чёрного неба со светящимися крупинками огней. Сашка никак не могла начать разговор, Мусе передалось состояние подруги, и она тоже молчала.

– Муся, с завтрашнего дня я остаюсь здесь с тобой без Лены, – наконец, буквально выдохнула Сашка.

Муся устремила на неё вопросительный взгляд своих круглых глаз-бусинок.

– Я так решила, – добавила Сашка, – она улетает на другую планету, а я не могу с тобой расстаться, и остаюсь.

– Да ты что, Сашенька? – впервые мышка назвала подругу ласковым именем, – ведь здесь будет зима. Ты в норке не поместишься, да и что ты есть будешь?

– Кто-нибудь накормит, – Сашка задумалась, потом добавила, – мышей, конечно, я есть не смогу. Я, наверное, тоже норку вырою, только большую.

– Нет, так не годится, у тебя такая большая норка не получится. Лети с Леной. Туда кошкам можно?

– Да, можно, Лена говорила. Но без тебя я не смогу жить.

– Да мы встретимся, наверное, следующим летом. А у меня здесь работы будет много, надо будет всю зиму дом дедушки стеречь от других мышей.

– Так давай я тебе помогу!

– Да как ты в дом попадешь?

– А вдруг я не вернусь с другой планеты и так там и останусь? Лена ничего не говорила о том, что мы вернёмся.

– Она же не все вещи забирает?

– Да, не все.

– Значит, вернётесь.

– Но когда это будет? Кто же мне будет сказки рассказывать? Я по тебе очень буду скучать. А ты разве ты не будешь скучать по мне?

– Конечно, дедушка и внук уедут, и у меня не будет никого, а тебя я, знаешь, как люблю?

Она прижалась к кошкиной лапке, и та услышала, как бьется маленькое мышиное сердце: тук-тук-тук.

– А потом ты приедешь и всё-всё мне расскажешь про другую планету.

В это время они услышали тревожные крики Лены: она звала Сашку. Голос Лены приближался, сердце Сашки наполнилось жалостью, и она мяукнула в ответ. Она подставила спину для Муси, та забралась на неё, и кошка пошла навстречу Лене.

– Сашка, – воскликнула Лена, – вот ты где, дорогая моя, как ты меня напугала, у меня прямо сердце оборвалось. Я подумала, что ты не хочешь со мной уезжать. Ой, что у тебя на спине? мышка? Да это твоя подружка? Та, что нарисовала следы на полу на картине? А хочешь, мы её тоже возьмём?

– Правда? – радостно воскликнула Сашка. – Муся, пожалуйста, Муся.

– Да, конечно, я полечу с тобой даже на другую планету.

– Ну, вот у меня ещё один маленький соавтор, – сказала Лена.

Она нежно взяла Мусю на ладонь, та съёжилась от страха, но Лена очень бережно погладила мышку, и ей стало радостно и приятно – у неё появилась большая добрая защитница. Мимо пролетала белая кошка с красивыми мудрыми глазами, помахала им лапой, но Лена, Муся и Сашка её не заметили, потому что были счастливы и смотрели друг на друга.

ХОСИ СИНЪИТИ

В переводе с японского Игоря Сиренко

СТУЛ
рассказ

Найти его дом было нелегко. Сколько раз приходилось водителю останавливаться и ходить по замусоренным переулкам, наводя справки в табачных ларьках и питейных забегаловках.

– Ну что, разобрался?

На этот мой вопрос вернувшийся из очередного похода водитель ответил с недоуменным видом:

– Да вроде здесь уже недалеко. Не пойму только, почему друг господина президента изволит жить в таком месте.

Я закончил университет и двадцать лет вкалывал, в итоге стал управлять хоть и небольшой, но своей компанией. Похоже, водителю было невдомёк, почему мой друг живёт на отшибе в таком ужасном месте. Я и сам не мог понять, почему он так прогорел.

– Да я и сам не понимаю. Мы с ним в университете учились на одном курсе и были очень близки. Может, оттого что рано лишились матерей. Мы завидовали своим друзьям, у которых матери были живы, рассказывали друг другу о мимолётных, смутных воспоминаниях про своих мам.

– А после учёбы чем изволил заниматься ваш друг?

– Он пошёл работать в торговую компанию. Объездил все европейские и американские страны. Как говорили в бизнес-кругах, был очень активным и предприимчивым. И потому не могу понять, почему он неожиданно уволился и переехал в такое место.

– А вам доводилось с ним встречаться после его возвращения в Японию?

– Да, довольно-таки давно он ко мне пришёл и просил дать денег в долг. Потом уже больше не приходил. И хотя он и приходил просить деньги в долг, у него не было несчастного вида прогоревшего, – наоборот, он всё время улыбался, был такой радостный, да и по внешнему виду нельзя было сказать, что у него какие-то проблемы со здоровьем. Согласись, понять здесь что-либо нельзя. Каждый раз, когда я о нем вспоминал, то начинал сердиться, но благодаря тому, что в тот раз я записал его адрес, сегодня и получилось съездить.

Тем временем машина медленно продвигалась по узенькой улочке и, наконец, остановилась.

– Похоже, это находится здесь, – сказав это, водитель открыл дверь автомобиля. В машину хлынула застойная вонь.

– Ужасное место.

Я вылез из машины, достал из кармана долговую расписку и сверил адрес, указанный в ней, с табличкой, прибитой к дому на дощечке. Это оказался накренившийся дом с дешёвыми съёмными квартирами. Поднявшись по скрипучей лестнице, я стал рассматривать фамилии жильцов. Перед одной из комнат увидел наконец его фамилию.

В ответ на мой стук изнутри донесся знакомый мне голос:

– Заходите.

Я открыл дверь и вошёл. Это была плохо освещённая, грязная комната. В середине её, на стуле, сидел он. Увидев меня с нежностью сказал:

– А, это ты! Давно не виделись. Хорошо, что ты решил меня навестить.

– Да брось ты… Скажи лучше, что случилось, почему ты живёшь в таком месте? Провал на работе? Потерял здоровье?

– Да нет, всё вроде…

Я не дослушал его ответ. По виду, у него не было ни подавленного состояния, ни какой-то изможднности, напротив, было какое-то светлое, невинное выражение, которое никак не вязалось с этой комнатой. Причем, дисгармонировало не только его выражение лица, но и ещё кое-что – стул на котором он сидел.

Это был большой стул с налетом старины, его мягкие изгибы создавали ощущение полноты, контрастирующей с окружающей убогостью.

Я не мог удержаться и спросил:

– Стул неплохой, да?

– Его я приметил и купил в магазине старой мебели в немецкой глухомани, когда ездил в Германию. На нём действительно сидеть очень удобно.

– В Германию ты ездил как раз перед тем, как уволиться из компании, а почему ты уволился? Тебе ж ещё работать бы да работать.

– Да никакой особо причины не было. Как-то просто расхотелось мне работать, – отвечал он с чувством полного удовлетворения, сидя на стуле.

– Смотрю я на тебя – полная безмятежность. Ты что, денег накопил?

– Нет, разве стал бы я жить в таком месте? Сам можешь догадаться.

Я вспомнил о деньгах, данных ему в долг.

– В таком случае мог бы пойти работать. Тебя с твоими способностями везде бы приняли с распростёртыми объятьями.

– Благодарю за совет, но работать не хочу. Меня сейчас всё вполне устраивает.

Я начал понемногу злиться – из-за лени он загнал себя в такое положение, не вызывающее никакого сочувствия.

– Не думал, что ты докатишься до такой жизни. Похоже, я заблуждался относительно тебя. Полностью разрываю с тобой отношения.

– Вот как, – ответил он, продолжая улыбаться как и прежде. Это окончательно вывело меня из себя.

– А что ты думаешь? Ты скатился на самое дно. Отдавай мне деньги и конец дружбе. Мы общаемся с тобой со времён университета, если бы у тебя были какие-то особые обстоятельства, конечно же, я и не стал бы требовать деньги. Но ты вальяжно сидишь на этом стуле и намерен жить, ничего не делая… Быстро отдавай деньги!!!

– Требуй, не требуй – денег у меня нет!

– Если денег нет – заберу этот стул с собой, – я сделал ударение на последнем слове и тут, у него, впервые, появились признаки беспокойства.

– Погоди-погоди, бери что хочешь, только стул оставь.

Сумма, которую я ему одолжил, была незначительной для меня, но я продолжал закипать.

– Мне что, нужен твой стул? Хорошо бы ты деньги вернул. А если тебе этот стул так дорог, то тогда возвращай деньги.

– Вряд ли получится отдать деньги. Бери что хочешь, но стул не трогай.

Я не соглашался.

– Так дело не пойдёт. Я позабочусь об этом стуле. Со здоровьем проблем у тебя не вижу, со способностями всё в порядке. Тебе надо с головою разобраться, перенастроиться и хорошо бы пойти работать. Тогда сможешь купить таких стульев сколько захочешь.

Похоже было на то, что именно этот стул и был причиной его падения. Чтобы помочь ему перестроиться, надо было забрать у него этот стул.

Ради дружбы я пошёл на грубые действия: выглянул в окно, позвал ожидавшего там шофера, вместе с ним мы сбросили на пол сопротивлявшегося друга и унесли этот стул.

Вот он – этот стул.

Я приказал принести его в мой президентский кабинет. В одиночестве я стал внимательно его рассматривать. Этот старинный стул – с мягкими, плавными линиями словно соблазняя, приглашал меня сесть на него, – я сдался.

Мягкий, пухлый, откуда-то доносилось ощущение тепла. Это ощущение было похоже на то, к чему ты давно стремился.

Я пытался вспомнить это чувство и, наконец, мне удалось. Я понял, что стул и был причиной того, почему мой друг пришёл в такое состояние. Это – было такое же чувство, как испытываемое на коленях у мамы. Это было давно забытое ощущение из детства, сохранившееся где-то в уголке памяти: ты ото всего защищен, на маминых коленках ты забываешь обо всём.

Я закрыл глаза и стал наслаждаться.

– Господин президент, похоже, вы чем-то наслаждаетесь, но уже скоро время начала совещания, – донёсся голос секретарши. Но теперь, совещание… Совещание, да бог с ним… Уйдёшь со стула, вдруг что ещё и произойдёт, да и вообще могу ли я теперь покинуть его…

«ОКОЁМ»

ОКТЯБРЬ. ВИТЕБСКИЙ ЛИСТОПАД

XXXIV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» состоялся. Никакие трудности в пересечении границ, оскалы пандемий и ужасы мировых кризисов не смогли уменьшить силы притяжения друг к другу людей творческих, ретировались перед осенним обаянием Витебска, растворились в магии поэтического слова, музыки и артистизме участников. Организатором фестиваля, как всегда, выступили Центр культуры «Витебск» и Витебский областной исполнительный комитет. В этом году им пришлось немного изменить формат проведения форума: вместо обычных четырёх дней – два, вместо больших залов – уютная, камерная атмосфера, вместо обязательного очного участия финалистов – возможность дистанционного участия. При этом конкурсные номинации остались теми же: авторская песня, поэзия, визуальное искусство, исполнительское мастерство.

Начался фестиваль 16 октября 2020 года экскурсией в Музей истории Витебского народного художественного училища, образованного в начале прошлого века по инициативе Марка Шагала. В своё время в стенах училища преподавали и даже проживали Марк Шагал, Казимир Малевич, Юдель Пэн, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева и другие. Их энергия до сих пор витает в помещениях старого здания на улице Марка Шагала. Участники фестиваля в полной мере смогли ощутить её, соприкоснуться с ней и немного подзарядиться.

Она пригодилась уже скоро. В этот же день, в 16.00, после небольшой экскурсии по музею «Духовской круглик» в нём же состоялся «Турнир поэтов». Состязание прошло по кубковой системе, на выбывание. В финале встретились Маргарита Богданович (Минск) и Ольга Головня (Гродно). Победила Маргарита Богданович со второй попытки – в первой участницы набрали одинаковое количество голосов.

Финалы во всех номинациях прошли 17 октября. Творческие баталии развернулись на площадках Центра культуры «Витебск» (в номинации «Поэзия») и Концертного зала «Витебск» (в других номинациях). В этот же день в программе гала-концерта были объявлены и выступили перед зрителями все лауреаты фестиваля.

Номинация «Поэзия» включала в себя две подноминации: «Свободная тематика» (24 финалиста – 13 очно, 11 дистанционно) и «Стихи для детей» (16 финалистов – 7 очно, 9 дистанционно). Оценивали произведения участников 8 членов жюри (4 очно, 4 дистанционно). Дистанционно – значит, в режиме zoom-конференции. Такой формат был опробован впервые и, безусловно, стал интересным и очень полезным опытом в организации конкурсных мероприятий. По оценкам жюри победителями стали:

Подноминация «Свободная тематика»:
Лауреат I степени – **Елена Уварова** (Мытищи, Россия)
Лауреат II степени – **Маргарита Богданович** (Минск, Беларусь)
Лауреат III степени – **Кира Скиба** (Санкт-Петербург, Россия)
Подноминация «Стихи для детей»:
Лауреат I степени: **Виктория Соколовская** (Полоцк, Беларусь);
Лауреат II степени: **Владимир Ореховский** (Рига, Латвия);
Лауреат III степени: **Дмитрий Юртаев** (Минск, Беларусь).

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» установил свой приз симпатий для участников фестиваля – публикация конкурсной подборки на страницах журнала. Обладателями приза стали: Скиба Кира (Санкт-Петербург, Россия), Север Виктория (Кудрово, Россия), Соловьёв Павел (Гродно, Беларусь), Марченкова Кира (Сельцо, Россия), Швец Софья (Москва, Россия).

Финальным аккордом фестиваля стало определение обладателя Гран-при – специальной награды «Признание». Им стал автор-исполнитель из города Губкина (Россия) Сергей Черных.

А организаторы уже работают над следующим фестивалем. Не за горами новый конкурс, к участию в котором мы вас приглашаем. Уютный, приветливый Витебск готов принять вас всегда, наперекор всем трудностям и преградам.

До новых встреч в новом году, друзья! Берегите себя.

Олег Сешко

КИРА СКИБА

Санкт-Петербург

***

Вот такое пространство: редкая суша,
В основном же – повсюду стоит вода.
Закричать бы, да горло сделалось *уже*,
Убежать бы, да как – по воде, куда.

Иногда заплывут случайные лодки,
Но пока осмелеешь – их след простыл.
Горизонт прорисован линией плотной,
И маршруты к нему, как всегда, – просты,

И к нему устремились вечные струи.
Только солнце не выглянет ни на миг.
Не случилось оставить местность сырую,
Не пришлось тосковать о себе самих.

И догадка мелькнёт, что эта промозглость
Есть одна из причин изменений тел:
Кто себя ощущал сонливым, громоздким –
Тот становится странным: насквозь «не тем».

На каком берегу бы мы ни лежали –
Так похожи на чудищ из старых книг:
У меня под одеждой выросли жабры,
У тебя, полагаю, растёт плавник.

Мы тихонько сползаем к кромке безвестной,
Всё ловчей и свободней за разом раз.
Это место такое, гиблое место,
Все здесь сгинут, как водится, – кроме нас.

***

Долготерпеньем, любовью, обманом, войнами
Без мечей –
Как территория эта была освоена
И зачем?

Кто без ошибки не суше придал значение –
А воде?
Местный таинственный морок тобой, кочевником,
Овладел.

Ты сомневаешься: снова идти на поиски –
Есть ли смысл?
Только откуда (так быстро, что даже боязно)
Ни возьмись

Боль по груди разливается – здесь и выше. То
Есть судьба.
Необходимым становится что-то вышептать
Из себя.

Ходишь по кромке замёрзшей воды рассеянно,
Ищешь ритм.
Что существует снаружи ландшафтом северным –
То внутри:

Острые камни у берега, сосны-выскочки,
Лес-гротеск…
Скоро найдётся – на внутренних скалах высечен –
Верный текст;

Скоро покажется невероятной прежняя
Немота.
Каждое слово как будто всё так же режется –
Но не так.

Это пространство звучит бесконечной жалобой
Неспроста:
Не оставляй меня, не оставляй, пожалуйста,
Не оста…

***

Как многозначна эта темнота:
Она одновременно – наказанье
И дар; немилосердна и добра.
Вот застаёшь себя внезапно там,
Где вовсе и не думал оказаться, –
В особой точке, где нельзя соврать.

Я озираюсь: пересохший грунт,
Тоскливая, огромная равнина,
Куда ни глянь – погасшие костры.
И смоляная темнота вокруг
Тревожна, но, конечно, не сравнима
С той темнотой, что у меня внутри.

С той темнотой, что не щадит тел*а*,
Густой, лиловой, вязкой, как чернила,
Предельно обостряющей чутьё;
К чему б она меня ни подвела
И что б она со мной ни учинила –
Я обязуюсь вышептать её.

Сначала это словоблудье, но
Потом – словопоток, с которым больно
Справляться, не утрачивая суть;
Потом – всё чётче русло, и оно,
Заполненное подлинным тобою,
И есть – единственно возможный путь.

Шепчи, шепчи чернильные слова:
Из чрева, через меру, через силу,
Вычерпывай, част*и* и отчуждай.
И голос-то пока что – слабоват,
И дышишь-то – неровно, некрасиво,
И в выдержке-то – вечная нужда,

Однако, нет опасней ничего,
Чем перестать звучать. Спроси иначе –
Что есть определенье тишины?
Целебное, чудн*о*е вещество,
Что возникает между слов, а значит –
Слова должны быть произнесены.

Всё прочее – безмолвие. Его
Непросто изживать, и это вправду –
Преодоленье и искусство сметь,
А с ними очевиднее всего
Сопряжена мучительная радость,
Которая оспаривает смерть.

ВИКТОРИЯ СЕВЕР

Кудрово

НИ СЛОВА О ВОЙНЕ

Дед Яша справа, слева – деда Лёня.

Морщины, папиросы, леденцы,
Усталость стариковской хрипотцы.
Я – маленькая, с шариком зелёным,
Обмотанная шарфом, будто ком.
Они приходят, пахнут табаком.
Смеются, мол, опять на лето внучка.

– А где снежинки, что ж не привезла?

И плавятся три месяца тепла
Под солнцем, как молочные тянучки.
Ползёт в атаку пепел на столе,
Орёт из телевизора Пеле,
Деды из кресел вторят, я за ними.
Так на войне, наверное, орут.
Ни слова о войне. На пять минут
На кухню, по сто грамм трофейных примут.

– Вот, был бы внук, то с нами бы на пруд,
А внучек на рыбалку не берут!

Берут! И на рыбалку как в разведку
Уходим на рассвете, как тогда –
Дед Лёня мчит в товарных поездах,
Дед Яша на коне.

Родные дедки!
Обнять бы вас, уткнуться носом в нос,
Чтоб снова каждый мне конфет принёс,
Чтоб дрогнула в стаканах «Изабелла»,
Услышать речь скрипучую, до слёз,
И в комнате пусть дым от папирос.
Чтоб каждый год ко мне весна летела,
Как деды – в поездах и на коне.
Всё о весне. Ни слова о войне.

ШЕЛЬМОВСТВО ЭТОТ СНЕГ!

Шельмовство этот снег!
Утром – белый, потом
добавляется в красное шарфа и клеткам пальто.
Заполняет пробелами скоропись птичьих следов.

Ты его дразнишь пухом и белой водой,
он тебе – всё в лицо, и в лицо.

Но сойдёт и за правду,
за тени хрустальных дворцов
или сахарный город – твоя остановка трамвая,
индевелые скверы, высотки бетонного рая.

Не пиши ему.
Он продирается сквозь А4
винным блеском.
Тягуче мешается север и юг,
заполняя неровные строчки твоих закорюк.
Застилает хандрой, словно день до весны зачехлили.

Завтра он притворится немым и больным,
растворится шипучей таблеткой зимы.

Но сегодня ты требуешь: «Снега даёшь!»
И тебе ухмыляется дождь.

ТОЛЬКО Б ПОМНИТЬ ЭТОТ МИР ЖИВЫМ

Мороженое было только в отпуске.
На палочках, заснеженные глобусы
крутились, подставляя мне бока.
Хотелось наглотаться до ангины,
до будущего отпуска, пока
плывут в фольге подтаявшие льдины,
и дремлет вьюга в вафельных стаканчиках.

Бумагу бы с опаской разворачивать,
как будто снег начнётся, и каюк –
покроет лето. Нам опять в посёлок,
где глобусы в фольге не продают.
За окнами – шептание позёмок,
и крыши дразнят сладкими сосульками.
Кастрюля с молоком пыхтит и булькает.
В стеклянке золотится рыбий жир,
излечивая зиму и ангину.
И засыпаешь. Лампочек пунктир
то ближе, то тусклее, ясно, мнимо…

Ещё спешить по многим мостовым,
и мне чужие дали опостылят,
Но только б помнить этот мир живым,
со вкусом зим и тающей ванили.

———

ПАВЕЛ СОЛОВЬЁВ

Гродно

И ВСЁ

а нынче всё иначе чем вчера
свою папирусную лодку светлый Ра
на запад разворачивает
небо
темнеет с каждым часом
облака
мешают видеть горние знаменья
но тем не менее стоим как остолопы
так простоим до *у*тра
до утр*а*
глядим поверх троллейбусных насестов
где птицы-четвертушки свесив штили
высвистывают изредка секунду
к дрожанию асфальта под колёсами полночных грузных TIR-ов
и все ориентиры сбиты, как лётчик Джао Да
пронзительное слово «никогда»
не каркают вороны в старом парке
на шпилях кирхи отблески крестов готически зловещи понарошку
а мы стоим объятые объятьем
об я дробь мы споткнувшись
и рассвет
пока
не красит нежным светом ничего

так простоять хотелось бы всю (…жизнь?
нет нет плашмя упавшую восьмёрку)
но восемь склянок и пора бежать
на пары
на работу
на запястье
неумолим хронометр он мелет
тот пресловутый пуд (чего?) в песок
тик
так
не так
и всё не так
и всё

ЗНАКИ

Ежеминутно набегающей на берег
Морской воде
Не дотянуться, не стереть
Тех странных знаков,
Которые сегодня мы с тобой,
Дурачась, написали на песке
Чуть выше линии прибоя.
Они застынут, затвердеют
Среди морских прибрежных отложений,
Переживут любые катаклизмы,
И будут найдены спустя тысячелетья,
И, может быть, найдётся Шампольон,
И надписи придаст какой-то смысл.

Вот так сегодняшняя наша
Забава может стать
Причиной выдающихся открытий,
И наши отдалённые потомки
Не будут знать, кого благодарить
За принципы мгновенных путешествий,
Координаты обитаемых миров
И драников рецепт аутентичный.

***

То, что было, останется там, в янтаре/январе.
Слюдяное крыло запечатано в вязком меду,
Мутно-жёлтый кусочек, впитавший потоки тепла,
Сделай дырочку, нитку на шею, и вечно храни.

Сосны плакали, волны катали, а время текло,
И крыло трепетало, светилось, держа над землёй.
Лёгкий танец стократ отражён в многогранниках глаз,
Переливчатым телом восьмёрка-сближенье-распад.

То, что было, останется там и тогда, но не тем.
Через тысячи тысяч вернуться к холодной воде,
Босиком по балтийскому берегу сеять песок,
И найти, и оставить на месте, и тихо уйти.

КИРА МАРЧЕНКОВА

г. Сельцо Брянской обл.

О ЛЮДЯХ И ДЕРЕВЬЯХ

***

Являешься на свет, и в этом суть
Житейская, простая, но однажды
Перерастаешь собственный сосуд –
Убогий, типовой, малометражный,

И вот уже коснулись потолка
Твоих ветвей изломы и изгибы,
Как будто есть резон его толкать
И выбираться, на свою погибель.

А всё же выпрямляешься, растёшь,
За новый мир цепляешься корнями,
И облака роняют тёплый дождь,
Задев тебя косматыми краями.

***

С каждым днём и часом обрастая,
Словно ствол побегами, людьми,
Чувствуешь себя не зверем в стае –
Деревом, возросшим в нелюбви.

Старым дубом в зарослях осоки
На пустынном дальнем берегу,
В чистом поле ивой одинокой,
Круто изогнувшейся в дугу.

Дни отдельно прожитого века
На воспоминания дробя,
Кем угодно, но не человеком
Почему-то чувствуешь себя.

***

Скрипучая вселенская спираль
Пойдёт очередной виток раскручивать.
И вот, из под Господнего пера –
Отточенного, тонкого, летучего –

Возникнет мир – уже в который раз –
В окошке, паутиной занавешенном,
И защебечут кто во что горазд
На тонких ветках птицы счастья вешнего.

И поредеет прошлогодний снег,
И вырастут леса многоэтажные.
А дерево проснётся по весне,
Как ни крути, а всё-таки не каждое.

СОФЬЯ ШВЕЦ

Москва

ПЕХОРКА. ИЮНЬ

Полдня таскать бы солнце на закорках
С песчаной кручи, наперегонки,
Туда, где мелководная Пехорка
Ныряет под горбатые мостки,

Напитаны смолой и земляникой
Младенческие дёсны берегов…
Быть на изломе, на ребре, на стыке,
Быть на кресте простых и страшных слов.

Где медяками звякает орешник,
И тянут лапы кверху камыши,
Песком, надеждой, страхом вперемешку
Пересыпать бы отмели души.

Не славу – Трисвятое бы пропели
Под гулким куполочком цвета льна
Когда в шершавой заводи шинели
Замрёт солоноватая волна.

Когда речная тишь наполнит фляжку,
Прильнёт к груди с доверчивостью пса,
Как некогда, спасительно и тяжко,
Девчонки расплетённая коса.

***

По городу слонялась бездомная Луна…
И. Бабель

Бездомным иногда быть проще.
Ты размагничен и бессрочен,
Тебя за краешек полощет
Тоска в худом корыте ночи.

Неполным иногда быть слаще.
Ты – просто скол чужого счастья,
Ты сгинешь без вести пропавшим
В очередной кошачьей пасти,

Тебя не видно и не жалко.
Приходит день, глухой и глупый,
Клюют асфальтовые галки
Рябины сохнущие струпы.

СОЛОВЕЙ

Не плачь, мой соловей, не плачь, не плачь,
Когда бежит веснушчатый палач
За нежностью немой и легкоплавкой.

Теснится в перламутровом зобу
Похожее на лепет и мольбу
Слюдой морозной, солнечной булавкой.

Горошинка на блюдце золотом,
Бумажный профиль с обожжённым ртом,
Гусиным криком вспорота перина.

Свободного заменит заводной.
Тебе осталось на своей одной,
Закрыв глаза, брести тропой звериной.

В прозрачной скорлупе недолог сон.
Смотри на тех, кто тайно был крещён
Солёной пеной, языком отваги.

Смотри, как отплывают корабли.
Как прячет небо в пряничной пыли
Под кожей черепичной Копенгаген.

ГАЛИНА СОКОЛОВА
ЭЛЛА МАЗЬКО

У ПОПА БЫЛА СОБАКА…
повесть

Окончание. Начало в № 3’2020.

ЧАСТЬ II

1

«Осень уже пришла», –
шепнул мне на ухо ветер,
подкравшись к постели моей.

Мацую Тосиюки

Наверное, не в добрый час праздновали мы победу наших медицинских технологий. Потому что сразу по возвращении в головном офисе начался свой «путч» – брожения.

– Слышь, Сергеич, – явился утром взволнованный зять Сашка. Не решаясь сесть, он переминался у входа, теребя потрёпанную тетрадь. Менеджер Сашка Бардюк приходил по утрам к Абрамову за «ценными указаниями». После чего, забросив свой кондуит в ящик офисного стола, отправлялся «по делам» – в район бывшей барахолки, где вызревал вещевой рынок «7-ой километр». Сашка устанавливал там собственный контейнер-рефрижератор. Это был его уже третий за последние годы бизнес, и тетрадь в руках стала, скорее, данью традиции, чем необходимостью, – не очень-то верил старший менеджер в долгую жизнь своих нынешних доходов.

– А чего бы нам не скинуть Генерального? – предложил он, сильно понизив голос и оглянувшись на дверь.

– И чем же тебе не нравится Генеральный?– Абрамов впился в лицо зятя, следя за его выражением.

– А чем он может нравиться? – по-одесски, вопросом на вопрос, живо отозвался Бардюк. – Ты ж в курсе: – наш Генеральный только деньги жрёт. Сорвёт полтора куска и – гуляет, – Бардюк подмигнул нам обоим с видом заговорщика. – Не жирно ли? Дом купил, квартиру в центре. Ещё и за его люксовый номер платим. А деньги-то кто на счёт гонит? А?

– Ну, а вместо него кого? – заухмылялся Абрамов.

– Сергеич, не боись. Я и порулю. А чего? Думаешь, я лох? И дешевле, Сергеич, мы ж родаки как-никак.

На лице Абрамова мелькнула издёвка, которую зять не заметил.

– Видишь ли, Сашик, – Абрамов снисходительно пролистал его тетрадь. – Генеральный-то наш из числа первооткрывателей метода. Над ним Москва руку держит – бабло-то в Центр из его рук идёт. Иркино – да, только для нас, а всё, что от лечебного процесса, – в Москву. Они нам из этого потом премии начисляют, – он выразительно похлопал себя по карману.

– Да плевать на Москву, – вспыхнул отвергнутый мятежник. – Создадим своё СП – зачем нам Москва?! Аппаратуру всё равно в Киеве клепают. А у меня среди ихних инженеров кое-кто свои уже есть. И каналы реализации я знаю. Думаешь, зря я городских партократов кормил? Они же половину Иркиных договоров приходовали! Не дрейфь, дорогой Сергеич, дело верняк! – глаза Бардюка светились хулиганисто и весело. – Да мы и сами эту байду склепаем, – отфутболил он верный пас Абрамову. – У меня и электронщики на примете есть. Можно даже не СП, а малое предприятие сварганить.

Абрамов пас не взял.

– Ты москвичей-то за дураков не держи. Это их ноу-хау. Без москвичей аппараты – железный лом.

– Ай, Сергеич! Плевать, – Бардюк обернулся было ко мне за поддержкой, но в ту же минуту лицо его озарилось идеей. – О! Мы же и на фальсификате срубим! Верно говорю, Сергеич! – лицо карбонария

накрыло завесой мечтательности. – А потом на Канары-Сейшелы рванём! К тайцам на массаж – Виолетка давно мечтает! По «мерседесу» хапнем! Мы ведь, Сергеич, ещё и не жили!

В крупной черепной коробке Абрамова что-то тяжело заворочалось.

– Подумать надо.

Возбуждённый Бардюк неуклюже кружил по комнате, то и дело спотыкаясь о папки, туфли, коробки. При его росте выглядело это смешно, и, приняв мою улыбку за одобрение, Бардюк выпалил:

– Даю рупь за сто: мы с тобой такое «МММ» вертанём, Сергеич! Всех уволим к свиньям собачьим и… – смекнув, что дал маху, он бросил быстрый взгляд в мою сторону: – Ну… это… можно Иру оставить. – Подумал ещё и приплюсовал бухгалтера. – И… и нас с тобой…

– Меня-то кем? – с видом кота возле мышиной норки поинтересовался Абрамов.

– А старшим менеджером! Ну да, Сергеич, вы с Иркой будете договора гнать. А я рулить.

По лицу Коммерческого скользнула кривая ухмылка.

– Ладно, посмотрим, – отступил он, что-то прикидывая в уме, чтобы не продешевить. – Высшее-то есть?

– Обижаешь, Сергеич. Высшая мореходка. И стаж в море пятнадцать лет!

Кроме морского, Бардюк имел ещё и солидный бизнес-стаж: до Медцентра он торговал сигаретами, а теперь, обзаведясь валютным счётом в банке «Порто-Франко», в свободное от медицины время вместе с Виолеткой клепал дома мороженое. Склепав, облачал его в обёртки от московского «Пломбира» – ловкость рук и никакого мошенства, но, даже с расходом на них, себестоимость была копеечная. И дальше прямо из рефрижератора радовал взрослых и детвору (хватило бы наличности вовремя налоговиков подмазать, и сегодня бы спасал гостей города от жары!).

– А глянь-ка, Сергеич, на свою «Волгу», – заскочил Бардюк снова в обед и позвенел ключиками. Польщённый Абрамов просиял. Машина была его давней мечтой. – Это тебе бонус как будущему старшему менеджеру! – и бросил ключи на стол.

– Проверил хоть?

– Или! Отличный Росинад. Не первой свежести, конечно, но очень даже ничего, – и взглянул на меня смеющимися глазами. – Тридцать кусков, Сергеич. С тебя половина – родаки всё-таки.

Абрамов посмотрел на меня вопросительно. В своё время нашим ВАЗовским «росинадом» занималася Деда, и в машинах я была такой же профан, как Абрамов, который никогда не водил. Я пожала плечами.

– Да нормально, Ир, – шурша купюрами, поспешил заверить меня Бардюк. – Не боги горшки обжигают, на курсы сходите, – и, глядя всё так же, со смехом, спросил: – Ну так как, Сергеич, загонять во двор?

– Загоняй, – важно соизволил тот. И белая «Волга» с гнутым ржавым бампером торжественно вползла на дворовую брусчатку. Уже значительно позже, когда мой тщеславный избранник наконец воссел за руль, стало ясно: любимому тестю дорогой зять удружил рухлядь, самое место которой на свалке.

– Так я же предлагал посмотреть! – отбросил обвинения Бардюк.

И это правда.

2

А вскоре в гастрономе, гордо переименованном в «Супермаркет», хотя там, кроме плиток шоколада и пёстрых бутылок «Портвейна» купить было нечего, я столкнулась с Нелей. За вполне ещё приемлемую цену она круто отоварилась коньяком «Наполеон». Про него поговаривали, что никакой это не импорт, а всего лишь «мадэ-ин-Молдавия». Население боролось с инфляцией путём элементарной купли-перепродажи. Перегородив проход и огрызаясь на выносившую нас толпу, Неля так же круто чинила мне допрос:

– Ну признайся, какого рожна ты из себя королеву-то гнёшь?! Чего это ты зарплату и свои проценты за договора не берёшь? Я от тебя в шоке, Ирка.

– Да какое я отношение к тем деньгам имею! – взмолилась я: меня и в Центре уже достали этой темой. – Пусть ваш Абрамов что хочет, то с ними и делает.

– Договора чьи? Твои?

– Ну, мои.

– Значит, твои и деньги! Ты прям: «Я не такая, я жду трамвая!». Фу-ты ну-ты, ножки гнуты, – неистовствовала Неля. – Все берут, а она не берёт! Да на эти фантики уже и купить нечего. Тут надо мозгами шевелить, а не королеву из себя корчить. Вон цены: вчера рупь – сегодня сотня! Потому, голубушка, хватай, что успеешь! Э-э-эх… На твоём месте другая бы вся уж в золоте ходила и на серебре ела. А ты?! Постричься у приличного мастера не имеешь за что! – Неля перебросила пакет с коньяком в другую руку и, сжав кулак, энергично трясанула им в воздухе. – В свои руки бери всё! Хватит о любвях-то думать! – Она прошлась по моему лицу с насмешкой. – Любови ваши – просто химическая реакция в мозгу. Они никакого отношения к делу не имеют!

– А не ты ли меня сватала за этого Абрамова? Вместе с Борюнчиком, – ехидно напомнила я.

– Ну, сватала. Думала, ты – головастая. – Она с любопытством проводила глазами машину с бурёнками. Животинам было тесно и жарко, и они раздражённо бодались обломками рогов, будто это могло их спасти от предстоящей участи. – Дуры какие! Их на бойню везут, а они друг дружку пыряют! – Неля сплюнула и отвернулась с негодованием. – Заруби на носу: нормальная жена – что таракан. Мужик её видит только ночью да на кухне. Ему и знать не надо, чем она занята. Пока я это не поняла, у меня тоже в кармане была вошь на аркане. – Она резко остановилась и рывком выхватила из пакета бутылку «Наполеона». – Или ты думаешь, мой Борюнчик – сахар? Ага, жди! Просто я целю куда надо. Я для него Жозефина! Знаешь такую? Я ему, как она, пою, что он самый-пресамый. Всем им охота быть лучшими! – она любовно погладила императорский портрет. – Думаешь, почему этот страшненький коротышка стал императором?

Мои губы дрогнули – я вспомнила, как в прошлом году Неля столь же пылко расписывала Святую землю. Тогда они с Борюнчиком вернулись из паломничества. «Представляешь тот путь Христа на Голгофу?! Я еле доползла – ужас! А как же ему, бедненькому?! Там такие крутые ступеньки!!!».

– Чего? Я снова что-то смешное брякнула? – подозрительно покосилась она на меня. – Разве Наполеон не страшненький?

– Страшненький-страшненький, – поспешила я развеять её сомнения и, надув щёки, со значением процитировала из теории Меха: – У него «низкий визуальный самцовый ранг при крайне высоком либидо».

– Ну! – обрадовалась Неля.– Я и говорю: это Жозефина его сделала, она ему внушила! – и скачками кошки потащила меня в метро. Мне даже почудилась сероватая метёлка хвоста из-под звериных полос её юбки. Уже в вагоне она выразительно уставилась на мои потрёпанные босоножки. – Сколько ты уже с ним? Год? Неужели больше?! Э-эх, голова садовая.

В следующий мой приезд, светясь от гордости, Абрамов сообщил, что разделался со всей своей бандой.

– Как это? – я запихивала в холодильник привезённые с собой продукты. Хоть суммы от договоров прибывали, мой поэт предпочитал питаться дома. Под словом «ресторан» он привык понимать попойку и только попойку. И, решив ещё раз примерить на себя роль жены, я теперь всё чаще постигала нехитрые женские премудрости. Говорят же, чем самостоятельней женщина, тем больше ей охота подчиняться. Парадокс?

– А ты что, забыла? При тебе же Бардюк предлагал свалить Генерального.

– Ну да, при мне, помню.

– Так вот. Как-то прихожу, смотрю: кадровичка Нонна что-то вписывает в трудовые книжки. «Что это?» – спрашиваю. А она: вот, мол, готовлю Центр к ликвидации. Увольнять всех будем. Я свалял ваньку и взял одну книжку. А там чёрным по белому: такой-то, мол, уволен по собственному желанию. «А заявления есть? – спрашиваю. – И почему дата и номера приказа не проставлены?» – «Какие заявления?! – смеётся. – Никто и не знает ничего. Полная конфиденциальность! А номера и даты обождут», – говорит. Типа, как оформим новую фирму с новым Генеральным, так в один день всех и на кислород. А документы – под нож. Нам осталось только деньги со счетов перегнать. Кадровичка наша на таких делах собаку съела. Она юрист по образованию.

Ну, назавтра я пришёл пораньше и, как обычно, взял у секретарши печать. Я всегда её беру, когда с документами работаю. Я же тоже директор, только Коммерческий, зам. Генерального. Взял и… спрятал в мыльницу. Через час – гвалт, шум, тарарам! Секретарша бежит: «Виктор Сергеевич, я за печать отвечаю, верните». А я ей бумажку в зубы: мол, взял для служебного пользования. Говорю: «теперь не отвечаешь». Она ушла – бежит Сашка: «Сергеич, отдай печать, хуже будет». – «Найдёшь, – говорю, – твоя». А у меня в кабинете – сам чёрт ногу сломал, поди – найди! В общем, покрутился-покрутился Бардюк – но не драться же! И несолоно хлебавши ушёл. А я оформил приказ об их увольнении. Всех! До одного! И Сашку с Виолкой тоже! И перекинул в дочернее предприятие наши с тобой договора и денежки! К Яшке. Он там один и ничего в дилерстве не смыслит. Так что все счета теперь наши. А эти суки, – он кивнул в сторону двери, – облезут!

И плюхнулся на просевшую под его грузом банкетку. Лицо его было царственно.

3

А мир кипел. Народ постигал хитрую рыночную экономику путём превращения маловнятного коммунизма в ядрёный капитализм с мохнатыми лапами. Джинн из бутылки был выпущен, и стереотипы ломались быстро. Никто и ничего уже не боялся, многим везло. Впрочем, один Абрамовский приятель, неплохой, кстати, художник-авангардист тоже вздумал вписаться в общий ритм. Что-то скупал, что-то перепродавал. Деньги и у него крутились, как шарики в барабане «Спортлото». Но, внезапно влетев в кредитные долги, остался без жилья, и, сдавшись на милость победителя, расписывал у бывших конкурентов потолки в хибаре, которую те купили за наличку. Толкнули же хату потом по цене настоящего

VIP-класса. «Мне просто не повезло, – не сомневаясь, что рано или поздно отыграется, сокрушался потом супрематист. – Не кинули бы дружки, я бы уже на Канарах жил».

– Да не боись, Иринчик, – отмахнулся уверенный в себе Абрамов. – Я на нары-Канары не спешу! – и ехидно добавил: – А Сашка, Сашка-то! Бардюк-то! Знаешь? Не знаешь?! Ну так вот тебе новость: он, скотина, в запое. После опалы попытался барсучьим жиром торговать. Не видела на «Привозе» его банки-склянки? Травницы промышляли. Весёленькие такие склянки – зверьки на этикетках. Спрашиваю Виолку: а хоть один процент барсучьего присутствия там есть? Молчит, гыгыкает. Ну я и шепнул в налоговую – ты же знаешь, Ирчик: у меня везде связи! Ну и всё. Амба! В запое теперь Бардюк. Несколько месяцев уже! Теперь его Виолка вместе с чадом сопли жуют! – он сардонически рассмеялся.

– Как?! – ужаснулась я. – Она же твоя дочь! С внуком же!

– А не рой яму родному папе! Кто ко мне с саблей того, тот от сабли и этого! – он покрутил перед собой воображаемым самурайским «тати».

– С мечом?..

– Ага!

…Вот говорят же про отражательный эффект мира – вдруг сама судьба щёлкнула Абрамова по носу: круг широких его возможностей резко сузился. Лечебный процесс от безвестной «Голубой звезды» доходов не приносил, разве что с грехом пополам для налоговой. Реализация же медицинской аппаратуры резко застопорилась. Это и заставило бывшего Коммерческого рвануть во все тяжкие. И, глядя вечерами в экран телевизора, я давилась смехом от его витийств о квантовой физике. В те годы в этих вещах и специалисты ещё не все разобрались! Но… – не боги же горшки обжигают! И Абрамов в эфире светился не реже Кашпировского. С той лишь разницей, что второй вещал на всю страну, а первый лишь на Одессу. Абрамовские «Нью-Васюки» сыпались как из рога изобилия. Покупателям чудесной аппаратуры обещалось излечение буквально от всего! «Квантовая теория полей тому порукой!» – щеголял он именами знаменитых в то время учёных Шипова и Акимова. Но когда темпераментный оратор запалил спич о чудесном воскрешении ранее утраченной почки, я очнулась.

– Сочинял бы ты поосмотрительней, – остерегла я пыл начинающего беллетриста.

– Чего это? – отверг он мой спорный авторитет с беспечностью прохиндея. – Наука скоро и не до того дойдёт – про почку мне кто-то из учёных рассказывал. И вообще! Что это ты мне палки в колёсья вздумала ставить?! – он подозрительно вгляделся в меня, но, не найдя ничего настораживающего, снова защёлкал по телеканалам. – Эх, Ирчик, на умении манапуриловать? держится мир, а борьба рацио с психорекламным воздействием всегда заканчивается в пользу последнего. Ты ж только глянь, что выделывают бывшие партократы: раньше с коммунистических лозунгов не слазили, а сегодня – рейдерские захваты крутят! Перевёртыши хреновы, – он поднял на меня оживлённое лицо. – И что? Им можно, а мне нельзя?

– Пачкаться охота?

– А с волками жить, по-волчьи выть, – тут же посерьёзнел он. – Не знаешь… Не видел, Ирчик, ремень? Куда его чёрт занёс… Ага, вот он! – словно фокусник, Абрамов вытягивал вещи из разных углов своей коморки. – Управление всегда предполагает тонкий… обман, – авторитетно засвидетельствовал он. – Тьфу, а где же галстук? И куда он вечно девается?! Ладно, пойду в гольфе.

– Тонкий?

– Кто? – обалдело воззрился он на меня из-под своих больших роговых очков.

– Я про обман. Откровенный? Или наглый? Как у напёрсточников? – не обращала я внимания на его шок.

– Или откровенный, как у напёрсточников, – подтвердил, не заедаясь. Ещё раз поискав глазами, он выволок галстук из-под под ножки стула и накинул его на себя. И, покрутив шеей (удобно ли), обронил: – Мне москвичи рассказали, что их новый премьер именно из таких. Этого Кириенка в их кругу зовут «Киндер-Сюрприз». И таких там уже воз с тележкой! Так что теперь? Не жить? Или предлагаешь сразиться с ветряными мельницами? – он упёрся в меня своими выцветшими от солнца глазами.

– Так ты с ними?

– Чего это? Я с тобой, – ответил он.

– Тогда не иди с ними, Абрамов.

Он замер, изумлённо разглядывая меня, словно не веря, что такие дуры на свете ещё есть. Потом устремил взгляд в окно, за которым уныло накрапывал дождь. Лицо его отобразило смертельную скуку.

– Но… иначе не дадут, – буркнул он недовольно. – А я жить хочу, Ирчик!

Медвежеватый, в небрежно завязанном галстуке и с неизменной папкой под мышкой, он стоял посередине крохотной захламленной комнаты и НЕ ПОНИМАЛ!..

А до меня вдруг дошло: лоханулась я, однако, с этой любовью. Совсем он не Петрарка и не Прынц. Обычный одесский деловар средней руки, только с амбициями. А я-то: «Звёзды! Небо! Стихи!..». И года не прошло, как всё осыпалось. И деваться некуда! Мы в этом сегодняшнем мире, как Робинзон и

Пятница. Что у меня в активе? Мать с крохотной пенсией и неустроенная Юлька. А из жизненного опыта – лишь мои козьи прыжки из никому уже ненужной профессии в неофициальные жёны. Получалось, что время ставило меня в зависимое от самой себя положение, и в его рамки я была обязана уложиться срочно (ошибки тоже имеют срок годности!). Где-то в животе поднял змеиную головку подспудный страх: «А что же будет? И как жить?». А чей-то немолодой дискантишко, наверное, мудрой черепахи, оттуда же: «Да ла-адно… Учись нырять! Живут же другие, притираются. Смотри на вещи проще», – и вспыхнувший свет реальности внезапно осветил мне то, что было за пределами моей недавней слепоты: а ведь и влюблённость Абрамова вовсе не результат моих мнимых достоинств, их особо и нет. Да и он не святой – совсем не стихами, не звёздами накрывало его последнее время. Я вспомнила, с каким живейшим интересом пересказывал он мне статьи из своего любимого многополосника «Спид-инфо»! При нынешних-то денежках, да не будь меня рядом, уж рванул бы, пожалуй, в самую гущу лолит. Так что, не появись я, на моём месте оказалась бы любая другая. И, ошеломлённо глядя на заметно поредевший затылок своего недавнего обожателя, я вдруг поймала себя на давно и тщательно скрываемом от себя разочаровании. Говорят же, чтобы узнать человека, надо с ним три пуда соли съесть. С какого же перепугу мудрый Сократ наставлял: «Женись. Попадётся хорошая жена, станешь исключением. А плохая – станешь философом»? Он что, эти пуды в виду имел?

Или и правда всё зависит от женщины?

4

– Вот скажи: зачем ты матюгался с Юлиным Артёмом? – с досадой остановила я Абрамова, когда в очередной раз в моём присутствии он вздумал репетировать завтрашний телевизионный спич. – Вот зачем? Интеллигентный парень из приличной семьи… Он так краснел, когда об этом рассказывал!

Абрамов осёкся, силясь понять, что же это я имею в виду.

– Да брось! – наконец сморщился он. – Так у нас, мужиков, принято. Это налаживает доверие и братство. Свободу, равенство и братство, как говорится.

С папкой газетных вырезок под мышкой он опять безуспешно разыскивал второй носок. Почему-то они взяли обыкновение исчезать сразу после выхода в свет.

– Ты же что-то говорил о своём дворянском происхождении, – продолжала я в раздражении. – И потом, какое ещё «брацтво»? Тут сплошное «дедство»: тебе – шестьдесят, Артёму – чуть за двадцать! Ты ему в деды годишься.

– И что, из-за этого мы не мужики? Эх ты, Иринчик-Ширинчик. Дурья твоя башка! – снисходительно потрепал он меня по затылку. На работу Абрамов пошёл вообще без носков!

– Бросали бы вы своего фанфарона к чертям собачьим, – хмуро складывал выручку в сейф седенький доктор медицинских наук, на лицензии которого мы работали. – Чем он вам так интересен?

А я не знала, что ответить – не хотелось жевать несъедобные части Абрамова. По большому-то счёту, его манеры для нашего общего дела были не так и существенны. Или я просто прятала голову в песок?

Где-то я слышала: «Мужчина обычно любит женщин, которых уважает; женщина обычно уважает мужчин, которых любит. Потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить, а женщина уважает мужчин, которых не стоит уважать». Природный парадокс. Правда, и природа уже тяготеет к холодному разуму. Слышала, что созданы даже базы данных о каждой человеко-единице вселенского Андрогина по имени Земля. Так что верным путём идём мы с бабуинами!

А одна из подруг открыла мне, что в близости с мужем она перестала позволять себе высшую точку наслаждения. «Стоп! – резко говорит она себе. – Я не хочу зависимости от тела». Наверное, начиталась книг Джеймса Уотсона про зависимость ай-кью от либидо, и её Андрогин наконец дозрел до осознания самого себя.

Видать, мой Андрогин тоже был близок к тому. Поскольку хандра, владевшая мной последнее время, бубнила голосом не мужским, не женским, а вроде как средним: ничего в этом человеке ты не изменишь – он есть такой, какой он есть. Но, реанимируя свой затухающий интерес, я доказывала себе, что просто не умею облечь свои претензии в слова – языки у нас с Абрамовым разные. Да и многое вижу иначе. Наверное, по причине скудной плоти бытового опыта. И, маскируя тайный смысл охвативших меня раздумий, я уходила в романтический старт нашей истории – наполовину реальной, наполовину вымышленной. Отчего убаюканный Андрогин благополучно умолкал, свёртываясь во мне, как котёнок. Что, кстати, и привело к ещё одному пассажу, заставившему взглянуть на Абрамова всё-таки пристальней. Мы вчетвером – Абрамов, Юля, Артём и я – в начале лета поехали в Затоку. Накупались-наплавались, налюбовались закатом и уселись у кромки прибоя. За лёгким трёпом Абрамов подкурил сигаретку и протянул вторую Артёму. Тот нерешительно взял её, виновато поглядывая на застывшую Юльку. Немного помявшись, несмело сунул сигарету в зубы. Абрамов с готовностью чиркнул зажигалкой. Метнув в обоих гневный взгляд, Юлька одним броском вырвала сигарету из Артёмовых рук и швырнула её в песок.

– Ты же бросил курить! – воскликнула она.

Абрамов невозмутимо вытянул ещё одну, молча подкурил от своей. И снова протянул Артёму. Тот сокрушённо взял. Юлька резко вскочила и, обдав нас мокрым песком, умчалась. Сажёнками она быстро скрылась из виду – сколько я ни вглядывалась в палевую гладь горизонта, беглянку было не различить. Я перевела взгляд на Артёма, он увёл глаза и молча рисовал на песке их общий с Юлей вензель. Не обращая ни на кого внимания, Абрамов задумчиво курил. Потом опять-таки молча ел мороженое… Гнетущее напряжение разрядил Артём. Он вдруг вскинулся, понёсся к воде. И вскоре доставил на берег отчаянно брыкавшуюся Юльку.

– Ты же обещал не курить! – захлёбывалась она от обиды. – Ты обманщик!

– Но я…

– Слушать не хочу!

Они устремились к маршрутке, а мы с Абрамовым отправились к электричке в полной тишине. Я так и не поняла, что произошло. И на последующий ежедневный вопросительный Юлькин рефрен «Зачем он заставлял Артёма курить?» ответа так и не нашла.

Вот говорят – мелочи, мелочи… А если подумать – из чего состоит наша жизнь? Из мелочей и состоит. Даже камень – субстрат мельчайших составляющих – попробуйте-ка ударить молотком. И как? Трещины пошли? Вот и я о том. Сколько семейных пар тянут свою лямку, забыв о намеченных когда-то вершинах? Девальвация чувств встречается куда чаще девальвации валют. А жизнь и вообще перемалывает всех в однородную массу. Потому и нуль-переход, где стать жемчужиной шанс имеет каждая соринка, одолевают немногие.

– И чего тебя всё время уносит в бредь? – чувствуя неладное, допытывался Абрамов. – Почему ты постоянно где-то витаешь, когда я с тобой разговариваю, а? Ну признайся, как ты ко мне относишься, Иринчик? – спрашивал он меня при каждом удобном случае. А я досадливо отворачивалась. Ну не получался из нас Андрогин…

Юлька Артёму больше не звонила. И Артём ей больше не позвонил. Зато его мать прислала на моё имя пространное письмо с объяснениями, суть которых сводилась к тому, что их род не может породниться с семьёй, представители которой позволяют себе опускаться до уровня пьяных сапожников. Я показала письмо Абрамову, но он так и не врубился, что речь о нём.

– И прекрасно! Наша Юлька найдёт другого.

– Но зачем ты заставлял Артёма курить?

– Я???

– А вообще я совсем другое имел в виду, – выкручивался он потом. – Я сказал: хочешь курить – кури. Мужчина должен поступать так, как считает нужным. Потому что у него цель. А цель для мужчины – главное. Вот – я: прежде ты, Ирчик, на меня и внимания не обращала. Но я сказал себе – она будет моей. И – вот она!

5

Через пару дней, когда Юля остыла, он предпринял неуклюжую попытку примирения.

– А знаешь, что я делал, чтобы твоя мама приехала?

– Не знаю.

Уловив прежнее недовольство, Абрамов поспешил сгладить:

– Тысячу раз я сидел вот здесь, – он кивнул на свой допотопный диван в куропатчатой расцветке. – Я сидел и смотрел на свечу. И представлял её лицо. И звал. Стихами. Вот так!

И, сверяя впечатление от себя в полотне засиженного мухами зеркала, с пафосом продекламировал:

Любить,
это значит вглубь двора
вбежать
II до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова…[1]

Юлька прыснула.

– Ага. Но кто-то, в основном, по телефону названивал. И молчал.

– Ну да. И по телефону, – легко согласился тот – терять с моей дочерью дипломатический контакт ему

не хотелось. – Однако, – веки его сузились, – факт есть факт – вот она, твоя мама! – и сделал широкий жест, будто демонстрируя сокровища Али-Бабы.

Юлька фыркнула – на сокровище Али-Бабы я не тянула: тусклая амальгама отражала немолодую женщину с пегими волосами. Последний год меня так вымотали метания из города в город, что не было желания даже покраситься. На всякий случай я спрятала руки с обломанными от стирки ногтями.

– И что? Вы сделали её счастливой? – Юлька бросила на декламатора уничтожающий взгляд.

– Разве я мало сделал для этого? – возразил Абрамов обиженно.

– Это вы делали ДЛЯ СЕБЯ! – отчеканила Юлька и отвернулась. Она бы вообще предпочла забыть его имя.

– Вот, смотри, – сдержанно продолжил Абрамов. – Ты ведь читаешь мамину прозу. Твоя мама – женщина талантливая. Так?

– Ну, так.

– А кто о ней знает? Ты да я, да мы с тобой. – (Похоже, оба они, забыли о моём присутствии и разбирали меня по косточкам, ничуть не смущаясь). – А вот если бы нашёлся тёртый калач, который вздумал бы её раскрутить? Кто бы её знал? – послюнив палец, он пошуршал какими-то бумажками. Но, глянув на непримиримое лицо Юльки, с сожалением папку закрыл. – Вся страна бы её знала! Да! Как и… – наверное, он хотел сказать «как и меня», потому что его рука застыла на уровне собственной груди. Но удержался, – …как Викторию Токареву, к примеру. Для этого, кстати, нужен не столько талант, сколько… – он снова запнулся, но ничего не придумав, объявил: – В общем, она – женщина. Женщине проще. Умные дамы всё понимают без слов! – с кривой ухмылкой он бросил на стол журнальную страницу. Это была вырезка из «Юности» с его стихами. – А мужикам ещё как долбить приходится!

Его профиль и правда напомнил мне клювастую птицу.

– Но меня-то печатали! И гонорар платили.

– Ну так! У вас же шедевры… – иронически хмыкнула Юлька. Право же, ей сегодня вожжа под хвост попала.

– Шедевр-шмедевр… – Абрамовские очки блеснули. – Всё это вообще-то и неважно. – Наследственная информация, как ты знаешь, кодируется при помощи ДНК. Космос выстреливает гениями исключительно после сбивки их критической массы. А до того, – метнул он в сторону Юльки торжествующий взгляд. – А до того матушка Природа довольствуется среднестатистичным материалом. Без него и гению не появиться. Вот что есть талант, девушки? А?

– Дудка, в которую дудит Бог, – пожала плечами Юлька. – Божий промысел, короче.

– А вот даже не божий, – обрадовался Абрамов. – Даже наоборот! Талант, я вам доложу, очень неудобная штука – он колобродит, он спать не даёт, он жить мешает… И все деньги, которых нет, ты готов бросить в пасть этой прожорливой зверюги. А результат? Без чистогана и связей он нуль! Между прочим, среди сонма греческих богов вы не найдёте, кто отвечает, к примеру, за печатное слово. Аполлон не в счёт. Он вообще с лирой. За литературу и всякую там изобразительную хрень отвечает, скорее, Сатана. Вернее, как его там? О!

На земле-е-е весь род людско-о-ой, – вдруг взревел он, запахиваясь в невидимый плащ.

Чтит один кумир свяще-е-н-ный.

Он царит во всей вселе-ен-ной,

наш кумир телец злато-о-ой!

– Потому есть не только Премия развратных братьев Гонкуров, но и охи-ахи на темы сумасшедших Дали с не менее двинутыми Пикассо… Я тебе скажу, Юленька, – никто не принесёт больше вреда, чем распиаренный талант. У таланта ведь нет знака плюс или минус. Он вне всего. Он – вечность. А человек – гончар, который лепит свой кувшин. А уж вино там в кувшине или уксус… И чем громче он прокричит, тем быстрее его кувшин купят. Да! – оратор всем корпусом развернулся и за стёклами очков глаза его вспыхнули желтоватым инфернальным огнём. Абрамов кружил вокруг журналов «Юность» за 1960-е (его там тогда печатали!), а вслед за ним кружила его громадная тень, зловеще размахивая полами невидимого плаща, с которых сыпались такие же, как плащ, невидимые звёзды.

А я, глядя на усыпанный пепельными колючками подбородок самопровозглашённого Мефистофеля, даже для самой себя неожиданно пропела: «Как молоды мы бы-ы-ли…». В солнечных лучах иголки колючек так явственно проглядывали на не бритом с утра лице Абрамова, что о нашем с ним возрасте было грешно не вспомнить. Юлька меня поняла, и со слов «Первый тайм мы уже отыграли-и-и» мы с ней допели вместе.

А он стоял перед нами в своём нелепо завязанном галстуке, из которого торчала кадыкастая, в старческих морщинах шея. В футболке с плохо пропечатанным клише неистового Че. И, собираясь на работу, переминался возле щелястой двери с теми самыми, многократно менявшимися замками – безмолвными свидетелями его многих катастроф, – и озадаченно постигал, какая муха меня укусила. Было заметно его откровенное желание нажать кнопку некоего сливного бачка, чтоб наш с Юлькой тандем отправить

в тартарары вместе со всеми этими журналами и газетными вырезками! А заодно и со стенами, крышей и балконом, с которого, внезапно ощерившись, хрипло взвыл очередной усатый претендент на вяленых пескарей.

6

Я не видел, как плачут птицы.
Но я знаю, что слово «осень»
начинается с птичьих слёз.

Карен Джангиров

– Мы напишем обо всём этом роман! – когда за персонажем захлопнулась дверь, сказала я Юльке. Вся наша романтичная история с ним виделась мне уже откровенным фарсом – маятник отношений со стартовой «плюсовой» точки взял курс в сторону откровенного минуса.

– Ой! Тебе, Ирка, не угодишь! – пожимали плечами приятельницы, ревниво сравнивая мои пятьдесят килограммов со своим пятидесятым размером. – Ромка ей не по вкусу, Абрамов не в масть! Тебе бы квадзиморду голого-босого, а не бизнесмена упакованного! Ну чего ты всё куксишься?! Жареный петух тебя не клевал. Им не зудить, их кормить-поить-ублажать надо. Как все нормальные женщины делают. Тогда из них хоть верёвки вей!

А я смотрела на лоснящиеся лица подруг, на их сумки, полные снеди и пива, и представляла, как сидят они с Абрамовым на его кухне и жрут, и жрут… наедают свои килограммы… «Свойства элементов и образуемых ими тел стоят в периодической зависимости от их атомного веса», – это ведь не я, это ещё Менделеев открыл!

Кстати, тайная неприязнь между Абрамовым и Юлькой вылилась и ещё в один презабавный эпизод. Желанную Дворянскую Грамоту он таки раздобыл! Её витиеватые, со старинными росчерками буквы уверяли, что некто Абрамов Виктор Сергеевич есть потомок дворянского рода, урождённый Абрамович. Раньше-то потомок доказывал, что его фамилия идёт от татарского муллы!

– Так вот откуда привычка есть руками! – потешалась моя дочь, глядя на тщетные потуги «дворянина» явить нам свой индигенат посредством полотенца, в качестве салфетки запиханного за ворот. Дворянская грудь, однако, как и манжеты, неизменно расцвечивались жирными пятнами.

Впрочем, жизнь продолжалась. Через год после первой, «августовской», поездки в Польшу мы собрались туда во второй раз – уже в статусе представителей собственной фирмы. У Юли как раз снова были каникулы, и она снова могла присматривать за нашей «колдовской» квартирой. Теперь уже с Виолеттой. Юлька как раз отошла от своей потери, а Виолетта даже снова вышла замуж! После утраты Бардючьего заработка она нашла себе какого-то относительно молодого (38-летнего) колдуна. У него было старинное завлекательное имя Гордей.

Надо признать, что очередной муж с его гипнотичными, как две проруби, глазами и уверенным шагом коротковатых для его немалого роста ног представлял собой ещё один образец нового времени. От одного взгляда Гордея клиенты входили в экстатический транс. Ему даже не составляло труда переориентировать их в нужное для колдовского дела русло. На известный холст «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» просто накладывалась ретушь мастера.

Пришла в экстаз и Виолетта. Китайские фонари с вмонтированным радиоприёмником в то время только завоёвывали рынок, и потому о существовании такой полезной вещицы она не знала. В час планового отключения света, приметив огонёк в окнах колдуна и взяв в руки толстую церковную свечу, Виолетта отважилась на визит. Почаёвничав в розоватом уюте зажжённой лампадки с холостым Гордеем, она уже от него не ушла, и вскорости они волхвовали вместе – он как мастер, она как его ассистент. Так называемые негативные энергии, сглазы, проклятия и «венцы безбрачия» (!) откатывались яйцом, сжигались свечой, окуривались ладаном, калились солью и отливались воском. Больших предварительных расходов колдун не имел и в случае неудачи был застрахован хотя бы экономически.

В комнате, где происходили таинства, всегда пахло ладаном и травами. А за какой-то особой энергетически заряженной водой Гордей ездил аж в мужской монастырь на 16-ю Фонтана, где ещё и получал благословление у святого старца Ионы. Ездил или не ездил Гордей к старцу, никто не проверял. Но все знали, что к святому Ионе стояли ежедневные очереди.

– Мы теперь дворяне! – выставив на всеобщее обозрение папину Грамоту, хвасталась Виолетка Юльке и «колдуну». На что, пряча улыбку, Гордей резонно замечал:

– А я бы, имея гроши, оттолкнулся от Романовых!

– Зачем Романовы? – рассмеялась Юлька. – Говори, что ты внук Гришки Распутина! Это и к твоему делу ближе.

А вот в Польше отношение к нам изменилось. Вероятно, до нас тут побывал наш карбонарий Бардюк и, в надежде перевести бизнес на себя, что-то про нас с Абрамовым наплёл. Теперь, несмотря на отличные врачебные результаты, с бывшим Коммерческим разговаривали сквозь зубы. Это его бесило.

– И что плохого я им сделал? – допытывался он у меня. – Я создал дело. Я пристроил в него всё шобло, которое знал: тех, кто жил рядом, с кем когда-то учился, с кем когда-то кутил…

– Надо было всё делать иначе. Создал бы своё… Зачем тебе столько менеджеров? А так ты и дочку заработка лишил.

– Дочку? – будто только сейчас вспомнив о Виолетте, насторожился Абрамов. – А ведь точно! Дочка. Её работа… – несколько мгновений он молча смотрел на меня. Потом очки его недобро блеснули: – Пусть скажет спасибо, что я всех их под суд не подвёл! В дистрибьюторских ведомостях подписи-то не мои. Они Бардюка с Виолкой! Это же они вместе с Генеральным и бухгалтершей дерибанили. И налоги не платил не я! Я не дурак, чтобы сам себя под монастырь подводить!

Я оторопела. Там ведь и мои подписи были!

– Ну что ты, Ирчик! Мы же с тобой – андрогин! Зачем бы я тебя подставлял?! А вот уж «дочку-кочку-у-у» уж…

И со всей очевидностью на меня повеяло холодным металлом ловушки: в своей дурацкой упоённости любовью, оказывается, вкладывалась я в чьё-то воровское дело. Даже не вникая в его суть!

7

– А ты знаешь, что твой «поэт» опять Виолетку на бобах оставил? – подступила ко мне Юля месяц спустя после возвращения. Недоброе предчувствие вползло в меня всеми четырьмя лапами. Если Юлька заговорила о бобах, значит, мой Абрамов что-то опять учудил.

– Да! Он помог её колдуну загнать их квартиру. И теперь Виолетке опять негде жить.

– Что-то я не пойму, Юля. У них же с Виолеттой не только общее дело, но и семья.

– Ну, что-то там не складывалось, не знаю. У Гордея баб полно с венцом безбрачия, и куда моложе Виолетки. И без детей. И с капустой. Капусту они рубят, понимаешь? Вот он и надумал взять новую. Из этих, с венцом которые.

– И что?

– А вот и то. Без твоего стихоплёта ничего бы и не вышло. Мало ли: поругались-помирились. Продать квартиру – дело долгое, сто раз можно передумать. А так твой подсуетился, и Виолетка обо всём узнала уже от новых хозяев. Когда те пришли вселяться. А самого Гордея уж и в стране нет – смылся колдун!

– А она, бедная, где?

– По подругам мыкается. Потом, наверное, к матери пойдёт.

– Юль, а может, Абрамов тут и ни при чём?

– Причём! – отрезала Юлька. – Я точно знаю. Гордей продал квартиру Конскому брату. Конь-то мне сколько раз названивал, всё пытался объясниться. А потом к твоему за помощью бросился. Кстати, он и с Конём дружески поматюкался! Правда, того это не напрягло, всё-таки до института фрезеровщиком поработал. А Артём – интеллигент в третьем поколении…

Юлькины глаза затуманились, – видимо, этот паренёк оставил зарубку в её сердце. В отличие от Коня, который дотянулся лишь до желудка.

– Конский брат поступает в духовную семинарию. Он и попросил твоего Абрамова что-то подыскать – купить или арендовать. А тот тут же связал их с Гордеем. Брат мне сам всё рассказал!

– Но какой Абрамову в этом смысл? – мне всё ещё не хотелось верить.

– Отомстить! Что непонятного?!

А мне всё равно было непонятно…

– Он же не способен отличить зло от добра. У него всё перемешано, – заключила позже дочь, когда ещё и в деталях узнала, в чём состоял наш бизнес. – По-моему, тебе надо бежать – это Геркулесовы столбы, дальше ехать некуда. Рано или поздно он угодит в тюрьму и тебя за собой потянет…

– Абрамов, зачем ты продал квартиру Гордея и оставил дочь на улице? – осведомилась я, когда он задал свой традиционный вопрос о моём к нему отношении.

– Я не продавал, – мгновенно поняв, о чём речь, ретировался Абрамов. – Он сам продал. Ему нужны были деньги. И вообще… Это его квартира!

– Но ведь именно ВЫ сделку провернули! – встряла возмущённая Юлька, пока я собиралась за хлебом.

– Я ничего не провёртывал! – Абрамов стал похож на ужа под вилами. – Гордею были срочно нужны деньги. Вот и продал. СВОЮ квартиру, между прочим.

– Но ведь они жили там с Виолеттой семьёй! – не отступила я, берясь за дверную ручку.

– Что вы ко мне привязались?! – вскипел он, раздосадованный. – Гордей продал СВОЮ квартиру. Ему нужны были деньги, и он продал. Его квартира – его деньги – его и подпись в документах. А я не при делах. И зачем ты вмешиваешься? Не твою же кто-то продал!

– А ты вообще молчи – не твоего ума дело! – когда я, наконец, вышла за дверь, влепил он вдруг Юльке смачный поцелуй и, гоголем глядя на её подружек, с которыми Юля забежала к нам погадать на картах Таро, добавил: – Сиди себе и молчи в тряпочку!

Юлька захлопала глазами на подружек.

– Ну и дяденька у мамы! – хихикнули девчонки и дружной гурьбой кинулись к выходу. Их вердикт был однозначен: наш славный бабуин впал в глубокий маразм!

Вернувшись, я, наконец, устроила Абрамову такую славную трёпку, что никудышный суженый отрёкся даже от любимого «Спид-инфо», с которым не расставался! «Любое зло надо ограничивать вовремя», – послала я к чёрту свою обычную позицию статиста.

– Обожди, Ир… Ну а всё-таки – при чём здесь Виолка, Гордей, квартира? Тем более – Юля? Как ты ко мне относишься?

8

– Как ты не понимаешь – Юлечка просто ревнует. Но она выйдет замуж – и забудет о тебе. А как ты? У Бабы век короток. Собак-кошек заведёшь? Так заведи меня. Я всё равно лучше, чем коты и собаки! А Юле я даже квартиру куплю. Вот, только апельсины продам! И есть у меня в голове ещё пара идеек – я же дилер! Я в куче дел! Я или свою дачу на Бугазе загоню или нашу «колдовскую» ей отдам. Приватизирую и отдам! Ты не в курсе, как приватизируют?

И тогда вдруг с полным противоречием к накатившему на меня клубку даже не мыслей, а ощущений, из каких-то дальних мистических глубин всколыхнулась во мне волна пронзительной жалости к нам обоим. Жизнь прошла. А что за спиной? Вот уходим мы из сегодняшней, почти так и непознанной нами реальности в другую, которую мы и вовсе не знаем. И что? Если мы – вселенские атомы, то суть наших ядерных реакций – в превращении одного элемента в другой. Какой? Если понимать, что Его Величество Доллар, который понемногу подгребал нас под себя, имел лучезарную дельту – масонский знак, символизирующий Великого Архитектора Вселенной, наблюдавшего за трудами «вольных каменщиков», то что же прописано в нашей дорожной карте? Во что мы должны превратиться? В золото? В свинец? И не есть ли все наши перевороты, инфляции, катастрофы суть одних и тех же вселенских процессов, только уже на атомарном и молекулярном уровнях? Ведь то, что вверху, то и внизу, как утверждали древние.

– Именно так, Ирчик, – с кислым видом Абрамов сдвинул очки на лоб, и на меня уставились его серовато-дымчатые глаза, в которых плавала изнеможённая усталость. – Мы ведь не знаем, кто крутит кино в нашем мире. Одни говорят – инопланетяне. Другие – олигархи. А, по-моему, это дело всяких «балбесских клубов»[2] с их Рокфеллерами, Киссинджерами и Чубайсами.

Смотри, Ирчик: каждый гражданин Украины должен был получить по тридцать тыщ зелени из тех средств, что осталось у нас после дерибана эсэсэровского майна. А это ни много ни мало тысяча пятьсот двадцать миллиардов. Представляешь объём? А нам выдали по бумажке, которую мы, ЯКОБЫ, могли вложить в промышленность, чтобы когда-то иметь от неё доходы. Хитрый ход – людям тогда даже зарплат не платили! И все их ваучеры за трояк скупили добренькие дяди с большими мешками. А бороться с ними… Я, Ириночка, увы, не Перельман, управлять Вселенной не умею. Да здесь и принципы другие…

Целыми днями он орал по телефону про какой-то металл, апельсины и баррели нефти. В воздухе носились миллионы, сотни тысяч «лимонов», трасты и офшоры. Его увлекала эта игра, как увлекает щенка брошенная в кусты палка. Ему нравилось разгуливать по двору с внушительной трубкой радиотелефона.

– Абрамов на проводе, – комично басил он, косо поглядывая на чужие окна. И с досадой отмахивался: – Я – посредник. Таких, как я – тысячи. Кому я нужен, чтоб меня грабить или арестовывать?! У меня ни одной сделки на счету.

– Может, всё-таки хоть оставшееся в душевой на валюту обменяешь? – рискнула я подсказать.

– Точно! – обрадовался он. – А где? Обменников-то в Одессе ещё нема… В Ригу что ли смотаться? …О! В Москву! – после короткого раздумья ударил он себя по лбу. – Съезжу-ка я в Москву. Вот с москвичами кое-чем и займусь. Апельсины, нефть – это так… – он покрутил пальцем в воздухе. – А у меня вот-вот провернётся одно ба-а-а-льшущее дело. – Какие-то очередные идеи продолжали посещать его

большую голову. – Я даже валютный счёт в «Портофранке» открыл. На всякий пожарный. У меня голова большая – в ней идейка есть. Создадим с москвичами совместный проект по продаже металла! Наш металл за рубеж как ласточка полетит!!!

Вероятно, власть на пространстве одной шестой уже прочно держалась в руках тех, кто больше не собирался жить по дублирующему христианские каноны «моральному кодексу». Получив в их руки рычаги влияния, она изменилась до неузнаваемости, и потому всё пошло на добычу всё бо́льших благ. Продавалось оружие и самолёты, заводы и фабрики, типографские станки и кинотеатры. Всё рвалось в клочья! Рассыпалось и без того дышавшее на ладан сельское хозяйство. Даже хлеб стал дефицитом. Под нажимом оборотистой Нели Борюнчик раздобыл себе чернобыльскую пенсию. Правда, в Чернобыле он был только, когда делал журналистское расследование о взрыве реактора. Борюнчик и нашептал мне тогда, что вовсе не четыре, как было официально заявлено, а девяносто шесть процентов реактивного вещества пошло на Европу. И что саркофаг над опустевшим четвёртым блоком, в основном, декорация – там уже нечего накрывать. Под пугалку возможной второй аварии у Европы просто вытянули три миллиарда зелени, которые и растащили по кубышкам бывшие коммунисты. Это была первая отечественная авантюра мирового масштаба, с которой и начались все дальнейшие «МММ»… Словно какой-то вирус сжирал людей изнутри – уже никого было не удивить Крымом и Сочи. Главной сюжетной линией стал безбожный коммунизм – всем захотелось тихоокеанских островов и вилл под пальмами – каким-то образом стала известна речь Дэвида Рокфеллера на строго-законспирированном заседании того самого «балбесского» клуба в Баден-Бадене (чей-то небольшой прокол!): «Спасибо The Washington Post, The New York Times, Time Magazine и другим крупным изданиям, чьи директора посещали наши встречи и уважали своё обещание сохранить конфиденциальность в течение почти сорока лет. Нам было бы невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он был предан огласке в те годы. Но теперь мир стал сложнее, и он готов идти к мировому правительству. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, несомненно, более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые столетия».

А простое население споро громыхало по Крещатику сумками на колёсиках, а железная дорога перевыполняла планы по международным перевозкам – во все ближайшие страны двигались наши «челноки» и новоиспечённые герои рассказов О. Генри. Многие торговали тем, что выдавалось в качестве зарплаты: посудой, кастрюлями, мягкими игрушками – всем, что производили предприятия, внезапно переориентированные на что-то никчёмное. В магазинах утвердились жевательные резинки, диковинные презервативы с усиками, «кока-колы» и уже знакомый мне самопальный «Наполеон».

Окунулась и наша Баба во времена своей молодости, когда сама меняла бабушкины рубины и бриллианты на хлеб и масло. Правда, теперь бриллиантов и рубинов у неё не водилось. А за советские рубли купить было уже нечего. Ввели купоны – голубовато-розоватого цвета талоны, заверенные государственными печатями предприятий и учреждений. Их теперь выдавали вместе с пенсиями и зарплатами, они прилагались к расчётам как необходимый разрешающий документ. Без талонов деньги в магазинах были как бы недействительны. И Баба ежедневно бегала на базар, где можно было найти что-то без этих нелепых бумажек. Пробираясь по многолюдным рядам, она оживлённо скупала расписные электрические самовары, цветные русские шали и престижные когда-то немецкие сервизы «Мадонна». Чтобы при необходимости также обменять их на что-то посущественнее. Как и другие, она верила, что однажды всё вернётся во круги своя. Может, даже снова будет монархия. Об этом долдонило телевидение, транслируя кадры с какой-то жирной княгиней из рода Романовых.

Розовощёкая и помолодевшая, Баба переживала «дежавю». А я с тревогой думала, что же будет дальше. Устроиться куда-то с моей профессией стало из области фантастики: Украина, наконец, объявила о своём суверенитете, и полная украинизация средств массовой информации не позволяла мне даже заикнуться о возвращении в журналистику.

Юлька тоже била тревогу. Впервые за три года учёбы у неё появились «хвосты».

– Вот увидишь, я не получу диплом, – хныкала она. – Меня ненавидят даже за русское «здрасьте»! Говорят: выйдить та зайдить, та повитайтэ нас украинською мовою. Постоянно! Я им: «Я же не из Украины, а из Одессы», а они в крик: «Хиба Одеса цэ не Украина?». Ага, «хиба ревуть волы як ясла повни». Да они мне ставят двойки даже, когда я рот не раскрыла. А тут ещё моя дурацкая фамилия. Ну отчего бы мне не быть какой-нибудь Сранько или Дранько! У других фамилии как фамилии – на «о», а у меня русская!..

Ответить мне было нечего. По сути, теперь мы жили на сорок рублей Бабиной пенсии и на то, что я пока ещё могла привезти из Одессы. О том, чтобы с Абрамовым расстаться, уже не могло быть и речи.

9

– Всё! Выхожу за югослава, – в очередной раз ошарашила меня Юлька, которая только-только жаловалась на нелады с украинским. – У него бизнес в Москве и квартира. И он красивый!

– Юля!.. – как всегда ахнула я.

– Ну что – Юля! Что ты можешь мне посоветовать? Артём вон сбежал. А Коня не хочу. И диплом мне всё равно не светит!

– Но…

– Никаких «но»! Я уже всё решила! От тебя всё равно никакой помощи. Ты у нас лунный грунт, вечный ребёночек с играми в «любовь-морковь»! И вообще. Я завтра уезжаю. Мне жить как-то надо!

«Я – лунный грунт?» – оторопела я.

– Ира, если и правда существует сила, которая руководит нашими действиями, значит, всё идёт по плану, – глядя в экран на церковные свечки в руках руководителей страны, резюмировал Юлькин отъезд Абрамов. – Мы – кто? Мы мелочь пузатая против той силы. Ты же знаешь:

Единица – вздор,
единица – ноль,
один –
даже если
очень важный –
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.[3]

Он давно собирался в Москву и ждал лишь, когда Юлька сообщит адрес. Но… она не звонила, доводя этим и Бабу до белого каления. Хотя о югославе я ей ничего не говорила. Сказала, что просто Юля переводится в МГУ. Но, глядя в мои опухшие от слёз глаза, Баба не переставала буйствовать. И призывала на наши с Юлькой головы все силы, которые могла вспомнить. Кровь моя леденела от ужаса – вдруг сработает!

Телефонный звонок поднял меня рано утром.

– Это я. У меня всё нормально. Если хочешь, свяжись с папой, у него есть мой адрес. И телефон. Я не хочу долго говорить, чтобы наш генерал не проснулся. Скажешь ей, что я перевелась в МГУ и живу в общежитии. Папа уже был у меня.

И телефон отключился.

Ну вот, папа оказался ближе, чем я, мать!

– Да, был я у них в Москве, – словно не произошло ничего особенного, подтвердил по телефону Роман Иваныч, мой бывший супруг. – Всё там нормально. И квартира на Кутузовском. Владимир – хороший парень. И чего ты, чуть что – в обморок падаешь?

Он всегда был такой. Чтобы заставить Романа напрячься, приходилось обломать не один кнут. Медленный, как у черепахи, темп его жизни не могли поколебать даже нынешние катаклизмы.

– Ну и что? В лесу кроны шумят, а у корней тихо, – посмеивался он, будто жил где-то на необитаемом острове.

На всякий случай Абрамову я Юлькин адрес не дала. Найдёт он и сам, где обменять свои баксы. Я просто поставила его в известность о её звонке. Сообщила чисто формально. Если ему не было дела до собственных детей, то до подробностей Юлькиной жизни тем более. Может, он даже был рад такому повороту событий: реже будет появляться. Кроме того, занозой сидело опасение: если он по злопамятству так беспощадно обошёлся с Виолеттой, то, что помешает отомстить за демарши Юльке? Но неожиданно открылось, что я и тут пропустила – нечто подобное уже произошло. Только гораздо раньше. Это обнаружилось после встречи с Конём. Решительно отвергнутый Олег всё искал возможность объясниться. И однажды мы столкнулись, когда, поджидая Юльку, он дежурил возле нашего дома.

– Здрасьте, Ирина Юрьевна, – опустив глаза, произнёс Конь. – Вы не попросите Юлию выйти на пару минут?

– Я не уверена, Олег, что у меня это получится. Так мелко струсить, так предательски оставить девушку один на один с хамом!.. И что значит – она одевается, как одесская проститутка?! Олег?

– Ирина Юрьевна, – взмолился Конь. – Я ведь просто повторил слова Виктора Сергеевича…

На мой изумлённый взгляд Конь пояснил, что именно Абрамов и считал, что Юлю надо держать в ежовых рукавицах.

– Почему? – изумилась я ещё больше.

– Ну-у, – Олег потоптался на месте и выдавил: – Одевается она как-то не того… На неё все парни смотрят.

– А на других не смотрят? – я пыталась понять, чем наряды Юльки так не угодили Абрамову. На мой взгляд, она одевалась с достаточной долей вкуса. – Может, смотрят, потому что Юлька – хорошенькая?

Олег пожал плечами.

– Может… Только Виктор Сергеич считает, что это неприлично. Лучше, чтобы никто не смотрел. Она же со мной встречается, а не с ними.

– Я думаю, Виктор Сергеевич не имеет права на такие выводы. Юля – не гаремная жена, а ты, Олег, как и Виктор Сергеевич, – не восточный деспот. Кроме того, его оценка лишь его частное мнение.

– Ну да, вообще-то… – не стал спорить Конь.

«Господи! Хоть бы Юля об этом не узнала», – торопливо, пока никто из знакомых не видит, выставила я его из подъезда.

– Олег, не приходи сюда больше. Юля здесь уже не живёт, она вышла замуж.

Оглушённый, он молча смотрел на меня, и глаза его медленно полнились слезами. Опустив плечи, он понуро побрёл прочь. Плечи его сотрясались…

«Ишь – альфа!», – зло подумала я про Абрамова. Последнее время я только и думала о нём, пытаясь совместить мифический его образ с тем, что оказалось в действительности. Я то отступала, чтобы вглядеться издалека («лицом к лицу лица не увидать!»), то приникала к лупе вплотную – лики не совмещались ни так, ни этак.

10

– Ирчик! Люди пухнут с голоду. Вот-вот польётся кровь! – тем временем вещал Абрамов по телефону. – Тебе нельзя оставаться в Киеве, это опасно! Немедленно переезжай! Киев на Одессу обменять – два пальца облевать! Меняйся! Мне страшно!

Его Серёжик тоже впал в нервный ступор – бросил институт и не выходил из дома. Ему всюду мерещились убийцы и душегубы! Главные элементы параноидальности, судя по Абрамовской панике, парнишка унаследовал от отца. Исчезла из поля моего зрения и Виолетта. Заявив, что папочку давно пора сдать на Слободку. Та информация, что разносили газеты и радио, пугала людей и с куда более устойчивой психикой… Зато появилась госпожа Танаки-сан. Каждый месяц, день в день она стучалась в дверь и, улыбаясь вежливой, немного загадочной улыбкой, усаживалась возле выхода, ловко и невозмутимо перебирая вязальными спицами.

Ждала почтальона. По этому адресу ей приносили пенсию. На мой вопрос, почему именно на его адрес, Абрамов растерянно разводил руками. Оказывается, оставшуюся когда-то от матери квартиру он разменял на две. Под предлогом формального развода (нечто подобное мы обычно называем «фиктивным») Танаки-сан соблазнила его перспективой избавиться от её детей. Что и прокрутила весьма выгодно, получив «для детей» благоустроенную «однушку» на престижном Большом Фонтане. А вторую, в центре города – ту самую «колдовскую», с которой и началась наша с ним история – для себя. Норка была «убитая», без удобств, выделенная из бывшей коммуналки, где плита-буржуйка мостилась прямо в коридоре, исполнявшем и функции кухни. Но формальный развод тут же стал фактическим, поскольку, оставаясь прописанной в этой общей с Абрамовым клетушке, самурайка этими же ногами отправилась жить к своим отпрыскам. С дальним прицелом. Сейчас её расчёт прояснился: имевшая (со слов Абрамова, конечно!) «коричневый пояс», Танаки-сан решительно отказалась выписываться. Как потом я узнала, в эту квартиру по закону она могла вломиться даже силой. Независимо от развода и протестов Абрамова. Конституция давала ей это право. Извиняясь и кланяясь, она и это жильё выпускать из своих цепких ручек не собиралась. Она приходила, получала свою пенсию и, улыбаясь, уходила до следующего визита. В случае суда эти её посещения стали бы доказательством её общего ведения хозяйства с моим Абрамовым! И докажи-ка обратное!

Думаю, Абрамов потаённо трусил, потому что непроницаемо-чёрные глаза Танаки-сан останавливались на нём иногда с такой холодной целесообразностью, что казалось: мгновенье – и раздастся её пронзительное «кья»!

А меня занимал вопрос: и куда же при этой настойчивой воительнице сдувался «альфизм» моего визави? Или на таком опыте он его и натренировал? Но поскольку визиты этой женщины Востока между фарсовыми действиями сценария давали возможность дополнительного антракта, скрывая вздох облегчения, я уезжала в Киев. Подозреваю, что предложение мне Абрамов когда-то сделал в надежде, что я – нормальная женщина и буду за своё драться насмерть. Как делали предыдущие. Не повезло.

Не знаю, как удалось уломать самурайку, но на выписку она внезапно согласилась. Думаю, помогли суммы, что оставались в душевой. Из Москвы Абрамов привёз всего-то три тысячи баксов, которые и вложил потом в покупку однокомнатной квартиры. Оформив её на Юльку.

Довольный собой, он известил меня, что разыскал её в университете и познакомился с югославом.

– И как? – насторожилась я.

– Да отличный мужик! – Абрамов покопался в сумке, чтобы показать его фото, но не нашёл. – Я ему на переговорах мастер-класс провёл, – подмигнув, шепнул он доверительно. Сердце у меня упало.

– Что за мастер-класс?

– Он же зелёный ещё. Ему где-то под тридцатник, какой ему бизнес? А там приехали из Франции, из Германии. Переводчики сидели. Ну, думаю, провалит пацан дело. Я послушал-послушал, врубился, о чём речь – ты же знаешь: я умный. У меня голова большая. И включился. И сам всё провёл.

– И что? – спросила я, предчувствуя недоброе.

– Да отлично все. Лопотали что-то по-своему, смеялись. Руку жали…

– А Влад как?

– А что Влад? Пацан. Вежливый. Помог мне деньги обменять. Квартира у него… я и не знал, что такие бывают.

– Надеюсь, хотя бы с ним ты не «налаживал доверие»? – без особой надежды взмолилась я.

– Ты о чём? – не понял он.

11

Я приехала, когда всё уже случилось. Как раз накануне он купил на Юлино имя маленькую «хрущёвку» возле памятника лётчикам на 5-й Станции Фонтана. В отличие от нашей «колдовской», она была с горячей водой и всеми удобствами. Потому без всяких церемоний он тут же, пока Юлька была в Киеве, вселился туда сам. И когда приехала я и с сумкой, полной продуктов и шампанского, возилась возле двери, выскочила соседка:

– А супруга-то вашего забрали вчера! – испуганно таращась по сторонам, сообщила она. Толстенькая и разворотливая, как банщица в своей по самые брови накрученной чалме из полотенца, она ощупывала меня любопытными глазками-бусинками. – Ваш-то только в дверь, а они – зась! – соседка слегка присела, как бы от ужаса. И вцепилась в меня чёрным пытливым оком. – Да вы, милая, не бойтесь, они ничего не нашли. Я же в понятых была. Я видела: ни-че-го-шеньки! – тараторила она, скользнув следом за мной и поддев шлёпанцем распластанный кейс. – Только, миленькая, вам теперь долго тут убираться придётся. А взять – нет, ничего не взяли, не бойтесь. – Я ошеломлённо рухнула на диван. Обшивка взрезана, пенопласт из неё, как зубы… Полный разгром… Судя по всему, заглядывали даже под кожух АГВ. Перетрясли Юлькины книги. Проверили содержимое кастрюль, ящиков стола, чемоданов. Сунули нос за батарею. И, конечно, впустую – вся наличность из душевой перекочевала в карман прежнего владельца…

– Арестовали?! Ну вот, доскакался! Что же делать? – всполошилась в трубке Юлька. Хоть мой Абрамов приятных эмоций у неё не вызывал, ей как настоящей русской женщине стало его жаль.

– Юля, я не знаю… Тут какое-то недоразумение… Я поищу адвоката…

– Это же понадобятся деньги… А у тебя их нет. И у него нет. И у Бабы нет… И у меня… Придурок! Надо же! Вот же только-только мы с ним борщ ели! У нас на Кутузовском. Ты знаешь: он ведь особый борщ изобрёл!

– Бо-орщ? – удивилась я. – Не знала за ним таких способностей.

– Ещё какие способности! Прихожу из университета, а он: «Вот! Теперь я и без Ирчика могу обходиться. Я борщ научился варить! Давай угощу!» – мне, конечно, любопытно: «Наливайте, – говорю, – я борщ люблю. Только без сметаны». – «Без сметаны – так без сметаны», – говорит, и наливает миску. Смотрю – а там макаронины плавают. Толстые, белые, как черви. Бррр… «Это что?» – спрашиваю. – «А для сытности! – говорит. – Моё ноу-хау! Авторский рецепт «Рисовый борщ с макаронами». *Ексклюзив*! Ты до риса ещё не дошла! И грибы там. Я же ещё и грибов всыпал! Хотел сначала мидий, но где их у вас тут найдёшь, да и Ирчик же грибы любит? Вот я и добавил! Борщ должен быть, чтоб ложка стояла. Видишь – стоит!» – она рассмеялась. А потом сникла. – Я… Я поговорю с Владом. Может, Влад что-то придумает…

Когда на душе плохо, нет ничего лучше, чем приходящие и уходящие составы. Я сидела возле железнодорожного вокзала в сквере и тупо таращилась себе под ноги. Падал цвет акаций, как снег, и земля под лавочкой была, как в сугробе. Свистели тепловозы, лязгали сходни и подножки пригородных электричек. Одни поезда мчали в Москву, другие в Одессу, некоторые – в Ирпень. Любая коммуникация имела множество конечных точек. Она как результат выбора находилась далеко за пределами своего начала.

И лишь мысли мои, как тупые молекулы, двигались беспорядочно. Они не догадывались, куда их выведет кривая. Они просто питали единое энергетическое поле…

– Привет бывшим труженикам пера! – услышала я за спиной.

– Рома! – ахнула я. Мы не виделись целую вечность, и звуки его голоса, такие знакомые и родные, закачали подо мной белую землю и синее небо. По сути, у меня ведь ничего в жизни и не было лучше, чем Рома и Юлька!

– Ромка, ты откуда здесь?! – тормошила я его, отслеживая каждую новую морщинку на его лице.

– Да вот, шёл мимо… Привет! – В глазах Ромы, несмотря на май, сквозил конец августа – в них мельтешили шершавые шершни.

– Привет, – ответила я ему. Судя по мятым брюкам и несвежему вороту, дела у Ромы были тоже не очень.

– Ну, как ты? – он прошёлся по моему лицу мёдом своих радужек, густо облив эндорфинами. Как когда-то… – Может, аперитивчику? – и вытащил из кармана пиджака плоскую фляжку. На тусклом металле слабо взблеснули выгравированные инициалы. Между ними – знак «+». Я сделала этот ему подарок, когда Юлька была совсем маленькой. Не знали мы тогда, что однажды встретимся вот так – по разные стороны наших трёх жизней. По Платону, они должны были бы составить одну. Что-то вроде шестикрылого Серафима, если по-нашему, по-христиански.

– Да, не получилось, – понял он меня и выразительно взбултыхнул фляжку. – Пути Господни неисповедимы, Ирка.

Я заставила себя улыбнуться:

– Жалеешь?

– Да чего уж. Жалей не жалей… *Ты гори, Серафим, золотые крыла*, – вполголоса промурлыкал он из любимого Юлькой когда-то Гребенщикова,

Гори, не стесняйся, путеводной звездой.
Мне всё равно – я потерял удила,
И нет другого пути,
только вместе с тобой…

…А какой у тебя налог на сострадание?

– А что, сострадать надо? Почему?

– «Почему?» – можно назвать матерью всех наук, как сказал господин Шопенгауэр. – Рома уже принял свой обычный непроницаемый вид. – Я просто предложил выпить. Снять стресс, так сказать. – И он опрокинул в себя горлышко. Снова взблеснуло «И+Р =». Мои губы невольно раздвинулись в улыбке: обезьяны в зоопарках периодически тоже получают свою порцию спиртного. Иначе им не справиться с нервным напряжением. Ну дался же мне этот Мех со своими животными!

– А ты всё такая же…

– А ты всё так же бряцаешь интеллектом?

– Интеллект становится главным ресурсом, и его цена постоянно растёт, – улыбнулся Рома и, не зная, что делать с флягой – то ли протянуть её мне, то ли запихнуть в карман, – сунул в карман. В глазах его заметались знакомые мне золотистые мотыльки. – А у тебя, похоже, конфликт иллюзий и реальности?

– Хуже, Рома, – призналась я. – У меня Апокалипсис.

Его шевелюра, похожая на вздыбленные иголки ежа, слегка качнулась. Он помолчал, снова перекидывая фляжку из одной руки в другую и, насладившись мстительной паузой, ободрительно ощерился:

– «Всё у нас, о Луцилий, чужое. Одно лишь время – наша собственность, только время, ускользающее и тягучее, дала нам во владение природа», – и незаметно обтёр пыльные туфли о траву. После чего приблизил ко мне своё поблекшее за эти годы лицо и покачал головой. – А что такое Апокалипсис в персональном деле одного человека, Ирочка? Это просто сумма ошибок, вошедших в резонанс. – Он снова отвинтил крышку фляжки и протянул её мне. В аперитиве чувствовался стойкий вкус любимой мной корицы.

– А я в любую спиртягу добавляю кое-какие специи. Получается вкусно. Ты ведь тоже так делала когда-то.

– Помнишь?

– Пройдёт и это, – и опять отхлебнул из металлической фляжки. – Ты права была: наши иллюзии – это горизонт. Без горизонта и идти некуда. – Он остановил взгляд на запутавшемся в ветках солнце и надолго замолчал. Я тоже молчала. А ведь, и правда, не важно, что там, впереди. Главное – горизонт. Когда он есть, тебе есть куда идти…

Он спрятал фляжку и с каким-то немым отчаяньем заглянул мне в глаза. Будто хотел зацепиться за рычаг стоп-крана. И мне почудилось, будто в опустевших песочных часах снова зашуршал песок.

12

А ещё через неделю Юлька вернулась из Москвы. Злая. И с чемоданом.

– Что случилось? У тебя же свадьба через неделю!

– Никакой свадьбы, – развешивая платья, огрызнулась она. – Я от него ушла.

– Но почему?!

– А потому. Твой придурок опять себя на смех выставил. И все смеялись! И Влад тоже. Говорит: – «Твой батя…» – Абрамов же себя за отца выдал. Хотя папа-то уже приезжал, и я их знакомила! Но раз дед говорит, что он – отец, значит – отец. «Твой батя, – говорит, – ни уха, ни рыла в бизнесе, а туда же! Со свиным рылом в калашный ряд». Я сказала: «Адью!» и – помахала ручкой. Ну не могла я это проглотить! Но деньги на выкуп привезла. Потом вернём. Влад дал. Говорит, выкупишь, остынешь и – приезжай, – Юлька вздохнула. – Только… я не приеду. Всё. Твой Абрамов уничтожил мой авторитет.

Я опять хлопала глазами. Вот, право же, я бы на такое не решилась…

***

Можно было бы книгу и продолжить. К примеру, рассказать о звонкоструйной Черногории, где моя (тоже не совсем прагматичная!) дочь всё-таки оказалась, не устояв перед весёлой верой Влада в её возвращение. И об Израиле, в который после молниеносного развала Югославии она переехала. Переехала уже с новым, израильским мужем. Оттуда через время мне прислали внучку, которая теперь тоже раз в полгода (всё-таки это вам не из Харькова в Киев!) летает от меня к родителям. А для Юлии, как и для меня когда-то, главным стала работа. Впрочем, как и для её упрямо внедрявшегося в сложный израильский быт мужа. Не так-то просто было ему вгрызаться в Святую землю. И не так-то просто найти себя там.

И об Абрамове, которого, несмотря ни на что, я всё же выкупила. Прессинг прокуратуры в те времена был ещё не так крут. «Дело Абрамова» оценили всего-то в пять кусков зелени (хотя бывалые мокрушники утверждали, что тогда эта сумма была отмазкой заказного убийства!).

И о том, как, выйдя из КПЗ, Абрамов наотрез отказался вернуть занятые мной деньги. «А зачем брала? Я бы и сам вышел!..». И как тщательно заслонял от меня банкомат, набирая ПИН-код платёжной карточки, чтобы снять накопившуюся за месяцы отсидки крохотную пенсию – в переводе на доллары это чуть больше двухсот! И ещё о том, как в конце концов по Юлькиной доверенности я продала ту злосчастную квартиру, чтобы вернуть долг. А потом безуспешно гадала над смыслом тех ядерных реакций, что произошли в моей (и не только в моей!) жизни. Для чего они были? Зачем? И не находила ответа.

Мысли, мысли, думки…

Каждый может задуматься, что было в его жизни хорошо, а что плохо, и написать книгу. Его история может даже стать полезной другим. Но, не зная, какую же и чему дать оценку, люди то и дело меняют точку зрения на одни и те же явления. И кто в них прав, кто виноват? Нет ответа. Разве что в итоге мы сами явим собой ответы на все накопившиеся вопросы. А что есть мы? Что наработано нашими генами и нами самими за все времена, данные нам от века. Никакие там сатана или Высшие силы не покажут нам наши собственные заблуждения. Только время и даст им истинную оценку. А всякие-разные оправдания и аналогии находим мы сами. Мы ведь склонны их даже придумать, лишь бы сбросить свою вину на других – так легче жить.

«Всё есть мысль, и больше нет ничего», – когда-то пел Цой. Он мог бы добавить: «А хорошая мысля приходит опосля». И ведь был бы прав. Человеческая субъективность всего лишь мысли, тиражирующие друг друга. И вертятся, и крутятся веками наши бесчисленные прогоны про любовь, про цены на картошку и мягкое сиденье в сортире вокруг дублирующих друг друга носителей. А тем временем всё также везут бурёнок на мясо. И ликуют фермеры от звона монет в кошельках. И меняется цветами географическая карта – то белое вместо синего, то синее вместо белого под кельмами вольных и невольных каменщиков. И только солнце всегда одно. Даже восходит и заходит одинаково.

И ничего нет нового в хаосе бесчисленных форм.

***

Меняет ли нас Время?! Или так и бредём по кругу, сотворяя путь сплетением нехитрых своих желаний и несовместимых разностей?!

Э-эх… «У попа была собака»!

А при чём здесь собака?

Да ни при чём. Просто эта присказка напоминает нас…

---

[1] В. Маяковский, «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

[2] Бильдербергский клуб – конспиративный клуб, по названию отеля «Билдерберг» в голландском Остербеке, где в мае 1954 состоялось его первое заседание.

[3] В. Маяковский.

«ГОРИЗОНТ»

От редакции: второй год подряд журнал «Южное Сияние» является информационным спонсором Международного Грушинского Интернет-конкурса (МГИК) и предоставляет свои страницы для публикации конкурсных произведений победителей и лауреатов конкурса. В 10-м Международном Грушинском Интернет-конкурсе победителями в номинации «Поэзия» стали Ян Бруштейн (Иваново) и Юлия Драбкина (Израиль), а в номинации «Малая проза» – Ирина Соловьёва (Саратовская область) и Юрий Макашёв (Барнаул). Также «ЮС» публикует стихотворения лауреатов конкурса Виктории Смагиной (Томск) и Анны Романовской (Москва).

ЮЛИЯ ДРАБКИНА

Петах-Тиква, Израиль

***

Заболеть основательно, слечь, чтобы банки, компресс,
чтобы на ночь тебе гоголь-моголь и тёплый «Боржоми»,
чтобы толстый, набитый соломою мишка воскрес,
старики зашептались на идиш в родительском доме,
чтобы «Выйди и вынеси мячик!» орали внизу,
на любовь колдовали ромашками – по лепесточку,
чтоб сидеть на дощечке над ванной с ногами в тазу,
чтобы мама порой заходила поддать кипяточку.

Что я делаю здесь, отражённый от памяти тать?
Где тот мост через ванну над паром кипящего детства?
До каких величин мне ещё из любви вычитать,
за собой только бурую струйку рисуя в наследство?
Посмотри, не умея разумную взять высоту,
никому не оставив ни слова в прощальном конверте,
на разбитых коленях совсем по другому мосту
я иду, раскачавшись, и он перекинут над смертью.

Близорукий мой ангел, ужели не видишь, как я,
словно папиной запонкой, жизнь застегнув неумело,
раздираю судьбу о шипованный край бытия?
Бормоча неразборчиво «В том, понимаешь, и дело…»,
потирая крыло, подставляет худое плечо –
опершись, осторожно спускаюсь в свою непогоду,
и ногам, беспокойным на этой земле, горячо,
будто мама опять подливает горячую воду…

***

Чешет солнце закатной гребёнкою
по макушкам земных пострелят,
в лужи иглы вонзаются тонкие,
словно корюшку в небе едят.
Дует ветер с улыбкой флегматика
на горячие точки оси:
здесь такая у нас математика –
хоть за скобки святых выноси.
Чей гроссбух на странице итоговой
перечёркнут? Загни уголок…
Это кто там звонит из Налоговой:
на печаль, мол, понижен налог?
Только боли – судьба неизбежная –
мой запас на сегодня испит.
Видишь – девочка, девочка нежная
над домашним заданьем корпит?
Видишь счастье моё тонкошеее?
Только ей о печали – молчок:
на макушке её и в душе её
не заросший сквозит родничок.
Видишь – с неба Господнее семечко
прилетело искрой серебра,
чтобы в ямочке тёплого темечка
у неё прорасти до утра.

***

Так неистово солнца метёт бахрома,
что, песками просеяна, бредит зима,
к своему приближаясь пределу.
Расползается время на швах по углам,
превращая пространство в бесформенный хлам –
так бывает душа не по телу.
Будто кто-то порушил семантику слов,
на фонемную пыль твою речь размолов,
и неясные шлёт шифрограммы,
так из рваного мяса слагается стих,
так, должно быть, на раненом теле иных
никогда не срастаются шрамы.
Так бывает: чем дольше безмолвствуешь ты,
тем бессмысленней бремя твоей немоты,
тем несноснее, тем виноватей.
Как больной терминальный не хочет к врачу,
я вот это всё знать о себе не хочу,
как доселе не знала проклятий.
Так не может, не хочется, быть не должно,
чтобы смертью всего обрывалось кино,
режиссура кончалась распадом…
Но сжимаются кольца на мёртвой воде.
Расскажи мне, теперь твоя родина где?
И зачем, если нет меня рядом?
Так не может, но так уже есть, потому
не мигая смотрю в окаянную тьму,
с покаянной мольбой интровертной
незаметно спускаясь на дно-монолит.
И на дне воскрешенья уже не сулит
правота, оказавшись предсмертной.

ЯН БРУШТЕЙН

Иваново

МЕЖДУ ГОРОДОМ И САДОМ

Когда меня накрыло не по-детски,
И было не укрыться, и не деться
От этой убивающей тоски,
Всё развивалось, как в театре действо,
Как боль недавно сломанной руки.

Моя страна смеялась и стонала,
И мыла руки, и своих пинала –
Потом, когда сдала их и спасла,
Сушила вёсла, и рожала мало,
И жгла траву у нашего села.

Мы жили между городом и садом,
Леса и реки обнимая взглядом,
А я лечился древом и строкой.
Всё думал: может быть добром и ладом
У нас всё выйдет, милая, с тобой.

Гроза играет страшной погремушкой,
Наш дом качает, словно кто-то ушлый
Трясёт его завистливой рукой.
Когда у края снова раню душу,
Меня спасёшь ты, и никто другой.

ПЛАЦКАРТНОЕ

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за батю-полицая…
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос как слепая птица –
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба…
Не бойся, я разбойник, а не вор!».

Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика…».

СУХАРИ

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за её спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.
И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось –
Как солнце над её землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.
Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»…
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапёром на войне.
А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промёрзшею землёй.
«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».
Не поднялась рука из дома вынести
Тяжёлые ржаные сухари.

———

ВИКТОРИЯ СМАГИНА

Томск

ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА

закрыть глаза и видеть тишину
сокрытую в летящих хлопьях с неба –
они спешат в сугробах прикорнуть
и стать сбежавшим прошлогодним снегом.

там, далеко гудит машинный рой,
скрипят шаги, ворчит собачье вече
и сок течёт под млечною корой
берёзы, без листвы лишённой речи,
и бег большой медведицы в ночи
почти неразличим за белым лётом…

сучи кудель извечную, сучи,
вневременная дочь ананке – клото,
вплетай в суровость нити детский смех,
умение терять и плакать молча

и чуять сквозь залатанность прорех
поблажки *vita* со скупыми *dolce*,
наматывай созвездий бледный скан,
молитв одноголосых вереницы.

мя утиши декабрьский век сурка,
во мне зима не спит
и длится,
длится.

ЧУДИЩЕ

слышу, как небо взрыкивает в темноте
облачным чудищем – обло, стозевно, лаяй.

лапами трогает крыши на высоте.
техника троганья старше загадок майя,
каменной статики высохших пирамид
и петроглифики дикого енисея.

небо живое расцветки ночной пирит,
неприручённое, смотрит зрачком осенним.
что-то шепчу ему в рифму, дышу не в такт
и распускаю ловчую сеть созвездий.

быть пенелопой проклятых неИтак
очень почётно, больно и бесполезно.
след одиссеев выболел буквой «ять»
из алфавита, вот уж как эпос с гаком.

чудо-чудовище, дай мне тебя обнять,
дай мне зарыться в шерсть твою и заплакать.

ТОВАРКА

она прилетает, графитная с сединой,
и с крыши сарая обкаркивает меня:
мол, кто ты такая – с лопатою снеговой,
тебе не досталось горящей избы, коня?
ни алого паруса где-то в морской дали,
ни алого цветика где-то в глухих лесах,
ни туфельки – где там богемские хрустали,
ни пэра, ни пьера…

лишь белая полоса
огульного снега.
кидай себе и кидай.
растут терриконы, скрывая вишнёвый куст,
бывалый штакетник, поленницы сирый край,
ползут тихой сапой к провалу овражьих уст.

ах, злая товарка по схиме снегов-лопат,
не страшен мне ворох зерна из небесных сит

пока вьётся к дому расчищенная тропа
и чайник на печке горячий мотив свистит.

———

АННА РОМАНОВСКАЯ

Москва

ЧТО ЗНАЧИТ – ВНОВЬ ВЕРНУТЬСЯ…

Что значит – вновь вернуться в старый дом,
В котором в детстве проводила лето?
Где та же шелковица за окном,
Где знаешь наизусть все силуэты,
Все запахи и звуки, свет и цвет,
Где смерти нет.

Зажмурившись, переступить порог,
Услышать вздох усталой половицы.
Сквозняк легонько проскользнёт у ног,
Листая пожелтевшие страницы
Календаря: июнь, опять июнь,
Что вечно юн.

Здесь бабушка мне вяжет и печёт,
А дедушка придумывает сказки.
Я постигаю чтение и счёт,
Предпочитая кисточку и краски.
Мой старый дом, огромный тёплый пёс.
Хранитель грёз.

В нём так же бьют напольные часы,
И голуби курлычут на балконе
И просят крошек – острые носы
Клюют с моей и дедовой ладони.
Внизу кричит, хохочет детвора.
Весь день – игра.

По пояс забираюсь в шифоньер,
Ныряю в платья, блузки, сарафаны.
В углу, всепобеждая интерьер,
Гранитная скала фортепиано.
Как жаль, что разгадать не суждено
Мне шифры нот.

Вот я бегу к колонке за водой,
А вот – в сады у дальнего колодца.
Я помню: мячик, мишка заводной.
Я помню: было очень много солнца.
Что значит – в старый дом вернуться вновь
Дорогой снов?

Когда меня потребует назад
Будильник – раздражитель мой привычный,
Прикрою тихо дверь, открыв глаза.
Но голуби вдали ещё курлычут,
Ещё летят сквозь тьму прошедших лет.
И смерти нет.

СОЛОМЕННАЯ ФАНТАЗИЯ

Угас закат. Туман сошёл в поля.
Разбухшая неровная земля
В лучах последних от росы лоснится.
Стою у края пашни в колее,
И видится мне небо как вольер
В белёсых перьях перелётной птицы.

Мне нужно это поле пересечь,
Не слушая растительную речь
И не увязнув в липкой коме глины,
Но шорохи поникших диких трав
Я чувствую, как свой больной сустав,
И не могу усилием отринуть.

Куда ведёт и, главное, зачем
Обратный путь из жёлтых кирпичей,
Что лебедой порос и стал невидим?
Ах, если мёртвый выговор травы
Я выкинуть бы смог из головы!
Но я и сам трава – в каком-то виде.

Намеренье идти внутри зудит,
А, может быть, в соломенной груди
Закопошились мыши в норке тёплой.
Я колыхаюсь на тугом ветру,
И видится мне небо словно пруд,
Кишащий лупоглазой синей воблой.

Вороны, позабыв про давний счёт,
Теперь слетают спать мне на плечо,
Но каркают: наверх смотреть не стоит.
А я, заворожённый, всё стою
У осени прозрачной на краю
И жду, пока лицо мне ливнем смоет.

КОГДА СТОИШЬ…

Когда стоишь на голом полустанке
В тумане – бледном призраке дождя,
И грязная апрельская изнанка
Крадётся из-под снега на тебя,

Когда стоишь бездумно и безвольно,
Слегка качаясь с тусклым фонарём,
Ты только тень. От этого не больно,
Поскольку всё равно мы все умрём.

Когда стоишь на станции «Забвенье»
И про себя считаешь поезда,
Которые несутся мимо тенью
И только звук их долетел сюда,

Когда стоишь и ждёшь, как пёс у двери,
По горло в наплывающей весне
И в гулкой пустоте, легко поверить,
Что это происходит лишь во сне.

Вся жизнь во сне. Бессмысленные кадры,
Немое чёрно-белое кино.
Всё смотришь на экран в пустом театре,
А кресло покидать запрещено.

– Чего ты ждёшь, печален, неприкаян?
– Единственное, что здесь наяву.
Когда во сне хоть тень твоя мелькает,
Я вспоминаю, что ещё живу.

ИРИНА СОЛОВЬЁВА

Саратовская область

ПАШКИНО СЧАСТЬЕ
рассказ

…Детство своё Пашка помнил смутно. Самое первое воспоминание – празднично накрытый стол в гостиной, яркая, пахнущая лаком посуда, которую мать достала из старого, видавшего виды сундука, жёлтый абажур люстры да букет ароматных лилий. Суетливая мать улыбается и гонит Пашку от стола. Она боится, что сын ненароком разобьёт фужер, переливающийся в свете лампы всеми цветами радуги, или испачкает новенькую скатерть с нежными васильками. Она радуется чему-то, напевает какую-то песенку вполголоса, и кажется, будто в свете старенькой люстры отражается весь мир, такой загадочный, весёлый и яркий… Пашка не помнит, что это был за день, но точно знал, что в нём – вся прелесть его серого и безрадостного существования. Вот все собрались за столом. Напротив матери сидит долговязый рыжий дядька в мешковатой военной форме, усы его смешно топорщатся, когда он рассказывает какую-то историю, мать улыбается ему, незаметно подкладывает Пашке вкусно пахнущую колбасу, подливает ароматный компот, в котором плавают кусочки сушёной вишни, Пашке радостно от всей этой непонятной болтовни. Но более радостно ему от чувства сытости, которая, растекаясь по всему телу, заглушает все прочие мысли…

Долговязый дядька куда-то выходит, маня за собой мать. Некоторое время спустя мать, прибирая со стола, внезапным порывом прижимает к себе Пашку, всхлипнув негромко, гонит его спать… Пашка навсегда запомнил запах матери – щемяще родной, с горьковатым привкусом краски, лаков и растворителей. Кем она работала? Пашка не помнит. Он помнит вкус пирога с паслёном, помнит запах хлеба, который по воскресеньям ставила мать, помнит старенький диванчик, на котором он спал… Ещё ему вспоминается день, когда приезжала подруга матери. Тётя Дуня? Кажется, так её звали. Тогда он впервые попробовал сладкую прозрачную конфету на палочке в форме петуха. Правда, клюв у петуха почему-то отсутствовал, но это не портило вкуса. В тот день Пашка долго бродил по двору, ожидая, когда Митяй и Федька наконец выйдут во двор. Несколько раз петушка приходилось обдувать от прилепившегося тополиного пуха. Но это не смущало Пашку. Твёрдо зажав конфету в руке, он торжественно вышагивал вдоль песочницы, делая вид, что никого не замечает. А когда пришли ребята, он с гордостью протянул им петушка с таким лицом, как будто дома у него «ещё коробки три с таким штуками: мать притащила, выменяв на старое барахло». Митяй тогда долго рассматривал петушка, удивляясь, какой он «прозрачный и красный, как настоящий». А Федька рассудительно сказал, что надо бы поделиться с друзьями, ежели у него ещё три коробки такого чуда дома стоит. Пашка не стал возражать, хотя ему до смерти хотелось вырвать петушка из грязных рук Митяя и убежать, в одиночестве насладиться конфетой за дальним сараем. Он только сказал: «Давайте по очереди, так оно честнее будет!». И потом жадно высчитывал свою очередь, следя, чтобы хитрый Федька, который был старше его на полгода, не вздумал его облапошить… А тётя Дуня? Кто это? Пашка не помнил её фамилии, откуда она приезжала, он тоже не мог вспомнить. Он даже не мог припомнить, как выглядела эта тётя Дуня, подарившая ему тот сахарный кусочек счастья… А вот он, лохматый, с порванным рукавом и подбитым глазом, выслушивает причитания матери. Ну, подрался, с кем не бывает? Ну и что, что рубашка почти новая, её месяц назад баба Маша из соседнего дома матери подарила: выросли все сыновья-то её, а Пашке, маленькому да худенькому, она «в самый раз». Зато будет знать Петька, как дразнить его безотцовщиной… Не знал отца Пашка, да и не понимал, что такое «безотцовщина», но знал точно: обидное слово. Пашка и не задумывался, почему у него нет отца. И у матери не спрашивал. Потому и не заглядывал в глаза каждому прохожему с затаённой надеждой…

А ещё вспоминается Пашке, как чудесное летнее утро разорвало слово «война». Смутно, но помнит он страх, подламывающий колени, когда где-то над самой крышей с протяжным визгом пролетает снаряд, взрывом сотрясая стены, а ты, съёжившись под кроватью, облегчённо вздыхаешь: мимо! Или когда трясущимися пальцами ты отламываешь кусочек ржаного хлеба, осторожно, пытаясь не растерять крошки, кладёшь мякиш в рот и легонечко посасываешь его, чтобы продлить ощущение сытости. А когда желудок немного успокоится, заворачиваешь остатки хлеба «на потом»…

А вот Пашка посреди улицы. Он стоит один среди развалин того, что ещё вчера называлось его домом. Из-под шапки тонкой струйкой стекает алая кровь, полушубок, который мать недавно ему перешила, обуглен местами, руки разбиты об обломки, сквозь которые он выбирался, один валенок потерялся… Но не это важно ему. Он только сейчас понял, что остался один. Побродив до вечера среди руин, покричав, но не дозвавшись матери, он сидит теперь на огромном валуне, не зная, что делать дальше.. А потом настало утро, Пашка увидел нескольких человек, усердно растаскивавших тяжелые плиты его бывшего дома. Его прогнали, он, сделав пару кругов вокруг, снова вернулся, его снова прогнали…. Переждав неподалёку, он вернулся на старое место уже затемно. Людей не было, двор немного расчистили, но было страшно смотреть на то, что осталось от его прошлой жизни. Пашка пошёл, куда глаза глядят. Неожиданно внимание его привлекло незанавешенное окно; в углу комнаты стоял стол, на котором дымилась картошка, а рядом на тарелке лежал нарезанный мелкими кубиками хлеб. Пашка подошёл ближе, совсем вплотную к окну, он почти ощущал запах хлеба, почти чувствовал обжигающий вкус горячей картошки во рту, но… Чья-то рука вдруг задёрнула штору, и Пашка, словно очнувшись от дурмана, побрёл дальше. Он шёл бессмысленно, не обращая внимания на редких суетливых прохожих, перед глазами его неумолимо всплывала картошка в синей эмалированной чашке, он пытался прогнать видение, пытался отвлечься, но у него не получалось. Обессилевший, Пашка прислонился к стене, закрыл глаза, прошептал «мама» и провалился куда-то в страшную пустоту…

…Очнулся он в белой комнате, на стенах которой ничего не было. Он попытался приподняться, но силы оставили его совсем, и он снова провалился в пустоту…

И вот теперь Пашка сидит на больничной койке, с трудом пытаясь понять, что с ним и как он здесь оказался. Медсестра, ласковая тётя Валя, говорит ему о чём-то хорошем, вкладывая в руку сморщенное яблоко. Пашка не совсем понимает её, но знает, что всё плохое уже позади. Так говорит тётя Валя…

Всё это проносится перед глазами Пашки, съёжившегося под тяжёлым взглядом грузной женщины за большим тёмным столом.

– Ты помнишь свою фамилию? Ты слышишь меня, Павел? – женщина не кричит на него, она чётко и громко произносит слова, но Пашке кажется, будто этот голос врывается в его перепонки со свистом тяжелых бомб.

– Нет, – наконец выдавливает он из себя.

– Ты помнишь своих родителей? Где ты жил, помнишь?

– Нет…

Женщина тяжело поднимается со стула, выходит. Её шаги отдаются в Пашкиной голове. Невидящим взглядом он осматривается. На миг задержавшись на большом портрете улыбающегося дяди с пушистыми усами, Пашка прислушивается к шагам за дверью. В комнату входят двое: та женщина и ещё одна, худая, с вытянутым лицом и сжатыми губами.

– Теперь ты пойдёшь с Марией Фёдоровной, Павел.

Пашка встал, вложил свою узкую ладошку в протянутую руку Марии Фёдоровны и послушно засеменил рядом с ней, пытаясь не отставать от широкой размашистой походки женщины.

– Куда мы? – Пашка попытался взглянуть в лицо Марии Фёдоровны.

– В детдом, конечно.

– А что это?

– Увидишь сам.

…Машина тряслась по выбоинам, Пашка хотел было запомнить дорогу, но запоминать было нечего: руины, вырванные с корнем деревья, грязь, измождённые лица людей. Мария Фёдоровна ехала всю дорогу молча, изредка поругиваясь на очередном ухабе. Наконец машина остановилась у серого облупленного здания. Окна были заклеены крест-накрест чем-то белым, нигде не было видно штор или занавесок. Мария Фёдоровна сказала следовать за ней. Войдя в дом, Пашка на миг задержался, почувствовав лёгкий шорох за спиной, но тут же спохватился: Мария Фёдоровна, чеканя шаг, скрылась в длинном узком коридоре. Догнав её, Пашка не мог отделаться от мысли, что за его спиной кто-то есть. Лишь когда за ним захлопнулась синяя дверь с занавешенным смотровым оконцем, Пашка переключил своё внимание на маленькую старушонку, сидевшую окна.

– Принимайте, Вера Кузьминична! – Мария Фёдоровна сделала шаг в сторону, пропуская Пашку вперёд.

– Проходи, проходи, – старушонка привстала, махнула ему на стул и снова села.

– Звать тебя как?
– Пашка.
– А сколько тебе лет?
– Не знаю.
– А родителей помнишь?
– Нет.
– Ну, хорошо, хорошо. Мария Фёдоровна, чайку?
– Нет, Вера Кузьминична, дел полно. Бумаги его вот, только выписка из больницы. До свиданья! – Мария Фёдоровна вышла, неслышно притворив за собой дверь…

…Прошёл год. Пашку определили как Воробьёва. Сказать по правде, фамилия очень подходила ему. Чувствуя обиду, Пашка как-то угрюмо съёживался, становясь похожим на взлохмаченного воробья. Серо-зелёные глаза, полные невыразимой тоски, смотрели прямо тебе в душу. И обидчик невольно отступал, чувствуя неведомую силу этого маленького, тщедушного существа… По медицинским показателям лет ему было не больше шести, так и записали. Сколько ни старались его разговорить и выведать хоть какие-то сведения о нём, ничего нового узнать никто не смог.

Через год после того, как Пашка попал в детский дом, персонал вместе с воспитанниками эвакуировали в пригород, в небольшой, но тихий посёлок. Пашка стал учиться, учёба ему давалась легко, особенно силён он был в математике. Учителя отмечали его способности и старались даже давать ему задания более сложные, чем остальным. Пашка легко справлялся с ними. Так прошёл ещё год…

Однажды тёплым майским вечером по детдому прокатилась волной новость: война закончилась! Всю ночь в детдоме никто не спал, а наутро заведующая собрала торжественную линейку и вновь объявила, что войны больше нет. Пашка и радовался, и грустил: что будет с ними всеми? Подойдя к Вере Кузьминичне, он, заикаясь и краснея, спросил её об этом. Рассмеявшись, Вера Кузьминична ответила: «Жить будем, воробышек!».

На лето детдом выехал на «отдых» в соседний колхоз. Маленькие, исхудавшие ребятишки, осознавая необходимость своего труда, помогали взрослым, чем могли. В колхозе Пашка познакомился с дояркой тётей Дуней. Что-то знакомое и родное было в её руках, красных от ветра, в её манере растягивать слова, в её суетливых движениях. Пашка ходил за ней по пятам, пытаясь быть полезным и нужным. За лето он вовсе привык к ней, к тяжёлым сельским будням, к непосильному ежедневному труду. Да и она прикипела к парнишке всей душой. Всё чаще по вечерам она отпрашивала Пашку к себе, за долгими разговорами и чаем со сливками они изливали друг другу душу. Пашке было хорошо с ней, он мог долго наблюдать, как тётя Дуня суетится на кухне или прибирает в доме. Пашка научился понимать её без слов, улавливать мимолётный взгляд, читать на лице чувства и мысли. Но… день мелькал за днём, пришёл август, настала пора расставаться. Тяжело было на душе у Пашки. В день отъезда, уже собрав свой нехитрый скарб, Пашка отпросился у Веры Кузьминичны на полчаса. Добежав до покосившегося домика на краю деревни, Пашка с остановившимся сердцем потрогал замок на двери, отказываясь верить в очевидное, не видя дороги от слёз, побрёл обратно. Пашка не понимал, почему вдруг ясное небо стало серым, до боли знакомая тропка стала безмерно длинной. Он знал, тётя Дуня на ферме, но не пошёл к ней: вчера он сказал, сдерживая непонятную дрожь в голосе, что уезжает, тётя Дуня ничего не ответила. Но Пашка надеялся… На что? Что беспризорный хулиган нужен этой доброй и ласковой женщине?..

Молчаливый и угрюмый, Пашка сел в автобус. Вера Кузьминична что-то спрашивала у него, но он не слышал. Забившись в самый дальний угол, Пашка, стиснув зубы, тихонечко заплакал, поскуливая, словно побитый щенок. Он не знал, как называется то, что произошло с ним, но понимал, что внутри него что-то сломалось, чего уже не склеишь никогда… Начались занятия, перемежавшиеся с прогулками в соседнем лесу и собиранием опавших листьев для гербария. Пашка смутно осознавал происходящее, его жизнь походила теперь на что-то серое, безысходное, Пашка понимал, что живёт и чувствует всё не так, как другие, но не может ни на что повлиять. Он, словно заведённая невидимым ключиком игрушка, вставал утром, умывался, шёл завтракать, посещал занятия, кружки, обедал вместе со всеми, порой не ощущая вкуса пищи, потом читал, делал уроки, ложился спать. А наутро – всё то же самое, и на другое, и на третье… Пашка стал замкнут, не общался больше ни с кем, даже Вера Кузьминична не могла его разговорить.

Как-то, сидя за обедом, он услышал своё имя: дежурный передал, что Вера Кузьминична просит его зайти. Не доев, Пашка машинально отнёс посуду в раздаточную, вымыл руки и пошёл к заведующей. Вера Кузьминична приняла его радушно, расспросила об успехах в учёбе, вдруг сказав:

– Павел, ты хотел бы уехать отсюда?

Пашка растерялся: куда, зачем? Не найдя, что ответить, Пашка пожал плечами. Вера Кузьминична не унималась:

– Понимаешь, здесь не знают, не помнят, что такое семья. Этот дом для них семья. Но есть много людей, одиноких, потерявших родных, близких. Из этой войны все мы вышли сиротами. Я хочу, чтобы

у каждого из вас была своя семья. И я хочу, чтобы вы все были счастливы… Знаешь, я хотела бы познакомить тебя кое с кем. Понимаешь, эта женщина потеряла всех на войне и хочет хотя бы одному из вас дать то, что не додала своим сыновьям. Но последнее слово за тобой. Принуждать я тебя не буду. Попробуй, сынок, начать другую жизнь, поживёте, узнаете друг друга получше, потом остальное само разрешиться.

Пашка молчал. Зачем всё это? Он не знал. Но не смея перечить Вере Кузьминичне, он покорно последовал за ней. Пашка шёл и думал, как вот так, пару дней назад, уехал от них Вовка, самый отъявленный хулиган. Поговаривали, что его кандидатуру нарочно предложили одной из первых, чтобы избавиться наконец от него. Пашка раздумывал, чем же он так насолил кому-то, что его тоже вот так ведут неизвестно куда, лишь бы с глаз долой?.. Пашка не заметил, как прошли игровую, где обычно принимали посетителей и подошли к столовой. Вера Кузьминична чуть приобняла его, легонько подтолкнув к двери, сказала шёпотом:

– Ну, давай, воробышек, лети к своему счастью! – и Пашка зажмурился на минуту, боясь спугнуть пьянящее виденье: перед ним стояла тётя Дуня…

ЮРИЙ МАКАШЁВ

Барнаул

СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
рассказ

Шамало Акиму Даниловичу
моему дедушке

Погода испортилась с самого утра.

Безобидная, нарочито-ленивая позёмка сменилась резким ветром, и откуда-то сверху огромными хлопьями повалил снег. Старшая смены городского автовокзала, виновато пожав плечами, протянула ему только что подписанную путёвку:

– Счастливого рейса!

Николай улыбнулся. Он уже третий год работал на этом маршруте, побывал в разных передрягах, но, несмотря на капризы сибирской погоды, его верный жёлтый ПАЗик, благодарно всхрапывая выхлопной трубой, каждый день с удовольствием перевозил всё новых и новых беспокойных пассажиров. Казалось, автобус вместе со своим «хозяином» прекрасно понимал, что людям постоянно необходимо куда-то ехать. Вот и сегодня первая половина рейса прошла спокойно, если не считать забытый знакомым дедом из Саратовки вещмешок с пятью буханками хлеба, да то и дело повизгивающего на заднем сиденье щенка неопознанной породы, на которого, впрочем, по всем правилам был куплен отдельный билет. Два с половиной часа пути оставили позади три села с весёлыми названиями Самбор, Ямбор и Ермаковка.

Вполголоса матерясь на всё усиливающийся ветер, Николай обнаружил у дежурного магазина села Успенка четверых пассажиров, ожидающих отправления автобуса в обратный путь.

– Ну чего вам дома-то не сидится в такую метель? – привычно, по-шофёрски проворчал он, даже не слушая, что там оживлённо забубнил ему в ответ коренастый дядька в новенькой чёрной фуфайке.

К Сереброполю подъезжали почти шагом. Видимость на недавно отсыпанном шоссе была нулевой. Не обращая внимания на непогоду, в открывшиеся двери, вместе с завывающим ветром и кучей снега, радостно ввалились люди и, шумно отряхиваясь, начали располагаться на сидениях.

Николай открыл «фирменный» водительский чемоданчик, который ютился прямо рядом с ним на коричневом чехле из кожзаменителя и, терпеливо переспрашивая: «Куда? Сколько?», быстро «обилетил» новых пассажиров.

Огласив своё обычное «Ну, поехали!», он обнаружил рядом, на кондукторском месте, глазастого мальчонку лет пяти-шести в облезшей цигейковой шапке шарообразной формы с прицепленной на неё блестящей армейской кокардой.

– Чей пацан? – гаркнул водитель.

С переднего сиденья поднялся высокий дед в треухе и длинном пальто с воротником из потёртого каракуля. Быстрым движением поправив на шапке мальчика резинку, он наклонился к Николаю.

– Мой, однако. Пусть посидит здесь, нравится ему с ш*о*фером рядом…

И, услышав в ответ снисходительное молчание, вполголоса продолжил:

– Сынок, а не подкинешь нас в Алтай? Мальчонка малой, да и мы уже старики, как бы не заблудиться в такой-то ночи… А там всего-то около километра после переезда.

– Ну-у нет, отец, это не по маршруту, не положено нам, – недовольно покачал головой водитель.

Дед на какое-то мгновение отступил и вдруг, улыбаясь наполовину беззубым ртом, подался вперёд и хитро спросил:

– А если он тебе на гармошке сыграет?

– Кто? Этот? – громкий шофёрский смех загремел на весь салон. – Да ты шутишь! Что он может, такой клоп, да ещё и на гармошке?

– А если сыграет, завезёшь? – не унимался дед.

– Завезу! – Николаем неожиданно овладел нешуточный азарт.

Всматриваясь в непроглядную снежную стену за лобовым стеклом, он и не заметил, как на глазах у оживившихся попутчиков дед извлёк из футляра переливающуюся зелёным перламутром гармонь «Чайка». И через пару мгновений, прямо на тёплом от двигателя чехле, уже сидел тот самый глазастый пацан с гармошкой в руках.

«С гармошкой в руках» – было, конечно, громко сказано… Из-за верхней планки виднелась лишь белобрысая голова и два испуганных глаза.

– Играй, внучок! – довольно осклабился дед.

Пацан послушно растянул меха, тронул кнопки и после нескольких сыгранных нот вдруг тоненько затянул:

– Враги сожгли родную *ха-а-ату*. Сгубили всю его семью…

*

Поздним вечером у раскалённой докрасна круглой печки грелся маленький глазастый гармонист. Рядом сидел довольный дед и, захлёбываясь от удовольствия, рассказывал всем домашним историю про несговорчивого шофёра, который всё-таки отклонился от маршрута и довёз их почти до самого крыльца.

А в это самое время к железнодорожному переезду в Табунах подъезжал жёлтый рейсовый ПАЗик. Тяжело перевалившись через рельсы, автобус моргнул левым поворотом и запыхтел в направлении Славгорода.

В салоне мирно дремали оставшиеся пассажиры. Напевая что-то из «недавно прослушанного репертуара», Николай приоткрыл форточку и закурил. Он вдруг пожалел, что так быстро и незаметно пролетели те самые тридцать метельных километров. Ведь наверняка ещё не все свои мелодии сыграл этот маленький глазастый пацан… Перед ним снова и снова мелькали зелёная гармонь, белобрысая голова, беззубый дед, и что-то нестройно подпевающие, но совершенно счастливые люди.

«Счастливые…».

Водитель ещё несколько раз повторил это слово вслух, прикрыл форточку, зачем-то развернул к себе зеркало заднего вида и заглянул в него.

Из зеркала смотрел точно такой же совершенно счастливый человек.

Смотрел… и улыбался.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА С

Из записок волонтёра психологической службы

В последние выходные августа 2011 в Нью-Йорке ждали «Айрин». Милая сия девушка, тропический ураган категории I, должна была прибыть в Нью-Йорк к вечеру субботы, и казалось, что к её прибытию всё готово: предупреждения изданы, роли расписаны, добровольцы подысканы, раскладушки приготовлены…

«Айрин» зародилась недалеко от Малых Антильских островов в двадцатых числах августа и, призадумавшись не более чем на день, направилась к нашему берегу. Недоброй памяти сестра её «Катрина» в своё время изувечила чудесный, весёлый, бессонный Нью-Орлеан, и шрамы, оставленные ею, не зажили до сих пор. Уроки «Катрины» не прошли даром: Нью-Йорк не желал превращаться в плавучее кладбище, а потому ещё в пятницу город был приведён в состояние готовности к самому худшему. Метро было закрыто с середины дня – неслыханное событие! Часам к четырём вышел приказ мэра об эвакуации жителей прибрежной зоны. Убежища были подготовлены для принятия эвакуированных. Национальная Гвардия, Красный Крест и прочие спасатели-профессионалы прибывали из других штатов и регионов.

Адреналин бурлил. Состояние «чем хуже, тем лучше» обострялось непрерывными звонками неуправляемым детям и родителям. Небольшое послеобеденное землетрясение обстановочку, мягко говоря, не разрядило. Дорабатывали день в стратегической близости к выходу, в крайнем случае, с собранными «на выход» вещами. В ожидании первого удара урагана народ рвался домой. Надо было бежать в аптеки за клейкой лентой, чтобы дома заклеивать окна и двери, согласно рекомендациям, раздававшимся из радио и телевизоров и вспыхивавшим на всех официальных интернет-страничках, а также запастись питьевой водой, фонариками и свечками со спичками, что, если вдуматься, казалось бессмысленным – ну зачем нам вода, если мы и так ждём воду, большую воду? И не размокнут ли спички?

Уход с работы, тем не менее, пришлось отложить: было ясно, что первый этаж нашего здания в «оранжевой зоне» B (низина, недалеко от залива) будет затоплен, и надо было заклеить двери и окна. Крест-накрест окна, у пола – двери, компьютеры и всё прочее поднять повыше, а быстроразмокающих предметов в нашем бумажном царстве ох как много… но всё-таки вырвались, в конце концов, предварительно размножив номера телефонов всех сотрудников, чтобы оповещать по цепочке в случае, если кто окажется отрезанным от Квинса, где находился наш офис, на длительный срок.

Уф-ф… Теперь – в Бруклин. Улицы пустели на глазах. А ещё неожиданно оголились полки супермаркетов, аптек и хозяйственных магазинов. Впервые за двадцать лет жизни в Нью-Йорке я увидела пустоту там, где ещё утром стояла бесконечными, бессмысленными штабелями питьевая вода. У двери в огромный хозяйственный магазин стоял человек со связкой лопат и ледорубом – почему ледорубом?! Как и следовало ожидать, ни фонариков, ни свечек, ни клейкой ленты тоже уже не было. Отправились домой клеить окна чем придётся, по периметру и крест-накрест. Чем приклеить крышу, никто что-то не советовал, а ведь как пригодился бы здесь совет!

Итак, муж заклеивал «крестиком» окна, а я готовилась к дежурству в убежище. Ещё со времён падения Близнецов, с 2001-го года, я числилась в списке First Responders – тех, кто в случае катастрофы или стихийного бедствия прибывают на место первыми: пожарники и полиция, добровольцы, и, вот как в моём случае, группа психологической поддержки для оказания первой психологической помощи жертвам. Уже утром в пятницу раздались первые звонки, призывающие меня исполнить гражданский долг, и я согласилась отработать одну смену в убежище. Пройдя уроки 9/11, я знала, что не сидеть мне нога на ногу, а красивое удостоверение и футболочку с лого «Медицинский резерв» лучше прикрыть чем-нибудь подемократичнее, но всё же собралась как положено – волонтёрскую сбрую приготовила, отправилась спать пораньше.

Ранним утром поехала через пустой, странно чистый, растерянный город, походивший на первородку в ожидании схваток. Точнее, повёз ругательски ругавший меня за патриотизм, гордый мною муж. Долго бродила вокруг школы в незнакомом районе и искала вход, поскольку та дверь, в которую упирались ярко-зловещие, новенькие стрелки «В убежище», была забита намертво. Наконец Сим-Сим отворился где-то сбоку, и я вошла в здание.

Убежище было абсолютно пустое, ни живой души. Оно было оборудовано просто здорово, особенно если учесть, что те, кто всю ночь обустраивал это чудо эвакуационного искусства, ещё вчера утром не имели ни малейшего понятия о том, как это делается. В школьной канцелярии нашёлся импровизированный штаб. Несколько человек, сгрудившиеся вокруг одного планшета, обрадовались моему робкому «здрасьте». Там понятия не имели о том, что им положен человек из команды психологической поддержки, да ещё и говорящий по-русски!

– Вот здорово, – сказал мне озабоченный испанец, начальник нашей маленькой команды по спасению рода человеческого. – Твой первый клиент ждёт тебя часов с шести утра. Он на втором этаже. Русский, мы думаем. Ты его легко узнаешь: во-первых, там больше никого нет, а во-вторых, он абсолютно голый. Кажется, у него психоз, кричит очень. Кроме того, он не понимает английский.

Не люблю я начинать утро с психоза, но что ж поделаешь. Хоть проехалась не напрасно, чувствую себя нужной и важной.

В огромном классе, среди пятидесяти, не меньше, зелёных раскладушек, в инвалидном кресле сидел безногий, абсолютно голый человек. Я приблизилась – медленно, давая ему время привыкнуть ко мне, не исключая возможность атаки. Вам никогда не запускали в голову костыль? Тогда вы не поймёте, как может атаковать даже безногий.

– Девочка, – сказал человек по-русски. – Девочка, ну, где же рубаха? Где же медсестра? Я же уже три раза раздевался, а она все не идёт. Меня что, уже выписывают? Но доктор же не приходил, процедуры не делали.

Бред? Действительно, психоз?

В последующие две минуты выяснилось, что в его жизни ещё вчера начались странные события. Сначала пропал куда-то его помощник (как выяснилось позже, он решил, что эвакуация собственной семьи ему важнее, и просто не вышел на работу), единственный человек, приходивший к одинокому инвалиду; а в полночь к старику, не понимающему ни слова по-английски, вломились полицейские, жестами велели ему собираться и привезли… но куда? Он думал, что в больницу, что было бы нормальным и привычным для него, потомственного тяжёлого диабетика и ветерана системы здравоохранения, вот только палата была какая-то странная и врачей не было видно. Об «Айрин» он ничего не знал, приказа эвакуироваться не слышал, да и зачем ему? Потопа на своём восемнадцатом этаже он не боялся, из дому не выходил много лет, а еда и питьевая вода были припасены в таком количестве, что и месячная осада не страшна…

Удалось уговорить его одеться, и только тогда к нему опасливо приблизилась медсестра, тоже из добровольной команды, чтобы узнать, какова ситуация с инсулином. Забегая вперед, скажу, что отправить его в госпиталь (не психиатрический, медицинский) всё-таки удалось с помощью небольших хитростей, умолчания и вранья, часа через два, и только тогда медсестра по секрету рассказала мне, как ей было страшно, что сейчас придётся диабетика выводить из комы, а она всё забыла.

Эта милая грузная женщина с лицом гуттаперчевого клоуна оказалась медсестрой школьной. Школьная же медсестра выполняет совсем другие функции: изобличает симулянтов, заполняет документацию, развешивает плакаты, а если кто и вправду заболел, звонит родителям, чтоб забирали чадо домой. И тут я узнала этот голос… Сверили даты и названия; да, действительно, именно тогда она работала в той школе, где учился мой сын, и регулярно вызванивала меня, когда у него ко второму уроку начинал болеть живот… Если на первое сообщение от неё не было немедленной реакции, она методично обзванивала всех членов семьи, чьи номера были указаны на голубой карточке, заполнявшейся детьми в начале учебного года. Именно она была моим ежеутренним кошмаром…

– Я там, милочка, тридцать лет проработала.

– А лечить, собственно медицинскую помощь оказывать приходилось?

– Ну конечно! Каждый день. Вот, сумку видите? Там у меня всегда лежит банан. Большинство детских болезней, как я поняла, – это просто результат раннего подъёма и того, что детям некогда завтракать. А до ланча долго ждать. У меня стоит кушеточка, я позволяю заболевшему поспать до ближайшей перемены и даю по полбанана. Обычно помогает.

В результате мы условились, что те из прибывающих эвакуированных, которые покажутся персоналу больными, будут проходить сначала через меня, а там уж мы вместе с впечатлительной медсестрой решим, как с ними справляться. Пока суд да дело, мы оборудовали комнату для больных, а потом, подумав, и комнатушку для больных психически. Пардон за эвфемизм, «комнату отдыха».

Убежище заполнилось в одну минуту, когда школьные автобусы стали подвозить растерянных стариков, эвакуированных из субсидированных домов прибрежной зоны. Это были те, у которых не оказалось ни детей, ни друзей-знакомых-родственников, никого, кто смог бы их приютить на пару дней. Отказники, в общем. Они сразу разделились на русскую и испанскую секцию, и только несколько чёрных семей говорили на том бубнящем английском, который характерен для островов Вест-Индии.

Только две семьи пришли в убежище сами, пешком. Они жили рядом, в зоне С, и теоретически были вне опасности. Точнее, опасность была одинаковой и в убежище, и в их доме, но у них были причины.

Чёрная женщина, сопровождаемая двумя мрачными подростками, немедленно, хотя не было и одиннадцати утра, улеглась на раскладушку и горько заплакала. Через подростков, персональных её переводчиков, удалось выяснить, что она уже попадала в зону урагана на своих родных островах и сейчас переживала этот ужас ещё раз. Женщина эта была единственным напоминанием о том, как серьёзно может обернуться дело, если «Айрин» приложит к нам свою крепкую ладонь. В другой семье дочь, молодая ещё латиноамериканка, только что выписалась из больницы после удаления опухоли мозга, и мать просто опасалась быть отрезанной от людей в случае эпилептического припадка.

«Медицинская комната» наполнялась угрожающе быстро. После небольшой перепалки нам выделили ещё одно помещение. Мы все продолжали триаж[1]. Беженцы на глазах превращались в пациентов: незнакомая еда, забытые лекарства и вещи, а главное, раскладушки, которые они не просто занимали, а тут же использовали по назначению – это среди бела дня! – действовали магически.

II

Да, а что же с униформой? Разрешилось всё просто: и футболочку, и удостоверение на красивом шнурочке я стратегически прикрыла выданным мне оранжевым, как у всех добровольцев, жилетом, и теперь никто не протестовал против оказания им скорой психологической помощи. Наоборот, возникла группка, вьющаяся за мной хвостом по периметру школьных коридоров, наперегонки задающая вопросы и требующая внимания. К обеденному времени оказалось, что меня назначили ответственной за весь второй этаж. Ирония заключалась в том, что «медицинские» палаты и бо́льшая доля русскоязычных эвакуированных находились на первом, так что так и бегала по всему зданию.

Прогноз утверждал, что «глаз» урагана поравняется с Нью-Йорком к полуночи, и, хотя «Айрин» ослабевала в пути, превращаясь из циклона в тропический шторм, приказ об эвакуации оставался в силе. После обеда пошёл дождь, задул такой ветер, что школьные, во всю стену, окна хрустели, но добровольцы в убежище были слишком заняты: размещение, кормёжка, соблюдение порядка уже казались гораздо важней реальности урагана. Хотя в коридоре постоянно работал телевизор, я ни разу не приостановилась взглянуть на экран. А на самом-то деле пора было остановиться: самая большая проблема для «спасателя» – это работа без перерыва и иллюзия, что без тебя тут всё рухнет, а потому добровольцы быстро «перегорают» и выходят из строя на долгое время, а иногда и страдают от долговременных последствий: депрессии, вялости, потери интереса к тому, что раньше радовало и занимало. Словом, пора было пройтись. Хотя бы десять минут без этих людей, без их ежесекундных требований. Горячих напитков в убежище не было, не предусмотрели, так что я отправилась за чаем.

Из каких только мест я не отправлялась за чаем! Привычка к чаепитию, по три чашки чая в день, где бы я ни находилась, поистине приводила меня в странные и неожиданные ситуации. Выйдя на улицу, я огляделась и заметила на другой стороне затрушенную бодегу, один из тех семейных магазинчиков, которыми полнится периферия большого города. Переход на углу был затоплен, так что переход через улицу превратился в целую прогулку под дождём и ветром, борющимися за право обладания моим зонтиком. Дверь не желала открываться. Ветер захлопывал её, как только она приоткрывалась. Всё-таки войдя вовнутрь, я обнаружила там унылые сэндвичи и холодильник со всеми теми шипучими и липкими напитками, которые я сроду не пью.

– Чай горячий можно?

– Нет. Такое не продаем.

Повернулась к двери.

– Постойте. Вы что, в убежище работаете?

– Не работаю, – гордо так. – Доброволец, на 12 часов.

– До ночи, что ли? Подождите. У меня где-то был пакетик «Липтона».

Откуда-то извлеклась одноразовая чашечка для горячих напитков, выглядевшая не только измятой, но и надкушенной в нескольких местах. Побежали куда-то за кипятком. Чай произошёл.

– Слушайте, я попозже приду к вам в убежище, примете? Боюсь, домой уже не доберусь, а в магазине спать не на чем.

– Конечно, примем, – сказала я тоном радушной хозяйки, думая, как же доберусь домой я сама, когда моя двенадцатичасовка всё-таки закончится. – За чай спасибо.

Выпила свой выстраданный чай – и назад в школу, то есть в убежище. За это время там разыгрались уже две новые ситуации: прибыл не старый ещё эвакуированный с болезнью Альцгеймера и начал бушевать, поскольку его вырвали из привычной обстановки, а объяснить ему что-либо было невозможно, и ещё обнаружилась пожилая женщина с недержанием мочи. «Ситуация» во втором случае заключалась в том, что памперсы взрослого размера не были предусмотрены. После хаотичных пробегов туда и обратно, поисков, просьб к остальным обитателям – сначала поделиться памперсом, если у кого есть, а потом – потерпеть запах до прихода уборщика, – нашли гигиенические подстилки для животных. Да, ведь ещё была

комната, великолепно оборудованная для животных, но ни один эвакуированный не привёз ни кошки, ни собаки, ни попугая, так что вся эта роскошь стояла без дела. Поэтому, чтобы избежать очередных объяснений с напуганным нашим начальством, я и ещё одна женщина из добровольцев просто отнесли всю коробку той, которой она действительно пригодилась.

А больной Альцгеймером уже шумел всерьёз…

«Айрин» слабела, на ходу теряя титулы. К темноте она была окончательно разжалована, превратившись в тропический шторм. Тем не менее, пришли люди из команды мэра, поинтересовались, как у нас всё проходит, есть ли пожелания. Пожелания были: аппарат для замера сахара в крови, злополучные памперсы, горячее питьё. Записали в книжечку, обошли первый этаж, ручку пожали и ушли. Потом подтянулись ребята из Национальной Гвардии, расставили посты у входа и вдоль коридора. Приятно чувствовать себя настолько защищенной, важным объектом…

Часам к девяти наступило затишье. Многие обитатели убежища уже заснули под шум ливня, другие лежали молча, с открытыми глазами и, казалось, ждали чего-то. В 9:30 вечера мне на смену никто не пришёл. То ли добраться не смог человек, то ли просто подвёл, кто знает. Человеческий фактор, видите ли. Во мне он тоже взыграл. Минут за пятнадцать до окончания смены, неуверенно так:

– Ну, я пошла? Все спят, вон ещё дамочка из добровольцев, что по-русски говорит, оказывается, придёт завтра. Счастливенько?

– А ночью как же? – вдруг возопила до этого не замечающая меня огромная, как гора, девушка, координирующая добровольцев и ни разу ещё не вышедшая из «штаба» даже в коридор.

– ??? – поднимаю брови, но никого мои брови не интересуют. Непрофессионалы-добровольцы совсем не в восторге от мысли, что они теперь отвечают не только за физическое состояние, но и за поведение наших милых постояльцев.

Меня стали уговаривать заночевать, а утречком после шторма как раз свежий человечек подтянется, тогда уж с чистым сердцем и пойду домой. Ну, что мне стоит заночевать? Раскладушки для добровольцев были расставлены в школьной библиотеке, и солдаты уже охраняли дверь, ведущую туда.

Я прилегла на раскладушку, лежала и некоторое время глядела в тёмное окно. Потом из темноты медленно выплыл огромный круглый глаз, совсем как птичий, и оглядел комнату. Я съёжилась под его ищущим взглядом… «Айрин, Айрин», – позвала я… и поняла, что заснула. Через несколько минут раздался стук в дверь. Мой охранник из Национальной Гвардии попросил спуститься и принять парочку бездомных.

III

С одним всё просто: радующегося представившейся возможности бродяжку в облаке вони, не расстающегося со своими чёрными пластиковыми пакетиками, в которых «всё-всё», сразу отправили в нашу «комнату отдыха». Категоризировать второго было посложнее. Уже другая, незнакомая медсестра скороговоркой проговорила: «Адрес не сообщил, при заполнении форм был возбуждён, отказался от медицинской и психологической помощи».

Эвакуированный, он же бездомный, уже укутался в синее одеяло с жёлтым символом «NYC». Ещё одно одеяло, нераспечатанное, было подоткнуто под голову. Я присела на соседнюю, свободную раскладушку и стала ждать. Он не пошевелился, как будто и не заметил мой приход.

Я ещё подождала. Протяжный вымученный полу-кашель, полу-рыдание показался мне приглашением к разговору. Не похоже, чтобы он прогонял меня. Скорее всего, просто не знал, как начать.

Я была здесь нужна: не прогоняет же! Моя интерпретация тишины.

– Вы Томми, да? Томми, мы пытаемся понять, где Вы живёте. Это просто для нашей внутренней документации.

Ответа нет.

– Я заглянула узнать, не могу ли я чем-то помочь. Если Вам неспокойно, то я могу уйти.

– Обожаю социальных работников. Они всегда найдут больное место.

Тенор. Глаза, подведённые красным, чуть слезящиеся (марихуана? сезонная аллергия? или бессонница?).

– Если Вы не подскажете мне, как Вам помочь, я буду бессильна. Чтением чужих мыслей не занимаюсь.

Ответа не было.

Я посмотрела на ободок трогательно оттопыренных ушей и вдруг представила себе, каким этот парень был малышом. Такие штуки помогают сохранить эмпатию, а без эмпатии – фиг поможешь. Внезапно он сел, как будто вовсе не ложился – прямой, настороженный. Не ожидала, право. Бейсбольная кепка, обтягивающая бицепсы и накачанное тело футболка (истончившаяся от времени, но приличной фирмы), кожа цвета незрелой оливы, напряжённо следящие за мной тёмные глаза – ничего особенного, нормальный клиент, бедняк, стыдящийся своей бедности, пахнущий не жизнью на улице, а именно что бедностью. Не тянет на бездомного, не дотягивает до психически больного, хотя… вот она, пустота во взгляде. Да-да, пустота. Так мне показалось. Он прокручивал мячик-антистресс.

– Что это у Вас?

Это талисман, особый камень. Видите? Два лика, две поверхности. Как я. Помогает собраться с мыслями.

Та часть анкеты, которую он всё-таки заполнил, сообщала, что ему двадцать с чем-то, но было в нём что-то от пассажира машины времени: чуть церемонный, витиеватая манера говорить – что за персонаж! Хотя – и не такое бывает в среде бездомных.

Да, он таки заговорил. Процеживал слова через невидимый дуршлаг, но всё-таки. Прочесть его аффект было довольно просто: депрессия, страх, неуверенность в будущем.

Но было что-то домашнее, житейское, проникающее сквозь профессиональные рамки. Что-то он должен изменить в своей жизни, но что? Всё было и всё пропало: работа, дом, ученье, семья. Всё по списку. Даже волосы выпадают. Абсурд какой-то – за что?! Какая психотерапия, о чём Вы. Тут спасаться надо, а не рассуждать о спасении. Когда корабль идёт ко дну, не время рассуждать о том, кто первым предложил купить билет на круиз. Социальные службы? А тут надо гордость подальше запрятать и сидеть в залах бессмысленного ожидания с бессмысленной, тупиковой публикой. Хотя… психотерапия помогла бы разобраться в эмоциональном багаже, в грузе родительских идеалов. Его голос втягивал меня в какую-то воронку. Неужели это был контр-перенос? Я ощутила *его* «воронку», его ощущения? Диагностически точный, осмысленный разговор у нас получался.

Понимание семейной динамики определило параметры его одиночного заключения. Неделю назад он съехал из дома матери.

Пауза.

Честно говоря, она сделала пребывание невыносимым.

Ещё пауза.

Точнее, потребовала, чтобы он выехал и попробовал пожить самостоятельно. Выставила его книги и Nintendo на обочину. Неважно, что ему становилось всё хуже, что мысли путались. Он зря ей доверял. Она – одна из маглов их семьи.

Теперь я поняла, кого он мне напоминал. Выросший Гарри Поттер в мире без волшебства. Что-то симпатичное в нём.

«С матерью повздорили и обменялись колкостями». Это на таком языке я обязана с ним говорить? Как насчёт лексики попроще? Но Томми не опустился бы до бруклинского диалекта, до скороговорки. Это означало бы его моральное фиаско.

– Я попробовал пожить у брата, но уже на вторую ночь сноха попыталась соблазнить меня. Отвратительно! Аспект доверия… тем более, что она невероятно хороша собой. И – я мужчина, всё в порядке с моими реакциями… понимаете, о чём я?

Выразительный взгляд вниз. Та-ак…

– Понимаю, но зачем Вы мне всё это рассказываете?

Я всё это знала наизусть, не он первый.

– М-да… Просто, чтобы объяснить, почему я уехал от них. Я сел в метро. То есть сел и не вышел. Три круга «Бруклин-Квинс», и можно выспаться. Гоняют очень редко, но такие приключения не для меня. Я потом нашёл парочку взломанных кодов в парадных в ко-опах у Шор Парквей. Там тоже не холодно, главное, менять местоположение каждую ночь. Как понимаете, всё это не для меня. Или я – не для подобной жизни. И вообще – не для жизни.

– Я начинаю понимать. Этот кооператив тоже выселен в связи с возможным затоплением, и двери заперты, да?

Он кивнул.

– И метро закрылось. И вот Вам пришлось прийти сюда.

– Что делать? Голова трещит. К матери больше нельзя, это не впервые. Брат и его девка… ладно, не совсем девка… но это исключено вообще. Снять я ничего не могу, даже раскладушку за двадцатку где-нибудь на Брайтоне. У меня нет денег ни на что. А мои вещи… кому их доверить? Нет таких. Предательство, одиночество – я заболею от всего этого, я чувствую. Уезжать? Куда? Всё, что я знаю в жизни, здесь. Ирония заключается в том, что меня тянет на этот постылый квартал. От собственной жизни не убежишь.

– Послушайте. Похоже, Вы просто не можете себе позволить заболеть. Надо собраться и решить, вот здесь, вместе со мной, что Вам сейчас важнее всего, и работать именно над этим. Все мы сейчас не разрешим, – вворачивая это «мы», чтобы создать у него чувство общности, принадлежности к группе, чтобы он признал меня.

– Здесь и сейчас разрешить. Это первый шаг прочь от Вашего квартала и всего, что он символизирует, – добавить немного психологии, поднять собственную синтаксическую планку. Стать своей на час.

Это была первая неправда, первое пустое обещание.

Этим своим торопливым «мы» я обещала ему то, чем совсем не владела, невозможный в данный момент контроль над ситуацией. Но это же не психотерапия, помните? Я здесь всего-то волонтёр неотложной психологической помощи. Ну вот, а я забыла.

– Поймите, я не гожусь для жизни на улице. Я не уличный материал. Меня всё-таки не так воспитывали. Я не могу вращаться в примитивной среде среди уродов. Мне нужно где-то под крышей, понимаете? Вы должны понять…

Томми посмотрел на меня вопрошающе, даже просительно.

– Ну да. Тогда Вы сможете работать над другими приоритетами, разрешать проблемы, разбирать горы проблем на холмики.

Молчание.

– Как думаете, может, не стоит ждать никаких одолжений от семьи?

Ах, умница. Как скоро он понял меня.

– Всё равно они не понимают ни черта из того, что грызёт меня.

– А что Вас грызёт, Вы сами понимаете?

Не выдержала, повелась на соблазн копнуть поглубже. Оставаться в рамках роли, вот что важно для меня сейчас.

Очиститься от имущества, пожеланий и потребностей, сиюминутного и, по большому счёту, неважного. Всё, что дали ему родители, культура, образование казалось ему ненавистным. Он бунтовал. Жаль, что не родился в пятидесятых. Он опоздал, всё значительное свершилось без него, до него. Что осталось, в чём может быть смысл? Мир никуда не продвинулся с 1965-го, остановился в развитии. Псевдопрогресс. Одно дело презирать, пользуясь, и совсем другое – отказаться от правил этого общества, от формулировки успеха в материальном измерении. Ценности прошлого поколения – не его ценности. Почему он сейчас в таком тупике? Потому что общество отвергло его. Это война общественного строя, системы ценностей, против бунтаря-одиночки, угрожающего установленному порядку. Христа помните? Только он слабее, чем Христос. Да, слабее.

Желваки под тонкой, слишком тонкой кожей под тёмной щетиной, которая как раз начинала входить в моду.

Ну что ж. Нормальный подростковый бунт. Поздновато, но никакой патологии здесь нет. Вот где он сможет поселиться, это сейчас вопрос вопросов. Не назад же на улицу. Почему-то казалось невозможным отправить Томми туда, откуда он пришёл. Я должна была постараться.

– И здесь… здесь тоже нечисто. Я нечист, я – как окружение. Мысли… даже мысли уже не повинуются. В пятницу утром я перетащил все свои вещи в локер «Бэйли», там же и в душ сходил.

Он повторил это специально для меня на случай, если я усомнюсь в его чистоте:

– Я сходил в душ. «Бэйли» не волнует, час я там провёл или два. Главное, не стоять в одном душе с ней. С ней, понимаете? Я же мужчина.

Ух, до чего ему важно, чтобы я услышала, что он за мужчина. В клинике я бы это интерпретировала. Есть некая защищённость в возможности проговаривать вслух намеки, делать предметом дискуссии подсознательное, запретное. Проговаривая всё, ты лишаешь его силы, и ничто не смутит тебя боле, ля-ля-ля. Но здесь я не в клинике. Пусть намекает на здоровье.

Ещё порция молчания. Неожиданно он снял кепку, прятавшую залысины. Я вдруг увидела его очень чётко, в комплекте с его неуверенностью и спутанными мыслями, увидела эти ранние проплешины как напоминание об ускользающей жизни, его стыдом подёрнутые глаза, шрамы на костяшках, возможно, от того, что накануне он разбил телевизор матери.

Страхи лежали рядом с ним, в узелочке на зелёной раскладушке, и он распутывал узел нить за нитью: бесполезной жизни, недалёкой бездарной смерти, смерти медленной и ранней, смерти до интеллектуального рождения. Он был – мой зародыш, а я ещё ничего не сделала для того, чтобы предохранить, спасти его. Точнее, ему надо было гораздо больше, чем максимум того, что у меня было сегодня.

– Забавно. Я вдруг ощутил такую безопасность, какой давно не чувствовал. Абсурд какой-то. Волна тепла.

И теперь мне тоже стало страшно: сказать больше, чем профессионально приемлемо, посочувствовать больше, чем прописано в инструкции. Почему-то мне казалось, что между нами возникло что-то абсолютно, неподдельно реальное, реальней некоторых из отношений вне клиники и терапии. Я вдруг почувствовала силу его веры в меня. Я ошибалась ранее: я полностью контролировала нашу сессию, Томми, собственную жизнь. Вот что он успел сделать для меня.

Слова, неполная наша, лживая, неточная речь – это единственный мой рабочий инструмент. Но сегодня мне нужно было совсем другое. Весь день мне нужно было другое: действия, касания, взгляды, простые ежедневные вещи, которые каким-то, неясным мне пока, чудом превращались в терапевтическое вмешательство, но которых не хватало на всех, не хватало катастрофически.

Мы помолчали ещё немного. Я помолчала вместе с ним, но бессловесный поток, наш диалог, продолжался:

«Если бы можно было прикоснуться к этому бледному, истончившемуся от страдания лицу. Комнатный цветок, отказывающийся от света и солнца, как проникнуть сквозь твоё отчаяние?».

«Если бы ты могла взять меня за руку и вывести к солнцу и свету, из моего тупика… Твои правила бессмысленны. Рамки твои проведены за шаг от той территории, где начинается настоящая помощь. Меняй правила игры, а не то вся твоя психотерапия, весь набор трюков останется лишь трюком и игрой».

«Но я не играю, я совсем не играю. Разве ты не видишь, что я и вправду сочувствую, пропитываюсь твоей болью, как губка, даже не стремясь понять, проанализировать, разложить по полочкам?».

«Бездейственное сочувствие мертво».

«Но я живая, и ты оживаешь во мне. Прорастаешь. Как человек вроде тебя может стать – мной?».

«Полюби себя, но крепче, чем ближнего своего – это и есть твой сегодняшний урок, да? Ты тоже любишь – лишь себя. Свой покой, свою привычную роль. Оживи, приблизься ко мне, к моему одиночеству. Оно не опасно, нет».

«Я открываюсь как дверь, чтобы пропустить тебя в твоё будущее. Что я могу тебе дать? Я всего лишь дверь».

«Просто будь со мной. Не уходи, мне страшно. Я вдруг поверил, что ты не одна из маглов, что ты понимаешь меня. Понимание – вот высший дар любви».

«Да, я здесь рядом. Я попробую».

Мне показалось, что его доверие дало мне силу, которая останется теперь со мной.

Я прервала молчание: «Посмотрим, что удастся с хостелом».

Несколько звонков из нашей штаб-квартиры по наспех найденным, первым попавшимся номерам. Ничего не нашлось. Это совершенно естественно: все хотят сегодня уехать подальше, в зону «С», прочь от возможного потопа, когда океан готов встать на дыбы и зашагать по улицам, как в фильмах-дистопиях. Те, кто обычно ночуют на улице, сегодня тоже хотят под кров. Женский голос полон сочувствия: «Не тратьте время. Если человек в убежище, то пусть ночует там. А через несколько недель свяжитесь со мной ещё раз; как всё образуется, так и появятся места. Да пусть он сам ко мне подойдёт завтра-послезавтра, познакомится». Ага, так и произойдёт, а как же: он же боится этих ночлежек как огня. Нет, это на мне, следующего шанса помочь не будет, я должна что-то придумать сегодня.

Я открыла дверь бывшей классной комнаты, перегороженной ширмочками (именно белые ширмочки превращали её в «комнату отдыха» для нестабильных; остальные раскладушки стояли рядами, плечом к зелёному плечу: никаких секретов в убежище иметь не полагается). Итак, я открыла дверь, и он вскочил мне навстречу. Казалось, он ждёт, чтобы я сказала: «Собирайтесь, я возьму Вас к себе», – и он помчался бы не раздумывая. Секунду, всего лишь на секунду мы оба поверили, что я могу разрешить все задачи и задачки, от места для ночлега до беспокойных мыслей, угрызения, создать новый смысл. Что я могу удержать его на краю… на каком краю он находился? Я не совсем понимала, да и не пыталась. Я не имела права обещать ничего, но что-то уже без слов пообещала, и это было второй ложью нашей ураганной вечеринки.

– А сходите всё-таки в Баури. Они хотят познакомиться, заполнить бумаги… а через некоторое время всё уляжется, и они примут Вас. Я описала Вашу ситуацию… они придумают что-то, чтобы Вам… чтобы Вас не беспокоили.

На этой фразе Томми посмотрел мне в глаза. Такое разочарование было в его взгляде, что мне захотелось отвернуться, провалиться вместе со своей жалкой помощишкой. Психологическая поддержка оказана, время истекло. Я давным-давно собиралась домой, чего же я жду? Почему профессионализм сполз с меня, как шерсть с лишайной кошки?

Я зашла в наш «штаб» и отрапортовала. За то время, что я просидела с Томми, пришли и ушли мои сменщики. Муж и жена, оба психологи, добравшиеся-таки из Даунтауна в тогда ещё затрапезный Бушвик с рюкзаками, набитыми детскими игрушками, рьяно взялись за дело: предложили оборудовать игровую комнату, занять детей… Увидев, что те немногие дети, которые были в убежище, давно спали, они, потоптавшись в коридоре, пошли домой. Я только посочувствовала: трудно по-настоящему помочь в условиях стихийного бедствия, если у тебя есть определённые ожидания и «план действий». План здесь хорош, только если ты готов с ним расстаться по первому требованию обстановки.

Томми, оказывается, вышел из своего укрытия и наблюдал за мной. Он подошёл очень близко, неэтично близко – попытался обнять? Нет, просто дотронулся до рукава моей ветровки:

– Я всё равно очень благодарен. Это был толчок. Я должен идти, не останавливаясь на рефлексию. Вы сказали мне, что всё у меня будет. Вы не сказали вслух, но я услышал. Я по-настоящему Вас услышал.

Я наблюдала, как он, вопреки урагану, борется с неподдающейся дверью на улицу. И он ушёл.

А потом и я ушла. Конечно же, я возвращалась домой именно в тот момент, когда «Айрин» приземлилась-таки в Бруклине. Машина тряслась от ветра, бьющего в бок, «дворники» не справлялись с потоками воды, слышался вой и какой-то хруст. Машина всё-таки доплыла до дома; бегом, как под перестрелкой, к двери. В поиске ключей я пошарила в кармане куртки и нащупала что-то, чего там раньше не было.

Это «что-то» было гладким и холодным… талисман Томми, вот что это было. Чёрное горестное лицо камня с одной стороны, светлое, в прожилках, стёртое с другой. Зажав его в кулаке, я прошла в дом и легла на диван в чём стояла, прямо в куртке и униформе Medical Reserve.

На сон оставалось шесть часов, но заснуть не удавалось. Почему-то болело всё тело, как будто я весь день переносила тяжести. Я приняла позу зародыша, совсем как Томми. Надо было сосредоточиться и проанализировать, переработать всё, что произошло за день. Только после этого я могла по-настоящему, всем существом прийти домой.

Никаких сожалений, ни одного. Всё правильно. Я зрелый человек, я серьёзный профессионал, я закалённый адреналиновым штормом спасатель. Когда упали Близнецы, мы с мужем были в отпуске. Связи не было. По ночам мы составляли списки тех, кто мог оказаться рядом с МТЦ, кого могло уже не быть. Помню, я сказала ему:

– Мы вернёмся в другой мир. Это мир наш обрушился. Ничто уже не будет по-прежнему.

Так, в общем-то, и случилось. Но теперь-то не изменилось ничего, урагана-то почти и нет. Ложная тревога, можно сказать, напрасный всплеск адреналина. Все остались при своих. Я не была «спасателем», а всего лишь катализатором. В том числе и для Томми. Даже не то что рыбачить научила; просто показала, что рыбка есть. Он будет в порядке. Он не останется бездомным и голодным. Мои личные чувства, мгновенный контр-перенос… да столь ли это важно? Промелькнуло, забылось. Как со всеми.

Камень нагрелся до моей температуры и больше не казался инородным телом. Томми назначил цену нашей краткой человеческой связи. Час ценой в талисман. Я подумала, засыпая, что его щека должна быть именно такой, гладкой и теплой. Жаль, что я не могла его обнять. Хотя – никого ещё не спасало объятие.

IV

Телефон мой не зазвонил ни ночью, ни утром. Часов в девять, проснувшись, позвонила сама.

– Ждём-ждём, поторапливайтесь, – раздражённо ответил кто-то. – Ваши тут всё чего-то требуют, не понимают, когда их домой отправлять будут. Ураган ведь прошёл дальше.

Ну да, они уже «мои». Я оделась, уже в обычную одежду, накинула выданную жилетку а-ля дорожный рабочий, и – ещё раз через мокрый, пахнущий свежестью, наполненный незнакомым на вкус ветром, по-прежнему пустой город. Ураганный (или штормовой?) ветер, как оказалось, неплохо поработал: тут и там виднелись огромные ветки, искалеченные машины, вырванные с корнем столетние деревья. Иногда проезжая часть оказывалась заблокированной, и надо было объезжать завалы по тротуару. Теперь-то стало ясно, что так громко хрустело накануне. Резкие порывы продолжались и утром. Ветер был не холодный, но необычайно сильный.

Меня встретили громкими приветствиями. Мои старички, совсем расклеившиеся после ночи на низеньких раскладушках, едва двигались. В психологии есть такое понятие – выученная беспомощность. Человек, которому обстоятельства не дают принимать решения и контролировать ситуацию, быстро становится беспомощным и разучивается делать даже то, что раньше ему удавалось без особого труда. Психолог Мартин Селигман ещё в 70-х нашёл связь между выученной беспомощностью и депрессией. Я воочию наблюдала доказательство его теории, глядя на обитателей убежища, не решающихся выйти на улицу или спутешествовать в подвальную часть здания в столовую.

О моих встречах с выученной беспомощностью можно писать мемуары. Из запомнившихся психотерапевтических историй – «целевая» двадцатинедельная группа женщин, которые к концу цикла должны были отправиться в колорадские горы и учиться искусству восхождения. Моя тогдашняя коллега задумала эту группу как путешествие к самоидентификации, как освобождение от страхов, от воли деспотичных мужей и отцов, путь к осмыслению и свершению чего-то там, что она им запланировала. Начальству идея очень понравилась: такое новаторство! Подозреваю, что кто-то уже видел в этом возможность эксперимента, ведущего к статье, а может, и диссертации, а кто-нибудь другой представлял, какие новые спонсоры поведутся на эту идею. В общем, идею поддержали, членов группы тщательно отобрали из пациентов клиники, и Энн начала работу с ними. Женщины в группе были от двадцати пяти до сорока. В основном итальянки, тревожные дочки и жены бенсонхерстовских мафиози. Одни коротали век на инвалидности, другие жили на «помощь друзей», то есть содержались мафиозной семьей, пока их кормилец отсиживал за других. Всё-таки мафия – это надёжно. Дамочки, правда, страдали: кто от депрессии, кто от тревоги и панических эпизодов.

Надежды на Энн возлагались большие. Да что говорить, Энн была девушка перспективная и энергичная, высоко несущая идеалы профессии. Она рьяно взялась за организацию благотворительного мероприятия, и агентство выделило средства на демократичный раут в стилизованной под летний дворец ротонде в Центральном парке. Цветы, органические и низкокалорийные микроскопические закуски, такая же низкокалорийная певица в струящихся одеждах с гитарой, шампанского вдосталь, – в общем, резвились все приглашенные, и только нескольким добравшимся до нас членам группы в дутом золоте и по-звериному загнутых фарфоровых ногтях было неуютно. Тем не менее, деньги на поездку собрали.

Ни одна из девяти женщин ни разу не выезжала за пределы Нью-Йорка. Некоторые не помнили, был ли у них когда-либо повод для вылазки в Манхэттен. У трёх хватило здравого смысла отказаться от поездки ещё зимой, до покупки оплаченных благотворителями авиабилетов. Остальные шесть регулярно встречались и обсуждали вопросы несвободы и самовоплощения через неизведанное. К апрелю купили билеты. Колорадский инструктор был предупрежден, что группа новичков будет необычной. За неделю до отлёта ещё два члена группы отсеялись: одной, самой робкой и в то же время самой стабильной, хватило смелости позвонить и соврать что-то, предупредить всё-таки, а другая просто исчезла и на звонки не отвечала. Начальство впервые по-настоящему обеспокоилось и стало обсуждать способы дополнительных супервизий для несчастной Энн, ещё ждущей того терапевтического чуда, которое должна была совершить встреча с горами.

Энн и её четвёрка отважившихся вылетели в Колорадо. Уговорились, что связь с ней будет держать один из самых уважаемых в агентстве психоаналитиков. Она не позвонила в первый вечер – была буквально истощена. А уже во второй день позвонила дважды. А в третий – трижды. Девушки-согруппницы находились в не меньшем стрессе. Оказалось, что они не знают, как пользоваться спальными мешками, и Энн ежевечерне укладывала их спать. Потом выяснилось, что карабкаться по верёвке с дорогими сумочками наперевес и свежеприклеенными ногтями невозможно, и одна из дам вдруг сменила печальное выражение лица на яростное и послала инструктора таким громогласным матом, что папа-ветеран Коза Ностры позавидовал бы. Психоаналитик интерпретировал это как терапевтически значимое высвобождение гнева, являвшегося изнанкой депрессии, но что с того – лезть по канату она отказывалась, а иначе назад, к базе, им было не выбраться. Как-то они её тащили, чуть не на руках. У другой начались месячные, и она выбросила использованные тампоны непосредственно за порог палатки. Ночью палатка подверглась атаке медведей. Может, это был один медведь, но Энн испытала такой ужас, как будто все колорадские хищники ополчились против неё за загрязнение девственной природы бруклинскими проказницами. В конце концов, рыдающая по ночам Энн предложила, а начальство поспешно согласилось, чтобы поездка была прервана до срока. Ей обменяли билеты, и она повезла непрерывно матерящуюся четвёрку в аэропорт. Последней каплей стало опоздание на самолёт: одна из них пошла краситься в туалет аэропорта, а пока её искали, посадка закончилась. Каким-то чудом билеты обменяли ещё раз, и в конце концов экспедиция закончилась без кровопролития и травм.

Потратив, Бог знает сколько, на собственный психоанализ, Энн долго пыталась понять, почему они согласились поехать. А ответ был на поверхности: ни одна из четверых ни разу не приняла ни одного самостоятельного решения. Они поверили Энн, что теперь она станет о них заботиться и думать за них…

Энн вскоре уволилась, а группу передали Пэт, у которой психотерапевтического опыта было не больше, но зато жизненного, из Сансет Парка, не занимать. Вот её-то жёсткая ироничная манера и разогнала сплотившуюся было группу. Никогда больше никого никуда не отправляли, лечили на месте.

Говорили, что Энн через несколько лет ушла из профессии.

Закончив с завтраком, точнее, принеся завтрак тем, кто до сих пор не решился покинуть комнату (я слышала, как некоторые обитатели уже начали называть их палатами…), я заглянула в кабинет, отведённый медсестре. Вчерашняя милая дама-школьная медсестра уже ушла, и там сидело совершенно ни на что не реагировавшее существо, безуспешно пытавшееся словить сигнал на своём мобильном телефоне и в связи с этим машущее в воздухе руками в манере гипнотизёра-любителя. Латиноамериканская семья, маленькая ссохшаяся мама и послеоперационная дочка, которых мы накануне разместили там же, в стратегической близости к медицинской помощи, увидев меня, тоже замахали руками. Мама не говорила по-английски; дочка говорила с сильным акцентом. Удалось выяснить, что с дочкой-то всё хорошо, а вот с мамой что-то не так.

– Vamos[2], – сказала я уверенно, истощив тем самым мой словарный запас в испанском как минимум наполовину.

Они послушно засеменили за мной. Остановив в коридоре кого-то из «испанской» комнаты, выяснила, что мама не спала всю ночь, не может есть здешнюю еду, точнее, ничего не ела со вчера, и умоляет найти ей чашечку кофе. Старуха действительно выглядела какой-то серой, как бывает у очень смуглых людей при сердечных приступах.

Пошли в «штаб». Нашли директора оккупированной нами школы, на свою голову заглянувшего посмотреть, как идут дела. Возбуждённые переговоры завершились тем, что я экспроприировала не только баночку кофе, принадлежавшую родительскому комитету школы, но и весь нашедшийся у директора лично запас чайных пакетов, и его же микроволновку. Выстроилась очередь за кофе и чаем. Каждый пакетик заваривался по два раза, зато хватило на всех страждущих.

Вообще второй день как-то легче проходил, настроение было более радужное: разрушения оказались не так страшны, даже разочарование какое-то было, типа, а нас-то пугали, да и конец брезжил вполне чётко. Судьба переживших нью-орлеанскую «Катрину» нам не грозила, и кое-кто уже начинал находить в ситуации юмор.

Подходило обеденное время. Альтернатива ещё одного «школьного» сэндвича с арахисовым маслом или с консервированным тунцом, украшенным бесцветными ломтиками помидора и обморочными (бедные дети!) листьями салата что-то перестала радовать. Да и пройтись бы неплохо. Снарядилась экспедиция на улицу. Эх, нельзя никого выделять! – но я знала, что не только испанская старушка, но и человек с Альцгеймером не ели со вчерашнего дня, а потому предложила принести что-нибудь и ему. Впервые за два дня он поднял на меня глаза, глянул измученно, недоумевающе:

– Вы идёте ко мне домой?

– Я могу сходить в МакДональдс.

– Что ж, – сказал он, язвительно и театрально-трагически. – Тогда мне от Вас ничего не нужно.

Его помощница прошептала мне вслед, что пакетик жареной картошки он, возможно, примет.

Испанская старушка, ожив, попросила ещё одну чашку кофе и чизбургер.

На улице оказалось более ветрено, чем утром. Обломки и осколки, вывески и ветки вели себя непредсказуемо. Оборванные искрящие провода, как оголтелые, скакали по асфальту. Уворачиваясь от летящих предметов, я прошла два квартала и оказалась на улице с рядом магазинов, забегаловок и ресторанчиков, которая ещё вчера была оживлённой. Всё было закрыто! Закрытый МакДональдс – это своего рода культурный шок. Ещё через пару кварталов нашлась-таки невидная забегаловка, где удалось купить кофе и какие-то подсохшие закуски. Обратный путь был ещё сложнее: неохота была всю эту красоту уронить, а ветер серьёзно вышибал из рук мешки с едой. Целое приключение.

После обеда пошли слухи о том, что есть шанс быть отправленными домой часа в четыре. Ждали приказа мэра, а его всё не было. Потом, после короткого совещания в «штабе», решено было объявить, что, поскольку опасность миновала, те, кто хочет уехать самостоятельно, могут это сделать прямо сейчас, не дожидаясь выделенных городскими властями автобусов. Народ же почему-то не рванул к двери, а заволновался.

Ко мне подошёл очень немолодой мужчина в вытянутых на коленях спортивных штанах и домашних тапках и попросил позвонить дочке, поскольку он забыл в спешке слуховой аппарат и не мог потому говорить по телефону.

– Скажите ей, пожалуйста, где я.

– Как, Ваша дочка не знает? Она, наверно, волнуется?

– Нет, – сказал мужчина, глядя не в глаза, а на губы. – Ей не до меня. Она тоже эвакуировалась.

Я набрала номер. Энергичный женский голос на том конце ответил по-русски, но с характерным для английского повышением тона в конце фразы:

– Вот как он туда добрался, так и обратно поедет. Извините, девушка, мне о своей семье думать надо. Машина не резиновая. Где он? В Бушвике? А кто его заставлял ехать? Ничего бы не случилось, если б он остался дома. Извините, мне некогда, – и гудки.

Что ж, мы ошибались, думая, что у тех, кто приехал в убежище, никого не было. Реальная жизнь, из которой они были вырваны на два дня, догнала их и тут. Сглотнув воздух, я объяснила мужчине, что дочь, по всей видимости, не сможет добраться до Бушвика. Дороги могут быть затоплены. Он даже как-то равнодушно выслушал, развернулся и зашаркал в сторону своей раскладушки.

А потом всё раскрутилось в обратном направлении: сборы, ожидание в актовом зале, погрузка в автобусы, не обошедшаяся без слёз и конфликта. Я провожала на выход «свой» этаж, не забывая «своих» русскоязычных и «своих» больных на другом этаже. Все, в общем, умудрились стать своими. Прощались, как родственники, приглашали в гости. Один из подошедших прощаться сказал мне полушёпотом:

– Очень хорошо здесь было. Спасибо, что приходили поговорить. Дома-то не с кем.

Я подумала, что многие будут вспоминать эти дни в убежище с неоднозначным чувством. Кто-то усвоил уроки великодушия, кто-то остался вечно неудовлетворённым, а для кого-то убежище стало именно этим – убежищем от жестокости мира, как ни странно.

Так что я делала два дня? Кто это упоминал, что китайский иероглиф «кризис» состоит из двух других, соединенных вместе, «опасность» и «возможность»? Хотелось верить, что кто-то использовал опасность для раскрытия новых возможностей. Была ли это первая психологическая помощь, как в мануале? Мне хотелось верить, что – да. Нет, не так: в тот момент мне было совершенно безразлично, как называлось то, что я делала в убежище два дня подряд, насколько реальна была угроза затопления – но это каким-то непостижимым образом было необходимо. Осталась ли я психотерапевтом? Пожалуй, что да. Хотя и балансировала на краешке, удивляя себя саму. Чтобы меня увлекли какие-то фантазии, противоречащие этическому коду? Ни за что не поверила бы. Но…

Талисман так и остался в кармане куртки, и в оставшиеся до холодов дни то ласкал, то щекотал мою ладонь. Потом пришло время других вещей, а весной я снова наткнулась на него. И решила записать всё это. Тогда я ещё не знала о том, что впереди – супершторм «Сэнди» …

V.

Всего четырнадцать месяцев со дня «Айрин», и «Сэнди» проиллюстрировал выражение «разрушительная сила». Город был потрясён, вытряхнут до кишок. После шутницы «Айрин» никто, конечно же, не поверил в серьёзность Сэндиных намерений. Тем не менее я снова откликнулась на е-мэйл городской администрации, прикрывающей свой зад такими как я. Разыскала футболочку, на шею удостоверение повесила. Пошла, в общем, на опасную свою службу.

На этот раз я дежурила в совсем другом районе Бруклина. Распределяют смены по районам, стараясь учесть место проживания самого волонтёра, иначе черта с два доберёшься. Но в этот раз получилось убежище подальше: туда собирались привезти эвакуированных с побережья, с Кони Айленда, а там проживает множество русскоязычного народа, которому я могла быть полезна. Какая разница, подумала я, это будет недолго, как в прошлый раз, и ошиблась: «Сэнди» развернулась с апокалиптическим размахом, смывая людей и их вещи, затопив манхэттенский Даунтаун. Я только-только успела пробежаться по огромному пустому залу и определить, где что находится, как привезли лежачих из дома престарелых, потом людей, снятых с крыш на Статен-Айленде, и ещё, и ещё. У каждого была своя история спасения из потопа, свои, совершенно неожиданные, порой неразрешимые ситуации: остались без вещей, без документов, без лекарств, рассорились с отвернувшимися от них близкими из зоны «С», испытали шок столкновения с плывущей на них машиной… Их ожидали дни без душа и тёплых вещей в огромном зале, где младенцы рыдали по соседству с чужими недвижными стариками, где домовладельцы, только что потерявшие всё своё имущество, лежали на раскладушках рядом с бездомными наркоманами. Мобильники разряжались, к розеткам тянулись очереди, и никто больше не помнил номеров телефонов знакомых и друзей. Они спаслись! Добро пожаловать на остров выживания. Так, наверно, плыли в Ноевом ковчеге: в клаустрофобии вынужденного совместного проживания, на суровой зелени казенной раскладушки радость спасения быстро омрачается.

Как разбушевавшийся великан, ураган колотил по огромной крыше комплекса, в котором в этот раз расположилось убежище. Я провела там вечер и сменилась в полночь. Вернуться домой оказалось невозможно, и я перекемарила в комнате, наполненной жужжащими бессонными медсестрами. Им-то что, они привыкли к ночным сменам, а я была просто измочалена к утру. Мой мобильник работал, но никто не мог за мной приехать: дороги были разбиты даже в этой, так сказать, материковой, части Бруклина. Ничего не оставалось, как вернуться в огромный зал бывшего арсенала.

За ночь там всё изменилось. Белые больничные занавески, капельницы, мониторы, трубки какие-то. Там, где не хватило привезённых занавесок, висели те же синие одеяла. Пахло полевой кухней – прибывшим раздавали солдатский рацион со сроком хранения десять лет. Убежище превратили в огромную пересылку: собрали в одном помещении дожидающихся отправки в переполненные больницы тяжело больных из реабилитационного центра, стариков из прибрежной зоны, семьи, эвакуированные с затопленного Статен-Айленда… кого там только не было. Волонтёров было достаточно, но, как и прежде, всего один человек из команды психологической помощи.

Я предложила подключиться к шоу. «Это Вы психологическую помощь предоставляете? Вот Вам спиртовка, будете армейские рагу разогревать».

И вправду шоу с невероятными, неожиданными сюжетными поворотами. Вот входит семья из пяти человек, мама с тремя детьми и совсем дряхлой бабушкой, все дрожат: они просидели двенадцать часов на крыше, умоляя спасателей не проплывать мимо, а когда их согласились принять на борт, вынуждены были пройти расстояние до лодки по пояс в ледяной воде. Все документы утонули, дом разрушен, вещи как ледяные компрессы, а я им: «Вот носки, возьмите». И даже могу под собственную ответственность дать несколько лишних пар, на руки натянуть… Как всегда, помощь неадекватна, беспомощна.

Ещё одна ночь, передышка в шумной комнате так называемого отдыха, и ещё одна вечерняя смена. Последняя, сказала я себе. Бог социальных работников, храни, храни меня от роли спасателя, а пуще того, от роли спасителя. Это тупиковый путь.

Вышла в зал, а там опять всё изменилось: готовили к отправке людей из хосписа, чьи документы утонули. Все сведения о них утонули. Неизвестно не только, что им было прописано, но и кто они. Не все могут ответить. Сходите пока в комнату, куда скинули группу ходячих с медицинскими и психологическими проблемами. Надо бы их отправлять по домам, но не всем есть, куда возвращаться. Там один парень, так ему совсем некуда идти, и психологическое вмешательство не помешает.

Я вошла было в огромную аудиторию, но остановилась на пороге. Меня даже слегка затошнило в приступе déjà vu: я узнала их всех. Вся «моя» группа времен «Айрин». Альцгеймерный по-журавлиному вышагивал вдоль дальней стены. Муж женщины с недержанием склонялся над лежащей женой. В углу запарковался ампутированный. Томми я признала по той горячей волне, которая поднялась из желудка и выплеснулась куда-то в горло. Он сидел на зелёной раскладушке, завернутый в синее одеяло, раска-

чиваясь, как хасид на молитве, а напротив, сочувствующим лицом ко мне, сидела девушка в оранжевой волонтёрской жилетке. Рыбак закидывал невод, ловил свою воду.

Стараясь двигаться бесшумно, я прикрыла дверь.

---

[1] медицинская сортировка, распределение по группам.

[2] пошли *(исп.)*

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЯНИНА СВИЦЕ

«…Я ЖИВУ В АКСЁНОВЕ, ПЬЮ КУМЫС»
Чехов в Уфимской губернии

В начале XX века Белебеевский уезд Уфимской губернии, особенно в его части, расположенной вдоль линии Самаро-Златоустовской железной дороги, стал одним из наиболее известных в России мест лечения больных туберкулёзом. Целебный башкирский кумыс, воздух, напоенный ароматами лечебных степных трав, способствовал полному излечению, или улучшению состояния здоровья многих тысяч больных.

Кумыс – особым образом сброженное молоко кобылиц, употреблялся многими кочевыми народами с глубокой древности, и им были хорошо известны его лечебные свойства. Уже в XVIII веке врачи применяли кумыс в терапии. Как известно по произведениям С.Т. Аксакова, в начале 1790-х годов его мать по предписанию уфимских докторов Зандена, Авенариуса и Клоуса лечилась кумысом в имении помещика Алкина на реке Дёме. Уже в эти годы некоторые жители центральной России решались на далёкое путешествие, чтобы пить кумыс, живя или у знакомых или в башкирских аулах. В 1770 г. академик П.С. Паллас писал, что в башкирские степи «съезжался недужный народ из Московии для питья кумыса, так оный большую пользу для здравия имеет».

В 1824 году Оренбургско-Уфимскую губернию посетил император Александр I. Сопровождавший его в поездке лейб-медик Д.К. Тарасов писал в своих воспоминаниях: «сведения о свойствах кумыса сделались известными императору, и государь поручил генералу Эссену [оренбургскому военному губернатору, Я.С.] к будущей весне отправить из Оренбурга двух опытных башкирцев с несколькими кобылицами (дойнами) в Царское Село на ферму, с тою целью, чтоб они приготовляли там кумыс для её величества императрицы Елизаветы Алексеевны, коей здоровье приметно начало ослабевать. Но, приготовляемый в Царском Селе кумыс не оказывал такого действия, как в степях оренбургских, и императрица не имела от него пользы». Целительную силу кумысу во многом придают степные лечебные травы, такие, например, как чабрец (тимьян), шалфей, знаменитая степная полынь, которые и сейчас входит в состав лекарств при лёгочных заболеваниях.

Основная водная артерия Уфимской губернии – река Белая (впадает в Каму) достаточно мелководна и регулярное пассажирское сообщение по ней началось достаточно поздно, только в 1860 годы, и только с этого времени лечение кумысом стало более доступным. А после строительства в 1888-1890 гг. Самаро-Златоустовского участка Транссибирской железной дороги добраться в кумысные места можно было легко и довольно быстро. Лучшим местом для лечения считалась долина реки Дёмы. По линии железной дороги между станциями Аксаково и Давлеканово простирается Белебеевская возвышенность – открытое и исключительно живописное лесостепное нагорье, с богатым разнотравьем и благоприятным климатом. Первые годы кумысники расселялись по ближайшим к станциям деревням и просто покупали кумыс у башкир. Первая кумысолечебница при станции Аксаково была открыта в 1890 г. внучкой С.Т. Аксакова. В начале XX века в этих местах уже находились десятки кумысных санаториев, лечебниц, заведений, и кроме того, как и раньше, по деревням ежегодно селились тысячи «диких» кумысников. Именно в Белебеевском уезде Уфимской губернии летом 1901 года лечился кумысом Антон Павлович Чехов.

В мае 1901 г. Чехов приехал из Ялты в Москву. Здоровье его продолжало ухудшаться. 20 мая 1901 г., пройдя обследование у известного терапевта В.А. Щуровского, Антон Павлович написал сестре *«Ну-с, был я у доктора Щуровского. Он нашёл притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно*

ехать на кумыс в Уфимскую губернию, если же кумыса я не буду переносить, то – в Швейцарию. На кумысе скучнейшем и неудобном, придётся пробыть два месяца». Чехов хорошо понимал всю серьёзность своего состояния, но ехать на кумыс ему явно не хотелось. И, вероятно, он не очень верил в действенность лечения. В письмах этого периода можно прочитать *«…я должен ехать на кумыс. Это всё равно, что ехать в ссылку»*, *«ехать на кумыс гораздо скучнее, чем читать дамского сочинения роман».*

Поездке предшествовало важное событие, 25 мая Чехов женился на Ольге Леонардовне Книппер. Обвенчавшись, супруги почти сразу же отправились на железнодорожный вокзал. Было решено добираться до кумысолечебного санатория таким маршрутом: сначала по железной дороге до Нижнего Новгорода, потом пароходом до Уфы, по железной дороге от Уфы до станции Аксёново, и уже на лошадях 10 верст до санатория. Хотя поездом до станции Аксёново можно было доехать быстрее и легче, но, вероятно, молодоженам, захотелось совершить именно речное путешествие.

26 мая они прибыли в Нижний Новгород, где один день гостили у Алексея Максимовича Горького. Часть дальнейшей поездки сложилась не совсем удачно. Оказалось, что от Нижнего до Уфы не было прямого рейса, и пассажирам приходилась делать пересадку в Пьяном Бору (у впадения в Каму реки Белой) и долго ждать парохода до Уфы. 28 мая Чеховы сошли на пристани Пьяный Бор, здесь Антон Павлович написал несколько писем, в которых упоминал о перипетиях путешествия.

М. Горькому.

«Милый Алексей Максимович, я чёрт знает где, на Пьяном Бору и буду сидеть здесь до 5 часов утра, а теперь только полдень!! Долгополов взял билеты до Пьяного Бора, между тем нужно было брать только до Казани и здесь пересаживаться на пароход, идущий в Уфу. Сижу на пристани, в толпе, рядом кашляет на пол чахоточный, идёт дождь – одним словом, этого я Долгополову никогда не прощу… Моя супружница шлёт Вам привет и низко кланяется. Сидеть здесь, в Пьяном Бору – о, это ужасно, это похоже на моё путешествие по Сибири… Днём ещё ничего, а каково-то будет ночью!».

А.И. Зальца.

«Милый Александр Иванович… я со своей супругой попал чёрт знает куда. Сидим в Пьяном Бору, на берегу Камы и ждём парохода, который придёт сюда не ранее 5 час. утра, а теперь 8 вечера, сидим же мы тут с 12 дня. В Пьяном Бору, а не пьяны…Обстановка здесь ужасная».

М.П. Чеховой.

«Милая Маша, выехали мы на кумыс, но взяли не такой билет, какой нужно, и вот сидим в Пьяном Бору Вятской губ<ернии>, сидим с 12 час. дня и будем сидеть так до 5 час. утра, ждать парохода. Погода прескверная. Сидим в избе. По приезде в Аксёново я буду писать тебе, а ты пиши мне непременно, поподробней, как живёте и какова погода в Ялте. Супружница моя здорова и всё смеется. Едим солёную севрюжину. Если в Аксёнове я не приохочусь к кумысу, то придётся ехать в Ялту, а потом в Швейцарию. Здоровье моё гораздо лучше, чем было».

Книппер через много лет написала воспоминания, которые в 1954 году опубликовали в сборнике «Чехов в воспоминаниях современников». Она вспоминала: *«У пристани "Пьяный бор" (Кама) мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчуждённости от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то покойной, серьёзной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен "Пьяный бор"».*

Дождавшись наконец парохода, Антон Павлович и Ольга Леонардовна отправились по реке Белой до Уфы. 30 мая Чехов писал сестре: *«…Мы плывём в Уфу по реке Белой. Жарко».* Два года спустя 30 октября 1903 года Чехов в письме напомнил жене об этой поездке: *«…А вот к Ялте не могу привыкнуть. В хорошую погоду казалось, что всё хорошо, а теперь вижу – не дома! Точно я живу теперь в Бирске, том самом, который мы с тобой видели, когда плыли по Белой».* Бирск – тогда небольшой уездный город Уфимской губернии, расположен на нескольких высоких холмах, спускающихся к реке, и вся жизнь городка была хорошо видна пассажирам пароходов.

31 мая рано утром Чеховы прибыли в Уфу на Сафроновскую пристань и, вероятно, сразу же отправились на недалеко расположенный железнодорожный вокзал. Они предполагали уехать в Аксёново ранним, шестичасовым поездом, но недалеко от Уфы произошло крушение состава, и ждать поезда пришлось до двух часов дня. О поездке в город, в центр которого вело шоссе, поднимающееся в крутую гору, в письмах Чехова и Книппер не упоминается, и, по всей видимости, супруги провели эти часы в одном из залов ожидания. С платформы открывался красивый вид на Белую и заречные дали, в вокзале находился ресторан, который считался одним из лучших в городе. Двухэтажное кирпичное здание уфимского вокзала, построенное в 1886-1888 гг. было разрушено в конце 1960-х годов.

31 мая ближе к вечеру (поезд шёл 6 часов) Антон Павлович и Ольга Леонардовна наконец добрались до Аксёново. Небольшой кирпичный вокзал станции, построенный в середине 1880-х годов, сохранился, но несколько лет назад был обложен современным кирпичом, а потом и закрыт из-за недостатка средств на содержание. Чехов любил железную дорогу, в его произведениях часто присутствует железнодорожная тематика: вокзалы, их служащие, буфеты, пассажиры. В посёлке Аксёново я провела часть своего детства и юности, и хорошо помню станцию и вокзал с конца 1960-х годов, когда они ещё мало изменились с начала XX века. Железнодорожное полотно здесь проходит по одному из уступов Белебеевской возвышенности. Вокзал построили на склоне горы, и окна в зале ожидания расположены высоко, а со стороны перрона – уютно низко. Можно представить, как Антон Павлович с Ольгой Леонардовной прогуливались по перрону, по высокому крыльцу заходили в здание вокзала.

От станции по живописной дороге, среди холмов и перелесков спускающейся в долину реки Дёмы, супруги проехали ещё 10 вёрст к санаторию. Лесостепь Белебеевской возвышенности отличается исключительным разнотравьем, обилием полевых цветов, дикой вишни, а была самая благодатная пора начала лета.

Андреевская санатория (именно так они назывались в те времена) была открыта в 1898 году на средства жившего в Киеве действительного статского советника Михаила Исидоровича Дурилина в память умершего от туберкулёза брата Андрея. Исследователи советского времени писали о санатории как о примитивном, неудобном и плохо оборудованном. Это было не так, но, по установкам советской идеологии, при «царизме» ничто не имело права быть хорошим. Что на самом деле представляла собой лечебница, можно судить по сохранившимся описаниям тех лет и фотографиям на открытках. К началу XX века кумысолечение в Белебеевском уезде превратилось уже в целую индустрию. Владельцы конкурировали между собой, были заинтересованы в рекламе, и для этого издавались серии почтовых открыток с видами заведений, сценками из жизни отдыхающих, быта местного населения, которые затем расходились по всей стране. Таких открыток с видами именно Андреевского санатория известно довольно много. Кроме того, до наших дней дошли разделы в справочниках, специальные «кумысные» справочники и путеводители, выходившие в Уфе или даже в столичных изданиях.

Андреевская санатория считалась одной из лучших и соответственно одной из самых дорогих. И самое главное, в ней действительно оказывали медицинскую помощь. Многие владельцы лечебниц просто предоставляли отдыхающим места для проживания, кумыс и питание, в отличие от них в Андреевской был штат медицинского персонала и аптека. Кроме того, кумыс не покупался у жителей а приготовлялся непосредственно в заведении, под наблюдении врача, что гарантировало качество напитка.

Приведу описание санатория из «Справочной книжки Уфимской губернии на 1903 год», где был опубликован очерк «Кумысные заведения в Уфимской губернии в 1902 году».

«Следующая ст. Аксёново, верстах в десяти от которой устроена Андреевская санатория М.И. Дурилина, находится в Гайныямакской волости Белебеевского уезда. Это заведение г. Дурилина может служить по внутреннему устройству примерным в санитарном отношении для всех кумысолечебных заведений. Всё заведение состоит из 40 домиков, из которых каждый разделен на две квартиры, выходящих на одну общую для обеих квартир террасу. Величина каждого номера в домике 6*6 арш, при 4-х арш. высоты [площадь каждого номера ~ 18 м^2, высота ~ 2,85 м^2]. Все домики расположены по склону горы в виде буквы П. Кроме этих небольших домиков, находится ещё два больших дома в 10 комнат каждый. Каждый номер снабжен печью, стены же номеров обиты пока шведским картоном, по которому производится побелка. Все номера обставлены железными кроватями с обыкновенными матрацами и волосяными надматрацниками, столами, стульями и шкафами. Все кумысники находятся в этом заведении на полном пансионе за 100 руб. в месяц (квартира, обед из 3 блюд и завтрак из 2 блюд, чай утром и вечером), кумыс же по 10 к. бутылка. Все кумысники столуются в общей столовой, вместе с которой в том же здании помещаются библиотека, музыкальная комната, бильярд и буфетная. Имеется так же при заведении прекрасно обставленная ванная и души. Стол в санатории обязательно общий, и только в крайнем случае, в виду очень болезненного состояния пациента, допускается разноска пищи по номерам.

Кумыс приготовляется под непосредственным наблюдением директоров г. Варавко, знатоков в этом деле, благодаря чему постоянно можно получать различные сорта кумыса и не по одному только этикету на бутылках, что очень часто бывает в других кумысолечебных заведения. Всех дойных кобылиц в заведении 106 на 100 человек кумысников. Кобылицы пасутся на принадлежащих санатории лугах (приблизительно десятин 500). Способ приготовления кумыса бутылочный. Врачебная помощь в заведении организована прекрасно: кроме директоров-врачей Варавко, приглашены два студента медика старшего курса и две сестры милосердия. При заведении находится порядочная аптека, так, что в лекарствах не ощущается нужды. Как врачебные советы, так и лекарства, не оплачиваются особою платою. К развлечениям заведения можно отнести: библиотеку (около 500 томов), рояль, бильярд. Санатория открывает свой сезон с начала мая и заканчивает в середине августа».

Вот ещё одно описание санатория, где лечился А.П. Чехов, но более позднего времени, из справочника доктор В.Н. Золотницкого «Путеводитель по кумысолечебным местам. Подробное описание кумысоле-

чебных санаторий, заведений и других мест Самарской, Уфимской и Оренбургской губерний, а также и некоторых других», изданного в 1910 году.

«Уфимская губерния. Андреевская кумысолечебная санатория. Сезон с 15 мая по 15 августа. Это заведение находится в 9 верстах от ст. "Аксёново", Самаро-Златоустовской жел. дор., в Белебеевском уезде Уфимской губернии. Хотя это заведение и причисляется к кумысолечебным и здесь существует кумысолечение, но оно совсем особого рода. Это, прежде всего, санатория. Лечение кумысом составляет здесь только один из целого ряда физио-терапевтических средств, при том под обязательным руководством и контролем врача-специалиста и сверх того, при строгой индивидуализации лечебных приёмов и при строгом санитарном контроле всех отраслей хозяйства и всего благоустройства.

Санатория совершенно чужда какой-либо коммерческой цели и до некоторой степени носит благотворительный характер: здесь имеются полуплатные и совсем бесплатные пансионеры. Мы слышали, что до сих пор г. Дурилиным затрачено на заведение около 150 тыс. руб. и только за последние два года оно стало окупать свои расходы и даже немного давать прибыли. До настоящего времени все участие г. Дурилина в жизни этой санатории ограничивалось только денежными субсидиями на неё, а дело всецело поручено было приглашённому на правах директора с самыми широкими полномочиями врачу, каковым последние 6 лет состоит доктор Аркадий Николаевич Рубель (из. С.-Петербурга).

Местность. Санатория расположена на опушке берёзового леса, на пригорке, где прорублена широкая просека, углубляясь в лес в виде буквы "П". Кругом санатории много красивых пейзажей: тут есть и высокие горы и густые леса, и пространные степи. Лес, состоящий из дуба, берёзы и липы, между просек разрежен и расчищен под парк и создает защиту от степных ветров и палящих лучей солнца, а липы во время цветения дают аромат. Пригорок, где расположена санатория, имеет скат в 3 стороны и влага на нём не задерживается, чем гарантируется сухость почвы. Вообще воздух здесь сухой, климат чисто континентальный – суровая зима, жаркое лето, днём палящий зной, а вечером прохлада.

Помещения для больных состоит из отдельных домиков с двумя совершенно изолированными комнатами и с отдельными в каждой комнате печами. Каждая комната вместимостью в 7,3 куб. саж. (6,75*6,5*4,5 арш.) белится ежегодно извёсткой. Вокруг каждого домика идёт крытая, на колоннах терраса, шириной в 2 ½ арш. по переднему фасаду и 2 арш. по боковым, а у задней стены для каждой комнаты – отдельный клозет-ведро с торфяной засыпкой. Всех домиков 50. Из них 40 расположены в три ряда по просеке в виде буквы "П", с расстоянием друг от друга от 3 до 5 сажень и 10 – на открытой местности, называемой степной. Меблировка комнат: кровать, матрац и волосяной наматрацник, платяной шкаф с отделением для белья, ночной столик со шкафом, умывальник, стол, 2 венских стула, на террасе складное кресло chaise longue. Мягкая мебель совершенно устроена. Подушки постельное белье пансионеры имеют свои. Из каждой комнаты – электрический звонок в помещение прислуги. В одном из таких домиков №№ 79-80 жил известный покойный писатель-врач, Антон Павлович Чехов. Недалеко от этого домика в степи сохранилась скамейка, прозванная "Чеховской", на которой А.П. любил сидеть. В центре санатории, на полянке – курзал; в н'м общие: столовая, гостиная с библиотекой, бильярдная и буфетная. В гостиной – пианино. Вокруг курзала со всех сторон – широкая открытая галерея. Для отвода помоев и жидких отбросов из кухни устроены канализационные трубы.

А.П. Чехов и О.Л. Книппер на крыльце домика

Довольствие здесь состоит из утреннего чая или кофе с хлебом, маслом, молоком и яйцами, завтрак из 2 горячих блюд, обеда из 3 блюд и вечернего чая с молоком хлебом и маслом. В промежутках – кумыс. Сырые продукты: мясо, молоко, зелень и т.п. преимущественно из собственного имения. Питьевая вода подаётся посредством центрального водопровода из ключей. Кумыс выделывается из молока из собственных и арендованных кобылиц киргизской породы под наблюдением врача-директора. Для кобылиц имеется собственное в 250 десятин степное ковыльное пастбище.

Врачебная помощь оказывается бесплатно. Медицинский персонал составляют: два врача (врач-директор и его ассистент), студент-медик или медичка и две фельдшерицы. На них лежит наблюдение

за больными, контроль над приготовлением кумыса, пищи т.п.; санитарный надзор за гигиеническим содержанием и дезинфекцией помещений и вещей санатории, за мытьём посуды, стиркой белья и мн. др. Каждый лёгочный больной должен иметь при поступлении или приобрести за особую плату в санатории карманную плевательницу и аккуратно ею пользоваться, иначе рискует лишиться места в санатории. Для врачебной службы имеется большой дом (в 10 комнат). Здесь приёмные врачей, ляринготоскопический кабинет, лаборатория для микроскопических и химических исследований, аптека, перевязочная, две лазаретные комнаты и т.д. В отдельном здании имеется 4 ванные и души для пользования больных.

По словам одной из моих пациенток, жившей два сезона в Андреевской санатории, день обыкновенно проводится таким образом. Встают больные рано, часов в 6-7. До утреннего чая, который бывает от 8-9 ½ час. утра большинство успевает выпить 1-2 бутылки кумыса и совершить небольшую прогулку. После чая до 11 часов идёт взвешивание тех больных, которых пришла очередь, для определения их веса. Прогулка пансионеров вне пределов санатории, поездки в окрестности и т.п. допускаются только с ведома и разрешения врачей. До обеда (6 час. веч.) с перерывом на завтрак бывает приём больных врачом, как вновь прибывших, так и старых. Кроме того, врач-директор А.Н. Рубель с 10 до 11 час. утра успевает навестить каждого больного в его помещении. Питьё кумыса заканчивается в 5 часов вечера, т.е. за 1 час до обеда. Вечерний чай в 8 часов вечера. После него многие больные остаются в курзале, проходят в гостиную, библиотеку, где занимаются чтением, игрой в шашки, на пианино. Иногда собственными силами пациентов устраиваются маленькие домашние концерты с пением и игрою на музыкальных инструментах. Раза 2-3 в сезон бывают заезжие артисты. В 10 часов вечера курзал запирается и все уходят в свои помещения и ложатся спать. Некоторые сидят у себя до 11 часов, но после этого времени обязаны все быть в постели. Общий отзыв о санаторской жизни, а главное о врачебной помощи, образцово здесь поставленной, и о её директоре А.Н. Рубеле самый тёплый, самый хороший.

При всех положительных данных, справедливость требует сказать, что выбор места под санаторию С.М. Варавкой сделан очень неудачно, а равно неудачно и самое расположение её на участке. Благодаря сравнительной низости места с окрестными горами и соседству с малоразреженным лесом, по вечерам в санатории нередко отзывает холодом, особенно в дождливую и пасмурную погоду начиная с конца июля. Затем здесь мало вентиляции парка, во многих домиках мало света, а ближние горы имеют очень крутые подъёмы. Но не будем строги к инициатору санатории, доктору С.М. Варавке (и скажем здесь ему большое спасибо), сумевшему привлечь г. Дурилина на доброе дело – устройство первой такой санатории с кумысом.

Плата. Нормальным сроком лечения в санатории считается полуторамесячный. За помещение, полное содержание, врачебное наблюдение, анализы, лекарства, ванны (без кумыса):

а) с одного лица в комнате 120 руб.

б) с двоих в одной комнате по 105 руб.

Провожатые в одной комнате с больными платят по 3 руб. в сутки.

За кумыс отдельная плата – 18 коп. за шампанскую бутылку. Стирка носильного и постельного белья за счёт пансионера в санаторской прачечной по городской таксе. Поездки в колясках и верхом в ближайшие окрестности – особая плата по часам».

По меркам своего времени, и учитывая, что лечебница находилась в отдалённой сельской местности, Андреевскую санаторию можно назвать образцовой. Стоит отметить и то, что меню пациентов были в основном белки и жиры – мясо, яйца, масло, молоко. И это были не просто продукты находившиеся «под рукой» – со скотного и птичьего дворов санатория. Ещё врачи XVIII века понимали, что в подобном лечении важен не только кумыс, и целебный степной воздух, но и традиционное для кочевых народов питание.

Сергей Тимофеевич Аксаков в «Семейной хронике» так описал лечение своей матери в имении Алкиных недалеко от Уфы: «Воздух, кумыс… чудные леса, окружавшие деревню… леса, где лежала больная целые часы в прохладной тени на кожаном тюфяке и подушках, вдыхая в себя ароматный воздух… всё вместе благотворно подействовало на здоровье Софьи Николавны и через две, три недели она встала и могла уже прохаживаться сама. Доктор опять приехал, порадовался действию кумыса, усилил его употребление, а как больная не могла выносить его в больших приёмах, то Авенариус счёл необходимым предписать сильное телодвижение, то есть верховую езду. Дело тогда неслыханное и дикое в дворянском быту… При сильном телодвижении была предписана и другая пища, а именно: жирное баранье мясо… Вероятно, доктор Авенариус в назначении диеты руководствовался пищеупотреблением башкир и кочующих летом татар, которые во время питья кумыса почти ничего не едят, кроме жирной баранины, даже хлеба не употребляют, а ездят верхом с утра до вечера по своим раздольным степям, ездят до тех пор, покуда зелёный ковыль, состарившись, не поседеет и не покроется шелковистым серебряным пухом. Леченье пошло отлично-хорошо».

Подведя итог, можно сказать, что в кумысолечебной Андреевской санатории пациентам предоставлялся весь известный на то время комплекс лечебных средств и процедур.

Подробности о жизни Чеховых на кумысе сохранились в письмах супругов и позднейших воспоминаниях О.Л. Книппер. В 1952 году дирекция санатория им. А.П. Чехова обратилась к ней с приглашением посетить санаторий, но она по состоянию здоровья приехать не могла, выслала несколько фотографий и свои воспоминания, которые затем публиковались в уфимских изданиях (напр.: Газизов Ф.Г. Кумысолечебный санаторий им. А.П.Чехова. Уфа, 1981).

Ольга Леонардовна писала: *«25 мая 1901 года в Москве состоялось наше венчание с Антоном Павловичем. Сразу же после этого мы выехали в Уфимскую губернию, где Антон Павлович хотел попробовать лечение кумысом. Мы проехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть ехали по железной дороге до станции Аксёново, вблизи которой расположен санаторий. Там с 1-го июня мы и поселились.*

В те времена этот санаторий был очень примитивен, конечно, ничем не был похож ни на одну из наших современных здравниц. В центре усадьбы стояло большое деревянное одноэтажное здание, в котором размещалась столовая. Там мы завтракали, обедали, ужинали. До сих пор с улыбкой вспоминаю ритмичный топот босых пяток здоровых краснощёких девушек, беспрерывно бегавших из кухни в столовую с блюдами и посудой.

Мы с Антоном Павловичем поместились в небольшом деревянном домике (скорее беседке) на две крошечных комнатки-кабинки. В каждой было по одному столу, стулу и кровати. Причем, как оказалось, подушки и постельное белье мы должны были привезти с собой, так как казенного инвентаря там не полагалось. Мне пришлось на другой же день ехать в Уфу и покупать подушки, простыни, наволочки и пр. мелочи. Кровать для Антона Павловича была очень коротка, он, как известно, был высокого роста. Для того, чтобы ему было удобней спать, я каждый вечер подставляла к кровати табуретку, на которую он и просовывал свои ноги сквозь спинку кровати.

Но все эти неудобства жизни в первобытном, примитивном санатории искупались чудесной природой, воздухом, кругом были дубовые леса, зелёная сочная трава, ароматные полевые цветы. Антону Павловичу нравились длинные тени по степи после шести часов вечера, фырканье лошадей в табуне. С удовольствием бродили мы по окрестностям санатория. Антон Павлович очень любил рыбную ловлю, и однажды мы ездили на разведку на реку Дёма. Эти чудесные места невольно вызвали в памяти замечательные описания Аксаковым природы в его произведениях. Но рыбачить Антону Павловичу там так и не пришлось, уж очень далеко было ездить туда от санатория.

Кумыс Антону Павловичу вначале понравился, он стал его пить до четырёх бутылок в день, но затем надоел. Будучи вообще по натуре постоянным непоседой, и в то же время противником собственного санаторного лечения, Антон Павлович не дожил положенного шестинедельного срока, и мы через месяц покинули санаторий и выехали в Ялту. Потом на юге мы нередко вспоминали о жизни в Аксёнове, о замечательной природе этих мест».

О жизни в Андреевском санатории О.Л. Книппер, так же написала в своих воспоминаниях о Чехове, изданных в 1952 году. *«В Аксёнове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дёма (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в Уфу. Кумыс сначала пришёлся по вкусу Антону Павловичу, но вскоре надоел, и, не выдержав шести педель, мы отправились в Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращаться в Москву: возобновлялась театральная работа».*

Ольге Леонардовне на следующий день пришлось ехать в Уфу за покупкой подушек и постельного белья. Собственные постельные принадлежности были мерой санитарного свойства, но для пациентов, приехавших издалека, такое условие оказалось неприятной неожиданностью.

7 июня 1901 года Ольга Леонардовна писала Марии Павловне Чеховой: *«Сегодня неделя, что мы здесь. Антон сегодня вешался и, представь, прибавил 8 фунтов. Он пьёт уже 4 бутылки и пьянеет, много спит, много ест. Острит, шутит, одним словом, прелесть! …На днях я ездила в Уфу покупать супругу моему подушку и простыни и ночные рубашки. Вот яма-то эта Уфа! Пекло, духота, пыль! Потеряла целые сутки, вечером зашла в театр, просмотрела два акта "Старых годов" больше не высидела! Вчера мы с Антоном и здешним доктором Варавкой смотрели, как ловят рыбу бреднями, попалась большая форель среди другой рыбы. Завтра идём с удочками. Речонка маленькая, но живописная. Антон сидит, болтает с кадетиком из Питера, славный мальчик, но заика, бедный. Общество неважное. Мы побалтываем всё-таки. Антон сгрызет меня, что я так дую молоко, стаканов по шести».*

Хотя губернская Уфа расположена на горном плато, возвышающемся над рекой и долиной реки Белой, далёкий провинциальный город, в котором в это время было около 75 000 жителей, конечно, показался столичной жительнице ямой. В Уфе всегда было много садов и зелени, но после строительства железной дороги до этого небольшой и тихий городок начал стремительно расти, и за 30 лет его население увеличилось в 4 раза, а многие кварталы (особенно между железнодорожным вокзалом и центральной частью) представляли из себя сплошную стройку. Театр, который посетила Ольга Леонардовна, был летним деревянным театром в саду Видинеева. Собственной труппы в Уфе ещё не было, и спектакли ставили гастролировавшие коллективы. Ещё при жизни Чехова уфимцы видели постановки его пьес. Так, например, в газете «Уфимские губернские ведомости» извещалось: «Летний театр В.И. Видинеева, во вторник, 27 июня 1900 года, труппою русских драматических артистов под управлением П.П. Струйского, в бенефис артистки Е.А. Свободиной, представлена будет в 1-й раз на здешней сцене пьеса репертуара художественно-общедоступного театра в Москве соч. известного беллетриста Антона Чехова "Чайка", пьеса в 4-х действиях».

И на отдыхе и лечении в Аксёново Антон Павлович работал. Подготовил корректуру пятого тома собрания сочинений (и выслал её из санатория А.Ф. Марксу), вёл переписку, в которой можно встретить упоминания о жизни на кумысе.

М.П. Чеховой

2 июня 1901 г. Аксёново.

…Здесь в Уфимской губернии, скучно, неинтересно; пью кумыс, который, по-видимому, переношу хорошо. Это кислый похожий на квас напиток. Публика здесь серая, скучная… Здоровье моё сносно, даже пока хорошо: кашель уменьшился, почти нет его.

М.П. Чеховой

4 июня 1901 г. Аксёново.

… Сегодня она [О.Л. Книппер] уехала в Уфу за покупками. Здесь скучновато, но кумыс вкусный, жарко и кормят недурно. На днях поедем удить рыбу.

А.М. Пешкову (М. Горькому)

4 июня 1901 г. Аксёново.

…Я живу в Аксёнове, пью кумыс, и во мне прибавилось уже 8 фунтов… Жизнь сытая, но скучная.

М.О. Меньшикову

9 июня 1901 г. Аксёново.

…Пью кумыс и в одну неделю, можете себе представить, увеличился на 8 фунтов. С февраля моё здоровье немножко свихнулось, я стал сильно кашлять, теперь же, по-видимому, пошло на поправку.

В.М. Соболевскому

9 июня 1901 г. Аксёново.

…Здесь санатория, пью кумыс помногу; сначала кажется скучно и серо, а потом становится ничего себе.

Е.Я. Чеховой

10 июня 1901 г. Аксёново.

…Жить здесь не совсем удобно и скучновато, но в общем недурно, и я уже привык.

А.Ф.Кони

12 июня 1901 г. Аксёново.

…Здесь на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры, и если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда.

В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский – очень хороший врач – нашёл у меня значительные ухудшения; прежде у меня было притупление только в верхушках лёгких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов – только не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился.

М.П. Чеховой

16 июня 1901 г. Аксёново.

Милая Маша, здесь скука непроходимая, живёшь точно в крепости… Я прибавился на 11 ½ фунтов.

А.Ф. Марксу

18 июня 1901 г. Аксёново

…Сегодня посылаю Вам корректуру (вторую часть) пятого тома.

М.П. Чеховой

20 июня 1901 г. Аксёново.

…Здесь нет дождей. Кумыс опротивел, хотя всё-таки продолжаю его пить. Пью по 4 бутылки в день… Сегодня жарища ужасная, 27 градусов.

В.М. Соболевскому

23 июня 1901 г. Аксёново.

… Я пью кумыс, но дальше четырёх бутылок не пошёл, мешает расстройство желудка. Надоело здесь ужасно, живу точно в дисциплинарном батальоне, скучища, хочется удрать; и я, по всей вероятности, удеру отсюда и уже пишу повсюду, чтобы с первого июля письма на моё имя адресовали в Ялту. Вероятно уеду отсюда первого июля. Природа здесь,

кстати сказать, чудесная; масса полевых цветов, поверхность гористая, много ручьев, но народ здесь неинтересный, вялый, некрасивый, не поющий; всё больше башкиры. И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето кончается уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке.

В.С. Миролюбову

конец июня 1901 г. Аксёново.

…Весу я прибавил 10 фунтов. Кумыса не пейте в Петербурге, его можно пить только здесь, в восточных губерниях, куда и советую Вам направиться в будущем году.

Режим в санатории был весьма строгим, но Антон Павлович и Ольга Леонардовна всё же совершали поездки в соседние селения и на станцию Аксёново. Уникальные сведения об этом собрал башкирский писатель Кирей Мэргэн, который в 1944 году побывал в санатории им. Чехова и встречался с местными жителями. По их воспоминаниям А.П. Чехов бывал в селе Воздвиженке. Ездил он туда по приглашению П.М. Веселова, инспектора московской мужской гимназии. Веселов был зятем помещика Померанцева, в имении жены проводил летние каникулы. Перед домом Чехов сфотографировался вместе с кучером на ходке (эта фотография известна под названием «А.П. Чехов в Аксенове, 1901 г.»). По словам местных жителей, в Воздвиженке было тогда очень красиво: вокруг лес, большие заросли кустарника, пели соловьи, пойма реки была в лесу; от кладбища до горы, что по дороге в Аксёново была березовая роща.

А.П. Чехов в селе Воздвиженке

Не раз бывал Чехов в деревне Самодуровке, где в то время находилось почтовое отделение. Однажды он был на званом ужине у купца Беляева, в числе многочисленных гостей была и учительница церковно-приходской школы Фаина Васильевна Иванова (Костромина), по её просьбе Чехов читал перед гостями. Позднее Ф.В. Костромина вспоминала: «Его приезд в наши края был настоящим событием. Мы, учителя земской школы, знали писателя по его произведениям. А вскоре нам посчастливилось познакомиться с ним. Он был частым гостем в школе, у наших учителей. Бывало, Антон Павлович поедет на станцию на лошадях, а возвращаться любил пешком, и тогда заходил в школу выпить чашку чая, отдохнуть, поговорить. Беседовать с ним было очень интересно. Речь его была мягкой, насыщенной юмором. Интересовался Чехов вопросами деревенской жизни. Расспрашивал о работе школы, о жизни крестьян. О нём у меня сохранилось самое дорогое воспоминание» (сведения собранные Киреем Мэргэном приведены в книге известного уфимского литературоведа М.Г. Рахимкулова «От Пушкина до Толстого». Часть первая. XIX век. Уфа, 2009).

Уже вскоре после начала лечения здоровье Чехова явно улучшилось. Он писал, что *«кашель уменьшился, почти нет его»* и уже через две с половиной недели в письме сестре сообщал, что прибавил в весе на 11 ½ фунта, то есть более чем на 4 килограмма! Писатель был уже очень серьёзно болен, и такой результат можно признать удивительным. Старожилы, жившие в этих краях в начале XX века, в довоенное время, рассказывали о многочисленных случаях исцеления больных чахоткой, но для этого нужно было жить и пить кумыс в степи по многу месяцев или даже несколько лет. Плодородная, с прекрасной природой Уфимская губерния, расположенная на основной линии железной дороги, считалась одним из самых экономически благополучных регионов Российской империи. В предреволюционные годы имеющие средства и возможности семьи, и даже из обоих столиц, довольно часто покупали здесь дома, хутора и целые имения и жили с весны до осени.

Но Чехов, даже не прожив на кумысе предписанного врачами срока в полтора месяца, и несмотря на хорошие результаты лечения, вместе с супругой в конце июня выехал в Ялту. И вскоре Антону Павловичу опять стало хуже. 20 июля в одном из писем он писал *«…Я на кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь в Ялте, опять захирел, стал кашлять и сегодня, даже немножко поплевал кровью»*. 24 июля М. Горькому *«…В Аксёнове чувствовал себя сносно, даже очень, здесь же, в Ялте, стал кашлять и проч. и проч., отощал и, кажется, ни к чему хорошему не способен»*.

По всей видимости, отъезд ускорили сложные семейные обстоятельства, связанные с его внезапной женитьбой. В письме О.Л. Книппер 30 мая 1901 г. Мария Павловна Чехова писала «Неожиданная телеграмма [о женитьбе], конечно, встревожила нас, особенно мать. Она всё металась из стороны в сторону, плакала сильно. Теперь она уже успокоилась и даже, кажется, начинает желать повидаться с тобой по-

скорей и примирилась с тем, что её Антоша женат. Мне казалось таким ужасом венчание, что я не раз спрашивала себя, зачем тебе всё это понадобилось?».

Память о пребывании АП. Чехова в Аксёново бережно сохранялась и хранится до сих пор. Антон Павлович любил бывать на горе рядом с санаторием. Здесь на месте столика с сиденьем ещё в 1904 г. была поставлена беседка, а гора стала называться «Чеховской». В 1913 году священник, преподаватель Уфимского епархиального женского училища Александр Гуляев издал свою книгу-справочник «Иллюстрированная Уфа (Уфа в прошлом и настоящем)», в разделе «Очерки кумысолечебных заведений Уфимской губернии» он писал: «С гор открывается прекрасный вид на всю санаторию; можно видеть, между прочим, и тот (крайний) домик, в котором жил лечившийся от чахотки А.П.Чехов. Этот («Чеховский домик») стоит у самой степи, откуда одиноко-сиротливо выглядывает скамейка. На ней, говорят, любил сидеть покойный писатель. «Чеховская скамейка»!

Во время первой мировой войны Андреевский санаторий был частично занят эвакуированными переселенцами из прифронтовых областей. В гражданскую войну разграблен, и возобновил свою деятельность только в 1927 году. Санаторий, названный именем А.П. Чехова, действовал до 1990-х годов, был восстановлен домик, где жил писатель. Сейчас здесь расположен детский лагерь-санаторий имени А.П. Чехова.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

О ВЕЛИМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ
(к 135-летию со дня рождения)

Несмотря на все толкования, порой замечательные, Велимир Хлебников остается загадочным и непостижимым или недостижимым. Кажется, мы приближаемся к нему, но он уходит, как линия горизонта.

«и понял я, что я никем не видим»

В смысле приближения к этой линии, а вернее в*и*дения линии мне кажутся наиболее плодотворными лингвистические обоснования Виктора Петровича Григорьева. Они позволяют держать горизонт в постоянном поле зрения. Мы рассматриваем цепочку слов и сопоставляем её с другой цепочкой и так постепенно оживает лицо.

«Слово – пяльцы; слово – лён; слово – ткань». Виктор Петрович Григорьев настаивает на этой хлебниковской максиме как ключевой. Метафорический ход понятен. Хотя можно бы сказать, что здесь нарушена последовательность движения, или неотредактирована самим автором. Но, положим, что такова сознательная воля автора. Преобразование – *пяльцы* – он ставит на первое место, природное начало – *лён* – на второе, производное от природного и инструментального – *ткань* – на третье. Как завершение процесса. Итак, интуитивно инструментальному началу отдаётся предпочтение. Пока художник не прикоснулся к слову – оно *лён*. И только инструментально можно создать *ткань*.

Решение кажется очень простым и даже каким-то техническим. Однако в самой записи, то есть – произведении, содержится поэтическое начало. Это не афоризм, а какая-то новая компрессивная форма, близкая к афористичности. Но автор ставит вполне позитивистскую задачу, он здесь не нарушает коммуникации…

Провокативность хлебниковской поэтики во всех её проявлениях – в практической и теоретической – в неспециальности, ненарочитости. Иногда можно сказать, что он движется как будто не догадываясь. Настолько органично вырастает его поэтика, как та самая «друза камней», которая создаёт высшую гармонию.

Попробуем посмотреть некоторое количество примеров. Хлебников, конечно, не просто пишет стихи, а создаёт новую систему поэзии. Он действует здесь в первую очередь исходя из потенциала русской поэзии как языкового явления. Язык становится основанием новой поэтики, в то время как раньше основанием служили тематика, формы, жанры. Отдельное слово уже несёт в себе поэзию («слово как таковое»), отдельный звук – уже поэзия. Он предлагает действовать «наималами» («наимал слуха», «наимал ума»), то есть мельчайшими единицами. Через наималы можно, по его мысли, проникнуть в ЗА-слово, найти прямой вход в денотат, в означаемое. Его поиски в этом направлении оказываются родственными лингвистическим поискам – от Фердинанда де Соссюра до Бодуэна де Куртенэ. И поскольку это был поиск поэта – филолога – историософа – орнитолога – математика в одном лице, то многие его произведения становились своего рода поэтическими трактатами. Он был как бы новый Аристотель, Буало,

Ломоносов. Но при этом он не именовал творения трактатами и не строил их согласно традиции, как, например, Ломоносов выстраивал свой стихотворный трактат «О сомнительном произношении буквы Г в русском языке».

Так «Заклятие смехом» выглядит внешне как стихотворение и как именно заклинательный текст.

Хлебников вроде бы ставит перед собой формальную задачу – по «скорнению», «сопряжению» слов. Он работает с языком, стремясь максимально выявить возможности корневого гнезда, к которому принадлежит слово «смех». Из лексем в корневой связке Хлебников строит произведение, довольно сложно разработанное, в котором начальный посыл получает усиление видоизменением слова: мало того, что «смеются», но ещё «смеются смехами», мало, что «смеянствуют», но делают это «смеяльно» и т.д. Это динамика стиха, а вот и статика – повтор одного слова: «Смейево, смейево». Таким образом создается гамма, веер возможностей смеха. И одновременно показывается возможность создания текста на однокорневой основе, когда повтор осознается как инвариант. Здесь это представлено в чистом виде, подобно кристаллу.

Другой вариант поэтического трактата предстает в известном «Бобэоби…»:

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиээй – пелся облик,
Гзи-гзи-гзээо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Здесь два ряда: звуковой и логический. Левая сторона представляет собой чистое звучание, дающее настрой правой стороне – логической. Здесь двойное взаимодействие: чистый звук наполняется отсветом словесной логики, а последняя вбирает в себя приёмы звуковедения. Поэтому правая часть интонируется и артикулируется в соответствии с тем, что задается в левой части.

Проработанность звукового ряда обостряет привычное звучание слов логического ряда, перестраивает слух. Известные нам слова мы как бы произносим и слышим впервые. Они отражаются в звуковых подобиях.

Так «на холсте» музыкальных и словесных соответствий возникает Лицо. И это лицо Гармонии, Природы, Бога, Гения, Автора, Читателя.

Звук и слово движутся, как параллельные прямые, вне протяжения и пересекаются в точке Лица.

Перед нами не только блестящее произведение, одно из первых в мировой практике звуковой поэзии, но и собственно трактат о новой поэтике. Трактат, конечно, лишённый объяснительных средостений, просто луч направлен на объект и все детали объекта укрупнены, преувеличены, чтобы мы могли их внимательно рассмотреть и запомнить.

Понимая, что «должен сеятель очей идти», Хлебников делает и записи пояснительного характера. Он пишет, в частности: «Слово живёт двойной жизнью. То оно просто растёт как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идёт на службу разуму, звук перестает быть “всевеликим” и самодержавным: звук становится “именем” и покорно исполняет приказы разума; тогда этот второй – вечной игрой цветёт друзой себе подобных камней». Здесь важно, что *друза* – группа сросшихся друг с другом кристаллов, напоминающих цветок. То есть Хлебников выявляет кристаллическую природу словесного поэтического искусства.

Напряжение между словом-звуком и словом-понятием поэт разрешает различными путями. Один из них – обращение к палиндрому.

Палиндром он трактовал «как отражённые лучи будущего, брошенные подсознательным “Я” на разумное небо». Это сокращение пути к подсознанию из подсознания. Звуковой состав палиндромической строки обострён, и в этом как раз состоит смысл – пробуждение звукового отклика.

Хлебников впервые в русской поэзии применил палиндром в качестве строительного материала для стихотворения большой протяжённости. В 1920 году он напишет таким стихом целую поэму «Разин» и окончательно узаконит палиндромическую форму в русской поэзии, во второй половине века палиндромические стихи станут непременной частью российского поэтического пейзажа.

Догадка о палиндромии как устройстве стиха имела ещё одно разрешение – выход к анаграмматизму в письменном выражении и к паронимии – в звуковом. На этом принципе построено почти целиком стихотворение «Пен пан». Анаграмматический метод используется во многих вещах, но здесь особенно нагляден.

Хлебников вслушивался в музыку речи, улавливая мельчайшие звуковые оттенки перетекания из одного слова в другое. Он овладевает внутренней формой слова настолько, что кажется, будто эта форма содержится в поэте изначально.

Но на этом его поиск не кончается. Он создаёт каждый раз новые произведения-концепты. Очень важны для понимания того, что делал Хлебников, два таких произведения-концепта в сильнейшей компрессивной форме. Приведём их.

Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни.

Разумеется, этот текст может восприниматься как лирическое стихотворение, но под видом лирики здесь скрывается описание целого мироздания. И в то же время это своеобразное руководство по экономии средств в поэзии. Как можно, сокращая словесное пространство, добиваться наибольшей выразительности. Как очень точно определил важнейший принцип поэтики Хлебникова французский велимировед Жан-Клод Ланн, мы имеем дело с таким «скоплением семантической энергии, которое в будущем положит начало длинной цепи интерпретаций».

Ещё один текст обращает нас к литературе:

О достоевскиймо бегущей тучи.
О пушкиноты млеющего полдня.
Ночь смотрится, как Тютчев,
Замерное безмерным полня.

И здесь мы снова видим высокую степень компрессии. Четырьмя строками охвачен космос русской литературы, рожденной в 19 веке и живущей уже вне времени и пространства, покрывающей собой замерное. По сравнению с предыдущим текстом здесь важную роль приобретает необычная неологизация – «достоевскиймо» и «пушкиноты». И опять перед нами непредсказуемость гения, который каждый раз находит индивидуальную форму для выражения невыразимого.

Незадолго до физического ухода из относительной действительности Хлебников написал довольно простое произведение «Ещё раз, ещё раз…», в котором предупреждал взявших «неверный угол сердца» к поэту, что они могут разбиться о камни, о подводные мели… Поиск верного угла сердца к Хлебникову не закончен, он продолжается, как продолжается воздействие его поэзии, иногда самыми неведомыми путями.

Литература:
Григорьев В.П. Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000.
Lanne Jean-Claude. Temps et parole poetique chez Velimir Khlebnikov.- Europe, Okt. 2010, Pp. 159-172.

ОЛЬГА МЕДВЕДКО

ПАВЕЛ ЛУКНИЦКИЙ – ПЕРВЫЙ БИОГРАФ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА
к 120-летию Павла Николаевича Лукницкого[1]

Павел Николаевич Лукницкий – писатель, учёный, воин, путешественник, первооткрыватель. Он – человек-эпоха, ровесник века, очевидец и летописец событий, «которым не было равных». О нём помнят люди разных поколений, профессий и национальностей. Его жизнь порой походила на авантюрный роман со множеством сюжетных линий и приключений и была настолько яркой и насыщенной, что её бы с лихвой хватило на пять неординарных биографий. В ней замысловато переплелись путешествия и географические исследования; открытия новых пиков и ископаемых; бои, плен и дерзкие побеги; множество любовных романов в бурной юности и всю жизнь рыцарское поклонение **одной** Прекрасной даме – Анне Ахматовой; любовь к поэзии и преданность главному конквистадору начала XX века Николаю Гумилёву и всю жизнь собирательство и хранение, порою с риском для жизни, уникального архива Серебряного века.

Такой причудливый жизненный путь Лукницкого на самом деле связан с особенностями его натуры, хотя сам он по характеру не был ни конквистадором, ни авантюристом, ни ловеласом. Но в нём таилась

неуёмная жажда познаний и неиссякаемая любовь к жизни. При любых обстоятельствах в дождь и снег, под артобстрелом и при разрывах бомб, в седле или в палатке, в плену у басмачей или на горных перевалах, стоя, сидя, лёжа, ночью или днём Павел Николаевич Лукницкий не расставался с записной книжкой и вёл дневниковые записи. Таких томиков дневников – более двухсот с 1914 по 1973 годы. Более продолжительной летописи, кажется, не знают ни новейшая литература, ни новейшая история. В записных книжках писателя увековеченная «одиссея поразительного плавания по жизни». При любых жизненных обстоятельствах он был непоколебим. Сергей Павлович, сын Лукницкого, юрист, который двадцать лет жизни посвятил делу реабилитации Н. Гумилёва, говорил, что «отец глубоко ощущал неповторимость мига, его эфемерность, его бесценность, его же вечность. Он жил, чтобы сохранить этот миг для потомков».

В своих юношеских стихах Павел тоже подражал своему кумиру и не без иронии называл себя «эпигоном Гумилёва». Для него Гумилёв – герой, непревзойдённый поэт, пример и в жизни и в творчестве. Лукницкий совершенно растворился в зовущей к путешествиям и рыцарским подвигам поэзии Гумилёва, поэзии завораживающей и волшебной, очень близкой начинающему поэту-романтику.

Гумилёв при жизни не дождался широкого признания и известности, но после смерти, по воспоминаниям Г. Адамовича, «имя и поэзия Гумилёва овладевают сознанием русской литературной молодёжи в таких масштабах и с такой силой, что это представляется почти чудесным». Даже советская печать того времени с тревогой и недоумением вынуждена была признать, что воздействие Гумилёва распространяется не только на «попутчиков», но и на пролетарских поэтов.[2]

Павел Николаевич лично никогда не встречался с Гумилёвым, но трагическая гибель поэта в 1921 году придала его юношескому увлечению романтический и целенаправленный характер. Это послужило толчком к его собственному поэтическому творчеству с одной стороны, а с другой – побудило его заняться сбором различных материалов о Гумилёве, составлением биографии и библиографии поэта, поиском его книг, воспоминаний современников.

В 1922 году Павел Лукницкий поступает на литературно-художественное отделение Петроградского университета. Уже как историк литературы он продолжает свою исследовательскую работу по изучению творческого и жизненного пути Николая Гумилёва. Прошло всего два года со времени трагической гибели поэта. В то время в Петрограде гумилёвское окружение, его друзья и близкие, ещё были живы

и не успели рассеяться по белу свету, как это случилось в дальнейшем: кто-то попал в эмиграцию, а кто-то –

под жёсткий каток репрессий. Лукницкий вращался как раз в той художественной и писательской среде, где многие помнили Гумилёва или были лично с ним знакомы. Он пишет стихи, посещает много литературных клубов, салонов, вечеров. Он оттачивает свой слог на занятиях «Института Живого Слова», где ещё недавно преподавал сам Гумилёв и где он встречает его учеников – Всеволода Рождественского, Николая Тихонова, Иду и Фредерику Наппельбаум и других. В декабре 1924 года Павла Лукницкого принимают во Всероссийский Союз поэтов, а в 1925-м во Всероссийский Союз писателей.

В Университете происходит встреча, определившая в дальнейшем путь Лукницкого как поэта и исследователя. Он познакомился с Владимиром Шилейко[3] и Михаилом Лозинским[4] – поэтами, переводчиками, историками. Видя неподдельную увлечённость молодого поэта творчеством Гумилёва, они предложили Павлу написать дипломную работу о Николае Гумилёве. Удивительное время, когда это ещё было возможно – писать о расстрелянном в 1921 году поэте. Времена были ещё «вегетарианские», по выражению Ахматовой. Павел Николаевич с огромным энтузиазмом и воодушевлением принялся за дело и по рекомендации В.К. Шилейко обратился за помощью к Анне Ахматовой.

Ещё до развода с Ахматовой Гумилёв пророчески писал:

А ночью в небе древнем и высоком
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне далёком
Звенит Ахматовой сиренный стих.

Он не обманулся. После его расстрела, который потряс всю русскую интеллигенцию, она, как будто продолжая неоконченный с ним диалог, напишет о нём и о себе:

…Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля за Невою
Ищет сердце бедное твоё.
И одна в дому оледенелом.
Белая лежишь в сиянье белом,
Славя имя горькое моё.

А потом в течение многих лет Ахматова с помощью преданных друзей (П. Лукницкого и Л. Гонунга) создавала летопись жизни Николая Гумилёва, «славя имя горькое его». Она прекрасно осознавала, что если она не расскажет то, что знает, не направит Павла Лукницкого, первого биографа Николая Гумилёва, к нужным людям, которые ещё помнят и многое могут поведать о Николае Степановиче, то эта информация будет утеряна безвозвратно, и эта потеря будет уже невосполнима.

Ахматова говорила о Гумилёве: «Самый непрочитанный поэт…». У каждого свой Гумилёв, и, раз открыв его для себя, мы невольно в разные периоды жизни возвращаемся к нему и пытаемся найти в его пророческих строках ответы на мучающие нас вечные вопросы. А в ушах звучит его голос:

Ещё не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

Семьдесят лет забвения не смогли стереть память о поэте – она жила и живёт. Всегда находились его почитатели, которые наперекор судьбе и властям, с риском для жизни упорно хранили эту память о расстрелянном поэте, чтобы донести её до потомков. Ученица Гумилёва Ида Наппельбаум получила десять лет строгого режима за хранение в своей квартире портрета учителя. А произошло это уже в 1951 году, когда самого портрета у неё давно уже не было – его уничтожили ещё в страшном 1937 году. И, тем не менее, её арестовали и посадили…

К подвижникам, которые десятилетиями сохраняли вещи, документы и рукописи поэта, принадлежала и семья Лукницких. Архив Гумилёва и сохранение памяти о нём стало судьбой семьи на многие годы, начиная с 1920-х годов.

В начале декабря 1924 г. студент Петроградского университета Павел Лукницкий первый раз пришёл в Мраморный дворец в дом к Анне Андреевне с просьбой помочь ему в написании дипломной работы по творчеству Николая Гумилёва. При первой встрече он поразил её тем, что огромному псу, сенбернару Тапу, яростно облаявшему гостя, он запросто положил руку прямо в пасть, чем заставил его перестать лаять и от неожиданности улыбнуться. Ахматова как будто ждала Лукницкого и приняла молодого поэта, да к тому же её почитателя, благосклонно и радушно. В дальнейшем она сама говорила об удивительном, можно сказать мистическом, значении их встречи и совместной работе:

«Хотите, я вам скажу, как решалась ваша судьба, – говорила она Лукницкому в июне 1927 г. – Январь или февраль 1924 г. – сон (три раза подряд видела Николая Степановича). Тогда взяла записную книжку и записала краткую биографию. Перестал приходить во сне. Очень скоро встретила Лозинского и он сказал о вас. Я почувствовала даже какую-то обиду – значит, ко мне не считает нужным прийти. Но эта обида быстро прошла. А потом – не помню, какого числа (но вы его, кажется, помните) пришли ко мне вы…».[5]

Ахматова верила снам, предчувствиям, «намёкам и рифмам» судьбы. Так, во встрече с Лукницким она тоже увидела «обещание» свыше. Она понимала, как важно составить подлинную биографию Гумилёва и оставить её для будущих поколений. Кто как не она мог позаботиться о земной славе Николая Гумилёва?

Но тут перед Лукницким стал вопрос – как писать биографию? Ахматова считала, что «есть два пути для биографа: одна биография – идеализирующая поэта (может быть, так и нужно писать биографию поэта?)… Вы избрали другой путь. Вы решили собрать **всё**. Даже весь сор, какой примешивается к имени человека. Это путь более совершенный, но и более ответственный… Вы должны разобраться в каждой мелочи, пройти сквозь весь этот сор и только пройдя сквозь него, Вы можете создавать подлинный облик Николая Степановича…».[6]

Ахматова со всем пылом включилась в эту работу, наверное, испытывая некоторый комплекс вины перед Николаем Степановичем и его памятью. Она почувствовала необходимость перечитать стихи Николая Гумилёва, указать Лукницкому источники того или иного стихотворения, вспомнить биографические события, встречи, беседы, разобраться в запутанных маршрутах и увлечениях Николая Степановича, чтобы как можно полнее представить жизненный и творческий путь поэта.

«АА говорила о своём отношении к этой работе… Если раньше – весной – она, делая эту работу, думала о том, что должна её делать, потому что это её долг, то теперь она искренне увлечена этой работой. Она её делает уже просто потому, что это ей интересно. Она поняла, что создание такой биографии – это такое же произведение искусства…».[7]

Для Ахматовой это был нё легкий период её жизни, и в личном, и в общественном, и в творческом плане. Со своим вторым мужем В. Шилейко она разошлась, но осталась с ним в дружеских отношениях. С Н.Н. Пуниным отношения налаживались нелегко в образовавшемся мучительном треугольнике. На верхах, в 1925 г., было принято решение «Ахматову не печатать». А у неё самой из-за болезни и сложнейших личных отношений наступил душевный кризис. В это непростое время Лукницкий стал близким другом

и поверенным в делах, а в дальнейшем её секретарём. Никита Струве назвал его «первым по времени Эккерманом[8] Ахматовой». Сотрудничество и дружба продлились на многие годы, хоть и с некоторыми перерывами, вплоть до кончины Анны Андреевны в 1966 году.

В течение пяти лет с 1924 по 1929 год Павел Николаевич почти ежедневно бывает у Ахматовой и часами записывает их беседы. Даже если какие-то сведения или данные повторялись, Павел записывал все варианты услышанного, веря, что для истории важно всё – мелочей не бывает. Их общение прерывалось только на время отъездов Ахматовой из Петрограда и на время летних путешествий Павла на Кавказ и Крым. Во время их встреч он жадно и скрупулёзно записывал за Ахматовой всё, что она ему сообщала: биографические данные, подробности её семейной жизни с Николаем Степановичем и семьи Гумилёвых, имена людей, которые могли дать дополнительные сведения, показать письма или неизвестные автографы. По рекомендации Ахматовой Лукницкий встречается со множеством людей, лично знавших Гумилёва или имевших о нём какие-либо сведения. Он опрашивает и записывает воспоминания о Гумилёве В.К. Шилейко, М. Лозинского, М.А. Зенкевича, В.И. Нарбута, М.А. Кузмина, А.Н. Энгельгардт (второй жены Гумилёва), М.М. Тумповской, О.А. Мочаловой, Г.И. Чулкова, Н.С. Войтинской, Н. Шишкиной и многих других. Вдова Брюсова Иоанна Матвеевна даёт ему скопировать письма Гумилёва её мужу и дарит ему редкий портрет Пушкина, где он очень похож на африканца. Этот портрет когда-то Николай Гумилёв подарил Валерию Яковлевичу вместе со своими первыми африканскими стихами. В архиве бывшей Царскосельской гимназии Лукницкий копирует ученическое дело Гумилёва, а в библиотеке Пушкинского Дома составляет опись книжного собрания поэта.

Павел Николаевич ведёт постоянную переписку с исследователем и архивистом Львом Горнунгом, который жил в Москве и также увлечённо собирал всё, что касалось Гумилёва[9]. И это было в те годы, когда самое имя расстрелянного поэта было «не везде произносимо». Переписка Горнунга и Лукницкого не только удивительный историко-литературный факт, но и пример высокой духовности, проявления стойкости и мужества человеческого духа. В переписке отразились разные аспекты исследовательской работы её участников: проблемы текстологии, точность и полнота биографических сведений о Гумилёве, влияние на его творчество других поэтов. И уже тогда, в 1926 году, они видели свою цель в том, чтобы подготовить полное собрание сочинений Н.С. Гумилёва. Мечте этих двух исследователей суждено было сбыться после их смерти, только в 1998 году.[10] Во многом это стало возможным благодаря их бескорыстному подвижническому труду.

Работа Лукницкого по исследованию жизни и творчества Николая Гумилёва из обычной студенческой курсовой постепенно превращается в серьёзное историко-литературное исследование, и молодой гумилёвовед становится известным в художественных кругах Петрограда.

В конце 20-х годов активная собирательская деятельность Лукницкого вызывает неоднозначную оценку в литературных кругах: одни относятся к ней с пониманием и сочувствием, другие – со скепсисом и даже издёвкой. Его педантичность, дотошность и одержимость в стремлении зафиксировать каждый «шаг и чих» своего кумира провоцируют некоторых литераторов на злые шутки и пародии. Так, Лукницкий становится прототипом одного из героев сатирического романа Константина Вагинова «Козлиная песнь»[11] – Миши Котикова, почитателя погибшего поэта Александра Петровича Заэвфратского (т.е. Гумилёва):

«В год шпенглерианства Миша Котиков приехал, поразился и влюбился в силу, гордость, мироощущение недавно утонувшего петербургского художника и поэта Заэвфратского… Миша Котиков никогда не видел Заэфратского, но был поражён… Всё узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле Александра Петровича Заэвфратского, сколько мозолей, что любил Александр Петрович кокосовые орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Ивановной тьма любовниц, но что он любил её очень…».[12]

Лукницкий только отмахивался от шуток, пародий и колкостей друзей и недругов. Он знал своё предназначение, и все свои силы, энергию, ум направил на достижение намеченной цели. Он педантично записывает свидетельства очевидцев и современников Гумилёва и эти данные дополняет множеством документов, находящихся в частных архивах. Он разыскивает любые материалы, которые имеют отношение к поэту – литературные и личные документы, стихи, автографы, письма, черновики и обрывки. Если он не мог заполучить подлинники, он аккуратно снимал с них копии со всеми авторскими исправлениями, пометками и ошибками, педантично указывая, что написано какими чернилами и давая варианты прочтения слов, которые были неразборчиво написаны.

Для него каждая заметка, строчка, обрывок статьи представляют интерес, если они связаны с Гумилёвым. В 1924 году он бывает довольно часто у Анны Николаевны Энгельгардт в надежде, что она даст ему важную и нужную информацию. Он пытался записать её воспоминания о Гумилёве, о её жизни с ним, хотя бы то немногое, что она помнила. Но интервью с ней не клеится.

В другой раз Павел, просматривая архив Гумилёва, нашёл обгоревшую тетрадку и спросил Анну Николаевну, что это. Она ответила, что это его африканский дневник «со скучными записями». Павел

Николаевич попросил разрешение взять ЭТО, если ей не нужно. Ей это не было ни нужно, ни интересно. Она просто не знала цены ни творчеству своего мужа, ни его архиву. Она также отдала ему «лубочную» картину художника Ато Энгедуарка «Пророк на льве» и несколько рисунков африканских художников, привезённых Гумилёвым из Абиссинии. Поначалу она была приветливой, доброжелательной и благодарной Лукницкому не столько за проделанную работу о её муже, сколько за его участие и внимание к ней. Она, поощряя эти визиты, даже подарила ему беловую рукопись – автограф «Отравленная туника» и несколько автографов стихотворений. Впрочем, чуть позже, после того, как Павел Николаевич познакомился и подружился с Ахматовой, Энгельгардт потребовала рукопись «Туники» обратно, и Павел Николаевич – с болью – боясь, что исчезнет, пропадёт, тщательно со всеми пометками и исправлениями автора переписал рукопись и оригинал вернул.

Судьба же африканского дневника, как и пусть слабых воспоминаний А.Н. Энгельгардт и 50 тетрадок с записями Лукницкого имеет свою печальную историю. Вот как об утерянных материалах писал сам Павел Николаевич:

«К числу принадлежащих мне материалов и трудов относится также и та часть их, которая в довоенные годы была передана мною /в копиях или в оригиналах/ **во временное пользование** А.А. Ахматовой, а ею, в свою очередь в период моего длительного отсутствия /на фронте/ дана **временно** на хранение её знакомому, С. Рудакову. Но после смерти его в годы войны, рукописи остались в руках его вдовы Рудаковой-Финкельштейн Лины Самойловны и, вопреки требованиям А.А. Ахматовой не были возвращены тою ни ей, ни мне, и подлежат истребованию, как не принадлежащие этой гражданке, присвоенные самовольно материалы.

В числе этих материалов и моих трудов были: один экземпляр «Трудов и дней» Н. Гумилёва /до 1918 года включительно /машинопись моего неопубликованного труда /, записи моею рукой воспоминаний об Н. Гумилёве его современников / примерно 50-60 тетрадочек сделанных мною записей периода 1924-1929 г.г., /также являющихся моим авторским трудом/, машинописные копии и оригиналы переписки Н. Гумилёва с В. Брюсовым /периода 1907 и последующих лет/ и с другими лицами, в том числе с самою А.А. Ахматовой/, машинописные копии стихотворений Н. Гумилёва и других его произведений, главным образом не вошедших в сборники стихов или вообще неопубликованных, собранных мною в 20-х годах; подлинный рукописный дневник Н. Гумилёва, который он вёл во время своей научной экспедиционной работы, по командировке Российской Академии Наук в Африку, – в путешествии его 1913 года, представляющий собою плотную тетрадь, с обгорелыми, но не коснувшимися текста углами, и ряд других материалов, – результатов моей научно-исследовательской и собирательской работы периода 1924-1929 г.г.».[13]

История перепродажи архива рассказана Эммой Герштейн. Перед отъездом из Ленинграда в эвакуацию в годы войны АА оставила гумилёвский архив, переданный ей на временное хранение Лукницким, С. Рудакову. Он погиб на фронте в 1944 году и после его смерти архив оставался у его вдовы. Когда Ахматова вернулась из эвакуации в 1944 году, Рудакова сказала ей, что всё цело. АА сразу не забрала архив, т.к. занималась обустройством быта после длительного отсутствия. Когда начались гонения на Ахматову в 1946 году, Рудакова сторонилась опальной Ахматовой и избегала любых встреч с ней, а также с её сыном. В 1949 году она заявила, что «у неё архива не было и нет», но ясно было, что она его распродала. Перед смертью в 1973 году Рудакова передает Герштейн семь писем Н. Гумилёва с просьбой передать их Льву и утверждает, что больше у неё ничего нет[14].

Журнал «Наше наследие», № 1 за 1988 г. опубликовал с предисловием Бронгулеева тот самый дневник, который Лукницкий извлёк из мусора в доме А.Н. Энгельгардт. Т.е. материалы, которые оставались у Рудаковой, явно были ею распроданы и попали в частные руки. Судьба 50 тетрадок с записями П. Лукницкого до сих пор неизвестна.

Павел несколько раз ездил в Бежецк и встречался с матерью Гумилёва Анной Ивановной и сводной сестрой поэта Александрой Степановной Сверчковой, записывал их свидетельства и воспоминания об истории рода Гумилёвых, детских и юношеских годах Николая Степановича.

Когда-то, ещё в начале XX века, Гумилёвым принадлежал дом, фамильная усадьба, в деревне Слепнёво. Здесь проводили каждое лето с 1911 по 1917 год Николай Гумилёв и Анна Ахматова. После революции, в 1917 году, когда местные жители стали жечь и грабить помещичьи усадьбы, оставаться в доме в Слепнёво становилось опасно. Несмотря на то, что крестьяне относились к Анне Ивановне Гумилёвой, матери Николая Степановича, хорошо (она задолго до революции простила им все долги), всё же жить в имении в такой обстановке она не рискнула и приняла решение уехать в Бежецк. Прощаясь с крестьянами, она просила их сохранить усадьбу и старый дуб, стоящий рядом с домом. Анна Ивановна с Александрой Степановной и внуком Левой перебрались в Бежецк, и семья поселилась во втором этаже дома по Рождественской улице (сейчас ул. Чудова, 64). Этот подлинный дом, где с 1917 года по 1942 жила мать

Гумилёва Анна Ивановна, сохранился до наших дней. В этом доме в 1920-21 годах какое-то время жил и Николай Гумилёв со своей второй женой Анной Энгельгардт и их дочкой Леной, здесь много лет жил Лев Гумилёв с бабушкой и тетей А.С. Сверчковой. После расстрела Гумилёва сюда несколько раз приезжала и Анна Ахматова. Не раз в этот дом наведывался и Павел Лукницкий. Он опрашивал свидетелей о жизни Николая Гумилёва и подробнейшим образом записывал эти ценнейшие сведения. На этой же улице находится и гимназия, где учился Лёва Гумилёв, где читали лекции Анна Ахматова и Николай Гумилёв, а также Христорождественская церковь (сейчас полуразрушенная, но сохранённая) прихожанами которой были все Гумилёвы. Сначала семья Гумилёвых занимала весь второй этаж дома, потом их «уплотнили» и оставили им две небольшие комнаты.

В Бежецк весть о расстреле Николая Степановича дошла только в сентябре 1921 года. Анна Ивановна встретила ужасное сообщение с присущей ей выдержкой и стойкостью. Она сказала, что не верит в гибель сына: он, бесстрашный воин, дважды Георгиевский кавалер, избежал смерти на войне и в опасных путешествиях, и он не такой человек, чтобы дать себя погубить в своей родной стране. Он уехал в свою любимую Африку, а может быть скрывается на Мадагаскаре – побывать на острове была его давнишняя мечта. Эта уверенность не оставляла Анну Ивановну до самой её кончины.

Александра Степановна убедила её подать заявление в правление Всероссийского Союза писателей о правах на литературное наследство Николая Гумилёва. Гонорары за последние издания поэта могли бы поддержать семью Гумилёва, находящуюся в очень стеснённых материальных обстоятельствах.

«Озабоченная судьбой литературного наследия покойного сына моего Николая Степановича Гумилёва, права на которое после его смерти перешли к его детям, Льву, находящемуся на моём иждивении, и Елене, которую содержит вдова покойного Анна Николаевна Гумилёва, прошу Правление Всероссийского Союза писателей назначить какое-либо лицо для охраны литературного наследия Николая Степановича Гумилёва, заключения договоров с издательствами и театральными предприятиями, получения причитающихся по этим договорам сумм и распределения таковых между наследниками». Заявление датировано 31 декабря 1931 года.

На это заявление никакого ответа не последовало. И до сих пор неизвестно, кем получены гонорары за сборник «Огненный столп», вышедший осенью 1921 года в издательстве «Петрополис», и за последующие издания «Посмертных стихов» и «Шатра» в 1922 и 1923 годах. После этого Гумилёва в советской России более не печатали.

7 января 1922 года в Петрограде Театральная мастерская из Ростова-на-Дону, которую ещё летом пригласил в Петроград Гумилёв, показала «Гондлу». Спектакль имел чрезвычайный успех, и публика после окончания спектакля громко скандировала: «Автора! Автора!». Власти сочли это политической демонстрацией, и спектакль сняли из репертуара.

Как ни странно, до 1925 года Гумилёва можно было свободно упоминать, включать в антологии и даже хвалить. Только обстоятельства его смерти предусмотрительно обходили молчанием.

Именно в эти годы молодой литературовед Павел Лукницкий, который никогда не видел Гумилёва, но с юношеских лет влюблённый в героический образ поэта-мученика, открыто занимался под руководством Ахматовой исследованием творчества и составлением биографии Николая Гумилёва.

Лукницкий проделал колоссальную работу по сбору ценнейших книг, документов, сведений, фотографий и мемориальных вещей, связанных с жизнью и творчеством Николая Гумилёва. Он собрал все поэтические сборники всех изданий поэта, прозу, пьесы, переводы – практически всё, вышедшее в периодической печати, литературоведческие работы поэта и о нём, его автографы, рукописи, рисунки и личные вещи. Так университетская курсовая работа переросла в рукописный двухтомник «Труды и дни Николая Гумилёва» – хронологическая канва жизни и творчества Н. Гумилёва, свод конкретных фактов и событий. 22 июня 1925 г. Лукницкий защищает диплом. К сожалению, эта рукопись не сохранилась, но есть черновик развёрнутого плана работы над книгой «Труды и дни Н.С. Гумилёва».

План работы

Стадии:

I. Собирание материала: а) литературного; б) биографического

II. Систематизирование собранного материала.

III. Критический анализ. Очистка от методологических неправильностей.

IV. Подведение марксистской базы:

а) Выявление идеологии поэта

б) Характеристика эпохи и места Н.Г в истории литературы.

в) Выявление того, чем изучение произведений Н.С. может быть полезно современной, пролетарской поэзии.

V. Составление полного собрания сочинений, в историко-литературном плане, составленного по марксистскому методу, с выявлением эволюции творчества, литературного направления, классовой принадлежности, с приложением биографии, составленной в рамках, достаточных для правильного понимания творчества.

Для выполнения работы необходимо **4 года.**

П. Лукницкий

Как мы видим, подводя «марксистскую базу» под своё исследование, Павел Николаевич предпринял отчаянную попытку если не реабилитировать, то хотя бы узаконить Гумилёва в глазах советской власти. Одно то, что защита диплома по Гумилёву состоялась, уже было неординарным событием и первым кирпичиком в советском гумилёвоведении. Но защита диплома не означала завершение исследований для Павла, наоборот это оказалось только началом большой и увлекательной работы по собиранию и систематизированию материалов по Гумилёву. У Павла Николаевича осталась верность Гумилёву и дружба с Ахматовой на всю жизнь.

Ведь параллельно с биографией Гумилёва писалась и другая биография – поэта Ахматовой. В одном из своих стихотворений, посвящённых Ахматовой, Павел Николаевич записал:

Твоею жизнью ныне причащён,
Сладчайший, смертный отгоняя сон,
Горя, тоскуя, пьяно, как в бреду,
Я летопись твоих часов веду…

Лукницкий тщательно записывал обстоятельства и разговоры своих встреч с Анной Андреевной, с «Акумой», что по-японски означает «колдунья». Такое прозвище дал Анне Андреевне её второй муж, лингвист и востоковед В.К. Шилейко, знавший более тридцати языков. Когда Лукницкий познакомился с Ахматовой в конце 1924 года, она жила в это время между Мраморным дворцом и Фонтанным домом, между Шилейко и Пуниным – от одного ещё окончательно не ушла, к другому ещё не совсем пришла. На память от Шилейко Анне Андреевне остались некоторые книги и прозвище Акума, которое к ней прилепилось на всю оставшуюся жизнь. Так родилась **«Acumiana»** Лукницкого – собрание записей, писем, документов, фотографий, книг, относящихся к Ахматовой. Кропотливо изо дня в день с дотошностью истинного летописца Павел Лукницкий описывает быт, обстановку, настроения, самочувствие, беседы, высказывания самой Ахматовой и её окружения. Мало того, он хранил всё: фотографии, газеты, пригласительный билет в клуб, программки концертов, письма, платёжные квитанции, черновики протоколов собраний, продовольственную карточку эпохи гражданской войны, железнодорожные и трамвайные билеты и т.д. Он не сомневался, что его записи и собранные им подлинные материалы помогут в будущем потомкам восстановить, прочувствовать «тот» день, миг, помогут им проникнуться атмосферой «нового революционного бытия», в какой амплитуде колебаний и переживаний жили и трудились люди. Он записывал жадно и скоро, можно сказать фотографически и, наверное, при жизни ему не дано было отделить ценное от неценного («большое видится на расстоянии»), но он был убеждён, что исследователям, людям, которые захотят знать о той эпохе всё точно – любая запись, любая деталь может оказаться полезной. В течение пяти лет Павел Николаевич записывал беседы с Ахматовой. Часто его записи носили урывочный фрагментарный характер плана-конспекта на маленьких листочках «четвертушках» или карточках. Он хотел сразу зафиксировать только что услышанное или увиденное, сохранить живые черты и детали события. Затем эти пунктирные записи расшифровывались и записывались в более развёрнутом виде в тетрадях-дневниках.

Некоторые первичные записи так и оставались не развёрнутыми наметками, но и они представляют сейчас большую ценность. Некоторые сведения, которые давала АА вроде бы и повторялись, но детали в них были разные или события трактовались по-иному. Павел записывал всё, не надеясь на память. И в оправдание своей обширной летописной деятельности он часто вспоминал любимое выражение Ахматовой: «Память – великая завиральница. Мы помним не факты, а воспоминание о них». Поэтому во время каждой встречи Павел добросовестно записывал все варианты услышанного. Сиюминутность, точность и достоверность – вот главные ценнейшие качества дневников Лукницкого.

Он стремился изобразить изменчивый образ человека в истинности данного мгновения. В стремительных стенограммах какой-нибудь беседы, он подмечал присущий человеку жест, чёрточку, в которых просматривалось то неуловимое, что определяет характер и личность человека. В своих дневниках, идя по горячим следам сиюминутных впечатлений, он хотел сохранить для потомства своих современников живыми.

Литература:

[1] Павел Николаевич Лукницкий всю жизнь писал, что он 1900 г. рождения и только после его смерти выяснилось, что он прибавил себе два года, а реальный год его рожденья – 1902.

[2] Г. Адамович «От Цеха поэтов к «парижской ноте». Юность. 2009. № 2, с. 15-24.

[3] Шилейко Владимир Казимирович (1891-1930) – востоковед, поэт, переводчик, второй муж Ахматовой.

[4] Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955) – поэт, переводчик, друг Гумилёва и Ахматовой.

[5] Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой . Т.2. 1926-27 гг. Париж–Москва, 1997. С. 273.

[6] Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой . Т.1. 1924-25 гг. YMCA-Press, Париж, 1991. С. 231-232.

[7] Там же. С. 233.

[8] Иоганн Петер Эккерман (нем. Johann Peter Eckermann, 1792-1854) – немецкий литератор, поэт. Известен своими исследованиями творчества И.В. Гёте, другом и секретарём которого он был.

[9] См. Н.С. Гумилёв в переписке П.Н. Лукницкого и Л.В. Горнунга. Публикация И.Г. Кравцовой. // Николай Гумилёв. Исследования и материалы. С. 491.

[10] Н.С. Гумилёв. Полное собрание сочинений в десяти томах. М. 1998.

[11] Вагинов Константин Константинович (1899-1934) – поэт и прозаик, написал роман «Козлиная песнь» (по-гречески означает – трагедия) в 1928 г.

[12] Вагинов К.К. Козлиная песнь. СПб, 2011. С. 81-82.

[13] Лукницкая В.К. Любовник, рыцарь, летописец. СПб 2005. С. 136.

[14] Лавров С. Лев Гумилёв. Судьба и идеи. М. 2000. С. 234-235.

АРСЕН МИРЗАЕВ

ГЕННАДИЙ АЙГИ, АНДРЕЙ ВОЛКОНСКИЙ И ПОЭЗИЯ ДАГЕСТАНА

Французский славист и переводчик, «айгист № 1» Леон Робель писал в своей книге, первой монографии, посвящённой жизни и творчеству поэта Геннадия Николаевича Айги (1934-2006): «В 1961 году, последовав за Андреем Волконским, Айги впервые отправляется в высокогорные долины Кавказа, навещает облепившие горные склоны деревушки. Он очарован, семь раз сюда возвращается, проходит пешком все районы Дагестана. Он обрёл здесь невероятный покой, почувствовал, как душу охватывают умиротворение и радость. Айги живо интересуется Шамилем, имамом, возглавившим сопротивление русским завоевателям. И изучает ислам. Принимается за большую поэму «Мавлит», которую так и не закончит. Он читает Коран и проникается уважением к этой религии» [8, с. 60-61]. В этой книге можно найти упоминание о том, что спутником Волконского и Айги в одном (или, м.б., двух) из путешествий по горным дагестанским аулам был режиссёр-документалист Виктор Зак[1]. В других «дагестанских» странствиях дважды сопровождала поэта его вторая жена Наталия Алексеевна Айги (Алёшина)[2].

Что же касается интереса Айги к Востоку, мусульманской культуре и религии, то, как свидетельствует Атнер Хузангай, сын Народного поэта Чувашской республики Педэра Хузангая и близкий друг Айги, филолог-арабист, критик и литературовед, этот интерес особенно проявился в тот период, когда Геннадий Николаевич начал активно заниматься переводческой деятельностью[3]. Атнер Петрович рассказывал, что в то время дело едва не дошло до составления антологии арабской поэзии, в которой сам Хузангай, несомненно, принял бы участие как переводчик и, вероятно, автор комментариев. Но этому замыслу, по разным причинам, не суждено было осуществиться.

Поэзией народов Дагестана Геннадий Айги начал заниматься, по всей видимости, в начале – середине 1960-х гг. В это время появляется цикл его стихотворений (1965-1969 гг.) на чувашском языке «ДАГЕСТАН, САРТ-ТУ ÇĔРĔ» [4, с. 174-181], в который включены стихи, посвящённые горским аулам Гуниб, Хунзах, Кубачи и др., а также переложения текстов особо любимых им поэтов – даргинца Омара Батырая (1831–1902), которого в Дагестане называют «отцом даргинской поэзии», и Махмуда из Кахаб-Росо (1872/73-1919), крупнейшего аварского поэта, автора знаменитой поэмы «Мариам»[4].

Что же касается «дагестанских» стихов Айги на русском языке, то они впервые появляются тоже в середине 1960-х. Приведём первый из известных нам текстов. Посвящается он двум аулам, названия которых более-менее на слуху, поскольку связаны с именем и деяниями легендарного имама Шамиля:

ИЗ ГУНИБА НА АХУЛЬГО

(Возвращаясь к дагестанским записям)

1. Г у н и б

свет
где Россия серебряной горстью
был – отсюда разорван:
тайною раной в Нерли-Излучении
есть
газават
2. В о с п о м и н а н и е

Нам тілько с а к л я очі коле:
Чого вона стоіть у вас.
(Тарас Шевченко, «Кавказ», 1845)

3. А х у л ь г о

темнеем сами («тут и там»)
в Молчании сверх-твёрдом
и камни гор опять слова страны
и вновь людопобьями-камнями
как из Духа

1964–1996[5]

В стихотворении Геннадия Айги наблюдается обратное течение времени. В 1839 г. укрепление на горе и два аула на её вершине (Новое и Старое Ахульго; название на русский язык можно перевести как «Набатная гора») стали надёжным укрытием и настоящей крепостью для предводителя горцев имама Шамиля и его верных мюридов. В течение двух месяцев они отбивали ожесточённые атаки русских войск. Силы были неравны и исход сражения, казалось, был предрешён. Но Шамилю удалось, в конце концов, с небольшой группой соратников, прорваться сквозь ряды осаждающих и уйти в Чечню. Битва при Ахульго, в которой, кстати, принимал участие и будущий убийца Лермонтова поручик Николай Мартынов, получила отражение в искусстве и литературе[6]. Спустя двадцать лет, в высокогорном ауле Гунибе, где поселился Шамиль со своей семьей, он со своими приверженцами (надо сказать, среди них были и русские солдаты – перебежчики) снова был осаждён русскими войсками во главе с главнокомандующим Кавказской армии, генерал-адъютантом князем Александром Ивановичем Барятинским. В результате длительной осады Шамиля, как известно, вынудили сдаться на милость победителю, и он «был подвергнут почётному пленению»[7]. Так что в этом тексте Айги взгляд «из Гуниба на Ахульго» – ретроспективный, повернутый вспять: «обратное течение времени».

Ещё девять стихотворений, так или иначе связанных с Дагестаном, включены самим автором в его знаменитую книгу «Отмеченная зима»: «Гимры»[8] (1965) [1, с. 119], «Знамена Гази-Магомеда» (1965) [1, с. 112], «В горах Аддала-Шухгельмеэр»[9] (1966) [1, с. 428], «Белый шиповник в горах» (1969) [1, с. 174], «Розы на Вацлавской площади (Памяти Яна Палаха)»[10] (1969) [1, с. 518], «Розы в горах» (1970) [1, с. 195], «Кахаб-Росо: могила Махмуда» (1970) [1, с. 184], «Прощальное: белый шиповник» (1972) [1, с. 207], «Сон: горы – все дальше от Кахиба»[11] (1978) [1, с. 317].

О своём знакомстве с Андреем Михайловичем Волконским (1933-2008) композитором, клавесинистом, органистом, основателем и руководителем ансамбля старинной музыки «Мадригал» (с 1965 г.; ансамбль исполнял произведения западноевропейского Возрождения и Средних веков, а также византийскую, южнославянскую и русскую музыку – вплоть до духовных концертов XVIII века), сыном князя М.П. Волконского Геннадий Айги рассказывал в интервью «Российской музыкальной газете»: «С Андреем я познакомился в 1956 году[12]. Мы втроём очень близко дружили: Андрей, я и его будущая жена Галина Арбузова-Паустовская. Помню, однажды у Паустовских мы с Галей беседовали о чём-то очень серьёзном, о судьбе… и тут пришёл Андрей. Неуклюжий, теряющийся без очков (у него сильная близорукость) человек с каким-то кьеркегоровско-андерсоновским взглядом. Я что-то „выкладывал“ в тот вечер, какие-то свои убеждения – и сказал: „Искусство вообще космополитично“. И тут он ожил: „Да, да, конечно,

как же иначе". Говоря тогда о космополитичном искусстве, я имел в виду безграничность искусства, его интернациональность.

Моим первым впечатлением о Волконском было восхищение им как человеком необычайно высокой культуры. В связи с ним слово „утончённый" кажется самым верным определением. <…>

В 58–59-м возникла моя группа, которую я называю „яковлевцами" – по имени художника Владимира Яковлева, который был её мотором и центром… <…>

…все мы чувствовали потребность в том, чтобы над нами возвышался некий абсолютный вкус – „абсолют" в кантианском выражении. Такой личности в нашем кругу не было (быть может, по таланту были, но по универсальности – нет) до появления Волконского. Его скальпельный ум сочетался с очень глубоким чувством человечности и высокой одухотворённостью. Он нас просто, так сказать, чистил. Помню, мне было достаточно, чтоб он сказал: „Это слово мне не нравится" для того, чтобы переделывать то или иное место в моих стихах. Он поражал всех прямотой и честностью в искусстве, а также необыкновенным артистизмом» [2, с. 10–11].

О том, какое значение для него самого и его близких друзей – Игоря Вулоха, Владимира Яковлева, Анатолия Зверева, Игоря Ворошилова и других художников имел Волконский – европейски образованный, прекрасно разбирающийся не только в музыке, но и в живописи и литературе, знакомящий Айги и его окружение с новейшими достижениями западного искусства – Г. А. писал неоднократно (см.: [3, с. 286], [5, с. 68]).

Андрей Волконский очень ценил Айги и дорожил своей дружбой с поэтом. В вышедшей через 2 года после его смерти в 2008 г. книге, состоящей из записей бесед с ним в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции (композитор, родившийся в Женеве в 1933 году и перебравшийся затем вместе с родителями СССР в 1947-м, вернулся в Европу в 1973 году и жил, в основном, во Франции) вспоминал:

«Поэзия – это возрастное. Когда мне было двадцать лет, я массу стихов знал наизусть, много читал. А теперь мне в голову не придёт читать стихи. Конечно, из-за музыки я к поэзии по-прежнему привязан, но уже нет такого тяготения.

В молодости я очень увлекался Хлебниковым, он был мой кумир, нравился как личность, и мне очень хотелось быть похожим на него. Я зачитывался им. Меня считали сумасшедшим, потому что я покупал огромное количество книг – купил полное собрание сочинений Хлебникова в 40-е годы, когда только приехал в Россию. Потом, в 60-е, это стоило невероятных денег, а раньше его никто не покупал.

Я лично знал Кручёных; познакомился с ним, а также с Митуричем[13], в связи с Хлебниковым. Мне было шестнадцать лет, и я тогда хотел найти все следы Хлебникова. Второй раз я встретился с Кручёных уже во второй половине 50-х годов. Он – замечательный поэт. <…>

Но главный мой друг был, конечно, Айги. Мы с ним были очень близки, дружили, даже путешествовали вместе[14]. Он всё время у меня бывал. А другие поэты были скорее знакомые, не могу их назвать друзьями» [7, с. 87].

Благодаря помощи князя Волконского Г.А., оставшийся без работы и едва сводивший концы с концами, смог устроиться и десять лет (1961-1971 гг.) проработал старшим библиографом и заведующим изосектором фондов Государственного Музея В.В. Маяковского. Очевидно, под влиянием музыки Волконского, его профессиональных знаний, пристрастий и предпочтений шло и формирование музыкальных вкусов Геннадия Айги.

В 1962 году Андрей Волконский сочинил «Жалобы Шазы» – четырёхчастный вокальный цикл для сопрано, английского рожка, скрипки, ударных и камерного оркестра на слова лакской поэтессы и певицы Шазы (настоящее имя Ахмедова Шаза дочь Мухаммада; 1868-1937) из дагестанского селения Куркли. Волконский узнал о ней из случайно купленной в одном из дагестанских райцентров антологии «Дагестанская народная поэзия». «Ужасная жизнь» Шазы, по выражению самого Андрея Михайловича, потрясла музыканта. Эту бедную девушку насиловали, она чудом избежала смерти, затем была плакальщицей на похоронах, зарабатывала на жизнь пением на свадьбах (на одной из них случайным выстрелом была убита дочь Шазы – певица прижала к себе мёртвую девочку, но не прервала песню), а впоследствии стала известной исполнительницей песен и поэтессой[15]. Для Волконского она явилась «символом дагестанской женской судьбы».

А судьбы двух близких друзей, столь разных и в во многом столь *равных*, – князя Волконского, основателя музыкальной авангардной музыки (с его произведений «Musica stricta», «Сюита зеркал» и «Жалобы Шазы» фактически началась история авангарда в СССР) и «экстраординарного поэта современного русского авангарда» (так называл Айги знаменитый лингвист Роман Якобсон), создавшего собственную оригинальную поэтическую вселенную, постоянно пересекались и переплетались. Сближали выдающихся художников Музыки и Слова и ставшие уже регулярными «кавказские» путешествия (в 1962-1972 гг.), и любовь к Франции и французской культуре, и, конечно же, общие интересы – в музыке, литературе и искусстве. Связь между ними не прервалась и с отъездом Волконского («невыездного» Айги начали выпускать за границу с 1988 года). Геннадий Николаевич рассказывал интервьюеру:

«Он снабжал нас материалами по Клее, Мондриану, доставал великолепные альбомы, словари. И первую „домашнюю выставку“ Кропивницкого[16] устроил тоже он. Часами мог переводить поэзию – просто для друзей. У меня сохранились кипы подстрочников Аполлинера и Рене Шара, которые он писал для того, чтобы ознакомить нас с неизвестной поэзией. Во всех устремлениях московских поэтов и художников конца 50-х – начала 60-х гг. главной личностью, объединявшей всех и расширявшей горизонты, был именно Андрей. В этом смысле – для меня нет сомнений – он сыграл историческую роль в нашей культуре. <…>

С Волконского же началось практическое вхождение в нашу культуру неизвестных пластов старинной и современной музыки – Джезуальдо, Шёнберга, Веберна. <…>

Это превосходный органист, клавесинист и пианист, со своими принципами исполнительства. Я был у него во Франции. Зашёл в Нотр-Дам и понял, что могу сравнить эстетическое впечатление от его знаменитых витражей с впечатлением от личности Волконского. Изысканность, лаконичность, грациозность – именно эти черты французского искусства присущи Андрею. <…>

…Он уехал в 1973 году. Недавно мы встретились в Париже, и я увидел зрелого, мудрого человека». [2, с. 10–11].

Ещё в 1962-м, в год создания «Жалоб Щазы» Геннадий Айги посвятил Волконскому стихотворение с «говорящим» названием «Заморская птица»:

отсвет невидимый птичьего образа
ранит в тревоге живущего друга

и это никем из людей не колеблемо
словно в системе земли
сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:
сердце – сечение – север

а рядом приход и уход
замечающих перья и когти
знающих гвозди крюки и столбы
не боящихся видеть друг друга

и надо на улице утром на шею принять
холод от стен и сугробов
и тайная фраза синичья
диктует сердечную славу всему

слава белому цвету – присутствию бога
в его тайнике для сомнений
слава бедной столице и светлому нищенству века

снегам – рассекающим – сутью бесцветья
бога – лицо

светлому – ангелу – страха
цвета – лица – серебра

Примечания:

[1] Режиссер-«вгиковец» и сценарист Виктор Григорьевич Зак, автор ряда документальных фильмов (например, «Песни синей птицы», 1974), был, судя по всему, человеком оригинальным и многосторонним: страстный путешественник, член Географического общества, переводчик Омара Хайяма, а также автор книги «Розовая чайка: Два путешествия на Индигирку. Записки кинорежиссёра» (М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1982).

[2] В браке с Г.Н. Айги у неё родились два сына: Андрей (1966 г.р.), коллекционер, музыкант, и Алексей (1971 г.р.) композитор, скрипач, лидер известного музыкального ансамбля «4'33». Н.А. Айги – искусствовед, художник, литератор, автор книги «Богомаз» (М.: Москововедение, 2013), посвящённой своему нынешнему мужу, известному живописцу Владимиру Маслову (с Геннадием Николаевичем они развелись в 1973 г.).

[3] В 1968 г. в Чувашии выходит антология «Франци поэчёсем» (Поэты Франции: стихотворения 77 поэтов XV – XX веков) в переводе Айги на чувашский; в 1974 г. Чувашское книжное изд-во выпускает подготовленную Г.А. антологию «Поэты Венгрии XV – XX веков», на чувашск. яз.; наконец в 1987 г., после долгого ожидания, увидела свет и антология «Поэты Польши XV – XX веков», тоже на чувашском; составитель Г. Айги.

[4] Стихи Батырая Айги часто цитировал в переводе на русский Эффенди Капиева, особенно текст, начинающийся строками «Телеграфный столб в пути – / Гордо поднятый твой стан…» (Песни народов Дагестана. Антология. В двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 298). А Махмуду он посвятил стихотворение под названием «Кахаб-Росо: могила Махмуда» (1970).

[5] Цитирую по парижскому изданию Н. Дронникова, поскольку ни в Собраниях сочинений, ни в других изданиях Айги это стихотворение обнаружить не удалось: Айги Г. СЛОВО-ВОРОНА. Книга вторая. Из Гуниба на Ахульго. Стихи разных лет. Париж: Изд. Н. Дроннникова, 1998. Тираж 70 экз.

[6] Стоит упомянуть хотя бы панораму «Штурм аула Ахульго», созданную в 1880-1890 гг. в Мюнхене художником Францем Рубо, и роман под названием «Ахульго» (Махачкала, 2008) Шапи Казиева, автора монографии, посвящённой Шамилю.

[7] Событиям, предшествовавшим сражению, самой битве и дальнейшим событиям, связанным с имамом Шамилем, посвящено столько воспоминаний, художественных произведений, картин etc., что их перечисление заняло бы слишком много места.

[8] Гимры (Гимри) – дагестанский аул, родина Шамиля и Гази-Магомеда, первого имама Дагестана и Чечни.

[9] Аддала-Шухгельмеэр – одна из самых высоких гор Дагестана (третья по высоте: достигает 4151 метров над уровнем моря). Местные жители называют её Каббала. Стихотворение предваряет эпиграф из «Утеса» М.Ю. Лермонтова («Ночевала тучка золотая…»).

[10] Райнер Грюбель, известный немецкий славист, предложил оригинальную интерпретацию этого стихотворения. Исследователь берёт за основу знаменитую элегию М. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), перебрасывая к ней, а точнее к заключительной строфе элегии («И снилась ей долина Дагестана; / Знакомый труп лежал в долине той; / В его груди дымясь чернела рана, / И кровь лилась хладеющей струей»), ниточку от «Розы-Сна» из последней строки текста Айги: «я Роза-Сон: я на твоей груди» [6, с. 44].

[11] Кахиб – крупный дагестанский аул.

[12] Л. Робель относит начало этого знакомства к 1959 году [8, с. 198], но я все же склонен больше доверять «первоисточнику».

[13] Имеется в виду Петр Васильевич Митурич (1887-1956), график, живописец, теоретик искусства, изобретатель; в начале 1920-х гг. – близкий друг, впоследствии – душеприказчик поэта Велимира Хлебникова.

[14] В другом месте книги Е. Дубинец А.М. Волконский писал: «Мы с Айги вместе купили в Дагестане дом необыкновенной красоты. Там была резная дверь XVIII века, и планировка была необычная: одна большая комната в виде трапеции, а другая – треугольная. Так получилось, что ни Айги, ни я там ни разу не ночевали. Я разрешил какой-то старушке там жить и охранять дом. Она, наверное, скончалась. Не знаю, что стало с этим домом». [7, с. 94].

[15] Щазу называют «классиком лакской литературы». В Дагестане широко отмечалось 150-летие со дня её рождения. К юбилею был издан сборник «Щаза из Куркли Долгое эхо» (М., 2018). В нём представлены песни Щазы и их переводы, опубликованные ранее на лакском и русском языках, статьи писателей и литературоведов, посвящённые творчеству лакской поэтессы.

[16] Кропивницкий Евгений Леонидович (1893-1979) – поэт, художник, композитор, глава лианозовской группы, объединявшей в 1950-1960-е гг. в Москве независимых / неподцензурных художников и поэтов.

Литература:

1. Айги Г. Отмеченная зима: Собрание стихотворений в двух частях. Издание подготовила В. К. Лосская. Предисловие Пьера Эмманюэля. Париж: Синтаксис, 1982.

2. Айги Г., Адаменко В. Судьба Андрея Волконского // Российская музыкальная газета, 1989, № 6. С. 10–11.

3. Айги Г. Н. О назначении поэта (Разговор с Галиной Гордеевой) // Айги Г. Н. Разговор на расстоянии: Статьи, беседы, стихи / Сост. Г. Айги, А. Мирзаев. СПб.: Лимбус Пресс, 2001. Впервые опубликовано в «Лит. обозрении». 1990. № 4.

4. Айхи Г. Сырнисен пуххи [Т. 1]: [Сăвăсемпе поэмăсем, кусарусем] / Г. Айхи ; [Н. А. Сельверстрова, Е. Н. Лисина пухса хатĕрл.]. Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2008.

5. Геннадий Айги – Владимир Яковлев. Дружба, творчество, сотворчество. Произведения художника Владимира Яковлева из собрания художника Геннадия Айги. М.: Виртуальная галерея, 2004.

6. Грюбель Р. Молчание о листопаде – новый псалом. Несколько слов об аксиологии литературы и о поэзии Айги // Литературное обозрение. 1998. № 5/6. С. 42-46.

7. Дубинец Е. Князь Андрей Волконский. Партитура жизни. М.: РИПОЛ классик, 2010.

8. Робель Леон. Айги / Перевод с французского О. Северской. М.: Аграф, 2003. С. 60-61 (первое издание: Robel Léon. Aïgui / Coll. dirigée par B. Delvaille (Poètes d'aujourd'hui). Paris: Seghers, 1993).

«СЕТЧАТКА»

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ДРЕВНЕРУССКОЕ ПРЕДХРИСТИАНСТВО»

(СПб.: Алетейя, 2020. – 350 стр., 150 ил.)

ОБРАЗ НЕБА

Ежегодное умирание и оживание природы отразилось в образах русской речи, связанных с жизнью растительного мира. Минувшие времена называли «былыми» – подобными *былью* «траве, былинке», «древними» – словно *одеревеневшими*. Время растворялось в окружающем мире, отождествлялось с памятью, шло подобно путнику по бесконечной круговой тропе: прошлое – «минувшее», настоящее – то, что «стоит перед глазами», будущее – «наступающее» и вместе с тем возникшее из прожитого – *бышащее*.[1]

Текущее время было неуловимо, его мимолётные *минуты* «минующие» исчезали без следа, так же называли их древние индийцы: *minatíh* «исчезающий». Предельно малая величина называлась *мигом* (позже *мгновением*) – от глагола *мигать*. Столь же неосязаемым являлось предельно большое время – *вечность*.[2] Древнее сближение *вѣжда* «ресница» и *вѣжда* (*вѣжа*) «ведающий, знающий» (от в отличие от *невѣжды, невѣжи*) не лишено смысла. Глагол *вѣдать,* восходящий к индоевропейской основе **u̯eid-* «видеть, знать», сохранил два значения. Одно из них родственно греческому *εἶδος* «вид» и латинскому *video* «вижу», другое – санскритскому *véda* «знаю, ведаю», с которым родственно древнеиндийское *védiyā* «чародейство» и древнерусское *вѣдь* «знание, колдовство».

В языке и сознании прарусов существовала и третья смысловая цепочка: *вѣко* (множественное число *вѣжды*) и *вѣдь* «покрытие, крышка». *Вечное* время постигалось лишь разумом и было скрыто от глаз словно *вѣком* «покровом» – человеческой жизнью. Такое сближение основывалось на образной связи *вѣкъ – вѣко*. Возможно, слово *увечный* относили не только к калеке, но и к «духовно слепому», «не ведающему вечного» *человеку*, поскольку само это слово означало «чело ведающее» (разумно видящее) и потому причастное к вечности.[3] Связь понятия «незримого времени» – *мига* и *вечности* – с идеей духовного зрения, *видения-ведения* подтверждают пережившие века слова *умозрение* и *созерцание* «рассматривание отражения в *зеркале* сознания» (это слово нельзя считать переводом латинского *contemplatio* «прицеливание, рассматривание»).

В эпоху бронзового века «земное» понимание времени, уподобленное жизни растительного мира, сменилось восприятием небесного «кругового времени» – образом *вечности*, в которой отражался *век* человеческого бытия. Само небо, незыблемое в непрестанных, следующих по великому кругу изменениях, внушало веру в посмертное продолжение жизни. Месячное движение луны и годовое солнца менялось от новолуний к полнолуниям, от равноденствий к солнцестояниям. Временами лики этих светил затмевались, рождая страх грядущих бедствий. Неизменным в своём едва зримом движении оставалось лишь звёздное небо.

От весеннего равноденствия до *Радоницы* звёздно-млечная *Русь*, спускаясь к земле, низко текла по северному небосводу с запада на восток и словно орошала землю живительными росами. К дням летнего солнцестояния её воды поднимались в высь, русло поворачивалось на небосводе и текло с севера на юг. Туда же устремлялись священные реки, чтобы на краю земли достичь неба. В пору осеннего равноденствия *Русь* поворачивала на запад и плыла в высоком поднебесье, соединяя точки восхода и захода солнца, будто сияющая дуга – след от дневного движения светила. В дни зимнего солнцестояния «небесная река»

опять поворачивала к северу и опускалась над землёй. Казалось, её воды ждали весны и готовились снова устремиться к земле.

Мысль о вращении заложена в индоевропейскую основу *u̯ertmen- слова *время* «время». К ней восходит глагол *вертѣть*, родственный древнеиндийским *vartaté* «поворачиваться», *vartayati* «вращение» и латинскому *vertére* «вертеть, поворачивать». Представление о «кругового времени» породило древнейший образ «небесного веретена», к нему восходят древнеиндийское *vártanam* «вращение, прялка», средневерхненемецкое *wirtel* «пряслице», древнерусское *врѣтено, вырѣтено*. Благодаря чередующимся гласным *o, i, e*, индоевропейский корень *u̯ert- получил ряд сходных осмыслений в латинских *verto* «вращать, вертеть» и *vorago* «пропасть, омут, водоворот», в немецком *wirbel* «вихрь, водоворот», в старофранцузском *virevaude* «водоворот», в английском *veering* «поворот», в древнерусских *ворота* и *виръ/ выръ* «водоворот, пучина».[4]

Мифопоэтическое мышление соединяло цепочку слов *вир-вертеть-выръй* и рождало представление о вращающейся небесной бездне. Днём её скрывало солнечное сияние, ночью она проступала россыпями звёзд. Время соединялось с коловращением светил и стихий надземного мира, в глубине которого свивались кольцами нити человеческих жизней. Они словно накручивались на мировую ось, «верстались» – откуда древнерусское *вырста* «пора, возраст» и позднейшее *сверстник* «ровесник».

Другой образ – «небесного колеса» – был связан с индоевропейской основой *kolo-. В древнерусском она породила слова *кола* «повозка», *колоб* «шар, колобок», *колач* «калач, круглый хлеб». Тот же корень сохранился в старинных названиях солнечного и лунного круга *коло* и открытого пространства: окрестные дали в народе называли *коломéнь*, а открытое море или небо – *голомéнь*. Иначе именовали безмерную ширь и глубь: *пучина*. В XI веке этим словом определяли «ширь, пространство, беспредельность», а также «море, водоворот, стремнину, глубину».[5] Вероятно, в древнерусскую эпоху образ *пучины* связывался с представлением о небесной бездне, которая словно *пучилась* – летела в глаза.

Небеса вращал *Сварог*. В кружащемся и отовсюду ограждённом *вертограде*, на незримой вершине он вершил судьбы мира. Древние римляне называли эту точку *vertex* «водоворот, центр вращения неба, темя, макушка». В белорусском *вротопъ* «водоворот» сохранилась архаичная форма древнерусского слова *вертепъ* «пещера, пропасть», в котором уже исчезло представление о вращении, а образ водно-небесной глуби по законам символического соответствия сменился на прямо противоположный – глубины земной.

Возможно, небесную обитель *Сварога* именовали *варáжа* – так в северорусских говорах называли «яркое скопление звёзд». Если учесть чередование гласных в основе *vr-, то к тому же корню следует отнести слова *вир*, *вóрот*, *ворóба* «циркуль у зодчих», *воронá* «отверстие в корме судна», *воронка, ворон*.[6] Небо увенчивала слепящая *зѣница* – источник божественного *зрения* и *знания* – оба эти слова роднит по смыслу основа *zn-. В пучине небосвода, в сияющей *тьме*, которую древние индийцы называли родственным словом *támas* «мрак», пытались разглядеть небесное *темя,* завивающееся *посолонь*, словно на человеческой голове.

Незримая обитель *Сварога* находилась в *ирии (выръи)* – обители вечной жизни. Небеса опоясывало проступавшее по утрам и вечерам зарево кругоземной *Сиян-реки*. На *макушке* «маковце» северного неба недвижно сияла звезда *Кол* (Полярная звезда), ось мира. Так называемый *коловрат*, знак вращающегося *посолонь* неба, стал обозначением древнерусского календаря – *солнечного коло*.

Восприятие небосвода, как вращающегося или вращаемого, являлось очевидным и потому общим для многих древних космологий и мифов. К нему восходит образ небесных жерновов, известный Библии, древнеиндийскому эпосу, античности, средневековой Европе, финской легенде о Сампо и др. В русских сказках «Петух и жерновцы», «Жернова, или ручная мельница» сохранился мотив найденных на небе «золотых, голубых жерновцов».[7] Солнце и небеса, кружась, перемалывали время в сверкающие миги, в звёздную пыль, которые ночью клевал ворон, а днём петух – древняя солнечная «жар-птица».

По всей видимости, *вóрона* с чёрным сверкающим оперением прарусы считали птицей небесной пучины. В древнерусском *воронъ* можно видеть выразительно слитые индоевропейские основы *vor- и *orn-, которые рождали образ вращения, кружения в небесах. Производным от *ворон* было название *жаворонка* – искажённое «жар-ворон(ок)», «гай-ворон(ок)», «играющий» *воронок*. Эта радостно поющая, быстро порхающая и словно висящая в небе птица считалась райской вестницей и получила в народе название *вырей*.[8]

В русских былинах и сказках «Ворон Воронович», «Иван-Царевич» и целом ряде иных *ворон* превосходит человека мудростью и возрастом, связан с потусторонним миром, знает об источниках «живой и мёртвой воды», способен исцелить смертные раны и воскресить умершего. Эта «птица вырия», как и *воронóй конь*, считалась вещей, пророкала человеку *судьбу* «суд Божий» – *долю*, суженую небом. Не случаен *иссиня-чёрный*, «вороной» цвет их обоих.[9] *Зловещим* ворона стали считать лишь в эпоху средневековых суеверий. Точно так же отторжение и забвение древних представлений превратило мир *ворожащего* «вращающего» небеса *Сварога-ворожея* во «вражий», от названия небесного *вырия* стали выводить колдунов-*выреев*, которые *вырят* «нашёптывают зло».[10]

Примечания:

[1] Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. В четырёх томах. М.: Книга, 1989, Т.I, Ч.1, С. 210.

[2] Слово *вечный* производят от древнерусского вѣкъ «сила, жизнь, деятельность» и сравнивают с *увечный* «немощный», такое понимание относится лишь к деятельной жизни человека и противоречит смыслу слова *вечное*. Ср.: Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. В четырёх томах. М.: Прогресс, 1966-1973, Т.I, С. 286.

[3] Отождествление древнего века со «столетием» произошло не ранее XVI века.

[4] Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. В четырёх томах. М.: Русский язык. 1989-1991, Т.1, С. 206.

[5] Срезневский И.И. Цит. соч., Т.II, Ч.2, С. 1742.

[6] Даль Владимир. Цит. соч., Т. 1, С. 165.

[7] Народные русские сказки А.Н. Афанасьева, Т.I, С. 19, Т.II, С. 35-36. Слово *жернов* происходит от праславянского *žrъnovъ «ручная мельница», родственного древнегреческому γύρος «круг».

[8] Даль Владимир. Цит. соч., Т. 1, С. 310.

[9] Неверно утверждение о том, что первоначально слово *ворон* означало «чёрный»: это прилагательное является производным от праславянского *čьrnъ, синонимом слова вороно́й и атрибутом птицы ворон. Ср.: Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. В двух томах. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1959, Т.I, С. 97.

[10] Даль Владимир. Цит. соч., Т. 1, С. 311.

МАТЬ-СЫРА-ЗЕМЛЯ

Образ *Земли-Матери* восходит к эпохе индоевропейского единства. Имя древнегреческой Деметры (от *Δηώ-μήτηρ*) означало «земля-мать», её олицетворениями, родственными древнерусскому *землѣ* являлись фракийская Семела (*Σεμέλη*) и Жемина (*Žemyna*) литовцев. Близкими по смыслу образами земли-матери являлись Притхиви (*Prthivī*) индусов, Ардвисура Анахита (*Arsdvī Sūrā Anāhitā*) иранцев, Церера (*Cerēs*) римлян, Нерта (*Nerthus*) германцев. Слово *земля* одного корня с древнеперсидским *zam,* прусским *semme,* литовским *žẽmė*, латышским *zẽms*. Древнерусская культура, вобравшая в себя праславянскую и индоевропейскую архаику, наиболее полно, по сравнению с южно- и западнославянскими, сохранила образ *Земли-матери*.[1] Есть все основания говорить об особом «словаре Земли» и архаичном «тексте Земли», который включал в себя сотни слов и выражений.[2]

Древнейшие верования основывались на представлении о единстве и святости неба и земли, которые сходились «у края мира». Земные реки притекали с неба и к нему восходили. Чтобы стать *матерью*, земля должна была *усыриться* небесной влагой, омолодиться после зимнего умирания. Прилагательное *сырой* понималось не только «влажный», но и «свежий, зелёный», а глагол *сыръти* носил значение «свежеть, молодеть».[3] Почитание праславянами *Мать-сырой-земли* входило в целостную картину мира, чуждую противоположностей уранического и хтонического начал и возникшему позже так называемому «основному мифу» об их противостоянии. Супружеская связь являлась не противоборством, а союзом небесной «выси» и земной «низи»,[4] к нему восходил архаический образ **рождающей глуби** небес и земли – источника всеобщего бытия. С *утра* в *утробе* неба согревался мир, *теплая* земля *топила* – поглощала и грела – в своём чреве всё живое. Она *погребала* тела умерших и воскрешала их души, восходившие к свету подобно весенним росткам.

Обряды почитания умерших, их захоронений и возделанных полей были неразрывно связаны и восходили к раннеземледельческой эпохе. Земля с родовых могил и *нив* содержала прах покойных *родителей*, считалась *родной*, *родиной*. Спустя века на Руси кладбище продолжали называть *родительской землей, боженивкой*. Горсть земли с молитвой бросали в могилу в надежде на покровительство *родной земли* над умершим. Простираясь на захоронениях и целуя землю, оплакивали покойных и будто соумирали с ними. Уезжая на чужбину, хранили в ладанке-мешочке рядом с наперстным крестом щепоть земли предков, возвращаясь – целовали её и высыпали на погост с «земным поклоном». Горстку, взятую с родной могилы, прикладывали к сердцу, отгоняя «душевную тоску», считали оберегом от злых духов. В народе говорили: «Землица с семи могил добрых людей спасёт от всех бед». Глотая щепоть праха с семейного захоронения или возложив на темя *землину́* «кусок дёрна», клялись «нерушимой» клятвой.

Родовое кладбище, или *кладо́вище* вокруг святилищного *огня-Гостя* называли *погост*. Существовало множество иных его названий, что говорит о первостепенной важности погребальных обрядов: *горка, горица, город, городок, городище, буй, буйвище* (от древнерусского *буй* «гора»), *жальник, борок, курган* (из древнетюркского *kurγan* «крепость»), *скудельница* (от *скудѣль* «глиняный сосуд», в котором погребали останки сожжённых), *крутица, красница, могильница*…

Древнерусское *могыла*, *могила* «погребальный холм» образовано от праславянского **mogǫ-* «высокое место»[5] и восходит к индоевропейской основе **mg-* – вместе с древнерусским глаголом *могу/мочь*, древнеперсидским *magūš* «сильный, мощный; жрец», греческим *μάγος* и латинским *magus* «маг, чародей, жрец», а также с санскритским *maha*, древнегреческим *μέγας* и латинским *magnus* при общим значении «великий, большой». От той же основы произошло имя волшебной птицы *Мага*, *Магай* в северорусских и сибирских сказках. Весь этот смысловой ряд позволяет сблизить древнерусское *могила* со словами *могуч*, *могач* «силач», *мощь* и *мощи*. Верили, что в *мощах* родителей воплощалась их посмертная *помощь*. Впоследствии

на Руси *мощами* называли нетленные останки православных святых, от которых исходят благодатные силы.

Прарусы, как и германцы, считали унаследованные от предков земли, «землею отцов» (Vaterland). Исконное значение слова *отчизна*, состоящего из индоевропейских основ **at-* «отец» и **ĝ(e)nō-* «рождать, знать», следует понимать, как «родину отцов» или «знание отцов» – место памяти и почитания предков. Свою землю древние русы именовали *светорусьем*, считали «пречистой», «светлой». Её называли *родимой* ещё и потому, что она *родила*, *урожала* хлеба и плоды, принося *урожай*. Земля-роженица «не принимала» убийц, самоубийц и призывавших злых духов *ворожей* (от слова *ворогъ*), на Руси их хоронили в глубоких оврагах и закладывали камнями, колодами и ветками, чтобы земля оставалась «чистой». После еды в поле селяне вытирали о землю руки. *Мать-сыра-земля* очищала от скверны, исцеляла от недугов. Родной землёю лечили кровавые раны. Выйдя на поле, молодые крестьяне для очищения от грехов катались по *нивам*, пожилые простирались *ниц*. Глагол *никнути* означал «проникать, вырастать», чередование двух действий – *приникати* «припадать, опускаться» и *возникати* «вырастать, восставать» – создавало образ воскресения посеянных семян и человеческой души.

Незримую связь неба и земли олицетворяла *Мо́кошь* – одна из ипостасей *Сварога*.[6] По древнерусским поверьям, она была лишена лица, её тень вздымалась от земли до неба. На русских вышивках XVIII-XIX веков *Мокошь* изображали условно – в виде огромной женщины с лучистым солнцем (или крестом в круге) вместо головы – и отождествляли с «весной». Вероятно, её первоначальное имя **Мо́гочь/Мо́кочь*, которое при оглушении превратилось *Мокошь*, восходило к праславянской чередующейся основе *mogǫ/mokti* «могу/мочь»[7] и означало «могучая», «могущая». Неубедительно в фонетическом и смысловом отношении его сближение со словом *мокрый*,[8] производными от которого, наряду с *мо́крядь, мокрота́*, является народное название *Мокриды* «затяжные летние дожди без солнца», их опасались и сетовали: «Прошли бы Мокриды, и то будешь с хлебом».[9]

Силу *Мокоши* олицетворяла не столько сырость, сколько «живой» *пар* от *преющей* под солнцем влажной земли, её острый запах. Первичным значением глагола *пръти* «потеть, гнить», родственного древнегреческому *πρήθω* «вздувать (огонь), зажигать», являлось «источать *испарину*, пот (от глагола *печь*)», «прорастать в тепле». Под действием *Мокоши* всё живое получало способность *воспарять*: из земных недр *воспревали* «вырастали» хлеба, из тела *воспревала* «возносилась к небу» душа. Под словом *пар* некогда понимали «душу, дух, жизнь, животную теплоту»[10], его производные образуют длинный ряд: *парник*, *испарение, паренина* «поле, оставленное *под паром*», *пару́н* – «невыносимый зной». *Парным* называли молоко и мясо, свежесобранный мёд и крепкий квас. Лишь ударением отличались некогда родственные глаголы *парить* «лететь, витать над землёй, словно пар» и *па́рить* «греть (о влажном солнцепёке), высиживать птенцов, вырастать (о грибах)».

Веру в нераздельность неба и земли сохранили русские поговорки и духовные стихи: «Не земля хлеб родит, а небо», «Земля – мать сырая! Всем, земля, ты нам отец и мать!». В Средние века *Мать-сыра-земля* выступала судьёй, наряду с христианским «Отцом небесным». Отсюда исходил обычай «исповеди земле», отразившийся в народной традиции, в устной и письменной словесности. В духовном стихе «Непрощаемый грех» звучали покаянные слова:

Уж как каялся молодец сырой земли
«Ты покай, покай, матушка сыра земля!
Есть на души три тяжки греха /…/.

Вероятно, ещё в эпоху предхристианства произошло соединение образов *Мать-сырой-земли* и Богородицы. Русам были чужды представления о «великом горе» и «страдании» земли. В непрерывном круге её бытия, словно в жизни матери-кормилицы, видели чередование весенне-летней радости и осенне-зимнего покоя. В народных преданиях говорилось о воскресающей на *Радоницу* «красной» земле, «земле-именинице» и её безмятежном осеннем *успении*. В рождественских колядках до последних времён истово пели:

Радуйся, ой радуйся, земле!
Наш Бог народился!

Постепенно образ «радостной», всерождающей земли превратился в «скорбный». Средневековые тексты настаивали на *страсти* и *плаче* Земли, уподобляя её Богородице, страдающей в родах и оплакивающей распятого Христа. В.Н. Топоров, говоря о «народном богословии» и высокой поэзии в почитании Земли[11], справедливо утверждал: «главное наследие языческого культа Земли состояло в такой сублимации и одухотворении этого образа, которое обеспечило дальнейшее соотнесение Матери-Земли с Богоматерью через общие для них переживания – великой радости материнства и великого горя, страданий, утраты».[12]

Примечания:

[1] *Топоров В.Н.* К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери // Балто-славянские исследования 1998-1999. Вып. XIV. М.: Индрик, 2000, С. 244.

[2] Там же. С. 271.

[3] *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка. М.: Книга, 1989,Т. II, Ч.2, С. 878.

[4] Ср.: *Топоров В.Н.* Цит. соч., С. 261.

[5] *Фасмер Макс.* Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1967, Т.II, С. 635.

[6] *Байдин Валерий.* Под бесконечным небом. Образы мироздания в русском искусстве. М.: Искусство – XXI век, 2018, С. 33-34.

[7] *Фасмер Макс.* Цит. соч., С. 667.

[8] Имя *Мокошь* связывают с «мокрый, мокнуть», хотя в нём отсутствуют согласные *-р-* и *-т-*, но несомненно, родственным ему является праславянское **mokos* «прядение». *Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.* Мокошь // Славянская мифология. М.: Эллис Лак, 1995, С. 265.

[9] *Сахаров И.П.* Сказания русского народа. М.: Художественная литература, 1989, С. 289.

[10] *Даль Владимир.* Цит. соч., Т. 3, С. 20-21.

[11] *Топоров В.Н.* Цит. соч., С. 273.

[12] Там же. С. 272.

«БОГИ» КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

При рюриковичах начался упадок древнерусской свето-солнечной религии. На Русь стало проникать иноземное многобожие. Вероятно, уже в IX веке при великокняжеском дворе был принят обычай изготовления «болванов» (реконструируемое праславянское **bьlvanъ,* вероятнее всего, произошло от шведского *bulván* – «соломенное чучело»).[1] Устрашающая мощь и примитивное человекоподобие скандинавских богов было несовместимо с верованиями русов.

Язычники-скандинавы помогли Владимиру в 978 году свергнуть родного брата Ярополка, сочувствовавшего христианам, и захватить Киевский престол. Спустя два года князь Владимир попытался создать «русско-варяжскую» религию по скандинавскому образцу, с болванами и жертвами. Под 980 годом в «Повести временных лет» было записано: «И нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребряну, а ус злат, и Хърса, Дажбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь». Несомненно, сказание о крещении Руси в «Повести» было приведено в соответствие с потребностями тогдашнего государства. Принятие православия объяснялось отказом от язычества в пользу греческого единобожия, древнерусскую веру вслед за византийцами осудительно называли «поганым многобожием», подобным эллинскому. Число Владимировых «богов» не соответствовало ни священной для русов девятерице, ни восьмичастному устройству солнечного святилища, что говорит об искусственности великокняжеского святилища. Принятый лишь верхушкой власти сонм «богов», представлял под различными прозвищами и в разных ипостасях единое божество, имя которого было запрещено произносить ещё с предшествующих времён. Не случайно «Повесть» ничего не говорит о *Сварoге.*

К тому времени его почитали под именем *Перун*, которого называли «Первун» и считали главным «молниевидным» проявлением божества. Слово *Перунь* родственно литовскому *Perkūnas*, древнепрусскому *Percunis* «гром», санскритскому *parjánya* и древнегреческому *κεραυνός* «грозовая туча, молния». Древнерусский глагол *пера́ти* «лететь, парить» неотделим от слов *перо* и *пырь* «огонь костра, искры» и мог относиться к существу, «летающему на огненных крыльях». Индоевропейская основа **per-* «производить на свет, рождать» позволяет видеть в *Перуне* олицетворение порождающей силы *Сварога*, которого в этом качестве именовали *Род* «рождающий, родной». Упоминание в «Слове об идолах» (XII в.) «жертв», якобы приносимых русами «Роду и рожаницамъ перѣже Перуна, бога их» подтверждает связь этих имен.[2] Существует предположение, что *рожаницами* в Средневековой Руси называли планеты, влияющие на судьбы людей, и связывали их с *Родом.*[3]

Древнерусский монотеизм отвергал изображения божества. Строгий центризм святилища в Перыни под Новгородом указывал на почитание *Перуна* как проявление божественного первоначала. Возможно, его внешний вид князь Владимир позаимствовал у балтийских славян-язычников: в святилище Кореница на острове Рюген бог побед *Черноглав* изображался с серебряными усами, а идол *Триглава* в Волине был покрыт золотом.[4] Спустя восемь лет великокняжеское святилище было разрушено. Вслед уплывавшему вниз по Днепру идолу *Перуна* киевляне со смехом кричали: «Выдыбай!», что значило «выплывай, вставай!». Народ не принял Владимировых «богов», об истинных верованиях русов говорили лишь древние прозвища единого божества, волею князя перенесённые на варяжских *болванов*.

Важнейшей ипостасью *Сварога* являлся «стремительный» *Стри́бог* – олицетворение скорости и ветра, властитель небесных стихий и надземного пространства. Слово *бы-стрый* сохранило связь с санскритским *stri-* «распространять, покрывать» и производными от него *prastri* «простирать», *prastára* «простор», почти неотличимыми от слов *простирать*, *простор*. Древнерусский поэт в «Слове о полку Игореве» называл ветры «стрибожьими внуками».

Ещё одним олицетворением *Сварога* являлся *Даждьбог*. Его имя – краткая молитва о насущном: «Дай, дарующий!». На такое истолкование указывает значение слова *бог,* родственного с древнеиндийским *bhága* «одаряющий, господин», авестийским *baya* «господь, бог» и древнерусским *багáтье* «хранящийся под золою огонь» – этим главным *богатством* общины в доисторические времена. *Даждь-бог* считался подателем и другого высшего *блага* – живительной небесной *влаги*. Спустя полтора тысячелетия *благодатью* в народе продолжали называть тёплый летний дождь, пронизанный солнечным светом. В христианскую эпоху, но с иным значением, это слово вошло в церковный обиход.

Имя *Хорс* (*Хóрос, Хрос, Хрес*) относилось к наиболее зримому воплощению *Сварога* в виде круглого солнца. Слово *хърсъ*, в древнерусском произнесении *хоршь*[5], родственно новоперсидскому *xuršēt*/*xōršet* «сияющее солнце». У праславян основа **хор-* носила значение «круг», сохранившееся в слове *хоровод* (от *вести хóро* – подражать в круговом движении вращению солнца), для греков созвучное *χορός* означало «хороводный танец с пением». С именем *Хорш*/*Хорс* можно сблизить прилагательное *хорош, хороший,* которому в осетинском соответствует *xorz* «хороший», в авестийском – *hvarəz* «благодетельный».[6]

После перехода предков русов к единобожию, свето-солнечная религия вобрала в себя хтонический по происхождению культ «волосатого» медведя – *Велеса*. Его образ превратился в лунное воплощение *Сварога*, в *первого сварожича*, или *барина*. Народ именовал Луну «медвежье солнышко».[7] Её холодный властный свет завораживал, отражался в воде (позже – в зеркале), лучи тонули в толще вод, светили русалкам и утопленникам, проникали в души живых, вызывая сонные, «несусветные» видения. В народе полагали, что Месяц, ежедневно умирая, спускается под землю, словно медведь, и, воскресая, возвращается на небо. *Велес* властвовал над подземно-подводным миром. С этим именем связывались слова *велий* «великий» и *белый*, *блистающий*, если учесть соответствие древнерусского *вел҃ѣти* «повелевать, говорить», которое относили к *ветúям* «поэтам, предсказателям», а также древнеиндийского *bhālam* «блеск».[8] «Велесовым внуком» был назван певец Баян в «Слове о полку Игореве». Почитание медведя-воскресителя стойко сохранялись у воинов, а медведя-покровителя у *вóлохов* «пастухов». *Волхование* означало поклонение «волохатому» *Велесу,* покровителю лесных зверей и домашних животных. Вероятно, поэтому князь Владимир не включил его в придворный «пантеон», а средневековые летописцы пренебрежительно называли «скотьим богом».

Мокошь олицетворяла небесно-земную жизненную силу – влажную и тёплую *мощь,* исходящую от *Сварога* к *Мать-сырой-земле* с солнцем и дождями. «Могучая» *Мокошь* впоследствии перевоплотилась в *святую Пятну*, *Пятницу*. Упоминаемый во Владимировом святилище *Семáргл* (*Семарьгл*, *Симаргл, Сѣмарьгл, Сѣмъ* и *Регль* и др.), имя которого восстанавливается как **Семерогла́в*, вероятно, представлял собою лишь внушающее страх существо, быть может, связанное с подземно-подводной силой, враждебной человеку и сравнимой с многоголовым пещерным Змеем русских сказок или водяной Гидрой древнегреческих мифов.[9]

В первые века нашей эры религия обожествлённого света, составлявшая суть прарусского единобожия, нашла своё утверждение и одновременно отрицание в евангельской проповеди. Для древних светопоклонников слова Христа «Азъ есмь свѣт мiру, ходяй по мнѣ не имать ходити во тмѣ, но имать свѣтъ животный» (Ин. 8:12) стали величайшим откровением. Обращение апостола Павла к Солунянам «вси бо вы сынове свѣта есте» (1 Фесс. 5:5) не могло не поразить и было воспринято, едва ли не как призыв свыше. Понадобилось несколько столетий, чтобы Богом, сотворившим мир словами: «да будетъ свѣтъ!» (Быт. 1:3), русы признали не светодавца *Сварога*, а библейского Творца.

Таинство «оглашения» народа происходило в языке и сознании. Семена христианства прорастали сквозь толщу праотеческой веры. Старое превращалось в новое. Это движение навстречу православию, составлявшее суть древнерусского предхристианства, завершилось всенародным крещением при князе Владимире.

Примечания:

[1] Ср.: Фасмер Макс. Цит. соч., Т.I, С. 329.

[2] Цит. по: *Гальковский Н.М.* Цит. соч., С. 24.

[3] См.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.* Волосыни // Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, С. 128. В. Даль уточняет: *рожани́ца, рожда́ница* – это «рок, судьба, жребий, доля», «прирождённые» человеку. *Даль Владимир.* Цит. соч., Т.4, С. 10-12.

[4] *Фамицын Александр.* Божества древних славян. СПб.: Типография Э. Аргольда, 1884, С. 7-8.

[5] *Абаев В.И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М.: Наука, 1965, С. 115.

[6] М. Фасмер неубедительно предполагает происхождение *хороший* от *хоробрый* и отвергает связь /*Хорш*/ – *хороший* – *Хорс* на том основании, что полногласная форма *Хорось* «не засвидетельствована», однако очевидно, что поздние письменные свидетельства не могут подтвердить или опровергнуть существование древних устных форм. *Фасмер Макс.* Цит. соч., Т.IV, С. 267.

[7] *Даль Владимир.* Цит. соч., Т.2, С. 312.

[8] *Фасмер Макс.* Цит. соч., Т.I, С. 104.

[9] См.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.* Семаргл // Мифы народов мира…, Т.2, С. 424-425; впоследствии В.Н. Топоров теоретически признал возможность иранской этимологии. *Топоров В.Н.* Из «русско-персидского» дивана. М.: Индрик, 1995, С. 178, примеч. 22. Нет убедительных оснований видеть в *Семаргле* птицеподобное существо *Симу́рг* или химерическую собакоптицу *Сэнму́рв* древнеиранских верований. Гипотеза о происхождении имени *Семарьгл* из персидского *Simurγ* (см.: *Тревер К.В.* Сэнмурв-Паскудж. Л.: 1937, С. 59) поддержана М.А. Васильевым, который с оговорками принял эту этимологию, но отверг «собакоптичий» облик этого

существа. (*Васильев М.А.* Язычество восточных славян…, С. 159); его собственное предположение о связи древнерусского *Семаргл* со «скифо-сарматским прообразом» – покровителем скифов и алан – или с изображениями крылатых существ в Сасанидском Иране не получило внятных историко-культурных обоснований. (Там же. С. 103-104, 118, 127), осталась без подтверждения приведённая в его исследовании гипотеза Д. Ворта о тождестве *Семаргла* с образом птицы «Див» в «Слове о полку Игореви». (*Ворт Д.* Див = Sīmurγ // Восточнославянское и общее языкознание. М.: Наука, 1978, С. 131-132). Опубликованные Б.А. Рыбаковым изображения «Симаргла» на средневековых браслетах XII-XIII вв. следует признать лишь вариациями образа крылатого барса – древнерусского символа погребального костра, «пожирающего» тело умершего. См. илл. 105, 106 наст. изд. (*Рыбаков Б. А.* Русалии и бог Симаргл-Переплут // Советская археология. 1967, № 2, С. 91-116; *он же.* Язычество древних славян. М.: Наука, 1981, С. 436).

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

ИНТЕГРАЦИЯ СВОБОДЫ И ИГРЫ

Игра обычно проходит по определённым правилам… Но есть и свободная игра солнечного света сквозь осенние листья, правда, ограниченная стенами комнаты, куда этот свет проникает сквозь оконный проём… Но есть и свободная – более холодная – игра неповторимых сочетаний форм стёклышек в калейдоскопе, правда, ограниченная формой цилиндра с его зеркалами, придающими формам симметричный вид… В широком осмыслении симметрия понимается как гармоничное сочетание – интеграция – своих компонентов, то есть, с одной стороны, игры свободной, с импровизированными здесь и сейчас правилами, как в играх детей, и, с другой стороны, игры по правилам классическим, устоявшимся, проверенным частными опытами и опытом общим… Наконец, есть интеграция второго порядка – интеграция свободы и игры, с той очевидной поправкой, что и свобода, и игра ограничиваются некоторыми правилами, конечно же, варьируемыми в контекстах пространства (форм) и времени (движения форм). Свобода прежде всего в том, чтобы учитывать движения и пространства иных форм, чтобы существовать с ними, развиваясь вместе, чтобы быть в согласии… в содружестве… в интеграции… как дети, когда они счастливы играть вместе…

Аналогичные «движения» наблюдаются в современной поэзии, в той её части, где она ищет новые формы, стили, ищет свою новую философию… Одну из этих форм я называю Интегральным стихом (И-стихом).

Судя по «Майским Интегральным чтениям» (кураторы Людмила Вязмитинова и Александр Бубнов, 29.05.2020, ZOOM), сами авторы часто интуитивно чувствуют и применяют как рифмы, так и другие составляющие И-стиха. При этом некоторые авторы прямо утверждали, что в стихотворениях, которые они читали, рифм нет!.. Однако при дальнейшем подсчёте оказалось, что в прочитанных 33-х стихотворениях 20-ти авторов зарифмовано от 38 до 75 процентов строк. Такая любопытная авторская рефлексия – одно из экстралингвистических свойств формы И-стиха, приближающегося к спонтанной речи, когда в идеале нет цели сочинить стихотворение, по крайней мере, стихотворения в какой-либо из известных устоявшихся форм или метров… Такое часто бывает у детей в их сочинениях…

Определение И-стиха, которое было принято как рабочее к «Майским И-чтениям», звучало так: И-стих есть вид стиха (стихотворной речи), который индивидуальным способом, вытекающим из поэтики автора, синтезирует (интегрирует) разного рода техники и стратегии, как бы балансируя между ними.

ДАРЫ

дар Солнца – взгляд
дар пространства – мгновение
дар времени – остановить

хочешь пить – бей в барабаны
хочешь флейтой – пролейся
или звени оркестром
во все паруса

яблоко – дереву мать
съешь его до последней косточки
съешь всё чему быть всем

съешь тень
и съешь отражение
стань сытым
стань ничем
стань дыханием преддыхания
стань круглым до пустоты
стань отодвигающим
дары

(авторская стр. Маргариты Аль на Стихах.ру)

Стихотворение «Дары» Маргариты Аль актуализирует сразу две проблемы Интегрального стиха: 1) проблема доли и структуры единоначалия (я бы назвал это тавтоанафорикой) в общем объёме и общей структуре И-стиха (последовательно 3, 2, 4 и 5 повторов здесь создают особую И-гармонию нерегурности), 2) проблема трактовки графического знака – тире – как цезуры, в контексте осмысления интеграции графического и устно-речевого компонентов И-стиха, с акцентуацией рифм: остановить / пить, флейтой / пролейся… Финальная рифма (До пуст[А]тЫ / ДАрЫ), в целом считавшаяся бы слабой в классическом стихе, позволяет перейти к рассмотрению такого нового понятия, как Интегральная рифма. Эта рифма в общем плане характеризуется своей относительной незаметностью, ненавязчивостью, входящей в особую философию свободы Интегрального стиха…

ФИО-летово

Флейта задувает фиолетово
мою фамилию,
имя,
отчество…
Лето в омуте минувшей осени
выводит ламенто си-минорное.
В шутку заливается луна
и замороченно
смотрит на меня
вращающейся воронкою-зрачком.

(авторская лента Наталии Лунёвой на Фейсбуке)

В этом стихотворении Наталии Николаевны(!) Лунёвой (ФИО!) графическое и фоническое интегрируется и символизируется в звукобукве О! Скорее всего, у автора интуитивно получилась сквозная рифма, которая обычным нестиховедческим глазом вряд ли ощутима в таком стихотворении с вольной метрикой: ОтчЕство, ОсЕни, заморОчЕнно. Важно выделить в этих словах не только ударную, но и заударную гласную, чтобы почувствовать эту почти символическую рифмическую линию, к которой примыкает следующая пара: си-минОРНОе / замОРОчеННО. А в финале стихотворения припрятано ещё и такое слово для луны: вОРОнКОю-зрачКОм. Гораздо менее заметны в интегральном стихе рифмические ассонансы типа луна / меня. В силлаботонических катренах, например, такую рифмическую пару критик счёл бы неудачной, но в контексте и интонации интегрального стиха эта пара рифм слышится органично, прежде всего потому, что нет рифмического ожидания ввиду отсутствия регулярного ритма – это очень любопытная тенденция реабилитации слабого ассонанса в интегральном стихе с приближением к понятию Интегральной рифмы, рифмы в большом диапазоне между бросающейся в глаза и едва заметной слуху и глазу… Важно подчеркнуть символический авторский аспект: ФИО / Лунёва / луна / меня…

Кроме многих других аспектов, форма Интегрального стиха способна описать и даже «опоэтизировать» многие казалось бы далёкие от поэзии высказывания, будь то статья публициста, речь ребёнка или спонтанный ответ поэта на вопрос в интервью, что удалось формально зафиксировать (с согласия автора, конечно) при просмотре телевизионного интервью Ольги Ильницкой («Програма «Ми» з Олександром Федоренко: Ольга Ільницька. Проза. Поезія. Подорожі» от 20.02.2019). Премьера перформанса, состоявшего из авторского чтения Ольги Ильницкой и последующей демонстрации записи соответствующего фрагмента интервью, извлечённого мной как found poetry, состоялась на курируемом мною Фестивале литературного эксперимента (ФЛЭ) в Москве в августе 2020 года. И это тоже своеобразная интеграция форм представления стихотворения.

***

Ты посмотри на эти горы,
на эти леса, океаны, моря…
Они же абсолютно к нам равнодушны,
им же совершенно всё равно…

Они есть –
со своими штормами,
со своими штилями,
со своей красотой…

А мы во всём этом ощущаем,
какие мы маленькие,
мы часть всего этого,
и только сосуществуем с ними…

А они
не заморачиваются…

(Ольга Ильницкая, 20.02.2019, из интервью)

В миниатюре «Белая бабочка…» Ирины Отдельновой (курской писательницы, недавно ушедшей из жизни)

Белая бабочка
вспорхнула прямо из-под моих ног,
чтобы я приноровила свой шаг
к её полёту.
И мы полетели!

происходит интеграция неявной панторифмы в звукопунктирах и смыслообразах соседних строк (первую – как бы непарную – строку мы оставим на завершение анализа). Панторифма 2-3 строк держится на начальном звукобуквенном ассонансе «вспО… / чтО…», созвучии гласно-согласном в серединах строк («…лА ПРЯмО / Я ПРинО…», «м» и «н» тоже «сонорят» вместе) и в конце («мОИх ноГ / свОЙ шаГ»). Игра на местоимениях (моих / свой) продолжается в финальной лапидарной паре строк (её / мы), завершаясь интегрально в плане семантики и поэтики образа: 'МЫ с бабочкой полетели ВМЕСТЕ', с квази-тавторифмой на основе («полёт / полет…»). Слияние (синтез) происходит в короткой паре строк, а подготовка к синтезу (интеграции) происходит в разработке – в двух предыдущих – более длинных – строках… В такой логике композиционного анализа первая строка предстаёт как ещё одна пара, но не строк, а слов-тавтограмм, принципиально контрастирующих со всем остальным текстом, и в ненавязчивости такого контраста, в его незаметности состоит ещё одно проявление Интеграла.

Интегральная сверх-миниатюра Татьяны Михайловской

тик
звёздный
так

балансирует между устойчивым сочетанием (тик-так) и словами, омонимически рифмующимися с этим сочетанием (тик / так); между рифмой (диссонансной, тик / так) и не-рифмой (диссонансная рифма не ощущается в таком коротком тексте, акцентированном на других стратегиях); между различными нюансами смыслов (семантическая интеграция по ассоциации «звёздный час» с примыкающими смыслами, как бы «ножом» входящими второй строкой-словом) и т.п.

В следующем стихотворении Марии Поповой «люди что приговорены…» ярко выражено одно из главных свойств И-стиха – единство формы в контрасте длин строк. В частности, самые длинные строки акцентируют (наверное, интуитивно) рифму «ТЭЦ и / крест свой», которая вряд ли была бы так заметна, если бы не было такого разнообразия в отношении длины строки… Вот из таких нюансов складывается часто форма и философия И-стиха.

В целом, нерегулярное чередование более длинных и более коротких строк для И-стиха весьма ха-

рактерно, но… необязательно, как и многое другое в И-стихе. Потому что И-стих использует в своём арсенале если не бесконечное, то очень большое количество составляющих его приёмов, техник, стратегий… Важно добавить – все они взаимодействуют друг с другом комплексно, интегрально, без чётких границ между ними (хотя и здесь исключения вполне возможны).

***

люди что приговорены
к жизни между сиреневым зданием ТЭЦ и
небольшими хрущобами
ютящиеся
боящиеся
несущие сумки с едой словно крест свой
вишневый цвет
распускается
и для них
в первую очередь
для них

(авторская лента Марии Поповой на Фейсбуке)

Что же такое Интегральный стих?.. Можно ли его точно определить?.. В науке иногда бывает так, что то или иное определение термина неустойчиво или варьируется (например, определение предложения в языке и речи), тем более, если происходит описание новых реалий поэтики, состоящей из множества компонентов… Кроме определения, «рабочего» для «Майских Интегральных чтений» (см. выше), добавим следующие…

Интегральный стих (И-стих) есть совокупность (интеграция) следующих своих определений (которые представляются в системе и могут уточняться в процессе апробации теории И-стиха в виде научных семинаров, поэтических чтений, а также коммуникации теоретиков и практиков – поэтов, если у них есть желание «отзеркалить», разобраться в своей «кухне»).

И-стих есть экспериментальная развивающаяся концепция (система) стихосложения, описывающая одну из относительно универсальных практик работы поэта с формой и стилем стихотворной речи; данная практика (стратегия, философия) подразумевает отказ от регулярности и стандартизации на всех уровнях формы (длина строки, рифмовка, строфика, объём текста и т.п.), а также комплексное использование более или менее сильных сторон и свойств стихотворной речи – в зависимости от большей или меньшей силы воздействия этих сторон и свойств на читателя; под свойствами стихотворной речи понимаются метрика, рифменность, звукопись, строфичность и т.п. Например, регулярная метрика (силлаботоника) и рифменность с её регулярной предсказуемостью – это сильные свойства, которые могут априори (на ожидаемом уровне) воздействовать на читателя или слушателя значительнее, чем менее заметные свойства стихотворной речи, даже если те представлены в большем объёме…

И-стих есть комплекс (интеграция) уровней понимания стиха как системы с более или менее гармоничным и уравновешенным (Интегральные качели, или система «сдержек и противовесов») использованием приёмов и методов, избранных – осознанно или интуитивно – поэтом для данного сочинения в зависимости от его целей и задач, а также от идиостиля автора.

И-стих есть нерегулярный полурифмованный астрофический или вольно-строфический стих с полным либо частичным отсутствием рифменного ожидания.

И здесь будет вполне уместна одна цитата, иллюстрирующая одну непростую стиховедческую проблему относительно всего лишь одной категории стиха – рифмы: «…Насколько ощутимы эти неточные рифмы, сказать трудно: манера рифмования у Хлебникова сильно меняется от произведения к произведению – от очень точной до очень свободной, поэтому опыт рифменного ожидания читателю приходится каждый раз накапливать заново. Например, неясно, считать ли цепь слов [в поэме «Берег невольников», – А.Б.] «грудь – икру – друг – на уру» одной рифмой или (как мы считали) двумя; а при очень свободной манере рифмования в этот ряд могли бы войти и ассонансы «по плечу» и «зубы». Неясно, считать ли одинаковые слова в концах строк нерифмующимися или же это «тавтологические рифмы»; если допустить последнее, то можно увидеть рифму и в «белым – белой», и в «глаза – глаза»; правда, «глаза» в ст. 4 приходятся не на конец, а на середину строки и должны были бы считаться внутренней рифмой» *(Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.3. О стихе. М., 1997. С.525).*

Рифма – как и Форма, как и Поэзия – суть понятия сложноорганизованные, кроме того, все они – существительные женского рода…

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

ИЗ ГЛУБИН ПРАПАМЯТИ

(Рада Полищук, Конец прошедшего времени. – М., «Текст, 2019. – 413 с.)

Новая книга известной писательницы – своего рода «малое избранное». Её формат очень удобен для чтения. И на книжной полке, и в дороге такая книга будет чувствовать себя превосходно. Жизнь героев Рады Полищук эмоционально богата, полна сокровенных переживаний. Прозаик – это поэт, прорастающий в глубину своей жизни, человек, который может выхватить не только текущее мгновение («остановись, мгновенье, ты прекрасно!»), но и продлить его до ярких воспоминаний из прежней жизни. «Всё возникает из глубин прапамяти», – говорит об этом писательница. Жизнь человека – совокупность деталей, «светотеней прошлого». Таинственный зов прошлого, который подобно ливню в повести «Конец прошедшего времени» врывается в жизнь героев и меняет всё вокруг. Это «живое прошлое», по выражению Анри де Ренье. Рада Полищук предельно внимательна к своему внутреннему миру. Малейшие страхи или обиды ребёнка могут стать истоком тех или иных взрослых поступков. Писательница парадоксально сетует на утрату взрослыми младенческого языка, когда пришедший в мир человечек пытается произнести первые слова. Ей кажется, что в языке младенца есть своя «тайна». Не зря ведь говорят, что устами младенца глаголет истина. Расшифровка тайны – важное занятие для писательницы.

Подобно тому, как скульптор отсекает от глыбы мрамора всё ненужное, Рада Полищук выбрасывает из сюжета всё, что замедляет повествование. Её повести и рассказы сжимают пространство жизни, опуская за ненадобностью незначительное. Имя писательницы само по себе – стойкое жизнеутверждение. *«Рада ли ты жизни? Рада! Конечно, рада!».* Проза Рады Полищук, подобно музыке Баха, властно приковывает к себе внимание. Нельзя читать Раду и заниматься параллельно чем-то ещё. Писательница умеет выхватить из текущей жизни самое главное, поворотное, судьбоносное. Это и придаёт динамику её повествованию. Она создаёт пространство, наэлектризованное жизнью. «Конец прошедшего времени» звучит у неё как «конец прекрасной эпохи». Мне показалось, что слово «конец» в названии книги – провокационно. Всеми своими работами, которые вошли в новую книгу, автор утверждает: прошедшее время, в переносном, не лингвистическом смысле слова – бесконечно.

У Полищук – очень «авторская» проза. Много фактурных, рельефных воспоминаний. Наполненности не избытой жизнью в Раде так много, что фантазия кажется излишней. Её сполна замещает мистика. *«Покойник появился на улице с дорожной сумкой на плече».* Гоголь! А утончённая, изысканная стилистика служит автору контрапунктом глубинному драматизму бытия. Я не поленился и выписал некоторые цитаты. *«Горе не вытекло, расплакалось внутри, затаилось, лишь в снах прорывается – лаем собак, жужжанием пчёл, нещадным зноем, воем сирены, визгом тормозов, далёким, едва слышным смехом, плеском воды, тяжким надрывным плачем и гробовой тишиной пробуждения за полминуты до будильника». «Смерть любопытству не помеха». «Будто ведро счастья выплеснулось на голову, омыло лицо, тело, душу, а и высохнуть не успело, как оказалось, – не было никакого счастья, просто ливень, обыкновенный осенний дождь, холодный, колючий».* Даже если читателю не очень интересно то, что происходит, скажем, в закрытом «почтовом ящике», градус сопереживания героям захватывает и не отпускает. Эта проза внутренне многогранна – какой-то особой цельностью, выверенностью. Она одновременно и событийно невероятна, и правдива в деталях.

Все рассказы из новой книги по-своему интересны. Но именно в повести «Конец прошедшего времени» талант Рады Полищук проявляется, на мой взгляд, в полном своём блеске. Тенденциозности в описании характеров нет. Даже «плохие» персонажи, вроде Милой, играют у Полищук всеми красками радуги. Милая в «Прошедшем времени» – необыкновенно глубокий характер. Это безусловная удача писательницы. Повесть, в отличие от рассказа, позволяет широко, в развитии представить характер отдельно взятого человека. В концовке повести фактически происходит реабилитация отрицательного персонажа, «стервы» и примирение двух героинь после лет напряжения и вражды. Полищук показывает,

что вражда у людей порой носит сугубо ситуационный характер. Ушла ситуация – уходит и сама вражда. «После ливня – чистота», как сказал поэт Семён Кирсанов.

Человек сам по себе не прост, сам по себе – ребус. Вот и разгадывает его в своих произведениях Рада. Как же много факторов влияет на судьбу человека! Жизнь у Рады Полищук – штука нелинейная и непредсказуемая. Интересная штука жизнь! Все окружающие так или иначе на неё влияют, часто неосознанно. Рада вдохновенно исследует мотивы поступков своих героев. Это трудно, поскольку человеческая душа – потёмки. Зато сколько поэзии в попытках познать человека! Особенность прозы Рады Полищук заключается в том, что её, как и поэзию, невозможно пересказать словами. Сюжеты часто носят внутренний и, я бы даже сказал, «невидимый» характер. Жизнь ветвится настолько причудливо, что любой сюжет неизбежно накладывается на подсюжеты и побочные линии развития. Рассказ – это такой универсальный литературный жанр, в котором участвуют как поэты, так и романисты. Поэты «пробуют» себя в прозе, начиная именно с рассказа. Для поэта лучше, чтобы героев у рассказа было немного. Так им проще «вживаться» в прозу. Романисту же, наоборот, хочется написать рассказ с множеством героев. Как это обычно и происходит в романах. Так вот, готов утверждать, что у Рады Полищук «романное» мышление. Невзирая на то, что начинала она как поэт. Порой Раде удаётся брать высокие ноты за гранью обычной нашей чувственности и сентиментальности. Это невозможно читать без слёз. Но ведь это тоже – правда жизни. *«И непрошеная печаль прихлынула к повлажневшим глазам»*, – пишет Рада. И это особенный талант писательницы.

С одной стороны, жизнь, которую рисует нам Рада Полищук, предельно проста. С другой – в этой простоте звонче раздаются удары рока. Прозаическая лирика Рады повествует о метаморфозах бытия. Быт у неё вырастает до бытия, и это – важная характеристика её стиля. У Рады много юмора. Вот, например, «склероз» у старой болонки Мары, когда она не узнаёт знакомых людей и лает на них. Но, пожалуй, главный талант писательницы – умение выпукло и бескомпромиссно показывать ушедшие от нас эпохи. Она – стилист времени. Порой эмоции в произведениях Рады так сильны, что ты не можешь уже контролировать своё сопереживание. История в малом её преломлении движется частностями и исключениями. Вот люди, которые живут рядом с нами. Кто-то – немой, кто-то –глухой, кто-то – раненый инвалид… Запоминается и культивируется в бытовых разговорах, прежде всего, необычное и непохожее. И взгляд Рады Полищук соткан из тысячи мелочей, это объёмный взгляд, напоминающий кинематограф. Мозаика жизни у писательницы – цельное полотно. Казалось бы, в жизни можно повернуть и направо, и налево, и куда угодно… но есть точки невозврата… мистика судьбы.

Судьба – это попадание жизни в яблочко. Во многом рассказы и повести Рады Полищук – семейные саги, где правят случай и неочевидность. При всей тяге героев Полищук к соборной жизни (даже названия порой говорят об этом – «Давайте все вместе»), они всегда ищут, на кого опереться. Можно быть одиноким и в семейном общежитии. Без опоры – нет жизни, нет счастья. Рада поразительно сопереживает своим героям. Это не просто «живая жизнь». Это самая сердцевина жизни, её болевая, душевная, сокровенная часть. Во всех без исключения произведениях Полищук есть История. Мне кажется, она вообще не мыслит литературы без истории, во всех смыслах этого многозначного слова. Но одной истории недостаточно, чтобы получилась интегральная, полифонная проза. Нужны тончайшие душевные движения героев, их привязанности и антипатии, особенности речи и быта. И всё это мы видим в прозе Рады. Её проза, как у Пастернака в «Докторе Живаго», имеет проекцию в будущее. Без будущего нет рода человеческого. А, значит, призрачно и само человечество. Будущее – существует. Даже когда накал жизненных страстей грозит разрушить всё. В конце концов, всё в произведениях Рады обязательно разрешается. Так или иначе. Старую жизнь сменяет новая. Непрерывность жизни и бессмертие рода – одна из главных идей писательницы. Само название книги – «Конец прошедшего времени» – глубоко символично. Прошедшее время – это часть речи. Но проходит только время. Жизнь саморегулируется жизнью. Жизнь – вообще штука странная. Иногда людей начинает притягивать друг к другу, и это не обязательно природное влечение мужчины к женщине. Просто человек человеку – магнит.

Рада Полищук – писатель мудрый и тонкий. Самые невероятные события у Рады – вроде рассказа о мнимой вдове или саги о Зиге и Зигфриде – настолько точны психологически, что не возникает даже сомнений в их подлинности. Происходит, как говорил Рене Генон, «переворачивание символов». Живой человек становится покойником, а покойник вдруг «оживает». Всё приходит из жизни и уходит обратно в жизнь. Только жизнь и умеет так сочинять – вне логики, вне рассудка. Рада Полищук словно бы только записывает за жизнью. Мы наблюдаем в её рассказах катарсис неожиданной концовки. Её героев сопровождает слоёный пирог жизненных метаморфоз. Катарсис в финале порой происходит у Полищук путём смешения жанров повествования. Возьмём, например, ту же «Мнимую вдову». До поры до времени этот рассказ даже чем-то напоминает «плутовской роман». Но потом писательница неожиданно выходит из первоначально заданного жанра. И вводит в самой концовке ещё одного персонажа. Этот подслушанный разговор производит на читателя ощущение разорвавшейся бомбы. Мы начинаем понимать, что люди часто одиноки не по воле злых сил, а по собственной глупости. Героиня испугалась собственной

любви и убежала, а потом всю жизнь страдала, попутно сломав и жизнь любимого человека. И всё это никак, казалось бы, не вытекало из рассказа о воскресшем покойнике. Это и есть многоголосие в прозе, фуга звучащей жизни. Рада внедряет в свой рассказ подслушанную «параллельную» жизнь. Вот что делает с сюжетом талант настоящего писателя. Мне нравятся у Рады Полищук её алогизмы, когда герои поступают словно бы вопреки воле самого автора. И язык у Рады – тоже герой её повестей и рассказов. Еврейские рассказы и повести Рады Полищук – общенациональны по своей сути. Они и распахнуты миру, и самодостаточны. Рада – душа еврейского народа. Мне трудно представить, что читатель Полищук может плохо относиться к евреям. Рада – выразитель глубинной сути своего народа. Счастлив народ, у которого есть такие писатели.

СОЗВЕЗДИЕ ДРУЗЕЙ

(Левон Осепян, Вспоминая страны и друзей. – М., Гуманитарий, 2019. – 192 с.)

Левон Осепян – человек интереснейшей судьбы. Мне кажется, он мог бы вести «Клуб путешественников» – так много разных стран он объездил. В одной Польше Левон был – вдумайтесь – 17 раз! Всё это можно вычитать в его новой книге «Вспоминая страны и друзей». С Левоном Осепяном я знаком давно. В Москве с 90-х годов существует «Салон всех муз Анны Коротковой. Вот там, на квартире у самой Анны, я и познакомился с Осепяном. Авторы салона Коротковой постоянно публиковались в журнале «Меценат и Мир», главным редактором которого был Левон. Покойный поэт-авангардист Володя Климов, который изобрёл, наряду с Вилли Мельниковым, «слова-кентавры», рекомендовал мне «Меценат и Мир» для публикации своих стихов. «Это круче “Нового Мира”», – сказал он и для пущей убедительности потряс «упитанным» томом антологии в воздухе. Восьмисотстраничный «Меценат» действительно произвёл на меня сильное впечатление. Потом, спустя некоторое время, я начал встречаться с Левоном в компании Светланы Василенко и других известных писателей. Мы даже ездили вместе на поэтические фестивали. Творческая биография Левона Осепяна богата не только странами, но и интересными людьми. В сущности, люди и есть страны, в переносном смысле слова. В новой книге писатель и фотограф Осепян рассказывает о своих встречах. К сожалению, часто поводом для такого разговора был уход из жизни знаковых людей в жизни Левона.

Особую ценность воспоминаниям писателя придаёт то обстоятельство, что он нисколько не пиарится на своих знакомствах. Ну вот, например, он знаком с кинорежиссёром Кшиштофом Занусси. Казалось бы, нужно писать о людях именитых! Обычно так и делают другие авторы. Но Левон Осепян не таков! Ему присуща естественная человеческая скромность. Он пишет о дорогих сердцу людях – именно потому, что не может не писать. Таковы эссе о Киме Бакши, Геннадии Цуканове, Вячеславе Романове, Владимире Широкове, Евгении Каширине, Катажине Краевской, Борисе Жорове, Михаиле Письменном, Маргарите Словенко… Целое созвездие друзей! Конечно же, читая, мы ищем знакомые имена, чтобы поверить сказанное автором книги собственным опытом общения с этим человеком. И вот, вижу: Владимир Климов! Посмотрите, какие необычные стихи писал Володя!

Ометафорели критики.
Мета-крофо-точат стихи.
Метафорчит поэзия,
метафориуючи.

И вот ещё:

Поместожительствовал на Земле
попланетничал – и баста
а теперь я останусь – вне
весь разрифмлен
разритмлен
разстих

Те, кто не знал в начале 90-х Константина Кедрова, ориентировались в авангардной поэзии того времени на Владимира Климова. Володю нисколько не смущало то, что авангардистов по отношению к традиционным поэтам было тогда – раз, два и обчёлся. Он щедро приветствовал любую талантливую поэзию, вне зависимости от жанра. Книга Левона Осепяна ценна ещё и тем, что показывает и визуальный образ человека, о котором идёт речь в эссе.

Книга Левона Осепяна, помимо рассказов об интересных людях, изобилует самыми невероятными приключениями. Автор недвусмысленно нам показывает, что путешественник должен быть скромным в пище, выносливым и неприхотливым. Поезда и самолёты, автобусы и пароходы имеют обыкновение задерживаться или ломаться, и тогда вместо нескольких часов путешествия ты можешь где-нибудь застрять на несколько суток! Порой бастуют железнодорожники или авиаторы. Вот уже и пандемия изрядно всем подсуропила. Так что путешествия требуют стойкости, выдержки и спокойствия, особенно для бюджетного туриста. Меня поразило, что Левон четыре дня ехал на автобусе из Москвы в Рим. Кто-нибудь из вас, дорогие читатели, ехал так долго на автобусе в одну сторону? Автор книги признаётся, что очень хотел посмотреть шедевр Микеланджело – скульптуру «Пьета». Отличительной чертой характера Левона Осепяна является любознательность, особенно в области шедевров мирового искусства. Этот живой пример наглядно показывает, как важно в жизни иметь сильные желания. Ибо жаждущий – обязательно напьётся! Жизнелюбие – это ведь тоже талант!

В авторском послесловии Левон Осепян на пяти (!) страницах перечисляет имена людей, которые помогали ему в создании этой и других книг. Воистину, благодарность этого человека не ведает границ! Но это стало не последним моим удивлением при чтении «Стран и друзей». После обильных чёрно-белых фотографий, сопровождающих всю книгу, уже после штрих-кода издания, Левон неожиданно даёт ряд крупных фотографий… в цвете. Видите, и у фотографов есть свои цветовые модуляции! Кульминация зрительного ряда наступает в самом конце! Это действительно фотопортреты Мастера. Великолепны портреты Светланы Василенко, Веры Линьковой, Якова Колкера, Сэды Вермишевой, Станислава Айдиняна, Татьяны Михайловской. Есть у Левона в творческом досье и мои фотопортреты. Так что я ему тоже очень благодарен, пускай и не на пяти страницах. Главное, есть чему учиться, есть куда двигаться.

ПАЛИНДРОМНОЕ ВРЕМЯ ЛЮДМИЛЫ ОСОКИНОЙ

(Людмила Осокина, Моя далёкая деревня… Документальная проза. – М., Вест-Консалтинг, 2020, 200 стр., илл.)

ВЕЧЕР

Презентация новой книги Людмилы Осокиной прошла при большом стечении народа, удивительном для ковидного времени. Круглые даты принято отмечать выходом новых книг. И Людмила Осокина не стала ломать сложившуюся традицию. Вышла её автобиографическая книга «Моя далёкая деревня». С прустовской пристальностью Осокина вытащила из полузабвения воспоминания о школьных годах, проведённых в алтайской деревне Осколково. «Моя далёкая деревня» словно бы продолжает автобиографическую линию писательницы, заданную «Халупой». В «Деревне» Людмила исследует ещё более ранние годы своей жизни. Словно бы палиндромное время пустилось вспять к своим истокам. Казалось бы, как найти изюминку, рассказывая о далёких школьных годах? Если в «Халупе» читательский интерес подписывался скандальной и мифологизированной фигурой Юрия Влодова, то в «Далёкой деревне» одинокая фигура автора книги держится исключительно на себе.

Вечер открыли Данил Файзов и Юрий Цветков (вечер проводился под эгидой фонда «Культурная инициатива»). Затем началось обсуждение новой книги Людмилы Осокиной. Поэт, критик и культуртрегер Людмила Вязмитинова подчеркнула, что Осокина является давним и важным участником современного литпроцесса. Анна Гедымин, на чьих глазах происходило писательское становление Людмилы Осокиной, сравнила его с процессом прививки саженцев: «Из дичка получилась интереснейшая личность, проявляющая себя многожанрово». А ещё Анна заметила, что Людмила использует в своей прозе открытую Довлатовым «псевдодневниковость». Выступавшие отмечали предельную искренность повествования. Внёс свою лепту в обсуждение книги и автор этих строк. Резюмируя сказанное, Осокина рассказала, что «Моя далёкая деревня» выросла из дневниковых записей 2007 года. А окончательно дозрела и сформировалась книга после её визита в страну детства в прошлом году. Нельзя, как заметил Гераклит, два раза войти в одну и ту же реку. Изменились мы, изменилась река. Но такое «двойное пришествие» в родные края помогло Людмиле понять самое важное. Есть такое понятие, как «гений места». Жители Осколкова наполнили его своей энергетикой и любовью. Всё это могут почувствовать и читатели новой книги. Людмила ещё много рассказывала о своих предыдущих книгах, пела песни под гитару, превращая тёплый дружеский вечер в свой бенефис.

КНИГА

В «Моей далёкой деревне» Людмила Осокина поражает воображение читателя с первой же страницы. Читаем: «В Осколково мы переехали 27 июня 1969 года, этот день я почему-то очень хорошо помню». 51 год тому назад. Это просто какая-то запредельная точность! Многие ли из нас в точности помнят столь

отдалённые от текущего дня события? Особую ценность воспоминаниям Людмилы придаёт и то обстоятельство, что она плоть от плоти человек из народа. Популярность документальной прозы растёт. «Моя далёкая деревня» – это всматривание в собственную судьбу и энциклопедия деревенского быта. Из быта, как известно, вырастает и бытие. Не каждому придёт в голову создать ретроспективную летопись своей жизни. Такая летопись – охранная грамота для памяти. Целый срез жизни на примере далёкой алтайской деревни. Осколково. «О, Сколково!» – воскликнет иностранец, наслышанный о нанотехнологиях. Ничего общего с деревней в Алтайском крае, о которой рассказывает книга Людмилы Осокиной! Память дробится на осколки воспоминаний. Не случайно говорят: «Малая родина – частичка большой». В этой деревне Людмила училась с 3-го по 10-й класс средней школы. Людмила не делит повествование на главное и второстепенное. Всё – главное! Такой подход помогает вспомнить мельчайшие, полузабытые детали.

«Людей неинтересных в мире нет», – говорил Евтушенко. И жизни неинтересной тоже не бывает – поведала нам Людмила Осокина. Что можно сказать о стиле книги? «Трудный» русский писатель Достоевский отдыхает! Проза Людмилы Осокиной написана простым и понятным языком. Людмила сообщает нам такие подробности сельской жизни, которые подпитывают читательский интерес. Вот, например, её отец, участковый милиционер, постоянно менял место жительства. Почему? Оказывается, частая смена места жительства была… спланирована вышестоящим начальством. Человек закостеневает, долго работая на одном месте. Обрастает полезными связями. Человеку хорошо, а его работе – не очень. Житейская мудрость!

Везде течёт своя неприметная, неприхотливая жизнь. Я восхищаюсь талантом Людмилы Осокиной. Так подробно, дотошно и въедливо сам я писать не умею. Моя память не обладает ретроспективной цепкостью. Страницы жизни семьи Осокиных всколыхнули и мои детские воспоминания. Как и Людмила, я родился и вырос в частном доме, хотя и в большом городе. У нас тоже был свой огород, и мы делали заготовки продуктов на зиму. Была у нас и домашняя живность – куры, гуси, поросята, кошки, собаки. Сельские жители, постепенно перебираясь в город, сохраняют в нём привычный для себя уклад жизни.

Книга Осокиной – маленькая энциклопедия жизни и быта поколений, рождённых во второй половине XX века. Людмила выказала себя отменным знатоком цветов и растений. Красота в мире – повсеместна. Акцент в книге Осокиной сделан именно на этом, а не на скудости алтайского быта. В повести у писательницы тут и там появляются речевые обороты, больше свойственные разговорной речи. Это создаёт атмосферу доверительности. Рассказ о далёкой деревне эмоционально нейтрален. Это пласт истории, пласт культуры нашего народа. Это «было, было, было».

Некоторые речевые обороты Осокиной являются «фирменными», свойственными только ей. Например, присказка «так что да». Или выражение «вот такие вот». Двойное «вот» не является здесь тавтологией, ошибкой, которую нужно исправлять. Этим и отличается разговорная речь от художественной. Но сама художественность в повести «Моя далёкая деревня», безусловно, присутствует. Людмиле Осокиной удалось повенчать летопись и красоту бытия. Не случайно в подзаголовке к названию книги сказано: документально-художественный проект. Многопрофильность книги достигается при помощи разговорной, но достаточно изысканной и точной речи. Авторские интонации завораживают и подкупают. *«В Осколково, из-за открытости всем ветрам, появилась какая-то лёгкость, что ли… Природа не так близко подступала к человеку, находилась в некотором отдалении и в меньшем количестве, не была такой навязчивой. Всё было в облегчённом варианте: леса, луга, речки. Было такое ощущение, что какие-то громоздкие декорации унесли и устроили все по-простому».*

Книга Осокиной – не только о своей семье. Она – о детских мечтах. Всё написано с самоиронией, а порой даже с изрядной долей самокритики. Людмила не без удовольствия развенчивает отроческие мечты, поверяя их суровой действительностью. Впрочем, людям всегда проще ругать себя прежних, оставшихся в прошлом. Ведь им уже удалось всё это преодолеть! «Моя далёкая деревня» натолкнула меня и на другие мысли. Как свободны в своих желаниях маленькие дети! Им даже в голову не приходит, что какая-то задача может оказаться им не по плечу. Гениальность ребёнка – в абсолютной свободе. Маленькой Люде казалось, что она легко, при наличии большого желания, сможет стать балериной или артисткой. Почему нет? Смогли же другие дети! Но, оказывается, нужно ещё иметь соответствующие данные! Прощай, детская мечта! Так происходит постепенная эмиграция во взрослую жизнь.

Книга Осокиной не отпускает, хочется читать дальше. Путешествие вверх по реке жизни помогает понять истоки своей судьбы. Людмила, которая росла вместе с двумя братьями, пишет о том, что всегда чувствовала себя «братиком», а не «сестрёнкой». И потом долго не могла понять, как должна себя вести в мужском обществе взрослая женщина. Жизнь – это, в сущности, повседневная война со своими комплексами, которые берут начало в глубоком детстве. Людей, абсолютно свободных от комплексов, не бывает. И неизвестно, что нами управляет больше – таланты или желание преодолеть свои комплексы. Искренность Людмилы Осокиной подкупает. Она сообщает нам даже о тех подробностях своей жизни, о которых упоминать обычно не принято. Например, об алкоголизме матери, о своей незаконнорожденности. Всё – так всё! «До самой сути, до сердцевины». Именно перфекционизм автора – на мой взгляд, главный герой этой книги. «Моя далёкая деревня» несёт ещё и просветительский характер. Чтобы узнать

больше о жизни в деревне, не обязательно туда ехать. Достаточно прочесть книгу Людмилы Осокиной «Моя далёкая деревня».

В заключение мне хотелось бы сказать вот о чём. Всё мы учились в школе, и многим из нас школа представляется сейчас чем-то мало значащим, чепухой, о которой и писать незачем. А вот Людмила Осокина поднялась до осознания, что школьные годы – это несгораемое богатство души, о котором забывать не следует. Как не следует недооценивать влияние детских впечатлений на формирование характера человека и его мировоззрения.

ЛИРИЧЕСКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ АНДРЕЯ ГРИЦМАНА

(Андрей Грицман, Личный выбор. Избранные стихотворения. Серия «На Кавказе». – Ставрополь, Издательство «Ставролит», 2020. - 84 с.)

«Личный выбор» – это авторская книга избранных стихотворений Андрея Грицмана. Здесь представлены те стихи, которые сам автор считает у себя лучшими и наиболее полно представляющими его лирику. Поэт вновь, как и в книге «Спецхран», специально использует неяркое и непоэтичное название. И это тоже его личный выбор. Для понимания стихов Грицмана важно знать о том, что он врач и автор афоризма «здоровые люди стихов не пишут». Андрей очень много времени проводит за рулём своего автомобиля, и это тоже отражается в его стихах. По собственному признанию поэта, стихи он пишет «с голоса».

Я думаю, что особая стилистика стихов Андрея Грицмана, нестандартность его лирического мышления напрямую связаны с его двуязычностью. Сам я когда-то, будучи с выступлениями в Штатах, героически перевёл с десяток своих силлабо-тонических стихотворений в рифму на английский и осознал, какой это каторжный труд. Каторжный и, в сущности, бесполезный, поскольку американская публика рифмованные стихи не любит и не ценит. То есть, живя в Америке, лучше всего выработать для письма некий универсальный стиль, который одинаково хорошо подходил бы и для русского языка, и для английского. Стиль-трансформер. И Андрею Грицману, на мой взгляд, удалось найти такой авторский стиль. Это мелодический верлибр, в котором иногда проскальзывают неожиданные рифмы. В «Личном выборе» есть свежие стихи, навеянные уже «ковидной» действительностью. Пандемия в Америке, как мы знаем, сопровождается народными волнениями.

Это – азбука Морзе,
разбросанная бисером
по страницам.
Каждая единица
обозначает молекулу дыхания,
а обозначив, исчезает,
тает на языке, как мята,
оставляя меты тут и там,
незаметные никому кроме
членов тайного общества,
никогда не вышедшего на площадь.

Площадь оцеплена статуями,
торговые ряды пусты,
памятник смотрит в другую сторону,
трамвайные пути заросли бурьяном.

Пахнет тлеющими листьями,
и перекличка сторожевых
стынет на лету в вязком воздухе
и висит коническими штыками

на гудящей сети
беспроволочной связи
чьего-то спутника,
пропавшего без вести.

Моё знакомство с творчеством Грицмана началось с его прозы. Я читал книгу «Поэт и город». И меня поразили его культурологические статьи Андрея, ошеломил очерк о трагическом наводнении в Нью-Орлеане. А творчество Пауля Целана я стал рассматривать с тех пор именно сквозь призму взгляда

Грицмана. Что касается стихов, то здесь Андрей, как правило, ищет свой голос вне пространства силлаботоники. Но, чтобы никто не усомнился, что он делает это именно по личному выбору, новую книгу он начинает именно с традиционного стихотворения.

Услышав голос тихий и глухой,
остановлюсь с протянутой рукой,
сжимая прошлогоднюю газету.
Снег падает по направленью к лету
и замирает где-то за рекой.

Гудок оттуда хриплый и глухой
Всё тянется без эха, без ответа.
Я в сумерках ищу источник света
за городской невидимой чертой,
давно уже от стаи той отсталый.

Слетает незаметно снег усталый.
Его ловлю я ртом, и, застегнув пальто,
гляжу в незамерзающие лужи,
гордясь лишь мне заметной красотой,
и радуюсь: могло бы быть и хуже.

И странно, что оставлена была
за рубежом осеннего стекла
рукой рассеянной
полоска этой суши.

Стихи Андрея Грицмана более камерны, чем его проза. В прозе он – общественный деятель и философ, который ставит перед собой культурологические задачи обобщения творческого опыта других писателей. А поэзия у Андрея – тихая, тонкая, подспудная лирика, которая всматривается во внутренний мир. То есть, видимо, у него существует изначальный внутренний отбор, в котором из этих жанров писать то или иное произведение. Русскоязычной поэзии Грицмана вторит и его англоязычная поэзия – столь же камерная, тонкая и деликатная. Можете заглянуть в его английские стихи и убедиться. Они такие же по стилю и духу, как и его русские стихи. Лирический постмодернизм Грицмана не атакует читателя аллюзией в лоб. Проговариваются вскользь реминисценции из прочитанного и давно усвоенного. Например, вот Пушкин: «Когда-то я здесь пиво пил и в ближний парк гулять ходил». А вот – Есенин: «Не жалею, не зову, а лучше / ты включи компьютер, посмотри». Есть и Набоков. Но это – естественная вещь для постмодерниста. У Грицмана «чужая» строчка – часто только зачин, только искорка для разговора – нередко совсем о другом, нежели у классиков, чьи крылатые строки помогают разгореться поэтическому костру.

Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдёт на охоту с ягдташем.
Зайдёт, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнёт: Бедная Лиза.
Перед нами обоими лист стелется чистый,
Посидит, уйдёт, вспомнив свою Полину.

Он уйдёт, и стих его тает белый,
Как следы января в холодящей чаще.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит всё чаще.

Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
И здесь, в глубине, нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
Где душу ждёт небесное тело.

Летит оно, скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле.
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.

Набоков, Тургенев, индейские песни… Есть что-то неуловимое, что связывает между собой Россию и Америку. Вадим Месяц пишет, что Грицман – «поэт ветра». Ветер – сквозная тема его творчества. И «хамсин», и много-много других разновидностей ветра. В книгу «Личный выбор» автор включил фрагменты поэмы «Ветер в долине Гудзона». В последнее время на смену чисто сюжетным поэмам пришла поэма в виде цикла лирических стихотворений. Это большая подборка стихов, объединённых общей внутренней темой. Как правило, всё пишется и объединяется в краткий промежуток времени. Но отношение к поэме как вершине творчества стихотворца, как чему-то особенному и недосягаемому, на мой взгляд, нами уже утрачено. У меня – высокая степень доверия к текстам Грицмана. Думаю, к ним время от времени возвращаться. В заключение скажу вот о чём. Хорошо, что русского поэта, живущего в Нью-Йорке, издают в Ставрополе. Мне кажется, мы смогли преодолеть границы – как минимум, в слове. А жить можно где угодно. «Право на землю, – говорит Андрей Грицман, – человек получает, когда в неё ложатся его близкие».

СОБИРАТЕЛЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

(Станислав Айдинян, Разноимённое. Очерки, статьи, рецензии. – М., Серебряные нити, 2019, – 566 с.)

Новая книга известного поэта и искусствоведа предполагает, по его собственному выражению, «широкий веер охвата» лиц русской литературы и во многом продолжает предыдущую его книгу «Четырёхлистник». Станиславу удаётся в высшей степени изящно называть свои книги. Названия эти, возможно, и не смеют претендовать на звание неологизмов, однако являются в высшей степени свежими и оригинальными. И в новой книге мастера много места уделено сёстрам Цветаевым, Константину Бальмонту и Анатолию Виноградову. Можно сказать, что эти предпочтения у Станислава Айдиняна биографически обусловлены. Книга «Разноимённое» – полнокровная правопреемница «Четырёхлистника». Эти два сборника статей и эссе мыслятся как литературоведческий двухтомник. «Разноимённое» демонстрирует нам неисчерпаемость материалов по нашим классикам. В этой книге Айдинян выступает не только как беллетрист. Он и философ, и толкователь, и герменевт.

Больше всего в разнородном творчестве Станислава меня поражают энциклопедизм его знаний и вдохновенная манера рассказывать о мире искусства. Особая любовь Станислава Артуровича принадлежит Серебряному веку русской поэзии. «В той нервной, трагической эпохе было столько поэтического простора и свободы, столько легендарной надмирности и символических взлетов в Безбрежность!» – пишет Станислав. Среди плеяды выдающихся поэтов того времени он отдаёт предпочтение Константину Бальмонту, Андрею Белому, Вячеславу Иванову, Фёдору Сологубу… Анастасия Цветаева, у которой молодой Станислав долгое время работал секретарём, выступает своего рода медиумом, через которого Айдинян проводит непосредственную связь с этим плодотворным для нашей словесности временем.

Когда я читаю «Разноимённое», у меня то и дело возникает впечатление, что все эти события происходили совсем недавно, может быть, вчера. В кругах московской интеллигенции Станислав Айдинян известен как превосходный рассказчик. На мой взгляд, письменная речь Станислава ничуть не уступает устной. В основе обеих лежит дар импровизации, особый стиль повествования и превосходная память, которая удерживает многое. Писатель творчески обрабатывает воспоминания очевидцев, которые общались с гениальными писателями той эпохи. Воспоминания множатся, ветвятся… Порой какой-то штрих, какое-то малоизвестное воспоминание открывают нам вещи не очевидные и даже сенсационные. Например, женское «отношение» Ахматовой к Блоку. Станислав Айдинян – поклонник и полпред Серебряного века в нашем времени. Его интерес к литературным событиям начала XX-го века настолько широк, что незначительного в документах той эпохи для него не существует. Всё важно, всё имеет значение. Детали творят дух времени.

Прежде чем стать великолепным рассказчиком, Станислав много слушал блестящих ораторов. Он выделяет среди них своего преподавателя по античной литературе Левона Нерсесяна и кумира московской молодёжи 70-х – 80-х Игоря Дудинского. А теперь все уже равняются на него самого.

Учитесь говорить у Айдиняна,
Андроникова наших дней.
Слова не достаёт он из кармана.
Чем безыскусней слово, тем верней.

И что такое, други, наша слава?
Учитесь говорить у Станислава!
Ведь он инициацию творит.
И сердце одинокое горит.

Герой Айдиняна – это Фауст, который живёт в Серебряном веке.

Особенность поэтики Станислава – соединённость философского и лирического начал. Он собирает самые ценные свидетельства о персоналиях Серебряного века, не ограничиваясь своими любимыми писателями. Вот, например, яркое воспоминание Вениамина Каверина, автора «Двух капитанов», об Андрее Белом: «В нём горело самовозбуждение, когда он говорил».

Все эти силовые линии, тянущиеся из Серебряного века тем или иным образом проходят к Айдиняну через замечательную личность Анастасии Ивановны Цветаевой. Писатели XX-го века часто ходили друг к другу в гости и рассказывали о своих впечатлениях, о встречах с другими интересными личностями. И вот так, рукопожатиями через пространство, сохранялись свидетельства о наших классиках. В таких воспоминаниях Айдиняна интересуют, прежде всего, космос личности и хитросплетения человеческих судеб. Некоторые из рассказанных поэтом историй настолько невероятны, что невольно начинаешь подозревать авторский вымысел. Вот, например, неужели Достоевский действительно мог встречаться с Мережковским? Ведь Мережковский – писатель уже XX-го века. А Достоевский умер ещё в 1881, сразу после открытия в Москве памятника Пушкину. Но нет – всё правильно у Станислава. И встречался, и действительно произнёс то самое, знаменитое: «Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать, батенька!». Дмитрию Мережковскому тогда едва исполнилось 14 лет.

Лёгкая, искромётная, лучезарная осведомлённость – всё это Станислав Айдинян. Он посвящённый – говорить об этом вряд ли будет преувеличением. И его «Разноимённое» – калейдоскоп вкусностей, небанальностей, интереснейших свидетельств литературной и окололитературной жизни. Память автора этой книги бездонна. Из неё то и дело извлекаются самые невероятные истории. Вот, например, свидетельство очевидцев о стигматах у Максима Горького, возникших от перенесённых на себя страданий своего героя… «Разноимённое» – это шкатулка с драгоценностями. Материалы, вошедшие в книгу, можно ещё много раз переформатировать, создавая другие интересные проекты. Но, пожалуй, главное достоинство новой книги Станислава – то, что, читая её, сам становишься духовно богаче. Появляется та самая «энергия роста», о которой блистательно поведал нам автор.

«Я БУДУ, НО НИ СЛОВА НЕ СКАЖУ»

(Любовь Колесник, Музыка и мазут (стихотворения). –
М.; С-Пб, издательство «Пальмира», серия «Пальмира-поэзия», 2020. – 128 с.)

Скажу сразу, что уровень книги Любови Колесник достаточно высок. В её лирике ощущается огромный потенциал. «Музыка и мазут» – на моей памяти одна из лучших книг «условно молодых» поэтов за последние годы. Вопросы вызывает разве что компоновка материала. Мне показалось, что книга автором не выстроена, а стихи просто накиданы как попало в общую корзину. Наверное, всё это было бы не так уж и важно, если бы в книге Любови не было прекрасных, глубоких, пронзительных стихов. Она не боится говорить о жизни и смерти, о Боге и выборе пути. И говорит об этом по-настоящему, ей хватает и души, и голоса, и таланта.

В шесть часов проснуться от озноба
и смотреть на электрод утра.
Господи, зачем ты сделал, чтобы
вместо сердца у меня дыра
чёрная, горелая, сквозная,
пустотою полная, была?
В мир оттуда смотрит неземная,
мраком багровеющая мгла…
Холодно. Бессильем сводит руки
и как будто отняты слова.
Поднимаюсь. Надеваю брюки.
Кофе ждёт глумная голова.
Господи! Зачем ты это сделал?
Кофе выпит, но меня знобит,
Залит серым и немного белым
из окна индустриальный вид,

Где-то там за серым скрыты звёзды,
и оттуда: «Не сходи с ума.
Я тебя из праха взял и создал,
всё испортить ты смогла сама».

Важно, что речь поэта часто идёт от первого лица, это своего рода духовный дневник. Новая книга называется «Музыка и мазут». Красиво и музыкально, классически сопрягая далёкие по смыслу, но близкие по звучанию слова. Тверь, Торжок, Ржев, Старица – топонимика Тверской области широко представлена в стихах Колесник. И сама она словно вписана в анналы этого края. Зарисовки часто завершаются у поэта кодой такого эмоционального накала, что кажется, будто всё стихотворение писалось именно для такой резкой развязки, «вопроса ребром». Например: *«Что ты смотришь, век с запавшим веком, / что ты вечно смотришь на меня?»*. Причём это именно вопрос (то же самое в «Старике с корзиной»: *«Как не бояться невыносимое нести?»*). Любовь Колесник может сильно не переживать по поводу премий на конкурсах поэзии. Она уже вошла в антологию русской поэзии вот этим стихотворением:

Я буду снова. Как-нибудь потом.
Я буду. Завтра или послезавтра,
родившись снегом, деревом, котом,
весенним ветром, заревом, базальтом –
я буду, но ни слова не скажу,
не напишу, и буквы все забуду.
Я семечко, летящее в межу,
смиренно покорившееся чуду.
Я то, что не записано в тетрадь,
не издано, не проклято, не стёрто.
(Не существует – незачем стирать).
Я тонкая трепещущая хорда,
протянутая с неба до земли –
я и была такой, но кто б заметил…
Смотрите, в расцветающей дали
я снова есть.
Я облако.
Я ветер.

У стихов Любови появились поклонники среди бомонда. Газеты пишут, что она – любимый автор рокера Константина Кинчева. Лирика Колесник разнообразна и многопланова, однако, лучшие стихи в книге «Музыка и мазут» – на мой взгляд, не о любви, а о смерти. Поэт как-то по-особенному, тонко, остро чувствует эту тему.

багетом взятая каверна
люд протекающий гудит
Шаляпин в роли Олоферна
глазами страшными глядит

багряна киноварью чаша
в которой морок или мед
но жизнь его не настояща
и он взаправду не умрёт

а ты умрёшь а ты взаправду
и привыкаешь потому
по галерее как по аду
брести не зная почему

смотри как страшно одесную
смертельнейшей из вечных див
уже идёт из Ветилуи
твоя красавица Юдифь

Здесь, в сущности, Любовь Колесник использует тему из пастернаковского «Гамлета». Но это тот случай, когда перепеть классика не зазорно. Тема – вечная, можно даже не читать Бориса Леонидовича. Герои пьес и стихотворений существуют в идеальном мире. Гамлет на сцене умирает, а актёр, играющий Гамлета – нет. Однако Гамлет как герой пьесы не умирает, его будут играть и через сто лет. А вот человек, актёр – знает, что точно умрёт. «Пусть даже как поэт я не умру, зато как человек я умираю», – писал об этом Георгий Иванов. А вот ещё одно стихотворение о смерти, сразившее меня великолепным сарказмом.

Юра, мы все поехали, зря ты на нас махнул
не двоепёрстно, рабоче-крестьянски, горстью.
Тебе хорошо, ты умер, а мы тут коптим страну
одну шестую – шестёрки, шестерни, гвозди.
На нас забивают, чтоб нас забивать в гробы –
ты видел, горы лысеют, леса редеют.
Юра, мы рассчитаны на если бы да кабы,
на работу за хлеб и радение за идею.
Ум, честь и совесть горят в голубом газу,
вот она, гибель, весомая, налитая –
ясно, как то, что врёт на голубом глазу
девка из телика, стонущая: «Улетаю!»
Юра, ты правда видел – нет же там никого?
Юра, ты должен знать, тебя тоже, по сути, нету!
Но почему так погано, страшно так – отчего?
Юр, у тебя там блат. Попроси тормознуть планету.

Хороша и «Змеиная голова». Словно бы страшный сон героине приснился… Мы видим, что Любовь Колесник – поэт самого широкого профиля. Так что, пожалуйста, не обзывайте её «урбанистом»! Колесник – это кудесник слова.

Вот сумеречный сад, в котором выть да пить.
Клубника зелена и начинает гнить –
не отцвела ещё, не вызреет уже,
ботва, как мёртвый чёрт, валяется в меже.
Волхвы и мудрецы городят огород,
и ягодной гнильцы зевками просит рот.
Князь по полю идёт по конским черепам,
сообразив на трёх подземных черепах.
Клюка лежит в руке змеиной головой,
и гадина глядит на долгий водопой.
Исхожена в реке туманная вода,
и чередой враги вплывают в никогда.
Одетая в забудь садовница с серпом
распарывает грудь и тянет красный ком.
Течёт клубничный сок, бурея на руках.
И я ложусь молчать
по горлышко в стихах.

Особенно ценным в новой книге поэта мне представляется социальный нерв. «Моя задача, как я её вижу, – говорит Любовь Колесник, – через земные приметы выразить какие-то высокие вещи». Инструментарий и богатство языка позволяют Любови Колесник писать обо всём на свете. *«Несчитанные, без причины, / Без окончаний и начал, / Мы всё ещё звучаньем мчимы, / Подвластны гаечным ключам».* Звучная аллитерация на «ч» впечатляет! В стихах, вошедших в новую книгу, много переплавленного в строки страдания и сострадания, и в этом плане Колесник продолжает «некрасовско-блоковско-евтушенковское» направление отечественной поэзии. Среди эстетически близких ей поэтов, пожалуй, рискну назвать Марию Ватутину.

Любовь Колесник убедительна в своей бескомпромиссности. Мне нравится, как выставлен у неё кинорежиссёр и политолог Никита Михалков. Несмотря на постоянные апелляции Михалкова к вере, я убеждён, что несёт его именно «сатана», в широком смысле слова. Человек одержим бесом, а вещает другим про Бога. И это настораживает.

Продолжайте движение прямо
через двести и через пятьсот.
Маму моет сияющий Рама –
чисто вымоет, но не спасёт.
Маргариновый мой, говоримый!
Я других земляничных полей,
где летят над людьми херувимы
гореглазых монголов смуглей.
Где слова не сдаются без боя
и, покуда никто не умрёт,
глядя в белое и голубое,
продолжайте движенье вперёд –
вслед за мной, кто горяч и подкован
и взрывает поля и леса,
где несёт сатана Михалкова
в багровеющие небеса.

Это стихотворение напомнило мне блоковское «О, я хочу безумно жить!». В нём звучит героическое устремление вперёд, навстречу жизни. Как говорится, делай, что должен, и будь что будет. У Любови Колесник есть всё, чтобы стать голосом эпохи. Книга «Музыка и мазут» только подтвердила: за творчеством этого автора нужно следить. В книге высока плотность текстов журнального уровня. Стихи цепляют и не оставляют равнодушным. *«Вы все во мне живёте, ненаходимые ключи»*, – говорит поэт. «Ненаходимые ключи» – это и есть, в сущности, поэзия».

Детство покидает тебя, когда
умирает первый твой хомячок.
По лицу протекает огонь-вода,
изучаешь пальцем пустой бочок:
вроде всё, как надо – и шерсть, и плоть;
осязаемо, и он как будто спит,
ставший легче на чуточку… и Господь
его гладит невидимо и молчит,
и тебе показывает: смотри,
Я так сделал, это зовётся жизнь…
Ты киваешь молча. В глазах горит.
Детства больше нет.
А теперь держись.

ОТРАЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ВИНЫ

(Борис Фабрикант, Крылья напрокат. – С-Пб, Алетейя, 2020. – 136 с.)

Действо книги Бориса Фабриканта начинается прямо с её обложки. Крылатый человек – очевидно, Икар – летит к солнцу и звёздам. Но крылья у Икара – не из воска, а из обыкновенных птичьих перьев. И чем выше он летит, тем меньше перьев у него остаётся. «Крылья напрокат» – так называется книга поэта из Англии. «Это именно книга, а не собрание стихов», – пишет в замечательном предисловии Владимир Гандельсман.

У Бориса Фабриканта есть свое ноу-хау. Он не ставит точку в конце стихотворений. Отсутствие точки здесь тождественно знаку бесконечности. Словно бы жизнь, он- и офф-лайн, продолжается. Словно бы ещё что-то можно в ней поправить. Борис – силлабо-тоник, однако «продвинутый», то есть не скованный ритмом и метром до тюремной узости. Он легко может подменить порядок мужских и женских рифм или добавить ещё одну строку. Зато такие стихи «дышат», они – живые, не запрограммированные заранее. «Каждый пишет, как он дышит», – говорил Окуджава. И нужно принимать сердцем самостояние поэта.

Пора прощаться, но не хочется,
Ведь позабудут имя-отчество,
И никого не убедишь,
Что ты на облачке сидишь.

Ах, это облачко далёкое,
И глубина под ним высокая
Без рыб и плеска, и зверей,
Без блеска дальних фонарей.
Я их запомнил, уходя,
И говорят, тут всё навечно.
А мне хотя бы полсловечка
Спустить по струночке дождя

Борис сильно и проникновенно пишет «о главном»: о жизни и смерти. И в этой вечной и болезненной теме он вполне убедителен. Многие мысли и образы обжигают свежестью взгляда. Как будто автор сумел посмотреть на наш мир «оттуда». Например, Борис пишет о том, что умершие не посещают свои тела, которое постоянно пребывает на кладбище («Расстаётся с телом душа…»), о парении душ умерших над живыми и потому не парящими («Над городом летали души…»). А как трогает стихотворение об умершем младшем брате, которому в детстве герой приказал тащить из магазина тяжёлый бидон с молоком! Ноша оказалась неподъёмной для маленького человека, и молоко разлилось. А сейчас картинка возвращается к поэту осознанием той детской вины. «Высокая вина» – это вообще характерно для лирического почерка поэта. Стихи Бориса Фабриканта в высшей степени человечны.

Старые фотографии –
листья календаря,
фотоальбом – гербарий.
Первое января,
тоненькая заря,
черево на просвет,
пей ненасытный барий.
На рентгеновском снимке
каждый всегда один,
ни цветов, ни в обнимку,
не разглядеть улыбки.
Вот я тебя догнал,
значит, давай води,
хочешь, сыграем в прятки,
хочешь, сыграют скрипки.
В куче сухой листвы
смотришь в засохшее небо,
сухи черенки и черствы.
Видно издалека,
там, где пришиты к земле
небо и облака,
сухие расходятся швы,
и не размочишь хлеба

По мере взросления, мы состоим уже не из воды, а из воспоминаний, говорит Борис. Его стихи заставляют задуматься о фундаментальных основах жизни. Казалось бы обычная вещь – родственные отношения в семье. Но как прочны эти узы у Фабриканта! Какова глубина и сердечность отношений! И не говорите мне, что такое мы видим повсеместно. Поэт так убедительно описывает своих родителей, что, кажется, вот-вот, и эти люди материализуются перед нашими глазами. Бориса отличает цельность поэтической речи. Эмоциональный поток, мыслимый как объёмное полотно художника. Нежное сердце друга, сына, отца и просто человека. И эта нежность к людям переполняет его стихи. Лирика Бориса Фабриканта антропоцентрична. Удивительные стихи посвящены у него родному Львову, городу, оболганному с разных сторон лживой пропагандой. Что ценно в лирике Бориса – она многомерна и отвечает на запросы широкого круга читателей. Как прекрасно поэт передаёт междумирье на грани яви и сна:

Закрываю глаза, нет ни севера, ни востока.
Лягу навзничь, высот и глубин не сравнить, не узнать.
Только слышу порывы родного в груди кровотока,
И летает разведчица жизнь, чтоб меня отыскать.

У Бориса хороший вкус и чувство ритма. Он – «тихий» поэт. *«Грусть – канва, по грусти вышивает радость».* Действительно, грусть честна и укрепляет человека. Многие строки Бориса афористичны и запоминаются с первого раза, хотя он нисколько не озабочен выдавать на-гора чеканные выражения, сыпать фразеологизмами. Просто это легко удаётся ему «шутя», не задумываясь, как бы между делом. То же самое удивительным образом удавалось Булату Окуджаве. И Фабрикант, не повышая голоса, способен говорить на самые актуальные темы, например, о репрессивности любого государства. Он говорит, что поэту лучше «держать на расстоянии державу». Тем запретных для него нет. При всём при том в лирике Фабриканта есть шагаловская лёгкость парения над городом.

В плащах из собственного света
Стоят в тумане фонари.
Как от рассвета до рассвета,
Иду вдоль них с душой внутри.
Она в меня тепло одета
И всё застежку теребит.
И ночь, как шёпот без ответа,
Недвижно влажная стоит.
И, кроме конусов прозрачных,
Нет ничего уже давно.
И слышно, что никто не плачет.
И видно, что совсем темно

У Бориса Фабриканта есть ценное умение черпать поэзию отовсюду. Например, у всех дома лежат старые мобильники. Но мало кому в голову приходит «вочеловечить» эту рухлядь. Разве что Ганс Христиан Андерсен мог бы отважиться. У Бориса получилось очень современное стихотворение о старой и, казалось бы, бесполезной вещи («Мой старый телефон…»). А ещё у него есть то, что я определил бы как поэтическое и человеческое достоинство. Рядом с ним стихи и люди становятся лучше. Редчайшее для современного человека качество. Он выступает как эталон вкуса. О таких людях Протагор говорил: «Человек – мера вещей». Качество и достоинство.

РЫЦАРЬ «НЕКРАСОВСКОЙ» МУЗЫ

(Вадим Ковда, Валун. Стихи. – М., Стеклограф, 2020)

Эта книга ещё не вышла, но написать о ней и её авторе важно прямо сейчас, потому что Вадим Ковда умер. Он был человек неуёмной, неиссякаемой жизненной силы, и даже весть о его уходе кажется фейком. «Настоящий, большой поэт ушёл» – так отозвалась на скорбную весть Людмила Шарга. К своей смерти Вадим, можно сказать, был морально подготовлен, хотя всуе о ней и не думал. Он рассказывал мне, что дважды в схватке со смертью вышел победителем. Два раза, с промежутком в шесть лет, приходила она за ним, да так и ушла ни с чем. А вот третий её приход оказался для поэта фатальным. Хотя умер он не от коронавируса, можно с большой долей вероятности утверждать, что убил его именно ковид. Здесь, в Москве, в Строгино, он больше двигался. Здесь он был наедине с природой. Если бы не необходимость поддерживать зрение уколами в сетчатку глаза, может быть, он вообще никогда не ездил бы в Германию.

Дни калечат и жгут нестерпимо…
Но терплю их крутой разворот –
эту жизнь, проходящую мимо,
смерть, что мимо, увы, не пройдёт…

Эту даль, умерщвлённую нами,
эту, нами убитую, близь…
То ли плачет Господь временами,
то ли дьявол гогочет всю жизнь…

И крадётся тоска ледяная…
Той тоски не избегнет никто…
Жизнь, за что ты дана? – я не знаю…
Ну а смерть – точно знаю за что.

Эта книга, «Валун» – итоговая. Таких итоговых книг у Вадима набралось три. И все они выходили в критические моменты его жизни. Ковда был во многом человеком неудобным. Ругал наших признанных классиков. Ругал Маяковского. Есенина, Вознесенского, Евтушенко. Досталось от Вадима и Осипу Мандельштаму. За то, что публичными чтениями знаменитого карикатурного стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны…» подставлял своих товарищей-поэтов, которым он читал эти строки. «А зачем Мандельштам обидел осетин? – возмущался Вадим, – помнишь. Саша, чем заканчивается у него это стихотворение? – "У него что ни казнь, то малина и широкая грудь осетина". Получается, ещё и осетины в чём-то виноваты». Надо сказать, что все эти придирки Ковды носили сугубо этический характер. Вадим никогда не позволял себе усомниться в поэтическом статусе наших признанных классиков. А вот что касается их морального облика, тут у него были к ним вопросы. Один знаменитый поэт сотрудничал с ЧК, другой – неискренне воспевал Ленина, ради публикации. Такая щепетильность поэта к моральному облику классиков и современников объяснялась, на мой взгляд, тем, что и себе Вадим тоже не давал спуску. Он сурово бичевал свои пороки и искренне считал себя большим грешником. Не потому ль он был зорок в этой области и по отношению к другим?

Живу, как Россия, – бездарно,
тоской и бездельем томясь.
Толкусь средь вокзальных, базарных,
народных и каловых масс.

Живу, как Россия, свободно,
не ставя начальство ни в грош.
И матерно здесь, и блевотно.
Но лучше, увы, не найдёшь.

Живу, как Россия, беспечно,
не ведая, что впереди.
Тут тяжко, а всё же сердечно…
И мне от неё не уйти.

Живу, как Россия, – безвольно…
Здесь воздух задымлен и грязь.
Но радостно мне, а не больно
с ней чувствовать кровную связь.

Живу, как Россия, – нелепо:
мечтаю, болтаю, кружу…
В развёрстое, близкое небо
с нелепой надеждой гляжу…

Ругал Вадим, как правило, тех людей, кого не знал лично и не понимал творчески. Представителей других эстетических установок. Например, он не мог примириться с мыслью, что поэзия может заниматься словоизобретательством. Он был классическим представителем «некрасовского» направления в нашей поэзии. Считал, что стихи должны отзываться на боли и страдания народа, говорить об униженных и оскорблённых. При этом он требовал от поэтических произведений качества – такого, которое было у него самого. А вот Пушкина Вадим очень любил, и гордился тем, что у его жены Татьяны была фамилия Гончарова. Это словно бы поднимало его на пушкинскую высоту. К слову, последней книгой, которую читал Ковда, была работа итальянской пушкинистки Серены Витале «Пушкин в западне».

Ковда восставал и бунтовал, когда ему казалось, что попрана справедливость. На самом деле справедливость – вещь гремучая, обоюдоострая и не всегда объективная. Не случайно древние греки полагали, что справедливость как философская категория противоположна Богу. Вадим легко находил себе врагов, но это всегда держало его в жизненном тонусе и питало лирику. Как человек, он страдал от некоторых черт своего характера. «Наверное, по-хорошему лучше было бы промолчать…», – посетовал как-то он по поводу своей несдержанности. Но насколько же ярче жизнь с такими людьми, как Вадим – теми, кто считает, что «лучше делать и каяться, чем не делать и каяться». Он понимал, что часто вредит себе своими действиями. Но ничего не мог поделать с жаждой острого слова. В его представлении неудобной правды не существовало. Он говорил о замалчиваемой подлости.

Что за страсти в пути запоздалом?
И куда меня рок поволок?
На лице моём детском и старом
проступают и дьявол, и Бог.

Бог и дьявол, конечно, не пара –
всё орут непонятно о чём,
всё ведут толковище и свару
в неприкаянном сердце моём.

Что за жребий такой злополучный!
Никому не могу услужить.
И без дьявола вроде бы скучно…
А без Бога не стоит и жить.

Даже среди такой яркой части населения, как писатели и художники, Вадим Ковда был человеком в высшей степени нестандартным. Он мгновенно притягивал к себе внимание, как притягивает к себе всё штучное, не похожее на других. Я познакомился с ним на чтениях в книжном магазине «Библио-Глобус», где писательница Елена Черникова создала интереснейший клуб «Творчество». Подошёл к Вадиму после его выступления. Меня поразило, что человек, приехавший в Россию из Ганновера, оказался на поверку большим почвенником, нежели я сам.

У каждого человека есть своя церковь.
Он ходит в неё молиться, в душу свою посмотреть.
Ходит – и тут бессильны правительство и полиция.
Ходит – и тут бессильна даже смерть.

У Вадима Ковды было своего рода мессианство неудобной правды. На мой взгляд, «провокационность» некоторых стихов Ковды больше соответствует его характеру и темпераменту, нежели спокойная, строгая классицистичность. Конечно, у Ковды есть разные стихи. И редактора часто ставят «правильного» Ковду в ущерб «непримиримому». Самому же поэту казалось, что именно там, где он «преступает черту», он самый настоящий. Кто же прав? Думаю и тот Ковда, и другой имеют право на существование. Это и призвана показать новая книга известного поэта, «Валун». Почему именно «Валун»? Это решение пришло к Вадиму незадолго до смерти. Первоначально он планировал совсем другое название книги. Мне кажется, валун – это сам поэт, стремительно скатывающийся с горы. Но вот он уже скатился в зелёную долину. И его не поднять и не перенести в другое место – слишком тяжёл, неподъёмная ноша. Думаю, валун – это, прежде всего, иносказание. Есть в новой книге Вадима Ковды и стихи созерцательные. Например, вот это стихотворение родственно, на мой взгляд, лермонтовскому «Выхожу один я на дорогу».

СИРЕНЕВАЯ НОЧЬ

Буду просто стоять и смотреть,
буду слушать, вдыхать этот воздух.
Свет исчезнувший начал гореть
в проступающих медленно звёздах.

От земли до небес – тишина.
Тёмно-жёлты огни за рекою.
Да сиренево светит луна,
освещая пространство земное.

Тишину и сиреневый свет
отражают замерзшие лужи…
Пусть так будет хоть тысячу лет,
я подобный покой не нарушу.

Пусть нарушит его самолёт,
пусть нарушит дурная собака.
Пусть петух тишину раздерёт,
отвлечёт от сверканья и мрака.

Мира этого я не сужу.
Это дело другим оставляю.
Ничего у него не прошу
и ни в чём его не укоряю.

И, созданье его одного,
не ругатель и не низвергатель,
я – хранитель, смотритель его,
я – любитель его, восторгатель…

Звёзды, звёзды да эта луна,
да ещё огоньки за рекою.
Тишина только цветом полна –
освещенье сегодня такое.

Так спасибо, сиреневый свет!
Лес ночной, тебе тоже спасибо!
Миллионы вам праздничных лет.
Оставайтесь чисты и красивы.

Значит, это бывает с людьми:
как когда-то в минуты молитвы,
вновь чудесные чудятся ритмы,
выше музыки, выше любви.

Вадим был настоящим другом, он не пропускал ни одной возможности пообщаться. Съездит в Германию, сделает в там укол в сетчатку глаза, чтобы хоть немножко видеть – и возвращается в Москву. И тут же звонит мне, предлагает повидаться. Часто привозил маечку или курточку из Европы, выказывая при этом изумительный глазомер и цветомер. Предвидел, какой цвет мне подойдёт, а какой – нет. Он ведь работал раньше кинооператором! Не зная моих размеров, всегда попадал в точку. Ни один мужчина никогда не выказывал мне такой трогательной отеческой заботы, даже папа. Через вещи и беседу Вадим щедро дарил теплоту своей души. Он пару раз съездил с другими писателями в Афганистан, когда там стояли наши войска, и мы с ним часто беседовали на «афганскую» тему.

Он любил свой район. Убеждал меня, что в Строгино, на набережной Москвы-реки, гуляют люди в высшей степени культурные. «От них даже мата не услышишь!» – говорил Вадим. И пару часов, пока мы гуляли по набережной, всё так и было. Когда потом кто-то из прохожих, не подозревая о словах Ковды, всё-таки выругался, Вадим сказал, что это, видимо, человек пришлый, не слышавший, что здесь ругаться не принято. Именно Ковда обратил моё внимание на тогда ещё только начинавшего свой взлёт блогера Юрия Дудя. Он всегда приветствовал смелость, интересовался новым в интеллектуальной и творческой сфере. Интересовался даже рэпом. Пытался понять, почему рэперы собирают стадионы, а лучшие поэты – нет. Ковда был большим жизнелюбом. Радовался, как ребёнок, что получил квартиру именно в Строгино, где отдыхает душой, говорил, что это вообще лучший район Москвы. Мне будет очень не хватать его бесед. «Ты слишком добродушен в творчестве, – предостерегал меня Ковда. – Поэту нужно поднимать острые темы!». Я запомнил эти его слова как назидание. А стихи Вадима – будут с нами всегда. Мёртвые помогают живым. Так что слёзы – отменяются!

По поводу мира вы правы –
он падший с далёкого дня.
И то ж – в отношеньи державы,
и то ж – в отношеньи меня.

Я знаю тоску и блаженство
(к тоске всё же больше привык).
И я не достиг совершенства,
но честности всё же достиг.

Кто силой, умом, кто грехами
останется – выберет Бог.
А я лишь стихами, стихами…
Я только лишь это и смог.

Читайте их, милые люди –
соскучиться точно не дам.
Прощайте! А, впрочем, не будем
прощаться – увидимся ТАМ.

«ШКАФ»

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

ОТЗЫВ НА КНИГУ НАТАЛЬИ СТЕРКИНОЙ «ПОСЛАНЦЫ БУДУЩЕЙ ЗИМЫ»

В конце лета – в начале осени 2020 года в московском издательстве «Перо» была издана новая книга Натальи Стеркиной «Посланцы будущей зимы». Поскольку я и Наталья уже много лет поддерживаем хорошие отношения, связанные с литературным творчеством и следим за успехами друг друга на этой ниве, то мне было приятно, когда она обратилась именно ко мне с просьбой написать отзыв на её новую книгу.

Не зная заранее творчества Стеркиной, я, наверное, как и многие, впервые знакомящиеся с её произведениями, во время прочтения пребывал бы в некоторой эйфории – «Посланцы будущей зимы» это сборник коротких рассказов, пьес и сценариев, объёмом не более 3-4 страниц каждый. На первый взгляд, на первое, обманчивое восприятие, все эти коротенькие составляющие сборника трудно даже назвать произведениями, настолько они измельчены и к тому же не связаны общими внутренним сюжетом, героями и фабулой – как отдельные камешки в калейдоскопе. Изменил дуговой градус трубки – предыдущее изображение уже не вернёшь. Перевернул страницу сборника, а там новая короткая история, не являющаяся продолжением предыдущей. Повторюсь – таково первое восприятие, первое впечатление.

Но Наталья не случайно автором отзыва выбрала меня – подобные нюансы её творчества мне были хорошо знакомы, я с интересом читаю написанное ею и нахожу в подобной литературе определённую прелесть и гуманитарную ценность. К тому же предыдущий сборник Натальи «Группа Х», вышедший тремя годами раньше, произвёл на меня положительное впечатление. А ведь и он состоял из таких же мини-новелл и мини-пьес, подобно шрапнели поражавшими сознание читателя. В чём же особенность и одновременно прелесть миниатюр, рождённых литературным талантом Натальи Стеркиной?

Начнём с того, что у каждого сочинителя своё призвание, которому он безусловно следует, никогда (или в очень редких случаях) не отступая от него и не изменяя. Трудно или невозможно представить себе Фёдора Михайловича Достоевского, сочиняющего короткие рассказы для детей из крестьянской жизни. А вот его современник Лев Николаевич Толстой – наоборот, прославился во всех жанрах не только художественной, но и публицистической литературы. Наталья Стеркина, насколько мне известно, романов не пишет (если только в тайне от всех роман всей жизни?), не испытывая влечения к крупным литературным формам. Но миниатюры, причём самые крохотные – её конёк и её мир, который она любит и которым она делится с читателями.

Дело в том, что литература Стеркиной – в определённой степени плод современной жизни, несущейся подобно поезду «Сапсан» между двумя столицами. За четыре часа «Сапсан» делает всего две остановки на маршруте – Бологое и Тверь – и обе по минуте. Все пассажиры осведомлены об этом, но не все успевают обе их заметить – движение, движение, движение не позволяет заметить отдельные детали бытия, сосредоточиться на нюансах. Одни пассажиры, выходя из вагона на конечной, от спутников с удивлением узнают, что «Сапсан» делал остановку в Бологом, а другие – остановку в Твери. Казалось бы нонсенс – вернуться из Питера в Москву и не заметить Тверь! Миниатюры Стеркиной – это те самые нюансы, что проносятся мимо нашего сознания во время безумной жизненной гонки нашего времени. А что такое жизнь без нюансов? Это всё равно, как дать характеристику России по карте, на которой нанесена лишь государственная граница и больше ничего! Ни рек, ни морей, ни гор, ни городов – ничего на ней не обозначено и не нанесено!

Проследить за ходом мысли и мировосприя-

тием Натальи Стеркиной трудно, но интересно и полезно одновременно. Она открывает нам миры множества людей, которых мы не замечаем в своей повседневной торопливости, людей, подверженных печалям и радостям, испытавшим любовь, преданность и разлуки. Эти люди не герои, они мало чем отличаются от нас, и в этом их ценность – они главные участники современного жизненного процесса, в котором и мы, наверняка, со стороны не кажемся героями. И мы такие же хрупкие как они – одним небрежным движением плеч, одним неосторожным словом способны уничтожить хрупкий мир самых дорогих и близких нам людей. Как говорил в своё время поэт и драматург Михаил Анчаров: «Люди, мы в ответе друг за друга!».

Литература Стеркиной не призывает читателей на совершение подвигов глобального или эпохального характера: стоять насмерть за правое дело, спасать жертв экологической катастрофы, брать на воспитание детей-сирот из районного детского дома, делиться с каждым нищим странником последней нательной рубахой. Стеркина с истинно женским тактом, словно исподволь, но рельефно, а потому доходчиво, убеждает нас в необходимости иных подвигов – ценить проявления человечности от окружающих и платить им за это искренностью чувств, чтобы всегда и везде помнить: «…мы в ответе друг за друга!». Иначе даже в хрущёвской пятиэтажке может вспыхнуть злобное противостояние, сходное с чудовищными военными конфликтами, продолжающимися десятилетиями в Нагорном Карабахе или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Палитра доверия, которая охватывает все миниатюры Стеркиной невероятно велика, но главный императив, звучащий чуть ли не на каждой странице, как пепел Клааса, обращён к читающим её литературу: «Прежде чем начать чего-либо делать по отношению к окружающим вас, начните с самих себя! Люди это не модули “Лего” – их нельзя переставлять по собственной прихоти. Мы все очень хрупки и лишь сообща, сообща осознав свою идентичность, сможем стать чуть добрее и счастливее».

После прочтения сборника Натальи Стеркиной «Посланцы будущей зимы» у меня сложилось ощущение, будто я в своём родном доме прожил не одну неделю в каждой из его сотен квартир. И теперь у меня появилось множество друзей, которые меня любят и понимают. И это, безусловно, заслуга мастера, которым является Наталья Стеркина.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1’06 (477.74) – 94

Підписано до друку 23.11.2020 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,52
Зам. 1447. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17